



БЕН  
ЭЛТОН  
ДВА БРАТА  
РОМАН



## Annotation

24 февраля 1920 года в Берлине рождаются два младенца, которым суждено стать братьями. В тот же день в Мюнхене создана Национал-социалистическая партия.

Пауль и Отто неразлучны и оба похожи на своих еврейских родителей, хотя совсем не похожи друг на друга. Они и не догадываются, что один из них приемыш, — более того, не еврей. Их отец играет по джазовым клубам, мать лечит больных, жизнь в Германии, еле приходящей в себя после Великой войны, потихоньку налаживается. Братья вместе растут, вместе дружат с одной девочкой, вместе влюбляются в другую. Но когда к власти приходят нацисты, жизнь меняется необратимо и страшно: в кошмарной стране внезапно важнее всего оказываются кровь и происхождение.

Бен Элтон — британский писатель, режиссер, сценарист ситкома «Черная Гадюка» и создатель мюзикла «We Will Rock You» — написал пронзительный и честный роман по мотивам истории своей семьи. Как и в жизни, здесь есть смех и слезы, нежность и злость, верность и предательства. Это история о том, чем готовы пожертвовать люди ради выживания — своего и тех, кого они любят. Что им делать с каждодневной ненавистью, с неотступной памятью, с неутихающей болью — и как из этого всего порой прорастают одиночество, страх и жестокость, а порой — доброта, мудрость и счастье.

---

- [Бен Элтон](#)
  - [Барышня на тележке](#)
  - [Чай с печеньем](#)
  - [Близнецы](#)
  - [Еще одно дитя](#)
  - [Отмена операции](#)
  - [Плач и крик](#)
  - [Предложение](#)
  - [Новая модель](#)
  - [Рейнская дева](#)
  - [Дистрикт и Кольцевая линия](#)
  - [Бешеные деньги](#)

- [Юные предприниматели](#)
- [Смешные деньги](#)
- [Старый знакомый](#)
- [Новая работа](#)
- [Сент-Джонс-Вуд](#)
- [Слишком много джаза](#)
- [Крикливый трехлетка](#)
- [Современный джаз](#)
- [Цирлих-манирлих](#)
- [Субботный клуб](#)
- [Два застолья и крах](#)
- [Бой за Дагмар](#)
- [Этот человек](#)
- [Дошло](#)
- [Последний матч](#)
- [Тринадцатые дни рождения](#)
- [На больничном приеме](#)
- [Утраченная надежда](#)
- [Открытие магазина](#)
- [Берега Красного моря](#)
- [Тихий день в магазине](#)
- [Юриспруденция](#)
- [Будет бал](#)
- [Фишеры задают вечер](#)
- [Auf Wiedersehen](#)
- [Инструктаж](#)
- [Дружелюбный нацист](#)
- [Недружелюбный нацист](#)
- [Прерванная вечеринка](#)
- [Зона, свободная от арийцев](#)
- [Дельфин на берегу](#)
- [Новые законы](#)
- [Романтический жест](#)
- [Приемный сын](#)
- [Фамильные древа](#)
- [Загородная поездка](#)
- [Кровная родня](#)
- [Судьба решена](#)
- [Спонтанная выпивка](#)

- [В ссылку](#)
- [Налаживаем связь](#)
- [Еженедельные свидания](#)
- [Расовая непригодность](#)
- [Личные жертвы](#)
- [На набережной](#)
- [Олимпийский стадион, Грюневальд](#)
- [Отпуск в Мюнхене](#)
- [Другие дети Фриды](#)
- [Уроки английского](#)
- [Ночь битого стекла](#)
- [Дождь на пляже](#)
- [Последний сбор Субботнего клуба](#)
- [Наутро](#)
- [Ранний завтрак](#)
- [Из нелюди в сверхчеловеки](#)
- [Разговор о женитьбе](#)
- [Последний инструктаж](#)
- [Смешанный брак](#)
- [Старые друзья](#)
- [Еще уроки английского](#)
- [Узнали](#)
- [Народный парк](#)
- [Немецкий герой](#)
- [Парковая скамья](#)
- [Еврейская больница](#)
- [Продолжение разговора в парке](#)
- [Охотница на евреев](#)
- [Меж Рапунцель и Красной Шапочкой](#)
- [Вдвоем](#)
- [В саду невинности](#)
- [Барышня на тротуаре](#)
- [Послесловие](#)
- [≈](#)
- [notes](#)
  - [1](#)
  - [2](#)
  - [3](#)
  - [4](#)

- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)
- [42](#)
- [43](#)

- [44](#)
  - [45](#)
  - [46](#)
  - [47](#)
  - [48](#)
  - [49](#)
  - [50](#)
  - [51](#)
  - [52](#)
  - [53](#)
  - [54](#)
  - [55](#)
  - [56](#)
  - [57](#)
  - [58](#)
  - [59](#)
  - [60](#)
  - [61](#)
  - [62](#)
  - [63](#)
  - [64](#)
  - [65](#)
  - [66](#)
  - [67](#)
  - [68](#)
  - [69](#)
  - [70](#)
  - [71](#)
  - [72](#)
  - [73](#)
  - [74](#)
  - [75](#)
  - [76](#)
  - [77](#)
  - [78](#)
  - [79](#)
-

# Бен Элтон

## Два брата

*Посвящается двум  
кузенам, моим дядьям:*

*Хайнцу Эренбергу,  
с 1939 по 1945 год  
служившему в  
вермахте,*

*и*

*Джеффри Элтону,  
с 1943 по 1946 год  
служившему в  
британской армии.*

## Барышня на тележке

*Берлин, 1920 г.*

Очнувшись от сна, полного легких брыканий, Фрида Штенгель поняла, что ее ночная сорочка и простыни насквозь промокли.

Светало, но занимавшийся день не особо развеял хмурую и тьму долгой студеной ночи. В сумеречном воздухе зависали облачка дыхания. Фрида потрясла мужа за плечо и прошептала:

— Вольфганг, воды отошли.

Тот рывком сел в кровати.

— Так! — Вольф таращил глаза, пробиваясь к яви. — Хорошо. Все чудесно. Действуем по плану.

— Еще не рожаю, — успокоила Фрида. — Боли нет. Схваток тоже. Однако все на подходе.

— Не волнуйся. — Вольфганг вылез из постели и споткнулся о свои башмаки, как раз на случай экстренной побудки стоявшие поближе к кровати. — У нас четкий план.

Фрида ждала двойню, и ей было обеспечено место в роддоме берлинского медцентра. От Фридрихсхайна, где жили супруги, до района Бух — несколько километров через весь город. Фрида влезла в одежду, надеясь, что малыши не поспешат.

Вольфганг взял жену под руку, и вместе они осторожно одолели десять лестничных маршей, отделявших их квартиру от улицы. В доме был древний тряский лифт, но супруги решили, что в столь ответственный момент нельзя доверяться крохотной железной клетке.

— Вообрази, если вдруг застрянем и ты родишь между этажами, — сострил Вольфганг. — А лифт рассчитан на троих. Консьержка, стерва, наступит в домовый комитет.

Молодая пара ступила на обледенелый тротуар под нависшим, мрачным серым небом, которое будто отлили в знаменитых эссенских металлургических цехах Круппа и приклепали над Берлином. Нахохлившийся город мерз под стальными небесами. Военные и послевоенные зимы выдались суровые, и продрогшие работяги, что спешили на утреннюю смену, ежились под кусачими восточными ветрами, отбивавшими память об иных временах года. А ведь некогда вся Унтер-ден-Линден сияла липовым цветом, в парке Тиргартен старики скидывали пиджаки, а девушки ходили без чулок.



Однако в феврале 1920 года весна и лето были далеким воспоминанием, грезой о прекрасной поре до катастрофы Великой войны, разразившейся над Германией. Казалось, в небесах, навеки отлитых из пушечной стали, слышны орудийные раскаты, словно за горизонтом, на полях Бельгии, Франции и в бескрайних русских степях, еще гремела канонада.

Такси, конечно, не сыщешь, да и не по карману, а трамвайщики, как назло, затеяли очередную забастовку. Посему Штенгели заранее условились с местным зеленщиком, что одолжат его тележку.

С тележкой и букетом морковок, перевязанных розовой и голубой лентами, герр Зоммер поджидал их перед лавкой.

— Оба цвета, поскольку Вольф уверяет, что вы ждете мальчика и девочку, — пояснил он. — Одним махом полная семья.

— Будут мальчики, — твердо сказала Фрида. — Берегитесь, вскоре они начнут тырить ваши яблоки.

— Если будет что тырить, — печально вздохнул зеленщик, и Вольфганг покатил тележку, загромыхавшую на скользкой обледенелой мостовой.

На соседней улице протрещали выстрелы, но супруги оставили ее без внимания, как и топот, вопли и звон разбитого стекла.

Нынче стрельба, топот и звон стекла — просто городской шум, который уже не замечаешь. Звуки эти стали обычны, как крик газетчика, птичий щебет в парках и перестук городской электрички. Народ не обращал на них внимания и, уткнув взгляд в землю, поспешал занять место во всевозможных очередях.

— Козлы, — буркнул одноногий ветеран, скача мимо на костылях.

— И не говори, — вслед бритому затылку под военной фуражкой бросил Вольфганг.

Упомянутые беспорядки газеты называли «революцией», но если это и революция, то сугубо немецкая. Чиновники ходили на службу, все учреждения работали. На тротуарах играла ребятня. В восемь тридцать секретарши садились за машинки. В ближайшем подвале кто-то кого-то до смерти забивал ногами.

Берлин спокойно занимался своими делами, пока в обеденный перерыв коммунисты и фрайкор<sup>[1]</sup> убивали друг друга.

Фрида и Вольфганг тоже были заняты делом — по крайней мере, Вольфганг, даже на холоде весь взмокший. Проклиная там и сям встречавшиеся баррикады, он толкал тележку по булыжным мостовым и наконец добрался до Линдербергер-Вег, где высилось величественное

крыльцо знаменитой учебной клиники на пять тысяч коек, самой крупной в Европе.

Вольфганг остановился и, глубоко втянув обжигающий морозный воздух, снял Фридину сумку с тележки.

— Однако тяжеленькая, — выдохнул он. — Что, и впрямь нужны все эти книжки?

— Вдруг залежусь? — Грузно перевалившись через тележный задок, Фрида поморщилась, когда распухшие лодыжки приняли ее вес. — Надо кое-что доделать.

— Что ж, правильно, Фред. — Вольфганг с наслаждением закурил. — Ты вышла за музыканта. И он надеется, что когда-нибудь заживет жизнью, от которой не захочется отвыкать.

— Ты композитор, Вольф, не просто музыкант, — улыбнулась Фрида. — Родителям я говорила, что выхожу за нового Мендельсона.

— Избави бог! Уж больно много мелодий. Ты же знаешь, Фредди, музыка типа «кофе с пирожным» не по мне.

— Людям нравятся мелодии. За них-то и *платят*.

— Вот почему я уцепился за умненькую барышню, когда выпал шанс. Всякий джазмен нуждается в заботе по уши влюбленной докторицы.

Вольфганг обнял жену за неохватную талию и поцеловал. Рассмеявшись, Фрида его отпихнула:

— Вовсе не по уши, а жутко терпеливой. И пока я не врач. Надо еще одолеть выпускные экзамены. Осторожнее с книгами. Они библиотечные, чуть помнешь — штрафуют.

В Берлинском университете Фрида изучала медицину. И даже получала какую-то стипендию, во что никак не могли поверить ее глубоко консервативные родители.

— Хочешь сказать, там *оплачивают* образование? Даже *женщинам*? — недоверчиво спрашивал отец.

— Приходится, папа. Многие мужчины погибли.

— Все равно. Женщина-врач? — Жесткая щетка прусских усов, символ незыблемой уверенности, смятенно топорщилась. — Кто ж ей доверится?

— А если нет выбора? — парировала Фрида. — Папа, уже два десятка лет, как на дворе двадцатый век, ты подотстал.

— Ошибаешься, — мрачно возражал отец. — Он наступил лишь недавно, после отречения его императорского высочества. И один Бог знает, когда и как он закончится.

Фридин отец служил в полиции, мать гордо занималась домом. Он

приносил жалованье, она вела хозяйство и воспитывала детей. Мироззрение их сложилось при кайзере, и от политических и культурных потрясений послевоенной Веймарской республики голова у них шла кругом. Оба не понимали правительство, которое не способно остановить уличные перестрелки, но озабочено равенством полов.

А также не понимали зятя, который беспечно обзавелся семьей, но не мог оплатить такси, чтобы доставить жену в роддом.

— Если б папа увидел, что его дочь на бакалейной тележке везут рожать, он бы, наверное, тебя пристрелил, — сказала Фрида, тяжело взбираясь на крыльцо.

— Он едва не убил меня, когда я тебя обрюхатил. — Вольфганг шарил по карманам, ища направление в больницу.

— Он бы так и сделал, если б ты на мне не женился.

— Ага, вот оно. Все путем.

Сквозь большие парадные двери туда-сюда шастали озябшие больные.

— Вечером приду, — сказал Вольфганг. — Гляди, чтоб вас уже было трое.

Фрида схватила его за руку:

— Господи, Вольф, вот ты сказал... Нынче нас только двое, а завтра будешь ты, я... и наши дети.

Под порывом ветра она поежилась. Исконопаченный дождинками холод легко проникал сквозь ее ветхую одежду. Вольфганг вновь обнял жену, теперь не игриво, но страстно, даже отчаянно. Под бездушными гранитными колоннами огромного здания два продрогших человека прижались друг к другу.

Два молодых сердца бились в унисон.

И еще два, совсем юные, в тепле Фридиного живота.

Четыре сердца, объединенные любовью, стучали в громадном ритмичном сердце из камня и стали. Берлин — сердце Германии.

— Верно, — сказал Вольфганг. — Ты, я и наши дети. Самое прекрасное, что есть на свете.

Сейчас он был серьезен и не пытался шутить.

— Да, на всем белом свете, — тихо ответила Фрида.

— Ну ладно. Ступай, Фред. Нюниться чертовски холодно.

Не было и речи о том, чтобы Вольфганг остался. В послевоенном Берлине мало кто из будущих папаш располагал временем слоняться перед палатой роженицы, всех одаривая сигарами.<sup>[2]</sup> Герр Зоммер ждал свою тележку, а Вольфганга, как и всех прочих в ту кошмарную зиму, ждали всяческие очереди.

— У Хорста дают мясо, — сказал он, спускаясь по ступеням крыльца. — Барашка и свинину. Раздобуду, даже если придется заложить пианино. Тебе нужно железо, раз собираешься кормить сынка и дочку.

— наших сыночков, — поправила Фрида. — Будут мальчики. Уж поверь, женщина знает. Пауль и Отто. Парнишки. Счастличики.

— Почему счастличики? — спросил Вольфганг. — Если не считать того, что у них самая красивая на свете мама.

— Потому что они близнецы. Один за другого. Это жестокий город в жестоком мире. Но в любых тяготах наши мальчики всегда будут друг другу опорой.

## Чай с печеньем

Лондон, 1956 г.

Стоун рассматривал стол под грубой холщовой скатертью: чашки, печенье, блок желтой бумаги для заметок, увенчанный авторучкой. Потом перевел взгляд на черный бакелитовый телефон: острые грани, обшарпанный витой шнур в бурой матерчатой оплетке. Похоже, модель начала тридцатых годов.

Что Стоун делал, когда шнур был новехонек?

Дрался, конечно. Или в панике мчался по берлинским улицам, выглядывая, в какой проулок нырнуть. По пятам летел брат, оба — мальчишки, охваченные смертельным страхом.

По шнуру взгляд его проследовал под стол и, скользнув по слегка покоробившемуся темно-красному линолеуму, уперся в черную коробку, привинченную к плинтусу. Казалось, она тихо жужжит, но, скорее всего, это просто гул машин на Кромвель-роуд.

Стоун беспокойно поерзал на стуле. Он так и не привык к чиновничьим допросам в голых стенах. Даже сейчас казалось, ему что-то угрожает. Даже сейчас он ждал побоев.

Правда, здесь Англия, где подобное не практикуется. Левацки настроенные приятели посмеивались над его страхами. Но им повезло не жить в стране, где разнузданное насилие было не исключением, а правилом.

Стоун вновь посмотрел на следователей. Классическая пара. Один — весьма плотный лысый коротышка с потешной кляксой усов; глаза-бусины беспрестанно косились на печенье. Другой чуть-чуть рослее, но костлявый; из угла пустой безоконной комнаты поглядывает из-под слегка припухших век. Прямо как в кино. Питер Лорре ведет допрос, а невозмутимый Хамфри Богарт помалкивает.<sup>[3]</sup>

— Вы едете в Берлин, надеясь встретиться с вдовой вашего брата?

Коротышка, Питер Лорре, уже второй раз задал этот вопрос.

Или это утверждение? Все верно. Но откуда они знают?

Прочли письмо Дагмар. Явно.

— *Предполагаемой* вдовой, — уклонился от ответа Стоун. Жизненный опыт научил: от властей разумнее скрывать сведения, пока тебя не приперли к стене.

— Думаете, ваш брат жив?

— Его смерть не доказана фактически.

— В смысле, трупом?

— Скажем так.

— Разумеется, ваш брат *предположительно* мертв. — Лорре все же капитулировал перед печеньем, выбрал песочное. — В сорок первом убит русскими в сражении под Москвой.

— После войны так заявили восточногерманские власти.

— Есть причины сомневаться?

— Нет. Никаких. Только надежда. Брат всегда все планировал. Он не из тех, кого легко убить.

— Войска СС как раз и формировали из тех, кого нелегко убить. По крайней мере, до тех пор, пока не начали рекрутировать мальчишек. Вашего брата призвали в сороковом, не так ли?

Скрытая издевка? Вскипела злость. Кто дал право судить этому самодовольному коротышке, чавкающему печеньем? Он не изведаль того, что выпало брату. Матери и отцу. И Дагмар.

Опять чувство вины.

Психиатры называют это «комплексом выжившего».

— Брат не был нацистом, — твердо сказал Стоун.

— Разумеется. — Питер Лорре уже не скрывал издевки. — Никто не был нацистом, верно? Во всяком случае, *теперь* все так говорят. Войска СС были не всамделишные, верно? Они не создавали лагеря. И ни в чем не виноваты.

— Брат женился на еврейке.

— Да, мы знаем. Дагмар Штенгель, в девичестве Фишер. Вы едете в Берлин на встречу с ней. Разве не так?

Стоун вновь уставился на чашки с блюдцами. Он не собирался откровенничать, но вопрос явно риторический, и вовсе ни к чему попасться на вранье.

— Верно, Дагмар Фишер, — сказал он.

— Дагмар Штенгель.

— Я знал ее как Фишер. Она вышла за брата уже после моего отъезда из Германии.

— Когда в последний раз вы виделись с госпожой Штенгель?

Стоун глубоко затянулся сигаретой и прикрыл глаза. Как часто он это вспоминал. Гудки и лязг паровозов. Запах ее волос. Динамики грохочут маршами, невозможно прошептать ей все, что так хотелось сказать.

— В тридцать девятом, — ответил Стоун.

— В Берлине?

— Да. В Берлине.

— А после войны? Пытались ее разыскать?

— Конечно. Я искал всю свою семью.

— Вы были в Германии?

— Да. С войсками. Администрация помощи и восстановления Объединенных Наций. Я работал в лагерях для перемещенных лиц. Вы же это знаете, обо всем сказано в моем досье.

— Ага, весьма удобно для поиска неуловимой иудейки, — с полным ртом прощамкал Питер Лорре.

«Неуловимая иудейка». Ничего себе! Коротышка явно не улавливал, сколько в этой фразе пренебрежения и подозрительности.

— Неуловимая иудейка? — переспросил Стоун. — Это вы о ком?

— О фрау Штенгель, разумеется.

— Ну так и говорите.

Повисло короткое молчание.

— Значит, фрау Штенгель? — сказал Лорре. — Нашли ее?

— Нет.

— Что с ней случилось?

— Я так и не узнал.

— Еще одна безымянная жертва Холокоста?

— Видимо, так.

— Но теперь считаете, что она выжила?

Стоун помолчал, обдумывая ответ.

— С недавних пор позволил себе на это *надеяться*.

— С чего вдруг?

Изо всех сил Стоун старался подавить раздражение. Злость — плохая помощница. Особенно в общении с теми, кто сидит за столом под зеленой холщовой скатертью, на котором лишь чайные чашки и блок чистой желтой бумаги для записей.

— В чем дело? — спросил Стоун. — Не понимаю вашего интереса и почему вообще я должен отвечать.

— Все очень просто. — Толстяк разломил печенье и кусок побольше отправил в рот. — Если вы с нами сотрудничаете, вскоре отправитесь в путь-дорогу. Если нет, мы вас проволыним до второго пришествия. В Берлин попадете не раньше двухтысячного года, когда уже будете древним стариком, а сам город давно превратится в груды дымящихся радиоактивных развалин. Поэтому будьте благоразумны и отвечайте на вопросы. Почему теперь вы решили, что Дагмар Штенгель жива?

Стоун пожал плечами. Ладно, этот маленький боров и так все знает.

— Потому что она со мной связалась.

— Вот так вдруг?

— Да. Вдруг.

— Через семнадцать лет?

— Именно так.

— И вы уверены, что это фрау Штенгель?

Вот тут закавыка. Он уверен. Абсолютно. Почерк, интонация, детали...

И все же...

Стоун уклонился от прямого ответа:

— Она сообщила, что так называемой «субмариной»<sup>[4]</sup> почти всю войну провела в Берлине. Но в июне сорок четвертого гестапо ее схватило и отправило в Биркенау. Ей удалось бежать.

— Скажите на милость!

— Такое случалось — редко, но случалось. Она воспользовалась бунтом зондеркоманды четвертого крематория и потом до конца войны сражалась вместе с польскими партизанами.

— Удивительная история.

Но вполне возможная. Несмотря на изящные манеры, Дагмар была тверда и решительна.

— Вижу, вам и самому трудно поверить. — Толстяк смотрел в упор. — Конечно, после стольких лет. Однако должен сказать, что все это правда. Во всяком случае, финал истории. Дагмар Штенгель жива-здоровая и обитает в Восточном Берлине.

Обдало радостью, закружилась голова. Порой так бывало во сне, когда на берегу Ванзее ее руки в дождевых каплях обнимали не брата, а его.

— Откуда вы знаете? — Стоун постарался, чтобы голос не дрогнул.

— Мы много чего знаем.

Стоун грохнул кулаком по столу. Чашки задребезжали. Трубка допотопного телефона подпрыгнула на рычагах. Ведь это его личное дело. Его семья. Его жизнь. Как они смеют устраивать какие-то игрища!

— Откуда вам известно? — рявкнул Стоун. — Говорите!

— Есть источники. — Игнорируя эту пылкость, толстяк лениво занялся второй половиной печенья. — Конфиденциальные.

— Вы из МИ-6?<sup>[5]</sup>

— МИ-6 не существует, мистер Штенгель.

— Стоун! Моя фамилия Стоун. Уже целых пятнадцать лет!

— Ну да, вы ее сменили, верно?



Вновь легкая издевка. Уже не над немцем, который открестился от нацистов, а над трусливым жидом, переменной имени скрывшим свое еврейство. Но этим британцам все едино. Они спасли мир во имя благопристойности и честной игры, а не ради того, чтоб чертовы жида невесть кем себя возомнили.

— Я сменил фамилию по приказу командования, — огрызнулся Стоун. — *Британской* армии. Попади я в плен, с немецкой фамилией, обычной для евреев, меня бы отправили в газовую камеру.

— Ладно, остыньте. — Коротышка покровительственно усмехнулся. — Нам это известно.

— Вам до черта всего известно.

— Стараемся.

— Потому что вы из МИ-6. Секретная служба.

— Ответить не могу, верно, мистер Стоун? Иначе это уже не будет секретом.

Питер Лорре ухмыльнулся и отер рот, явно довольный собственной шуткой.

Давно следовало догадаться. Уже по виду комнаты. Никакой обстановки, на столе только чашки, печенье, бумажный блок и телефон. Ни книг, ни брошюр, ни ежедневника. На стенах никаких таблиц, нет мусорной корзины и даже скрепок. Что ж это за контора? Даже в полицейском участке на стенах плакаты.

Да еще эта пара лицедеев. Один говорун, другой молчун. Ну да, классика. Жуткий трафарет. Как же он не догадался? Натуральные агенты.

И они четко сказали: Дагмар жива.

Вновь окатило радостью.

Она уцелела. Берлин. Лагеря. Гулаг. Все пережила и уцелела.

И в этом кошмарном мраке помнила о нем. О том, кто любил ее.

Кто любит и сейчас.

Кто всегда будет ее любить.

## Близнецы

### Берлин, 1920 г.

Фрида оказалась права: она выносила двух мальчиков, но в долгих и тяжелых родах выжил только один, другого удушила перекрученная пуповина.

— Сожалею, фрау Штенгель, — сказал врач. — Вторым ребенком мертворожденный.

Потом ее оставили одну.

Не из тактичности, просто дел было невпроворот. Четыре года войны и вслед за ними брызжащая дрянью «революция» никому не оставили времени на деликатность, особенно медикам. Фрида, избежавшая послеродовых осложнений, понимала, что вскоре ее попросят из маленькой пустой палаты, выкрашенной желтым. Залежаться не дадут.

— Здравствуй, мой маленький, — прошептала Фрида. Где найти душевные силы приветствовать одного малыша и распрощаться с другим? — И до свиданья, мой маленький.

Она не хотела, чтобы радость встречи с живым дышащим существом, лежавшим на одной ее руке, утонула в слезах по безжизненному свертку, лежавшему на другой, однако иначе не получалось. Фрида знала, что будет вечно горевать по своему ребенку, нисколько не жившему.

— *Auf Wiedersehen*,<sup>[6]</sup> милый, — выдохнула она.

Тусклая голая лампочка в сорок ватт, висевшая над кроватью, высвечивала бледное личико, сморщенное, как у старого китайца. Другой сверток подал голос: сначала тихонько мекнул, а потом закричал, ощутив силу своих легких. Фрида переводила взгляд с миниатюрной китайской маски смерти на голосившего малыша и обратно. Застывшая бледность небытия и краснота рассвета жизни, набравшей яркость.

*Auf Wiedersehen und guten Tag. Guten Tag und auf Wiedersehen.*<sup>[7]</sup>

Потом вернулся врач, а с ним старуха-сиделка, которая забрала у Фриды мертвого ребенка.

— Возрадуйтесь за него, фрау Штенгель, — сказала нянька, перекрестив безжизненный сверток. — Он избавлен от страданий на этом свете и сразу вкусит счастье мира иного.

Однако Фрида не возрадовалась. Она не верила в иной мир, она лишь изведала горести этого.

Потом заговорил врач:

— Неловко, что приходится вас тревожить, фрау Штенгель, когда утрата ваша так свежа. В соседней палате лежит молодая женщина. Вернее, лежала. Час назад она умерла. Вы потеряли ребенка, но остались живы, а та женщина умерла, тогда как ребенок жив... мальчик.

Фрида его почти не слышала. Она смотрела, как старая сиделка уносит прочь частицу ее души и тела. Не в обещанный лучший мир, а в кремационную печь больничного подвала. Никаких цветов, никаких молитв. В измученной передрыгами стране избавление от покойников, даже самых невинных и крохотных, происходило автоматически. Девять месяцев содержимое свертка обитало в ее теле, а теперь за секунды превратится в пепел.

— Простите, доктор, что вы сказали? — спросила Фрида. — Мать и ребенок?

— Только ребенок, фрау Штенгель. Мать умерла в родах, отца тоже нет. Коммунист. Застрелен в Лихтенбурге.

Фрида знала о бойне в предместье Лихтенбурга. При полном попустительстве министра национальной обороны фрайкор согнал на улицы и расстрелял тысячу рабочих. Газеты лишь вскользь упомянули о происшествии — убийства, даже массовые, в Берлине считались обычным делом. Однако Фрида была из тех, кто следил за событиями.

— Покойница не ладила с родителями, — говорил врач. — Ребенок от «красного» был им не желанен, а теперь не нужен вовсе. Семья прозябает в нищете, ей ни к чему осиротевший улюбодок, пусть даже внук.

Фрида поняла, о чем речь, и тусклая лампочка над кроватью как будто вспыхнула ярче.

Безжизненный сверток может воскреснуть. Все хлопоты, вся любовь, которую они с Вольфгангом приготовили для двух малышей, будут не зряшны. Маленькая душа молила о любви. Ждала приюта. Значит, все-таки двойня. У Пауля будет Отто, у Отто будет Пауль.

— Я понимаю, фрау Штенгель, у вас горе, но, может быть, вы подумаете...

— Пожалуйста, принесите ребенка, — сказала Фрида, не дав врачу договорить. — Принесите моего сына. Я нужна ему.

— Наверное, следует посоветоваться с вашим мужем... — начал врач.

— Он хороший человек, доктор. И скажет то же самое. Принесите нашего второго сына.

Через минуту новый сверток угнездился на месте, которое так недолго занимал бледный старый китаец. Обитатель свертка был красен, слюняв и

горласт, как его новообретенный братец. В каждой руке по здоровому малышу. Как будто время на час замерло и Фрида только что разрешилась от бремени.

— *Guten Tag und guten Tag*, — прошептала она.

Хорошо отлаженная процедура усыновления прошла как по маслу. В 1920 году Германия ощущала нехватку молодых мужчин, однако после войны и пандемии гриппа не знала недостатка в сиротах, и больница постаралась избавиться от еще одного бедолаги. Вольфганга выдернули из очереди за мясом, и все необходимые бумаги были оформлены, не успело у Фриды появиться молоко. Тотчас прибыли дед и бабка с материнской стороны и подписали отказ от внука, на него даже не взглянув. Мрачно пожелав Фриде и Вольфгангу удачи, они навсегда исчезли из их жизни. Прежде чем высохли чернила.

Вот так сбылись все планы и Фридино предсказание. Их стало четверо: Фрида, Вольфганг и два мальчика, Пауль и Отто. Отто и Пауль. Два сына, два брата — равно желанные, равно любимые. Равные во всем.

Одинаковые.

Правда, не совсем.

Было одно отличие. Почти неважное. Для Фриды и Вольфганга абсолютно не существенное. Однако со временем оно стало вопросом жизни и смерти. Один ребенок — еврей, другой — нет.

## Еще одно дитя Мюнхен, 1920 г.

В тот самый день, 24 февраля 1920 года, когда родились братья Штенгели, в сотнях километрах от Берлина, в мюнхенской пивной «Хофбройхаус», на свет появился еще один младенец. Как все новорожденные (Пауль и Отто не исключение), он был неугомонен и криклив. Поняв, что обладает голосом и кулаками, первое он использовал лишь для плача и воплей, а второе — для потрясения в воздухе, ибо окружающий мир ему не нравился.

Большинство младенцев вырастают. Обретают разум и совесть, принаравливаются к обществу. Но только не дитя по имени Национал-социалистическая немецкая рабочая партия, в тот день воссозданное из пепла прежнего неудачного воплощения. Крикливый голосок и сучащие кулачки принадлежали новоиспеченному партийному лидеру — капралу из политчасти Баварского рейхсвера. Звали его Адольф Гитлер, и был ему тридцать один год.

В тот судьбоносный вечер наряду с переименованием партии Гитлер огласил двадцать пять пунктов, которым надлежало стать «неотъемлемой» и «незыблемой» основой партийной программы. Большую часть — подачку из квазисоциалистических принципов — сам лидер и его быстро растущая партия благополучно забыли. Но вот некоторым пунктам Гитлер был самозабвенно предан до последнего вздоха. Объединение всех народов, говорящих по-немецки. Полная отмена Версальского договора. И главное — «разобраться» с евреями. В холодный мартовский вечер был представлен гвоздь программы: осипший от трехчасового выступления, нищий безвестный солдафон, потрясая кулаками и брызжа слюной, искрившейся в прокуренном зале, известил собрание о том, что евреи — источник всех германских недугов, и он, Адольф Гитлер, станет для них заклятым врагом. Всех евреев лишит немецкого гражданства. Ни один еврей не будет принят на государственную службу. Не сможет выступать в печати. И всякий еврей, прибывший в страну после 1914 года, будет немедленно депортирован.

Толпа ревом одобрила эту пьянящую галиматью. Наконец-то отыскался человек, знавший, почему Германия проиграла войну. Почему вместо того, чтобы победителями жировать в Париже и Лондоне, славные немцы нищенствовали в Мюнхене, перебиваясь на пиве и махорке.

Проклятые жи́ды. Пусть они составляют всего 0,75 процента населения, во всем виноваты дьявольски хитрые евреи, и вот нашелся человек, который прищучит этих сволочей.

В тот вечер 1920 года никто, даже сам Гитлер, не представлял, как далеко пойдет дело.

## Отмена операции

### Берлин, 1920 г.

Судьбоносное решение — не делать мальчикам обрезание — Фрида и Вольфганг приняли по весьма странной и даже нелепой причине: реакционные фанатики попытались захватить власть в стране. Неудачно.

— Чистой воды дадаизм, — позже шутил Вольфганг (а мальчики, забившись в угол, пунцовели от того, что родители при гостях заводят разговор об их пенисах). — Безоговорочно сюрреалистическая алогичность. В Берлине какой-то идиот воображает себя Муссолини, из-за чего мои парнишки остаются, фигурально выражаясь, с довеском. Вот вам и хаотическая случайность совпадений. Жизнь имитирует искусство!

Конечно, они *собирались* обрезать мальчиков.

— Надо это сделать, — сказала Фрида, когда новорожденных привезли домой. — Для моих родителей обряд очень важен.

— Моим было бы все равно, но, полагаю, могущественный род Тауберов не учитывает мнения покойников, — ответил Вольфганг.

Год назад его родители умерли. Подобно миллионам европейцев, они уцелели в войне, чтобы погибнуть от гриппа.

— Не надо, пожалуйста, опять перемывать кости моему отцу, — твердо сказала Фрида. — Давай сделаем, и все. Тебе же это ничуть не повредило.

— Поди знай! — с наигранным сладострастием простонал Вольфганг. — Еще неизвестно, какой небывалой мощью я бы обладал, будь мой шлем с забралом!

Фрида одарила его своим «особым взглядом». Недавнее разрешение от бремени не располагало к сальным шуточкам.

— Договорись с раввином, ладно? — сказала она.

Вольфганг зря тревожился, ибо судьбе было угодно, чтобы обрезание не состоялось. В день, традицией определенный к обряду, в квартире не было воды.

Обкаканным младенцам срочно требовалась помывка, и родители посадили их в кухонную раковину, но водопроводные краны откликнулись лишь далеким хрипом.

— Воду отключили, — сообщила Фрида.

— Говенно, — сказал Вольфганг и, уныло глянув на измаранных малышей, добавил: — Даже очень.

Близнецы еще не умели говорить, но вмиг учуяли кризисную ситуацию и, сочтя своим долгом ее усугубить, заорали как резаные.

— Почему именно у нас! — перекрикивая ор, возопила Фрида, но вообще-то воду отключили во всем городе. А также электричество. И газ. Не ходили трамваи, не работали почта и полиция. Вся городская инфраструктура, худо-бедно пережившая войну и два последующих года повального дефицита и уличных боев, вдруг напрочь замерла.

Из-за мятежа огромный город остался без всех современных удобств. Во главе бригады пресловутого фрайкора политическая пустышка по имени Капп<sup>[8]</sup> промаршировал к Бранденбургским воротам и, захватив Президентский дворец на Вильгельмштрассе, провозгласил себя новым германским вождем, которому все должны подчиниться. В ответ профсоюзы объявили всеобщую забастовку и, отключив коммунальные службы, погрузили Берлин в грязный зловонный застой. У Фриды с Вольфгангом не было воды для младенцев, а у бездари Каппа не было бумаги для прокламации, извещавшей Германию, что под его твердым руководством нация вновь обрела силу.

Конечно, родители двух срыгивающих и испражняющихся отпрысков больше всего томилась по воде. Из уличных колонок удавалось нацедить только на питье, на помыв уже не хватало.

И вот когда в оговоренный день Фридин отец привел ребе Якововица, обладателя чемоданчика с присыпками и выдавшими виды инструментами, Фрида не подпустила раввина к малышам.

— Побойся бога, папа, это ведь операция, — сказала она возмущенному родителю. — Хирургическая процедура, требующая соответствующей гигиены.

— Не глупи, — отмахнулся отец. — Чик — и все, лишь капелька крови.

Напрасно старый ребе уверял, что за все годы не потерял почти ни одного младенца, что регулярно чистит зажим, лезвие и коробок с присыпкой, а перед действием протирает спиртом заостренный ноготь своего большого пальца. Фрида была непреклонна.

— Нет и нет. Пока не дадут воду. И потом, что худого в крайней плоти?

— Фрида! — вскинулся герр Таубер. — Перед ребе!

— Именно что перед ребе, — из угла подал голос Вольфганг. Лишенный возможности сварить кофе, он, несмотря на ранний час, угощался шнапсом. — Может, он сумеет прояснить вопрос. Чем плоха крайняя плоть?

Герр Таубер рассыпался в извинениях, но раввин глубокомысленно



заявил, что охотно вступит в теологическую дискуссию.

— И сказал Азария, — распевно начал он, выкладывая свой потрепанный инструментарий на столь же затрапезную старую тряпицу, — что крайняя плоть мерзка, ибо суть знак греховности. Та к заповедано мудрецами.

— Ага, теперь гораздо яснее, — ухмыльнулся Вольфганг.

— Крайняя плоть мерзка? — переспросила Фрида.

— Так заповедано, — важно повторил ребе Якововиц.

— Известным специалистом по пенисам, — присовокупил Вольфганг.

— Так сказано в Вавилонском Талмуде, — серьезно пояснил старик, не замечая сарказма собеседника.

— Черт! Я все собирался его прочесть.

Герр Таубер вновь попытался встрять:

— Фрида, дорогая, в крайней плоти нет ничего худого, когда она на своем месте. — Тон его был нарочито примиренческим, но взгляд испепелял зятя.

— Именно, папа! На своем месте. Где же ей лучше, как не на конце пениса?

— Это временное пристанище, дорогая, — не унимался отец. — Временное. Господь ее туда поместил, дабы потом ее удалили.

— Но это же нелепица, папа! То есть, я прошу прощения, ребе, не сочтите за неуважение и все такое, но если вдуматься: какой смысл во всей этой затее?

— Неочевидность повода еще не означает ненужности дела, — ответил ребе, с готовностью принимая от Вольфганга стаканчик шнапса.

— Именно! Вот видишь! — возликовал герр Таубер, словно раввин изрек великую и неоспоримую мудрость. — Фрида, есть такая вещь, как традиция, и отказ от нее гибелен. Если из фундамента выбить все камни, дом непременно рухнет.

Вольфганг взял малышей в охапку и пристроил к себе на колени:

— Слыхали, ребята? На ваших херках зиждется здание.

— Заткнись, Вольф! — прошипела Фрида, не сдержав, однако, улыбки.

— Да будет вам, папаша! — не унимался Вольфганг. — Чего так усердствуете? Не так уж вы набожны. Когда последний раз были в синагоге?

— Мы делаем что положено, — рыкнул герр Таубер, а раввин, важно кивавший на каждую реплику, не отказался от второго стаканчика. — Точно так же православный грек дымит ладаном, а католик жует облатку, прекрасно сознавая, что это не тело Христово. Так положено. И это

достаточный повод. Традиция связывает человека с его прошлым. Чит старейшин и создает основу. Благодаря традиции Германия стала великой державой.

Вольфганг опять фыркнул.

— Нет никакого величия, Константин. — Он прекрасно знал, что тесть не выносит этого панибратского обращения, предпочитая «герр Таубер» или «папа». — Германия — немощный банкрот, оголодавший полоумный калека. Будь она собакой, ее бы стоило пристрелить.

Константин Таубер вздрогнул. В 1914 году ему было далеко за сорок, однако он отличился в Великой войне и заслужил Железный крест, всегда украшавший его военную форму, а при малейшем поводе и гражданское платье.

— Ты со своими левацкими дружками хоть в лепешку расшибись, но Германия была и вновь станет великой, — гневно сказал герр Таубер.

— Вольфганг не левый, папа, просто он любит джаз, — вмешалась Фрида.

— Это одно и то же, — ответил Таубер. — Только левак откажет сыновьям в их наследном культурном праве.

— Что? При чем тут херки? — удивился Вольфганг. — Еще какое-то право приплел.

— В присутствии моей дочери и раввина прошу следить за выражениями! — прогремел Таубер.

— Я у себя дома, приятель, и говорю что хочу.

— Хватит! — рявкнула Фрида. — Только что я родила двойню. Нет воды. Нет тепла. Нет света и продуктов. Нельзя ли вопрос крайней плоти перенести на потом?

Раввин печально покачал головой:

— Потом не годится, фрау Штенгель, ибо обрезание должно совершаться на восьмой день, если нет угрозы здоровью ребенка, — так сказано в Писании.

— Есть угроза здоровью, — заявила Фрида. — Воды-то нет.

— Три тысячи лет мы обходились без воды, а равно тепла и электричества, — ответил ребе Якобовиц. — Боюсь, дорогая, вопрос стоит так: сейчас или никогда.

— Значит, никогда, — отрезала Фрида. — Пока не дадут воду, обряда не будет.

— В таком случае, твердая рука больше не требуется, — оживился Якобовиц. — Герр Штенгель, позвольте беспокоить вас на предмет шнапса.

Вольфганг печально взглянул на ополовиненную бутылку, однако традицию гостеприимства он чтит.

Когда на лестнице стихли неуверенные шаги ребе и поступь герра Таубера, супруги посмотрели друг на друга и усмехнулись, но невесело: каждый знал, о чем думает другой.

— Может, сейчас-то и надо было сказать, — вздохнула Фрида.

— Я хотел огорошить старого хрыча, ей-богу, — сказал Вольфганг. — Когда он разорялся о традиции и наследном праве, меня прямо подмывало известить, что один его внук — наследие католички и коммуниста.

— Если честно, я рада, что ты не сказал.

— Все не мог выбрать подходящий момент.

— Понимаю. Это непросто. А теперь, наверное, уже и поздно.

Вольфганг и Фрида вовсе не собирались делать тайну из усыновления. Они хотели тотчас обо всем рассказать друзьям и родственникам. Стыдиться было нечего, наоборот, они гордились собой и сыном. Обоими сыновьями.

Но как-то упустили момент.

— А вообще, кому какое дело? — сказала Фрида. — Нам-то это совсем неважно, мы даже не вспоминаем.

— Абсолютно, — согласился Вольфганг. — Хотя я думал, что буду вспоминать.

— Странно, мне кажется, что ничего и не было. Тот сверточек унесли, потому что так всегда и бывает, обычная кутерьма. Было два мальчика, потом один ненадолго исчез и вернулся. Из трех маленьких душ получились две души, вот и все.

Супруги взглянули на спеленатых младенцев, бок о бок спавших в одной кровати.

— Пусть ничто не отделяет их друг от друга и от нас с тобой, — сказала Фрида. — Мы семья, и если всем все объяснять, то получится, что для нас это важно, хотя глупости все это. Зачем кому-то знать? Кому какое дело?

— Бумаги-то в больнице сохранились, — напомнил Вольфганг.

— Вот пусть там и лежат. Это никого не касается, кроме нас.

## Плач и крик

### Берлин, 1920 г.

Мятеж, известный как путч Каппа, длился меньше недели. Продрогший Берлин стоял в очередях к колонкам, источавшим струйки ледяной воды, а мнимый диктатор Капп пять дней слонялся по Президентскому дворцу и затравленно выглядывал на Вильгельмплац, гадая, как подчинить народ своей несгибаемой воле. В конце концов он решил, что задача невыполнима, а потому взял такси до аэропорта Темпельхоф и самолетом отбыл в Швецию, навеки распростившись с постом главы государства.

Берлин возликовал, и на Унтер-ден-Линден собралась многотысячная толпа, желавшая посмотреть на войско фрайкора, которое менее недели назад триумфально промаршировало под Бранденбургскими воротами, а нынче двигалось в обратном направлении.

Фрида и Вольфганг решили поучаствовать в празднике.

— Для Берлина это великий день, — возбужденно говорила Фрида, с коляской пробираясь сквозь толпу. — Не так часто кроха рабочей солидарности берет верх над военными. Сплоченность — больше ничего и не надо.

— Кроме как выпить, — ответил Вольфганг, увидев ларек, торговавший пивом и жареной картошкой. — Гулянка все же.

И впрямь, вокруг царило веселье. В толпе рыскали лоточники, бессчетные уличные музыканты зарабатывали пфенниги. Однако с приближением отступавших вояк, о котором извещал грохот тысяч кованых сапог, в ногу чеканивших шаг по мостовым Шарлоттенбургер-шоссе и Унтер-ден-Линден, праздничное настроение толпы сменилось мрачной угрюмостью.

— Черт! — обеспокоенно шепнул Вольфганг. — Немецкие солдаты минуют Бранденбургские ворота в гробовом молчании. Небывало.

— Они не солдаты — они ополоумевшие бандиты, — ответила Фрида.

— Не нравится мне это, — занервничал Вольфганг. — Как-то все нехорошо.

— Теперь уже поздно, — сказала Фрида.

Вцепившись в коляску, они смотрели на ненавистные шеренги, маршировавшие меж громадных каменных колонн знаменитых ворот

Фридриха Вильгельма.<sup>[9]</sup> Изнуренные озлобленные лица. Что бы ни говорила Фрида, в строю шли солдаты в старой армейской форме и угольно-черных стальных касках.

— Смотри, кое у кого на шлемах странные перекошенные кресты, — шепнул Вольфганг. — Что это?

— Не знаю, — ответила Фрида. — Кажется, индийский знак.

— *Индийский?* — прыснул Вольфганг, забыв о серьезности момента.

— Да, буддийский или индусский, точно не знаю. По-моему, называется «свастика».

— *Буддийский?* — недоверчиво переспросил Вольфганг. — Ни хрена себе!

Толпа замерла. Молчание ее оглушало, как и грохот сапог.

Позже Фрида говорила, что это было восхитительно. Презрительное молчание огромного города казалось выразительнее всякого шума и криков. Нет, не соглашался Вольфганг, с самого начала было жутко. Народ молчал от страха. От ужаса перед тем, на что способны маршировавшие солдаты. Что может произойти.

И что произошло.

Все началось, когда солдатский строй почти иссяк. Голова колонны уже достигла моста через Шпрее. Каждый сам по себе: мрачная толпа безмолвствовала, солдаты чеканили шаг. Эдакое странное перемирие.

А потом неподалеку от Вольфганга и Фриды, оберегавших коляску, крикнул мальчишка.

Высокий ломкий голос перекрыл гулкий грохот сапог. Наверное, будь мальчишка постарше, а голос его чуть ниже, никто бы его не услышал, крик затерялся бы в ритмичной поступи.

Но мальчишке было не больше двенадцати-тринадцати.

— Проваливайте, тупые козлы! — крикнул он. — Влада Ленина — в немецкие канцлеры!

Тотчас двое покинули строй и выдернули пацана из толпы. Народ потрясенно замер, и лишь какая-то женщина вскрикнула, когда прикладами винтовок солдаты сбили мальчишку наземь, первым же ударом вышибив ему зубы. Двое, мужчина и женщина, кинулись на помощь погибавшему ребенку и вцепились в винтовки, взлетающие цепами.

— Твою мать! — крикнул Вольфганг. — Хватай детей! Подними над головой! Скорее! Скорее!

В мгновение ока безмолвная толпа превратилась в разъяренного зверя. Задние ряды напирали, передние пятились. Едва Фрида и Вольфганг успели выхватить малышей из коляски, как ее опрокинули и затоптали.

— Уходим! Назад! — рявкнул Вольфганг. — Ради бога не споткнись!  
Подняв малышей над головой, перепуганные супруги пытались уйти от беды и пробивались сквозь толпу искаженных яростью лиц, рвавшихся беде навстречу.

— Пропустите! — закричала Фрида. — У нас дети!

Кое-кто пытался дать им дорогу, но ослепленная яростью толпа, возмнившая, что числом одолеет вымуштрованных солдат, напирала. И вскоре грянул кошмар, развеявший это заблуждение.

Резкий голос выкрикнул команду, следом пропел горн. Солдатский строй мгновенно остановился, а затем столь же согласованно развернулся лицом к разгоряченной толпе. Вновь гавкнула команда, поддержанная горном, и мышастая шеренга лязгнула, оцетинившись вскинутыми к плечу винтовками.

В этот миг кошмар мог бы закончиться. Толпа замялась. Бессчетные зрачки ружейных дул и зловещий унисон передернутых затворов сбили порыв безоружных людей, и те осадили назад. Все могло бы прекратиться. Мальчишка, дерзнувший оскорбить могущественный фрайкор, был мертв, а возможные мстители обузданы.

Но это Германия. Берлин двадцатого года, и джинн насилия, выпущенный из бутылки, уже *никогда* не вернется назад, даже если пробку лишь чуть-чуть приоткрыли.

— Огонь! — выкрикнул голос.

Горн уже не потребовался, ибо следом за командой грянул залп, и град пуль устремился в головы и сердца ошеломленных горожан.

Убитые рухнули на мостовую, за криками уже никто не расслышал идеально отработанного ритма клацнувших затворов.

— Огонь! — вновь тявкнул голос, и град пуль обрушился на спины беспорядочно отступавшим людям.

Третьего залпа не было. Голос невидимки пощадил беззащитную толпу, но сотни человек уже были убиты и еще больше погибнет в слепой панике бегства.

Семейство Штенгелей всего на пару шагов опередило эту панику, за секунду до первого залпа выбравшись из толпы. Безусловно, сообразительность Вольфганга спасла жизнь Паулю и Отто и, наверное, ему самому и Фриде, но еще километра два они бежали без оглядки.

У Бранденбургских ворот остались войско и его жертвы. По очередной команде солдаты перестроились в колонну и покинули город.

Наутро ненадолго свергнутая власть вернулась к своим обязанностям и в дома дали воду.

## Предложение

### Лондон, 1956 г.

Стоун дважды сглотнул и лишь потом ответил.

Только он начал свыкаться с мыслью, что после многих лет безвестности Дагмар оказалась жива, и вот — извольте.

— Шпионка? Моя невестка — шпионка? Знаете, это... — Стоун поискал подходящее слово и не нашел: — Очень странно.

— Ладно, пусть не шпионка, — уступил пухлый коротышка, которого Стоун окрестил Питером Лорре. — Ну что, сварганим свежего чайку?

— Подите к черту с вашим чайком! — рявкнул Стоун. Чертыханье с легким «инородным» акцентом прозвучало весьма чудно и деланно. — Что значит — пусть не шпионка? Шпионка или нет?

— Скажем так: она определенно работает на восточногерманскую тайную полицию, — ответил Лорре. — Это известно наверняка. Ваша невестка — сотрудница Штази.

Штази. От одного лишь слова дыбились волоски на теле. До самого смертного часа Стоун будет покрываться мурашками при упоминании всякой немецкой полиции. Он не переваривал даже безвредных западногерманских полицейских — улыбчивых косматых юношей в нежно-зеленой форме с подчеркнута невоенными знаками различия. А Штази — вообще новое гестапо. Стоун, работавший в министерстве иностранных дел, был наслышан о деятельности этой организации. От одного ее названия подступала тошнота.

Старый враг воскрес.

Штази. И звучит-то как «наци».

— Вы ошибаетесь, — сказал Стоун. — Явно ошибаетесь. Просто не верится, что женщина, которую я хорошо знал, служит... в этой организации.

— Еще как служит. Не сомневайтесь. — Впервые за весь допрос заговорил второй следователь. Тот, кого Стоун окрестил Хамфри Богартом. Правда, у настоящего Богарта никогда не было йоркширского выговора. — Дагмар Штенгель, урожденная Фишер, работает на Штази. Вот потому-то нас и заинтересовало, что она с вами связалась. Как по-вашему, почему она ищет контакта с вами, мистер Стоун?

Речь его, мягкая и типично английская, полная дружелюбных гласных,

напомнила радиовыступления Дж. Б. Пристли<sup>[10]</sup> во время войны. Однако смысл ее не имел ничего общего с мягкостью и дружелюбием.

— Она моя невестка, — сказал Стоун.

Богарт лишь улыбнулся, предоставив ответить Питеру Лорре.

— Да, ваша невестка. — Толстяк обмахнул крошки с галстука. — И родственная привязанность ее так сильна, что на весточку понадобилось семнадцать лет. Вы же, получив сию весточку, в подлинности коей даже не вполне уверены, тотчас намылились в Восточный Берлин, хотя должны понимать, что при вашей должности это вызовет недоумение определенных ведомств.

— А что моя должность?

— Бросьте, Стоун! — рыкнул Лорре. — Вы служите в министерстве иностранных дел. В немецком отделе.

Стоун промолчал. Тут, конечно, их можно понять.

— Просто нам кажется, — йоркширский голос был негромок и спокоен, — что министерский чиновник среднего звена ведет себя слегка опрометчиво, загоревшись желанием пообщаться с сотрудницей Штази, пусть даже родственницей.

— Но я не знал, что она служит в Штази! Признаюсь, я удивлен, что вы считаете Дагмар... В юности политика ее ничуть не интересовала.

— Если живешь в Восточной Германии, ты коммунист либо им притворяешься, — сказал Питер Лорре. — Наверное, властям без разницы. И потом, Красная армия выступила освободительницей. Видимо, девушка ей за это благодарна.

— Судя по тому, что в сорок пятом творила Красная армия, продвигаясь на запад, мало у кого из немцев есть повод для благодарности.

— Но ваша невестка — еврейка.

— А Советы всегда обожали евреев, верно? — с горьким сарказмом сказал Стоун. — Вам не хуже меня известно, как с ними обращался НКВД. Кремлевские волки мало чем отличались от нацистов.

— Вот мы и подошли к сути, — улыбнулся Богарт.

— Она имеется? Если не считать, что меня фактически обвинили в предательском умысле.

— Да, имеется. Невестка ваша не вполне годится для Штази уже потому, что структура эта сплошь антисемитская.

— Вот почему... — начал Стоун.

— Однако Дагмар Штенгель определенно в числе сотрудников, — перебил Питер Лорре, предвосхищая возражение. — В чем нет никакого сомнения. Абсолютно никакого. Как только она вам написала, мы ее



провентилировали.

Дагмар и Штази — представить ужасно, однако возможно. Девушка, которую знал Стоун, не интересовалась политикой, но была умна, тверда и целеустремленна. Дагмар уцелела в войне, и кто знает, какой кошмар она пережила за все эти годы. На какие компромиссы шла. Как сильно переменилась.

— Сдается нам, еврейка, работающая в Штази, будет сотрудничать с кем угодно. — Богарт говорил все так же спокойно, почти равнодушно. — И мы подумали: раз уж вы туда собираетесь, может, попробуете ее завербовать?

Он улыбался. Будто просил о любезности — передать гостинец или вернуть книгу.

## Новая модель Берлин, 1921 г.

— Хочешь сказать, ты разденешься? — спросил Вольфганг. — Перед этим хмырем?

— Если попросят, а я думаю, герр Карлсруэн попросит. — Фрида кокетливо тряхнула темными густыми волосами, недавно остриженными. — Нимфы не очень-то кутаются.

На кухонном столе Вольфганг перепеленывал Пауля. Он взял сына за ножки, чтобы подтереть ему попку, но сейчас так возмутился, что едва не взмахнул ребенком.

— Так вот, я не хочу, чтобы ты этим занималась, — сказал Вольфганг. — Больше того, я... запрещаю.

Фрида от души рассмеялась над этой безнадежной попыткой проявить мужнину власть, но смех ее утонул в пронзительном вопле Пауля, решившего, что возня с его попой затянулась и пора бы отпустить его ноги.

Отто мгновенно поддержал брата, ибо малыши уже смекнули, что на пару легче создать идеальный бедлам.

— Видишь, что ты наделал! — укорила Фрида.

— Я наделал? — возмутился Вольфганг. — Малыш рыдает, потому что мамочка его нацелилась в стриптизерши.

— В модели, Вольф!

— В обнаженные модели, Фрида!

Закончив пеленание, Вольфганг почти швырнул Пауля в кроватку к братцу, отчего мощность воплей удвоилась, и Фриде пришлось минут десять укачивать малышей, напевая «Коник скак-скак». Братья очень любили эту песенку и, хоть еще не разговаривали, похоже, все понимали, поскольку особенно веселились на куплете, в котором упавшего бедолагу-коника клевали вороны.

— Послушай, Вольф, позировать обнаженной — легкая работа, которая даст деньги.

— Нам много не нужно.

— Ах, не нужно? — Не дожидаясь ответа, Фрида в два шага пересекла крохотную кухню и распахнула дверцы стенного шкафика, прозванного кладовкой. Кроме специй и приправ на полках лежали два кусочка сыра и колбасы, несколько морковок, пять довольно крупных картофелин и полбуханки черного хлеба. Помимо перечисленной провизии на

подоконнике в миске с водой стояла бутылка молока, а над раковиной — банки с молотым кофе и сахаром.

— Это все, Вольф, — сердито сказала Фрида. — Весь наш провиант до той поры, пока ты не найдешь себе оркестр или мы опять не пойдем клянчить у моих родителей. Я студентка, ты, по сути, безработный, но у нас дети, которых надо кормить! Нам нужны деньги, и если какой-то дурак согласен платить за то, чтобы на пару часов я покрылась мурашками, я обеими руками ухвачусь за его предложение.

— Скорее он обеими руками ухватится за тебя.

— Он художник, Вольф. К тому же богатый. Платит бешеные деньги.

— Не нуждаемся мы в его деньгах. Проживем, — надулся Вольфганг. — Чай, не голодаем.

— Именно, Вольф. Всего лишь не голодаем. Чем тут гордиться? Не голодаем! Надо же, какая высокая планка! А мне вот хочется жить чуть лучше этого «не голодаем». Хотелось бы по выходным позволить себе пирожное, хотелось бы побольше молока детям, и если для этого нужно три раза в неделю раздеться, то пусть всякий берлинский скульптор увековечит в мраморе мой зад, я не возражаю.

Вольфганг насупился, но промолчал.

По линолеуму шмыгнула крыса. Вольфганг злобно швырнул в нее башмаком.

Промазал, но шумом разбудил Отто, и малыш опять заплакал. Потревоженный Пауль вскинул руку и оцарапал брата ногтями, которые Фрида уже твердо наметила остричь вечером. Естественно, Отто завопил как резаный, и Пауль, следуя негласным братским правилам, его поддержал.

Мир был восстановлен лишь после того, как Фрида дала сыновьям грудь, за что беспрестанно себя корила. Она желала хоть как-то упорядочить свою безалаберную жизнь и всерьез пыталась отлучить детей от груди, памятуя слова патронажной сестры о том, что кормление грудью дольше девяти месяцев — прямой путь к неразберихе и кладезь всевозможных злосчастий.

К удивлению Фриды, Вольфганг нарушил угрюмое молчание не покаянием, но очередными нападками на ее новую работу.

— Я не особо возражал, когда ты позировала в художественном училище, — сказал он. — Это еще приемлемо.

— Ох ты! Значит, полсотни человек могут видеть меня голой, а один — нет? Так, что ли?.. Ой, зараза! — вскрикнула Фрида. Прорезавшиеся зубки — тоже повод поскорее отлучить малышей от груди.

— Да, вот именно! — выкрикнул Вольфганг. — В этой чертовой студии ты будешь наедине с похотливым старикашкой.

— И зарабатывать впятеро больше против училища.

— Но *чем*? На что он рассчитывает? Вот что хотелось бы знать.

— Он рассчитывает на титьки и задницу, Вольф! — прошипела Фрида, пытаясь одновременно крикнуть и не шуметь. — Чего у меня в избытке, поскольку близнецы накинули мне десяток кило. Надо же, в день съедаю *корочку хлеба*, а похудеть не получается.

— Но почему *твои* титьки и задница? Вот что мне интересно, — не желал сдаваться Вольфганг. — Что он в тебе нашел?

— Ну, спасибо огромное!

— Значит, запал на тебя.

— Говорю же, он художник, Вольф, натурщицы нужны ему для вдохновения, но при нехватке мяса и масла все его прежние девушки растеряли свои прелести. А я вот, видно, сохранила.

— Прелести? Это он так сказал? *Прелести*? Свинья пакостная!

Однако Вольфганг понимал, что скульптор, черт бы его побрал, прав.

Мужики всегда оборачивались на Фриду: по-девичьи открытое лицо с широко посаженными глазами и аккуратным вздернутым носиком, темно-каштановые блестящие волосы, ладная спортивная фигура, считавшаяся «современной», и вместе с тем пышная грудь. За беременность Фрида слегка пополнила в бедрах, что ничуть ее не портило.

— Помимо всего прочего, — сменил тактику Вольфганг, — он неописуемо паршивый художник.

— Викторианский реалист.

— А я о чем? Нет, ей-богу, что толку в реализме? Есть же фотоаппарат. Иди снимай! На выдержке в одну сотую секунды он гораздо лучше все запечатлеет.

— Многим нравится реализм.

— Идиотов хватает.

Фрида уложила детей и грохнула кастрюлю с водой на плиту:

— Я не собираюсь продолжать этот дурацкий разговор.

— Больше тебе скажу...

— Я не слушаю.

— Карлсруэн — законченный реакционер. Я читал его интервью. Вообрази, он поддерживает «Штальхельм»!<sup>[11]</sup>

— И что? А был бы коммунистом, имел бы право пялиться на мои титьки?

— Пожалуй, нет, — уступил Вольфганг. — Другое дело, будь он

экспрессионистом или сюрреалистом.

— Ты совсем ополоумел, Вольф.

— Ах, это я ополоумел? Ладно, тогда скажи: не собирается ли твой драгоценный Карлсруэн всучить тебе копье и крылатый шлем?

Фрида замялась. Муж попал в точку. Ей самой казалось смешным и слегка диким, что она, молодая еврейка, будет изображать дух немецкого народа, опасаясь, как бы не закапало молоко из груди.

— Ну... да, — улыбнулась она. — Копья и шлемы поминались, верно.

— *Крылатый шлем.*

— Ну иногда. В образе Рейнской девы.

Теперь и Вольфганг чуть усмехнулся:

— Значит, будешь стоять совсем голая, но в *крылатом шлеме*?

— По-моему, я уже сказала.

— Но ведь Рейнские девы — нимфы, нет?

— В данном случае нимфы в шлемах.

— Для нимф как-то не очень.

— С этим к герру Карлсруэну. Слушай, Вольф, рассуди трезво. — Фрида хотела помириться. — Если он считает, что я похожа на дух немецкой женщины, хрен-то с ним. Говорю же, он платит по высшей ставке, а всего-то нужно — замереть и слушать Вагнера.

— Тебя надо озолотить уже за то, что слушаешь эту дрянь.

— Я не против умеренной дозы Вагнера.

— Он был отъявленный антисемит.

— При чем тут его музыка?

— При том, что он был дерьмовый композитор и поганый человек.

— Не всем же быть крутыми джазменами. Изредка кто-то должен сочинять мелодию. Ты уж совсем сдурел.

— Обращаю твое внимание, что не я планирую поставить тебя голой в шлеме! Пораскинь мозгами. Голая. Но в шлеме. Никакой логики. Или публику прошибешь только Асгардом?<sup>[12]</sup>

— Кто это у нас ратует за реализм? — Фрида занялась грудой мокрого белья в ведре.

— Твой ваятель обитает в самом лихорадочном и безумном городе Европы. Тут в каждой студии найдется сумасшедший гений, нарушающий все законы формы, а этот хер желает увековечить в камне «Кольцо нибелунга».

Фрида выудила из ведра мокрое махровое полотенце и стала отжимать его в валках.

— Ты жалкий и самодовольный законченный реакционер наоборот, —

сказала она. — Ей-богу, это противно.

— Крути давай, — ответил Вольфганг. — Карлсруэну понравятся твои мышцы. Глядишь, произведет тебя в Брунгильды.<sup>[13]</sup>

— Знаешь, в искусстве не один стиль. — Стиснув зубы, Фрида крутила неподатливую ручку. — Не все хотят любоваться картинами с младенцами на штыках и безногими солдатами, столь милыми твоему сердцу. Нельзя всем быть Жоржем Гроссом или Отто Диксом.<sup>[14]</sup>

— Оба — гении. Джаз на холсте. Такие как Карлсруэн и его дурацкий «Штальхельм» вопят о возвращении былого величия Германии. Она уже великая. В Берлине, в сотне метров от нас с тобой, происходит такое, что даже не снилось Парижу и Нью-Йорку.

— Послушай себя — что ты городишь! — сказала Фрида. Вода из выжатых пеленок ручьем лилась в поддон. — Ты еще больший шовинист, чем «Стальные шлемы». Ах-ах, в искусстве мы переплюнули треклятых чужеземцев. В Германии даже среди авангарда националисты. стыдоба.

— Я лишь о том, что в кои-то веки у нас происходит нечто, чем можно гордиться. — Тон Вольфганга свидетельствовал, что Фрида, как ни крути, права.

— Значит, ты бы успокоился, если б я позировала тому, кто изобразит меня с квадратными грудями и тремя ягодицами. Вот тогда все было бы нормально, да?

— Несравнимо лучше.

Фрида промолчала. Однако яростно крутанула ручку.

## Рейнская дева

### Берлин, 1922 г.

Вопреки сопротивлению мужа Фрида стала натурщицей и позировала герру Карлсруэну в 1921 году, а затем и в следующем. Летом 1922-го она как раз шла в мастерскую скульптора, когда услышала ужасную новость об убийстве германского министра иностранных дел — по дороге на службу его расстреляла банда юнцов, науськанных реакционными антисемитами. Мальчишка-газетчик торговал специальным выпуском «Берлинер тагеблатт». «Вальтер Ратенау<sup>[15]</sup> убит! — выкрикивал он. — Застрелен в машине!»

У Фриды екнуло в животе. Только жизнь вроде бы стала налаживаться, так нате вам — убит передовой политик. Старое немецкое безумие вновь приподняло чугунную голову.

На оживленной Мюллерштрассе Фрида вышла из трамвая и свернула в переулок, где некогда были всевозможные конторы и магазины, а теперь в основном жилые дома. Улица служила границей рабочего района Веддинг, облюбованного художниками за житейскую приземленность и относительную богемность. Карлсруэн арендовал студию ближе к его центру, что позволяло снискать репутацию творческой личности, пребывая в отдалении от опасного левацкого квартала, известного как Красный Веддинг.

В доме консьержка по обыкновению одарила Фриду подозрительным прищуром, говорившим, что все натурщицы, позирующие голяком, — шлюхи. Фрида ответила ей гордым взглядом, полным пренебрежения, и поднялась в мансарду, где творил Карлсруэн. Сквозь приотворенную дверь доносился голос скульптора, подпевавшего граммофонной записи «Гибели богов». Он всегда работал под музыку, но, как правило, не пел. Видимо, сегодня был подшофе. Он обожал пиво и шнапс.

Фрида решительно стукнула в дверь, и та распахнулась. Наверное, Карлсруэн покачал головой. Как-то раз он укорил Фриду, что она «ломится, точно грузчик», и призвал к деликатному стуку, свойственному даме. Разумеется, в следующий свой визит Фрида со всей мощи саданула кулаком по двери и отныне в нее только дубасила. Похоже, этакое своеволие лишь распаляло маэстро. Он принимал глупо покровительственный вид и посмеивался, точно долготерпеливый отец

взбалмошной девчонки.

Все это весьма раздражало, но близились выпускные экзамены, и позирование голышом было самым легким способом заработать деньги. В Берлине сотни девушек убили бы за такую удачу.

Правда, с недавних пор Карлсруэн слегка обнаглел. Фриду корежило от его обращений «бесстыдница моя» и «плутовка». Требуя поднять плату, говорил Вольфганг. Но Фрида утешалась тем, что, как только получит диплом, навеки распрощается со старым дурнем.

— Входите, — раздался знакомый самодовольный голос. — Разводящий ко мне, остальные на месте.

Карлсруэн никогда не служил, но любил подпустить военщины.

Как и ожидалось, он был один. Прежде в дальнем углу студии всегда маячила пара-тройка молодцев, возившихся с гипсом и инструментами. Карлсруэн называл их «учениками». Наличие «учеников», которые больше смахивали на платных помощников, ему очень льстило, он мнил себя таким Микеланджело. Однако с недавних пор на время Фридиных сеансов он усылал их за покупками или с иными поручениями.

Огромная студия занимала весь этаж. Сквозь стеклянную крышу ее заливал чудесный естественный свет, которого вполне хватало даже в пасмурную погоду. Уже вечерело, и Карлсруэн зажег тусклые сорокасвечовые лампочки, свисавшие с потолочных карнизов, отчего студия наполнилась причудливыми тенями безмолвных гипсовых скульптур.

У дальней стены на постаменте стояла настольная лампа под абажуром, направленная, точно театральный прожектор, на подиум натурщицы.

Великий творец, облаченный во всегдашние белую блузу и берет, занимал свое обычное место, но бутылка шнапса в его руке говорила, что он не особо утруждался творчеством.

В основном Карлсруэн работал в глине — ваял умеренно эротические статуэтки, по матрицам которых отливались бессчетные гипсовые копии для продажи на рынках. Иногда он замахивался на что-нибудь посерьезнее и тогда творил в бронзе, а то и мраморе, но эти материалы было не так-то просто достать.

Фигура в белом молча следила за Фридой, пересекавшей зал. Стуча каблуками по голым грязным половицам, она шла мимо незаконченных героев и стыдливых нимф, огибала стремянки, мешки с сухим гипсом и верстаки, заваленные кистями, палитрами, ножами, долотами, карандашами и бумагой. Взгляд Карлсруэна неотступно следовал за ней все двадцать метров пути до маленькой ширмы в закутке, который скульптор



окрестил «костюмерной».

Про себя Фрида смеялась над этим нелепым стремлением к «этикету». Тем более что «костюмерная» не предполагала иных нарядов, кроме костюма Евы, и Фрида всегда спешила раздеться, поскольку отсчет ее рабочего времени начинался с момента, когда она, уже голая, принимала позу. Проще раздеться прямо у подиума, предлагала Фрида. На все свои правила, отвечал Карлсруэн, разоблачаться следует в «уединении», как того требует женская стыдливость. Потом Фрида заметила, что с каждым разом ширма оказывалась все дальше от подиума. Карлсруэн явно наслаждался зрелищем, когда Фрида голышом шла по студии. Конечно, это интереснее, чем пялиться на неподвижную модель.

— Добрый вечер, фройляйн, — сказал Карлсруэн. — Какая радость видеть вас! Солнце зашло, но свет его сияет в вашей улыбке.

— Нынче не до улыбок, герр Карлсруэн. Убит Вальтер Ратенау, слышали?

Фрида не хотела затевать беседу, она вообще старалась поменьше говорить с Карлсруэном, но уж лучше что-нибудь сказать, чем слушать нежеланные комплименты, слащавые и неуклюжие.

— Да, слышал, — отмахнулся Карлсруэн. — Но я считаю, не в том дело, что погиб министр иностранных дел, а в том, что еще одна жидовская морда сдохла.

Он засмеялся, словно удачно пошутил.

Фрида промолчала. Ее не принимали за еврейку, и она уже свыклась с досужим антисемитизмом, обычным, как бездумное замечание о погоде. Если всякий раз вступать в перепалку, ни на что другое времени уже не останется.

— Так выразился не я, а мой приятель, известивший меня по телефону, — продолжал Карлсруэн. — Он же услышал эту реплику в Тиргартене сразу после покушения. Народ остер на язык, верно?

— Давайте начнем, — сказала Фрида.

— Конечно, радость моя! Не будем цепляться за гадкое настоящее Германии, но вместе перенесемся в ее легендарное прошлое. Вот только боюсь, что мой скромный дар не ровня прелести, почтившей эту студию, ибо ни холодная глина, ни бронза, ни даже мрамор не в силах передать теплую нежную белизну и восхитительную мягкость вашего тела.

В иное время Фрида выдавила бы улыбку, скрывая тошноту от медоточивых комплиментов, но сегодня с каменным лицом нырнула за ширму. Нынче что-то было не так. Самовлюбленный Карлсруэн был необычайно разнуздан. Шнапс явно его раскрепостил. Лучше бы поумерил

выпивку, подумала Фрида.

Она поспешно скинула одежду и вышла из-за ширмы, чувствуя себя не в своей тарелке. Голодный взгляд старого хрыча стал привычен и уже почти не смущал, однако нынче от его глаз, шарящих по ее телу, Фриду вдруг замутило. Она взошла на небольшой помост и приняла позу как на прошлом сеансе, изящно усевшись на табурет. В композиции, говорил Карлсруэн, табурет превратится в камень, на котором восседает чаровница Рейнская дева, окутанная пенистыми волнами беснующейся великой реки.

Карлсруэн включил настольную лампу; Фрида, залитая светом, сощурилась.

— Вы не озябли, душенька? — спросил силуэт за лампой. — У вас соски отвердели. Для художника это изумительный штрих, тем более что в моем творении мифологическую героиню окатывает ледяной горный поток, однако я боюсь, как бы вы не простыли.

Фрида не шевельнулась, но покраснела. Началось! Последнее время Карлсруэн все чаще рассыпал неумеренные комплименты, в деталях живописуя ее тело. Он уже не притворялся творцом и почти не скрывал вожделения.

Слава богу, скоро сеанс закончится, думала Фрида. А пока нужно просто отключиться. Говорят, все художники втайне немножко влюблены в свои модели.

— Ваши волосы, милая, настоящая тайна. — Карлсруэн даже не думал братья за работу — стоял и пялился. — Вы шатенка? Брюнетка? Клянусь, под светом лампы в ваших волосах проскальзывает огненный всполох.

Фрида догадывалась, что хмырь разглядывает вовсе не волосы, но он был вне поля ее зрения, а шевелиться ей категорически запрещалось.

— Ах, каким украшением стала бы волнистая грива вместо этой чудовищно нелепой стрижки под пажа, которой нынче ваша сестра себя уродует. Знаете, когда я примусь за голову Рейнской девы, я надену вам парик с золотистыми косами, ибо истинная дочь земли германской носит волосы длиной до самого... тыла.

Голос его сорвался. Карлсруэн обошел подиум и встал позади Фриды. Она понимала, куда он смотрит.

Фрида старалась не слушать раздражающую болтовню и не думать о потной роже за своей спиной. По крайней мере, не нужно отвечать, чем работа и хороша. Разговоров от Фриды никто не ждал. Ей платили за неподвижность, безучастность и немоту.

Она знала, что и старикану это по душе. Он наслаждался ее бессловесностью, ее послушанием. Ее покорностью. *Kinder, Kuche,*

*Kirche* — вот на чем заклинило старперовнационалистов. Дети, кухня, кирха. Вот удел добропорядочной немки. Но всего превыше — послушание мужу. Только нынче 1922 год, и все, слава богу, переменилось. Диплом врача будет тому подтверждением. Фрида сосредоточилась на учебе. Она вспоминала свои конспекты, что помогало скоротать утомительные часы позирования. Нынешней темой было кровообращение, и она мысленно перелистала учебник, вспоминая строение сердца.

Фрида разбиралась с артериями и венами, когда это произошло. Карлсруэн взял ее за грудь.

Фрида подпрыгнула, словно ее шибануло током, и, оступившись, грохнулась с подиума, крепко приложившись голым задом об пол.

— Ай-ай-ай! — захвохтал Карлсруэн. — Позвольте я вам помогу.

— Отвали! — Фрида вскочила на ноги. — Чего руки распускаешь? Я замужем! Все, одеваюсь!

Но скульптор загородил проход к «костюмерной», лицо его перекошилось в испуге и похоти.

— Вы оступились, — бормотал он. — Видно, нога затекла.

— Не ври! Ты меня лапал! За грудь! — орала Фрида. — Дай пройти!

— Я только поправил вам волосы. Рука случайно соскользнула. Что вы возомнили, фрау Штенгель? Это я потерпевший. Вы меня оскорбили.

Фрида ожгла его взглядом. Хмырь тискал ее грудь, но до скончания века будет это отрицать. С другой стороны, оно и к лучшему. Черт с ними, с деньгами, мукам конец. Ноги ее здесь больше не будет.

— Отойдите, герр Карлсруэн! Боюсь, я больше не смогу вам позировать.

— Не надо так. Пожалуйста.

— Только так. Приготовьте деньги, пока я одеваюсь.

Полагая инцидент исчерпанным, Фрида шагнула к ширме, но, оказалось, кошмар еще не закончился: старик обхватил ее сзади и уткнулся лицом ей в волосы.

— Прощу! — бубнил он. — Я люблю тебя, крошка! Ты для меня — все. Все!

Фрида рванулась из его хватки и вновь крикнула, что она замужем, присовокупив, что и старый козел женат.

— Кошелка, она меня не понимает! — пыхтел Карлсруэн. Он развернул Фриду к себе и жарко дыхнул ей в лицо: — Ты меня понимаешь! Ты — идеал женщины, ты — моя муза! Любовь моя!

Он крепче ее облапил и прижал к груди. От него несло шнапсом. Хоть далеко не юноша, он был еще крепок, а выпивка и похоть удесятярили его

силу. Фрида не могла вырваться. Хмырь ухватил ее за ягодицы и взбухшей ширинкой терся об ее живот.

— Ты моя крошка Рейнская дева! — сипел он. — Моя маленькая Воглинда, Вельгунда и Флосхильда!<sup>[16]</sup>

И тут Фрида сообразила, как остановить это безумие.

Голой и слабой, ей не одолеть насильника, напавшего врасплох. Но сила и не требуется. Известно его слабое место. Он лапал не Фриду, но свою фантазию, свою извращенную романтическую грезу.

Одно слово угасит его пыл.

— Герр Карлсруэн, вы говнюк! — Фрида сунулась вплотную к его лицу. — Я вам не крошка Рейнская дева! Я взрослая женщина! Будущий врач! И главное — я ЕВРЕЙКА!

Возникла секундная пауза, после чего ошеломленный старик разжал хватку и отступил.

Воспользовавшись моментом, Фрида шмыгнула за ширму.

— Еврейка? — промямлил Карлсруэн. — Вы не говорили.

— Стоило бы вызвать полицию! — Фрида уже натянула белье и застегивала платье.

— Вы... не похожи на еврейку...

— А как должна выглядеть еврейка, недоумок? — Фрида сунула ноги в туфли и вышла из-за ширмы. — Непременный шнобель размером с багор? Так, что ли, хер моржовый?

— Что за выражения... вы дама...

— Выражения! Ты меня чуть не изнасиловал!

— Что вы! Всего лишь объятие, невинный поцелуй... Я думал, вы не против... Виноват. Можете идти.

— Сначала деньги! — Фрида схватила большой мастихин и наставила на скульптора.

Карлсруэн достал из кармана блузы кучку банкнот и сунул Фриде в руку.

— Пожалуйста, уходите, — сказал он.

Фрида отшвырнула мастихин и ринулась к двери.

— Запомните, герр Карлсруэн: мужу я ничего не скажу только потому, что иначе он вас убьет. Понятно? Убьет!

## Дистрикт и Кольцевая линия Лондон, 1956 г.

Ближе к полудню Стоун вышел из дома на Куинс-гейт, где проходил допрос. От казарм в Челси прогарцевал кавалерийский эскадрон, направлявшийся в Гайд-парк. Всадники впечатляли, хоть были не в парадной, а повседневной форме. Отголосок имперского величия. Стоун неловко отсалютовал. Видимо, сила привычки. Говорят, военщина въедается. Вообще-то, армия ему нравилась — не мишурным лоском, а духом отваги и товарищества. Недолгая служба в британских войсках одарила его домашним теплом.

Стоун зашагал к станции метро «Южный Кенсингтон». Лорре и Богарт велели идти домой, на работе сказать больным и ждать указаний. Дескать, с министерским начальством все будет улажено, он не потеряет ни в деньгах, ни в доверии.

О деньгах Стоун не беспокоился. В голове неотвязно крутилась ошеломительная новость: Дагмар — сотрудница Штази.

Впрочем, такая ли ошеломительная? Война сильно всех изменила. Если б вернуться в прошлое и взглянуть на себя довоенного, мог ли он представить путь, ожидавший беспечного бунтаря, помешанного на футболе? Путь, в конце которого придется чахнуть в кабинете Уайтхолла, отбывая долгую и нудную епитимью того, кто выжил.

Дагмар вряд ли узнала бы его нынешнего. А он ее узнал бы?

У входа в метро, с девятнадцатого века сохранившего красную черепицу, Стоун отклонил предложение купить дневной выпуск «Стэндард». Новости те же, что и вчера. Передовицы все еще трубили о последствиях Суэцкого фиаско и нескончаемом унижении, которому Британию подвергли Эйзенхауэр и американский Госдепартамент, не говоря уже о Насере.<sup>[17]</sup> Соединенное Королевство лягнулось, Египет на подъеме, весь Ближний Восток поигрывает мускулами.

Из открытого окна над входом в метро доносилась песня Лонни Донегана.<sup>[18]</sup> Если честно, эти песенки Стоун слушал не без удовольствия, кроме одной дурацкой, про жвачку и кроватный балдахин.<sup>[19]</sup> Скиффл подкупал своей шершавостью и непочтительностью к авторитетам. Однако сейчас он раздражал. Раздражали девушки, щебетавшие на лестнице. И объявления диспетчера.

Стоун пытался размышлять.

В письме сказано, что Дагмар сидела в советском Гулаге. В этом была жестокая логика. После войны русские отправили в лагеря сотни тысяч ни в чем не повинных людей, недавно освобожденных из плена. Хотя малодушные апологеты из числа лондонских левых очень старались замолчать или оправдать сей факт.

И потом, Дагмар — буржуйская еврейка. Две галочки в сталинском гроссбухе.

Но это было десять лет назад. Невозможно, чтобы все эти годы Дагмар провела в советском лагере, а теперь вдруг стала сотрудницей Штази. Значит, в какой-то момент ее освободили и «реабилитировали». Однако лишь теперь она подала весть. Почему же так долго не пыталась его разыскать?

И почему разыскала сейчас?

Подъехал поезд. Стоун нашел свободное место и закурил «Лаки Страйк». Его отец всегда любил американские сигареты.

Ответ на первый вопрос очевиден. Дагмар *не хотела* возобновлять отношения. Общение с тем, кто живет на Западе, добром бы не кончилось. Особенно с таким, как он: бывший немец, обитает в Англии, служит в министерстве иностранных дел. Конечно, на своей должности Дагмар могла все это разузнать и понять, что контакты с ним навлекут на нее подозрение. Желание МИ-6 через него завербовать Дагмар лишний раз это подтверждает.

Тогда зачем она дала о себе знать?

Ответ выходил столь волнующим, что даже в самых потаенных мыслях он не осмеливался его принять.

Дагмар в нем нуждалась.

Зажав сигарету губами, Стоун достал из бумажника письмо. Тот же знакомый почерк. Может, теперь чуть шаткий, словно печаль поубавила оптимизма.

*Дорогой друг, в нашу последнюю встречу в кафе на вокзале Лертер ты взял меня за руку и прошептал так, чтобы никто, даже твой брат, не услышал. Ты сказал, что любишь меня и всегда будешь любить. Ты обещал, что мы еще увидимся. Ты сдержишь обещание? Конечно, теперь мы чужие. Но ты приедешь? Может быть, вместе мы сумеем улыбнуться над полузабытым счастьем из другой жизни и другого времени. Все ждут Моисея.*

Последняя строчка. *Все ждут Моисея.*

Его мать так говорила. В первый год кошмара. В 1933-м. Те, кто к ней приходил, просили о выходе. Ведь она врач, а врачи умеют ответить на любой вопрос. Даже как получить выездную визу. Но при всем ее уме и сострадании доктор Штенгель этого не знала. Она лишь улыбалась и ласково шептала: *Все ждут Моисея. Надеются, что он выведет народ из Египта.* В первый год она говорила это часто, затем реже, а потом и вовсе перестала.

Значит, у Дагмар опять свой Египет.

И теперь Моисей ее не подведет.

## Бешеные деньги

### Берлин, 1923 г.

На толстом синем английском ковре, доставшемся от родителей Вольфганга, играли Пауль и Отто, а Фрида за письменным столиком разбиралась в семейном бюджете. Взгляд ее задержался на одной банкноте, и вдруг она платком промокнула глаза.

Мальчиков, еще полагавших плач исключительно своей прерогативой, материнские слезы застали врасплох, и они прекратили игру.

— Мама, не плачь, — хныкнул Отто.

— Я не плачу, милый. Просто ресничка в глаз попала.

Фрида высморкалась, и мальчики отвлеклись на дела поважнее: под шумок Пауль спер из крепости Отто парапет, пристроив его в собственную фортификацию. Пауль, обладатель глубоко посаженных темных задумчивых глаз, отличался большей дальновидностью, а Отто, отнюдь не дурак, — необузданной импульсивностью, которая сейчас проявилась мгновенно и яростно. Пухлый кулачок его съездил Пауля по башке, от чего моментально вспыхнула драка, конец которой положил Вольфганг: выскочив из спальни (где отсыпался после ночного концерта), водой из игрушечного пистолета он облил кучу-малу из молотящих и лежащих рук и ног. Однажды в парке он обучился этому приему у человека, разводившего собак.

— Собачью свару я разливаю водой, — сказал заводчик. — Доходит быстро.

Вольфганг решил, что у его драчливых трехлеток можно выработать тот же условный рефлекс.

— Пока они лишь дикие зверята, — увещевал он Фриду — она возражала против того, чтобы ее детей дрессировали как собак. — Согласись, метод работает.

— Ничего он не работает. Им просто забавно.

— Все равно, смех лучше ора.

Сейчас, утихомирив близнецов, Вольфганг заметил женины покрасневшие глаза.

— Что случилось, Фредди? — спросил он. — Ты плакала?

Вольфганг подсел к жене на винтовой табурет от пианино.

— Не надо, маленькая. Я понимаю, времена нелегкие, но мы же справляемся, правда?



Фрида не ответила, только протянула ему купюру в десять миллионов марок, которая оказалась в сдаче за давешнюю покупку литра молока.

На банкноте виднелась грустная надпись ученическим почерком: «Вот за эту бумажку я продала свою невинность».

Вольфганг нахмурился и пожал плечами:

— Наверное, это было месяц назад, не меньше. Сейчас даже деревенская дурочка за свою девственность потребует сто миллионов.

— Вот уж не думала, что Германия скатится в такое безумие, — шмыгнула носом Фрида.

— Если проигрываешь мировую войну, нечего ждать, что наутро все будет нормально. Та к мне кажется.

— Прошло *пять лет*, Вольф. По-моему, в стране уже никто понятия не имеет, что такое «нормально».

На площадке лифт громким лязгом объявил о прибытии на их этаж.

— Эдельтрауд, — страдальчески улыбнулась Фрида.

— Наконец-то.

— Надо купить ей часы.

— Надо дать ей пинка под зад.

Эдельтрауд служила у них горничной и нянькой. Семнадцатилетняя беспризорница с двухгодовалой дочерью под мышкой забрела в Общественный медицинский центр, где работала Фрида, и просто рухнула, измученная голодом и мытарствами. Фрида ее накормила, одела, устроила в общежитие, а еще, ради смешливой девчушки, ползавшей по полу, обещала работу.

Этот ее поступок удивил и раздражил коллег, в большинстве своем негнибаемых коммунистов, не одобрявших буржуазную сентиментальность.

— Если собираешься давать работу всякой босячке, что к нам заявится, вскоре наймешь весь Фридрихсхайн, — ворчал юный Мейер. — Классовую совесть следует направлять в организованное политическое русло, а не расплывать на реакционное и непродуктивное либеральное милосердие.

— А тебе следует заткнуться и не лезть в чужие дела, — ответила Фрида, удивляясь себе.

Затея не шибко обрадовала и Вольфганга, хотя его доводы были не диалектического, а бытового свойства. Его не грела мысль, что беспечная, неумелая и малограмотная пигалица будет шастать по дому и воровать еду. Однако через пару месяцев он был готов признать, что идея себя оправдала. Да, Эдельтрауд вечно опаздывала, была не самой трудолюбивой на свете и

обладала *неописуемо* скверной привычкой переставлять вещи на полках. Но она была славная и незлобивая, а близнецы ее обожали, что Вольфганг объяснял одинаковым уровнем развития всей троицы.

Эдельтрауд была всего на шесть лет моложе Фриды, но иногда той казалось, что у нее появилась дочка, юная и наивная.

Она и всплакнула над банкнотой с жалостливой надписью, потому что подумала об Эдельтрауд.

— Ведь и она могла такое написать, — сказала Фрида.

— Дорогая, когда Эдельтрауд получает деньги, хоть как заработанные, она не тратит время на душераздирающие надписи. Она все спускает на шоколад и журналы о кино. Кроме того, она не умеет писать.

— Вообще-то уже немного умеет — я с ней занимаюсь.

— Только не говори засранцу Мейеру. Он скажет, что единичные попытки не освободят деклассированные элементы, нужны скоординированные массовые действия.

— Я не стремлюсь освободить деклассированные элементы. Я хочу, чтоб она могла прочесть мои списки покупок.

В скважине скрежетнул ключ, и в комнату влетела Эдельтрауд. В руке батон от разносчика, под мышкой — дочка Зильке, плод чрезвычайно краткого романа с матросом. Об этом своем опыте в четырнадцать лет Эдельтрауд рассказывала с обезоруживающей откровенностью и непреходящим удивлением:

— Он привел меня в мебелирашку, справил свое дело, которое не шибко-то мне понравилось, и сказал, что сходит в сортир. Ну, через час я еще думала, что у него запор. И сообразила, что гад слинял, лишь когда хозяйка забарабанила в дверь и потребовала денег, которых у меня, конечно, не было. Нечего сказать, славный способ распрощаться с целкой.

Сейчас Зильке, очаровательной жизнерадостной малышке с копной светлых, чуть ли не белых кудряшек, исполнилось два с половиной года. Разумеется, кудри ее были предметом восхищения и жутким искушением для Пауля и Отто, не упускавших случая их подергать.

— Здравствуйте, фрау Штенгель и герр Штенгель! Я привела Зильке, — с порога объявила Эдельтрауд. — Вы не против?

— Нет, конечно, мы всегда ей рады, — сказала Фрида. — Если мальчишки начнут дергать ее прелестные локоны, шмякни их деревянной ложкой.

— Ладно, пойду еще чуток сосну, — зевнул Вольфганг. — Эдельтрауд, окажи любезность, пока не включай пылесос и постарайся одолеть искушение переключивать ноты на пианино.

— Конечно, герр Штенгель, — ответила Эдельтрауд, машинально поменяв местами обрамленную фотографию и пепельницу на полке над газовым камином.

Вольфганг ушел в спальню, а Эдельтрауд, чрезвычайно довольная приказом не работать, приступила к последним новостям.

— Слыхали? — спросила она, задыхаясь от нетерпения.

— Что?

— Пойнерты отравились газом.

— Господи! — ужаснулась Фрида. — Почему?

Еще не договорив, она поняла глупость вопроса, ибо ответ был очевиден.

— Жили на почтальонскую пенсию Пойнерта без всяких доплат, — объяснила Эдельтрауд. — Оставили записку — дескать, лучше наложить на себя руки, чем помереть с голоду. Продали всю мебель, чтоб им опять подключили газ, на голом полу рядышком улеглись перед краном на плитусе и с головой накрылись одеялом.

— Господи, — прошептала Фрида.

— По-моему, очень-очень романтично, — сказала Эдельтрауд.

Ей еще не исполнилось восемнадцати, и оттого в ее подаче этой кошмарной истории сквозило неосознанное юношеское бессердечие.

Фрида не находила здесь ничего романтического. Совместная жизнь до старости романтична, а вот совместное самоубийство — ужасно и очень печально. Мельком она видела Пойнертов, при встрече с ними раскланивалась, но ведать не ведала об окутавшем их отчаянии.

— Надо было с ними поговорить. Спросить, все ли в порядке, не нужно ли чего.

— И что толку? — фыркнула Эдельтрауд. — Вы же не вернете им обесценившиеся сбережения. Сегодня у табачного ларька одна тетка сказала, что всю жизнь копила, а теперь этих денег не хватит даже на пачку сигарет и газету. Вот и ответ: не фиг копить. Получил — сразу трать.

Она ссадила Зильке с коленей и загрохотала грязными тарелками в раковине.

— Представляете, старики-то принарядились: она в длинном бабушкином платье, он в форменном пиджаке и галстук. Во картина! Разделись, будто на воскресную прогулку в Тиргартене, а потом растянулись на голых половицах, укутав бошки одеялом. Вообще-то, потеха.

Малышка Зильке вразвалочку проковыляла к близнецам. Остановилась перед ними, расставив крепкие босые ножки, скрестила руки на груди и

глубоко задумалась. Наконец решение созрело, и Зильке грузно села на крепость Отто, развалив ее до последнего кубика. Разумеется, взбешенный Отто завопил, а Пауль покатился со смеху, суча ногами. Зильке встала и шагнула к крепости Пауля, которую ждала та же участь, и весело захихикала, оглядывая деревянные развалины двух грандиозных фортификационных сооружений. Настал черед Пауля вопить и Отто — смеяться. Забыв о Зильке, причине их огорчения, братья принялись мутузить друг друга, с воплями катаясь по ковру. Зильке, явно довольная развитием ситуации, сверху навалилась на бойцов, восторженно хохоча.

Фрида и Эдельтрауд не успели утихомирить детей — явился грозный Вольфганг с водяным пистолетом. Побоище стихло лишь после того, как троица насквозь промокла; тогда пришлось ее раздеть и вывесить одежды на балконе. А ребятня затеяла свою наилюбимейшую игру: мальчишки завалили Зильке подушками, собранными со всей квартиры, и под аккомпанемент ее неподдельно счастливого визга прыгали на мягкой горе.

— Теперь уж без толку ложиться, — вздохнул Вольфганг, разглядывая ребячьи конечности, устроившие змеиную свадьбу меж подушек, и поставил турку на плиту. — Днем выступать в Николасзее.

— Могу я сварить вам кофе, герр Штенгель? — бодро предложила Эдельтрауд.

— Нет, не можешь. В прямом смысле. Ты *можешь* сварганить непроцеженную бурду, которую называешь кофе, умудряясь сделать ее чересчур крепкой и в то же время совершенно безвкусной, но вот *настоящий* кофе ты сварить *не можешь*, так что лучше я займусь этим сам, если ты не против.

— Как угодно, — пожала плечами Эдельтрауд. — По мне, главное, чтоб было теплое и жидкое.

— Вот! Ты сумела кратко выразить всю кошмарную суть.

— Вы *смешной*, герр Штенгель.

Вольфганг посмотрелся в полированный бок великолепного пианино «Блютнер», сохранившего зеркальный блеск там, куда еще не доставали детские пальцы.

— Пожалуй, побреюсь. Надо выглядеть презентабельно.

— Я не успела отчистить твой смокинг от потных разводов, — сказала Фрида. — Да еще надо гладить, потому что ты бросил его на полу в ванной, хотя миллион раз я просила тебя вешать одежду хотя бы на стул.

Вольфганг взял смокинг и безуспешно попытался рукой разгладить складки, напоминавшие меха концертино.

— Не понимаю, почему мы должны выступать в наряде метрдотеля, —

сказал он. — Публика приходит нас слушать, а не разглядывать.

— Ты должен быть красивым, сам знаешь. По-моему, единственный выход — купить второй смокинг. У тебя столько халтур, что один некогда почистить.

— Все пляшут. — Вольфганг подал кофе Фриде. — Чудеса. Буквально все, правда. Бабки. Калеки. Легавые, фашисты, коммунисты, попы. Танцуют все. Чем инфляция бешенее, тем народ безумнее. Ей-богу. Берлин официально стал международной столицей чокнутых. Нью-йоркские парни, с которыми я играю, того же мнения. Они сами чокнутые.

— В Америке пляшут на крышах такси и крыльях аэроплана, — поделилась Эдельтрауд. — Я видела в кинохронике.

— В том-то и дело, что для них танцы — забава, а для нас — лечебный курс, — сказал Вольфганг. — Прямо как последний бал перед концом света.

— Не говори так, Вольф! — вскинулась Фрида. — Я же только диплом получила.

— Нам-то, лабухам, лафа. Мы обожаем инфляцию, военные репарации и чертовых французов, оккупировавших Рур. Мы счастливы, что марка угодила в кроличью нору и очутилась в Стране Чудес. Чем стране херовее, тем у нас больше работы. Сегодня у меня пять выступлений. Представляешь, *пять!* В обед играем вальсы для бабок и дедов. Потом обслуживаем танцы вековух, мечтающих о елдаке.

— Вольфганг!

— Вы *смешной*, герр Штенгель.

— Нет, правда, вся страна пустилась в пляс.

К восторгу Эдельтрауд и малышей, Вольфганг отбил степ. В конце войны он освоил это искусство, дабы повысить свою концертную ставку.

— «Да! Бананы не завезли! — напевал он, чеканя ритм „пятка-носок“. — Нынче не завезли бананы!»<sup>[20]</sup>

Фрида улыбнулась, но ее изводила мысль о тех, кто не плясал. О тех, кто в пустых домах замерзал на голых половицах. После очень недолгой отлучки голод с отчаянием вернулись, и немощные дети и старики умирали сотнями.

Танцевальное поветрие накрыло родной город, для многих став пляской смерти.

## Юные предприниматели Берлин, 1923 г.

Юнцу, который в баре подошел к Вольфгангу, было лет восемнадцать, а выглядел он еще моложе. В одной руке парень держал бутылку «Дом Периньона», в другой — массивный золотой портсигар с большим бриллиантом на крышке. Рука с бутылкой обвивала карандашную талию модно истомленной девицы со сногшибательной стрижкой «боб»: темный блестящий шлем, косая челка перечеркивает лоб, две подвитые волны чуть прикрывают уши. Этот потрясающий облик одновременно воспрещал и манил. Чего не скажешь о ее кавалере, в котором Вольфганг мгновенно разглядел законченного козла.

— Эй, джазист! — проблеял юнец. — Надо перемолвиться, мистер Трубач.

Вольфганг на него покосился, но промолчал.

В то сумасшедшее лето в Берлине было полно таких безмозглых богатых сосунков, совершенно нелепых в своей нарочитой громогласности и пьяной наглости.

Мальчики с пушком на щеках, но в безупречных вечерних нарядах, волосы зачесаны назад и набриллиантинены до скорлупочной твердости. Иногда губы чуть тронуты помадой — дань неожиданной моде на легкую голубизну.

И девочки, в восемнадцать лет искушенные и утомленные жизнью. Стрижки «бубикопф» и «херреншнитт», дымчато затененные веки, наимоднейшие платья-футляры, болтавшиеся на костлявых мальчишеских телах.

Новые немецкие предприниматели детсадовского возраста, авантюристы, ошалевшие от спиртного и наркотиков.

Рафке и Шиберы<sup>[21]</sup> — щеголи, игроки, барышники и воры. В кофейнях за кофе с пирожным молокососы торговали акциями и учреждали частные банки. За пару хлебных буханок скупали у военных вдов бесценные для них вещицы и за валюту сбывали французским солдатам в Руре.

Но этот парень был сопляком даже по сумасбродным меркам великой инфляции. Казалось, смокинг ему одолжил для школьного бала отец, а бабочку повязала матушка.

— Привет, папаша, — широко ухмыльнулся он. — Я — Курт, а это небесное создание кличут Катариной. Ух ты! Курт и Катарина. Прямо песня! *Курт и Катарина прилетели с Сардинии!* Недурно. Можешь использовать, если хочешь. Только мелодию сочинить. Поздоровайся с мистером Трубачом, детка.

Девушка холодно кивнула, изобразив намек на улыбку. Или презрительную усмешку. Сразу не разберешь, ибо так и задумано — образ сладострастной недотроги.

Интересно, подумал Вольфганг, репетирует ли она загадочность перед зеркалом, густо затеняя веки больших серых глаз и так загибая ресницы, что они смотрятся вдвое длиннее? Катарина выглядела чуть старше Курта — на целых девятнадцать лет, а то и все двадцать. В свои двадцать пять Вольфганг себя чувствовал старцем.

— Привет, Катарина, — сказал он. — Рад познакомиться.

— Смотреть можно, руками не трогать, мистер Трубач! — предостерег Курт и погрозил пальцем с тяжелым перстнем. — Роскошная детка уже нашла себе папика.

Вольфганг усмехнулся — нелепая роль для юнца, — но втайне подсадовал, что не сумел скрыть восхищения. Сама же Катарина одарила кавалера взглядом, полным столь безграничного презрения, что удивительно, как малец не превратился в кучку пепла.

— Мы с корешами частенько сюда заваливаемся, — сообщил Курт. — Наш любимый гадюшник. Хочешь знать почему?

Вольфганг чуть было не ответил, что вполне проживет без этих сведений. В бар он заскочил, чтоб для согрева опрокинуть стаканчик виски под сигарету, и был не расположен к пьяным излипаниям чужаков. Тем более малолеток.

Но в юном петушке бесспорно было некое обаяние, даже при неизмеримом его самодовольстве. И если уж совсем честно, Вольфганг не возражал еще пару минут побыть под холодным оценивающим взглядом волоокой Катарини.

— Наверное, ты все равно скажешь. Та к что избавь меня от мук. Почему ты сюда ходишь, Курт?

— Понимаешь...

— У меня пусто, — лениво протянула Катарина, длинным ногтем под черным лаком постукивая по краю бокала.

Искрометная жизнерадостность Курта была неуязвима для пренебрежения и шпилек. Он тотчас опорожнил бутылку в бокал спутницы и заказал новую.

— Смотри, чтоб французское! — крикнул он, бросив на стойку настоящие американские доллары. — И солодовый скотч моему другу!

Катарина поднесла бокал к губам, и ее платье тончайшего шелка чуть заморщило на груди. Будто девушка голой прошла сквозь паутину.

И снова Вольфганг постарался не пялиться.

— Дай огня. — Катарина взяла сигарету из пачки Вольфганга, лежавшей возле его стакана. — Я люблю «Лаки». Они подсушенные такие.

Вольфганг чиркнул спичкой о подошву ботинка и поднес огонь. Подавшись вперед, Катарина ладонью накрыла его руку. Пламя высветило ее изящные скулы, затенив виски.

— Так я отвечу, если мне позволят вставить словечко, — сказал Курт. — Мы приходим сюда ради музыки. А точнее — ради тебя, мистер Трубач.

— Большое спасибо. — Вольфганг залпом опрокинул двойную порцию дармового скотча. — Я здесь каждый вечер и рад всем кредитоспособным гостям.

— Ты очень клевый, — процедила Катарина, выпустив дым из губ в пурпурной помаде. Немигающий взгляд из-под сильно затененных век задержался на Вольфганге. — Люблю трубачей. Они умеют согласовать губы и пальцы.

Вольфганг аж покраснел, а Курт покатился со смеху и шлепнул подругу по заднице:

— Хорош заигрывать, пупсик! У меня деловой разговор.

— Правда? — откликнулась Катарина. — Так вот тебе еще дельце, малыш: гони полсотни баксов или ищи себе другую красавицу, с которой будешь выглядеть мужчиной, а не придурочным школяром. И только попробуй еще раз меня шлепнуть.

— Во дает, а? — Курт глупо хихикнул. — Крутой бабец! Таких и люблю. Наверное, я мазохист.

К удивлению Вольфганга, он достал денежную пачку, скрепленную золотым зажимом, и отсчитал пять десятидолларовых купюр, которые девушка спокойно приняла, не поблагодарив даже кивком. Катарина игриво поставила стройную ногу на подножку барного стула, до бедра вздернула платье и сунула деньги за подвязку чулка.

— К сожалению, платье без карманов, — усмехнулась она, перехватив взгляд Вольфганга.

Вольфганг поперхнулся и решил, что пора домой.

— Деловой разговор? — поспешно сказал он, притворяясь, будто его заинтересовала твердая валюта, а вовсе не бедро Катарини. — Какое дело и



при чем тут я?

— Ты же заправляешь в этом гадюшнике, верно? Нанимаешь оркестр, сочиняешь афиши, оговариваешь репертуар.

— Да, этим занимаюсь я. Мои обязанности.

— Что ж, мне нравится, как ты работаешь, папаша. Я открываю свой клуб и хочу, чтобы ты был моим управляющим.

Вольфганг сдержал смех.

— Открываешь клуб? Прости, Курт, сколько тебе лет?

— Восемнадцать.

— Семнадцать ему, — сказала Катарина.

— Я пользуюсь русским календарем, — огрызнулся Курт. — В знак солидарности с убитыми Романовыми.

Вольфганг рассмеялся. Нет, малый и впрямь обаятельный.

— Тебя даже не впустят в клуб, какое уж там — продать.

— С долларами любого впустят, — возразил Курт. — У меня полно баксов. Есть франки и золотые соверены. Все что хочешь. Пошли за наш столик. Познакомишься с моими друзьями, там все и обсудим.

Вольфганг глянул на столик в конце людного зала. Похоже, вся компания — однолетки Курта.

— А что, вы не учитесь — в техникуме или где там?

— Чему учиться у старичья? — Курт досадливо дернул плечом. — Абсолютно нечему. Разве что — как пресмыкаться. И голодать. Да еще сидеть сложа руки и грезить о 1913 годе, пока не загнешься. Мы знаем гораздо больше, чем старые тупые ублюдки, вот потому-то и пьем французское шампанское и слушаем классный джаз, пока они стоят в очереди за супом или маршируют в оловянных касках, выглядывая, где бы какого еврея пристрелить. Пошли, познакомишься с моими друзьями.

Возможно, свою роль сыграли мальчишкины деньги. Или его подружка. Как бы то ни было, Вольфганг позволил отвести себя к столику, где Куртова «шобла» приветствовала его восторженными аплодисментами.

— Это Ганс, — представил Курт юного здоровяка с усиками а-ля Дуглас Фэрбенкс,<sup>[22]</sup> скорее всего подкрашенными тушью для ресниц. — В прошлом году завалил выпускной экзамен по латыни и теперь торгует автомобилями.

— Любыми, от малолитражки до «роллс-ройса», — похвастал уже крепко окосевший Ганс. — Хочешь, тебе устройю. Держи визитку. Такому музыканту скидка.

Вольфганг отшутился — мол, ему вполне хватает велосипеда, — но визитку взял, подметив, что у парня зрачки с булабочное острие. К плечу

Ганса привалилась девица в полной отключке.

— Это Дорф. — Не обращая внимания на бесчувственную девушку, Курт представил ее соседа — серьезного парня в роговых очках. — Занимается валютой, отец же прочит его в юристы.

— Хочет, чтобы к двадцати одному году я стал клерком-стажером, — чопорно сказал Дорф. — Даже смешно, поскольку без меня старик голодал бы. Мать, конечно, ничего ему не говорит.

Курт с Гансом рассмеялись, обеспамятевшая девица начала сползать под стол. Ганс ее придержал.

— А вот Гельмут. — Курт показал на красавца-блондина с небесно-голубыми глазами и кобальтовыми серьгами им в тон. — Он так называемый...

— Педрила-сводник, — вставила Катарина.

— Вообще-то я хотел сказать «консультант по социальным вопросам».

— Мне больше нравится «педрила-сводник», — игриво сказал Гельмут, чем вызвал очередной взрыв смеха, а Гансова девица вновь двинулась под стол.

— Ну вот, ты познакомился с моими друзьями, мистер Трубач. Все они твои горячие поклонники.

Вновь грянули аплодисменты.

— Ты про себя не сказал, Курт, — напомнил Вольфганг. — Чем сам-то балуешься?

— Говорю же, помимо всего прочего я владелец клуба.

— Ага. Какого клуба?

— Еще не решил. Может, этого, может, еще какого. А может, всех разом, посмотрим.

— Значит, пока они не твои?

— Детали. Заполучу все, если понадобится.

— Как же ты их заполучишь, Курт? — Вольфганг хотел как-нибудь ловко осадить наглеца, но досадливо понимал, что тот вряд ли заметит насмешку.

— Сымпровизирую, как еще! Точно клевый джазист... А ведь и правда! Я — джазовый экономист. — Курту явно понравился собственный образ. — Ты используешь ноты, а я — банкноты! Классно, а?

— Откуда же они берутся?

— Как и у тебя — из воздуха! Беру сколько надо под залог покупки, а через неделю возвращаю ссуду, в тысячу раз обесценившуюся. Всякий может.

— Почему же всякий не делает?

— А ты — почему?

Спору нет, Курт прав. Вольфганг *мог бы*. Покупать что захочет. Все что угодно. Нужна только смелость. Обыкновенная наглость. Даже особой смелости не требовалось, ибо деньги обесценивались так быстро, что любой долг превращался в фикцию.

Всякий так *мог*.

Но *делали* такие как Курт.

Да еще, конечно, крупные воротилы. Промышленники, которые точно так же использовали ситуацию, но эти покупали целые отрасли, а Курт — лишь шампанское и дурь.

Все прочие ломали голову, где раздобыть пропитание на завтра.

Тут Вольфганг вспомнил, что пора домой — отпустить Фриду на рынок. Жалованье у него в кармане обесценивалось с той же скоростью, что и Куртовы долги. Он нищал, пока тут валандался, а Курт богател.

— Ну вот что. — Вольфганг осушил и поставил стакан на стол. — Покупай клуб и делай мне предложение. Если сочту его заманчивым, пойду к тебе управляющим. Пока же топаю домой, а то и впрямь засиделся.

Рука Катарини уже в который раз задела его ладонь. Никаких сомнений, хозяйка ее об этом знала. Не бывает столь многократных случайностей.

Факт будоражил.

Значит, тем более пора домой.

Вольфганга всегда окружали поклонницы, девушки постоянно строили ему глазки. Малышки души не чаяли в джазменах, а тут этакий симпатяга, да еще трубач.

Как правило, он проявлял стойкость и был неуязвим для кокетливых взглядов разгоряченных танцами дев. С эстрады Вольфганг охотно разглядывал вертлявые попки и груди, колыхавшиеся под платьем-одноназвание, но желания их полапать не возникало. А вот с Катариной иначе. Она ему взаправду глянулась, что таило в себе опасность, ибо и он, похоже, глянулся ей.

— Завтра вечером я здесь играю, вот и поговорим, — буднично сказал Вольфганг.

— Завтра я уже стану твоим боссом, — ответил Курт. — Переговорим, не сомневайся.

Компания одобрила такое нахальство гиканьем и грохотом кулаков по столу, в результате чего бесчувственная девица съехала-таки под стол.

Вольфганг пожал Курту руку и небрежно кивнул Катарине. Та тоже ответила легким кивком, лицо ее оставалось замкнутым и бесстрастным.

Но потом, словно повинуюсь порыву, она вдруг подалась вперед и поцеловала Вольфганга в губы. На секунду он почувствовал жирную вязкость ее помады и уловил аромат духов. Затем Катарина столь же резко отпрянула, и лицо ее вновь превратилось в маску.

— Видали! — воскликнул Курт. — Говорил же, заигрывает. Ты удостоен чести, меня на прощанье она не целует.

— Ты же не трубач. — Катарина впервые искренне улыбнулась.

— Ну ладно, я пошел. — Вольфганг старался сохранить самообладание. — Жена, дети, знаете ли.

Последнее адресовалось Катарине. Обычно о своем семейном положении он не распространялся. Слишком приземленно. Не шибко джазово.

Потому-то сейчас и сказал. Катарина его разбередила, и надо было сразу ее уведомить, ибо по опыту он знал: ничто так не остужает распаленное либидо джазовой поклонницы, как упоминание о жене и детях.

— Передай поклон фрау Трубач, — сказал Курт.

— Непременно.

Надо было сваливать.

## Смешные деньги

### Берлин, 1923 г.

Главное — не медлить. В течение дня цена кило моркови могла подскочить в пятьдесят тысяч раз, и молодой паре, обремененной детьми, хватало благоразумия не откладывать покупки на после обеда.

Вольфгангу повезло, что работа его заканчивалась всего за час-другой до открытия рынков. Управляющий выдавал жалованье кучей банкнот, иногда еще сырых, только-только из-под печатных станков Рейхсбанка, которые — все двенадцать — работали круглосуточно. Вольфганг хватал деньги, черным ходом выскакивал из клуба и, пристроив трубу и скрипку на велосипедный багажник, что есть мочи крутил педали, опасаясь, как бы инфляция не сожрала весь заработок, прежде чем он успеет его истратить.

В феврале он получал двести-триста тысяч марок пяти— и десятитысячными купюрами, которые рассовывал по карманам. Летом он уже забрасывал инструменты за спину, а к багажнику приторачивал раздувшийся от денег чемодан.

Нынче из-за выпивки с Куртом и Катариной он припозднился и потому налегал на педали древнего односкоростного драндулета. Чтобы не откусить язык в берлинских проулках, еще в прошлом веке вымощенных булыжником и неровным плитняком, Вольфганг крепко сжимал клацавшие зубы.

В колодце двора он цепью пристегнул велосипед к баку общественной помойки, через парадный ход вбежал в вестибюль и вызвал лифт. Всякий раз, как Вольфганг хотел им воспользоваться, лифт почему-то оказывался в другом конце шахты, верхнем или нижнем. Обычно Вольфганг матерился под нос, проклиная закон подлости, но сегодня это было на руку. Прислушиваясь к натужному лязгу спускавшейся кабины, он припомнил давешнее знакомство и особенно прощальный поцелуй Катаринины.

Вспомнил ее руку, обхватившую его загривок. Томный взгляд сквозь табачный дым. На мгновение ожившие губы.

И тут вспомнил про помаду. Густую, блестящую, пурпурную.

Уж он-то знал, что любая женщина с пятидесяти шагов и сквозь закрытую дверь узрит чужую косметику. Вольфганг выхватил из кармана платок и крепко отер рот. Потом глянул на льняной квадратик и понял, что вовремя спохватился, — на ткани остались темно-пурпурные разводы. Конечно, он ни в чем не виноват, он не напрашивался на поцелуй. Но когда

речь о следах чужой помады, безвинность — не аргумент.

Фрида, уже в пальто и шляпке, ждала его за дверью; возле ног ее стояла приготовленная сумка, на руках восседал Отто.

— Ты задержался, — громким шепотом сказала Фрида, кивнув на дверь детской — мол, второе дитяtko еще спит.

— Извини. Деловой разговор. Малый предлагает работу. Возможно, заинтересуюсь.

— Держи Отто, уже час как проснулся. — Фрида всучила карапуза мужу и взяла сумку. — Наверное, увидел страшный сон. Все, я побежала. До больничного приема еще увижусь с родителями. Нынче папин день.

Фридин отец-полицейский получал ежемесячное жалованье, что совсем недавно было знаком успешности и стабильности. Сие достижение среднего класса означало, что если кого-то собирались турнуть с работы, об этом извещали за месяц, дабы смягчить удар. Но в Германии 1923 года ежемесячное жалованье обернулось проклятьем. Все необходимое нужно было покупать на месяц вперед и делать это в первый же час после получения денег, ибо уже на следующий день новый курс доллара превращал их в гроши, которых не хватит и на гороховый стручок.

— Дурь какая-то, что ты должна с ними возиться, — пробурчал Вольфганг.

— Ты же знаешь, самим им не справиться, — с порога ответила Фрида. — Предки все еще живут в тринадцатом году — так долго ощупывают каждый апельсин и обнюхивают сыр, что когда наконец решаются на покупку, она им уже не по карману. С рынка я сразу в клинику, тебе пасти мальчишек до десяти, потом явится Эдельтрауд. Вечером постараюсь вернуться до твоего ухода. Пока!

— Даже не поцелуешь? — надулся Вольфганг.

Фрида мгновенно размякла. Выронила сумку и подскочила к мужу.

— Конечно, поцелую, милый. — Она взяла его лицо в ладони и притянула к себе. Но вдруг отстранилась. — Чьи это духи?

— Что? — Лучше вопроса Вольфганг не придумал.

— От тебя пахнет духами. Чьими?

— Наверное, это... мой одеколон.

— Я знаю твой одеколон, Вольф. Я спрашиваю о духах. Женских. Я их слышу. Даже сквозь запах пота, виски и курева, — значит, кто-то был вплотную к тебе. Ты на прощанье с кем-то целовался, Вольфганг? Просто интересно.

Невероятно. В одну секунду Фрида воссоздала картину преступления.

— Ну что ты, ей-богу, — проямлил Вольфганг.

— Потому и задержался, да? — В ее тоне сплелись неискреннее простодушие и каменная жесткость.

— Нет! Я же сказал, с парнем говорил о работе. Его девица меня чмокнула...

Фрида большим пальцем мазнула по его губам.

— Жирные. Как от помады. В губы не чмокают, Вольф. *Чмокают* в щеку. В губы *целуют*.

Вольфганг оторопел. Он всегда знал, что жена его обладает острым аналитическим умом, — врач, в конце-то концов, — но сейчас это граничило с колдовством.

Вольфганг собрался. Пора переходить в атаку.

— Я ни с кем не целовался, Фрида, — твердо сказал. — Меня поцеловали, это совсем другой коленкор.

Правда — лучшая защита.

— Кто? — сощурилась Фрида.

— Бог ее знает.

Или хотя бы почти правда.

— Какая-то вертихвостка, — продолжил Вольфганг. — Она была с этим парнем, который предлагает работу. Девица вдруг меня обняла и поцеловала. Сказала, поклонница джаза.

— Хм.

— Что поделаешь, если я неотразим.

— Симпатичная?

— Господи, не знаю! Вряд ли, иначе я бы заметил. Я спешил уйти, и она меня поцеловала. Отметь, не я ее, а она меня. Если хочешь знать, твои подозрения меня слегка огорчают.

Прищуренный взгляд чуть смягчился.

— Ну-у, меня можно понять, — сказала Фрида.

— Только если допустить, что ты мне не доверяешь.

Пробило.

— Я работаю в ночных клубах. — Вольфганг стремился развить преимущество. — Там полно глупых девчонок. Что прикажешь делать? Нанять шесть телохранителей, как Рудольф Валентино?<sup>[23]</sup> Я не желаю быть заложником своей неодолимой привлекательности.

Фрида засмеялась. Он умел ее рассмешить.

— Ты прав. Я дура. Прости, Вольф.

— Вот ведь. Как будто я заглядываюсь на других.

— Я знаю. Извини. Устала... Но если еще увидишь эту вертихвостку, скажи, чтоб держалась подальше, ладно?

— Если увижу, скажу. Но вряд ли мы с ней свидимся, детка. Кажется, ты спешила?

— Господи, да!

Фрида опять взяла его лицо в ладони и притянула к себе.

— Кстати, бог с ней совсем, но то был не поцелуй. Вот что такое поцелуй.

Фрида приоткрыла губы и одарила мужа смачным поцелуем, полным изголодавшейся страсти. Радостно курлыкнул Отто, зажатый меж родителями.

— погоди, опущу ребенка, — выдохнул Вольфганг, свободной рукой облапив жену.

— Нет, не могу. Извини, Вольф. — Фрида высвободилась. — Надо бежать. Папа взбеленится, если останется без селедки.

Подхватив сумку, она ринулась к двери.

— Нам надо больше времени уделять друг другу, — сказал Вольфганг, провожая ее.

— Знаю, милый. Но я работаю днем, ты — ночью, и у нас два карапуза. Обещаю, мы выберем время для нас с тобой, но только, наверное, когда мальчики вырастут.

Тряско и натужно подъехал лифт.

— Может, году в сороковом. Когда они будут студентами. Закажи столик в ресторане.

Вольфганг не улыбнулся.

— Я серьезно, — сказал он.

— Знаю, знаю, я шучу. — Фрида взглянула сквозь ромбовидные ячейки клетки-лифта. — Мы выберем время, правда. Постараемся.

Лифт вздрогнул, лязгнул и пополз вниз. Лодыжки, бедра, грудь. Прощальная улыбка, и Фрида скрылась в шахте.

Отто, радостно наблюдавший за маминым исчезновением, вдруг не смог с ним примириться и заревел. Вольфганг устало поплелся в квартиру.

Он думал о Фриде. О том, как сильно ее любит. Как сильно хочет. Как без нее ужасно плохо.

Потом в его мысли незвано явилась Катарина.

Наверное, она еще в клубе. Пьет, танцует. Жизнь в джазе, детка.

Вольфганг прошел в кухню и отыскал какой-то сухарик.

Не шибко джазово, детка.

Пропади он пропадом, Фридин папаша.

— Почему твои дед с бабкой сами не могут сделать свои блядские покупки? — спросил Вольфганг сына.



— Блядские, — повторил Отто. — Блядские покупки. Блядские.  
Блядские. Блядские.

## Старый знакомый Берлин, 1923 г.

На улице Фрида побежала к трамваю и чуть не попала под колеса. Машины ездили как бог на душу положит.

Вольфганг окрестил городской транспорт «механизированным дадаизмом». Та к он шутил. Дескать, в Берлине сюрреализм настолько популярен, что даже шоферы бросают вызов содержанию и форме.

Но Фрида, мать двух сорванцов, не видела в этом ничего смешного. И даже собирала подписи под обращением в городскую управу, промозглыми субботними утрами топчась перед входом в метро. Ответа пока не было. Газеты сообщали, что берлинские власти намерены последовать примеру Нью-Йорка и на Потсдамерплац установить первый светофор. Однако нововведение, полагала Фрида, в ближайшем и даже обозримом будущем вряд ли доберется до неброских улиц Фридрихсхайна.

Сделав две пересадки, она очутилась в районе своего детства Моабит, где до сих пор обитали ее родители, сейчас поджидавшие ее на ступенях Марктхалле, что на Йонас-штрассе.

Фрида любила бывать на этом рынке с большим арочным входом из красного и желтого кирпича. Его построили в 1891 году, за девять лет до ее рождения, и рынок всегда был частью ее жизни. Казалось, в этой огромной пещере Аладдина, шумной и полной лихорадочной суеты, отыщется любая волшебная диковина, какая только есть на свете.

В детстве она появлялась под этими стальными арочными сводами каждые выходные. Сначала в коляске, потом за руку с мамой. Позже прибежала в хихикающей болтливой стайке школьных подружек и, наконец, застенчиво прогуливалась с мальчиками. Здесь она познакомилась с Вольфгангом. Голодной зимой 1918 года тот был уличным музыкантом, и она угостила его вяленой говядиной, которую мать исхитрилась раздобыть ей на обед.

И вот, будто совершив полный круг, она сюда вернулась, только нынче сама за руку вела родителей.

Когда почти все покупки были сделаны, Фрида вдруг увидела Карлсруэна. Они не встречались с того дня, как бывший работодатель своим натиском положил конец ее карьере натурщицы, и сейчас Фрида поразились, насколько он опустился. На рынке Карлсруэн не покупал, но торговал. На задворках громадного зала, где обосновались старьевщики, он

установил маленький прилавок и вместе с женой пытался сбыть свои некогда бесценные произведения.

Жалкое зрелище. Чета Карлсруэнов исхудала и пообносилась. Прежде брыластые щеки скульптора обвисли складками. Супруги были без пальто и заметно зябли. Даже летом в павильоне гуляли сквозняки.

Карлсруэн и Фрида притворились, будто друг друга не заметили. Ни один явно не желал возобновлять знакомство.

К несчастью, герр Таубер тоже увидел прилавок и покатыл к нему тележку с покупками.

— Взгляни-ка, мамочка! — позвал он жену. — Вот оно, подлинное искусство, не чета современной дряни. Фрида, иди сюда. Достань кошелек, я, пожалуй, что-нибудь куплю.

Фриде пришлось поспешить к отцу, который уже представился слегка встревоженному Карлсруэну:

— Таубер. Капитан полиции Константин Таубер, к вашим услугам. Великолепные творения, господин. Ей-богу, великолепные.

Теперь скульптор всерьез запаниковал — он явно решил, что потерпевшая все же надумала заявить об инциденте. Испуг его Фриду разозлил, ибо заявить-то стоило, и в свое время лишь одно ее остановило: от голословного утверждения все равно не было бы толку. Однако сейчас лучше успокоить сладострастника, а то еще со страху заврется и выйдет черт-те что.

— Здравствуйте, герр Карлсруэн, — сказала Фрида. — Давно не виделись. Это мои родители. — И, будто в шутку, добавила, выдавив любезную улыбку: — Не волнуйтесь, папа не при исполнении.

Чего уж через год скандалить, подумала она, да и жену его жалко.

— Как, вы знакомы? — удивился герр Таубер.

Карлсруэн явно предпочел бы, чтобы семейство провалилось в тартарары, но ему ничего не оставалось, как представиться.

— Ваша дочь мне позировала, — сказал он.

Фрау Таубер чуть не выронила статуэтку:

— Боже! Позировала? Вот для этого?

Весь ассортимент статуэток состоял из голых дев. На лице фрау Таубер чередовались изумление и ужас.

— Да, — весело сказала Фрида. — Что, я не говорила?

— Говорила, что позируешь, но не... — Мать осеклась.

— Это я. — Фрида взяла фигурку. — Очень похоже, правда?

Герр Таубер выхватил у дочери статуэтку, но тотчас всучил жене, словно даже прикасаться к вещице было неприлично.

— Хочешь сказать, ты позировала совершенно голая? — спросил он.

— Да, папа. Тебе не нравится? А только что хвалил.

— Это Рейнская дева, — проворчал Карлсруэн, забирая статуэтку у фрау Таубер. — Разумеется, они всегда обнаженные.

— Да, Рейнская дева-еврейка. — Фрида одарила скульптора тяжелым взглядом. Вдруг опротивело стоять на цырлах перед ничтожеством. — Недурно? Что сказал бы герр Вагнер?

— Чепуха, Фрида! — воскликнул отец. — Немка есть немка. Две французские пули, застрявшие в моей ляжке, подтверждают, что дочь моя имеет полное право нырять в Рейн. Не так ли, герр Карлсруэн? Фрида — отменная нимфа!

Карлсруэн согласился и, поскольку Тауберы не собирались уходить, был вынужден представить свою жену. Фрида пожала ей руку, страдая не только из-за гадкой тайны, связавшей ее со скульптором, но и от удрученного вида фрау Карлсруэн. Напрашивалась мысль, что от уязвленной гордости супруга больше всех достается ей.

Герр Таубер уже преодолел первоначальный шок от изделий, запечатлевших его дочь в чем мать родила, и решил, что, в общем-то, есть повод гордиться Фридой, вдохновительницей великолепного немецкого искусства. Теперь он полностью одобрял авторский стиль и сюжет произведения.

— Если б ты позировала кому-нибудь из этих идиотских порнографов, с которыми наша слабоумная художественная критика носится как с писаной торбой, я бы встревожился, но здесь пример творчества патриота и благородного человека. Герр Карлсруэн, я вам салютую!

Таубер долго тряс руку скульптора, не сознавая кошмарной неуместности своих восторгов и не ведая о том, какое отвращение питают друг к другу его дочь и Карлсруэн.

— Знаешь, дорогая, — обратился Таубер к жене, — я считаю, мы должны это купить. В конце концов, не всякой девушке везет стать Рейнской девой. Ладно уж, в этом месяце обойдусь без бутылки шнапса.

Карлсруэн скривился, услышав о нынешнем эквиваленте своего искусства.

— Материал — бронза, подставка из мрамора, — пробурчал он, но жена его уже приняла деньги.

— Это тебе, дорогая. — Таубер торжественно вручил статуэтку Фриде. — Наверняка герр Карлсруэн согласится, что по красоте работа его уступает модели, но вещица славная, и я рад ее тебе преподнести.

Фрида подумала, что автор вряд ли согласится, но тот угрюмо

промолчал.

## Новая работа

### Берлин, 1923 г.

— Это был «Аравийский шейх»,<sup>[24]</sup> дамы и господа. — Вольфганг вытряхнул слюну из трубного мундштука в забитую окурками плевательницу. — Американская новинка! Безмерная благодарность нашему славному хозяину Курту Фурсту, который привлек мое внимание к столь зажигательной вещице. Перекур, и мы продолжим!

Разгоряченная толпа юношей и девушек в расхристанных вечерних нарядах требовала музыки, но взмыленные оркестранты скрылись в маленькой гримерной, отделенной от эстрады искристой наборной занавеской.

В тот день, когда Вольфганг и Курт впервые встретились, Курт, верный своему слову, купил этот клуб, и назавтра Вольфганг приступил к новой работе.

— Поздоровайся со своим новым боссом, мистер Трубач! — заорал жизнерадостный юнец, подкараулив Вольфганга на клубных задворках, где тот цепью привязывал велосипед. — Говорил же, что куплю этот гадюшник. Милости просим в клуб «Джоплин»,<sup>[25]</sup> самое жаркое городское пекло!

Стараясь не запачкать пальто об обоссанные стены, в тени служебного входа стояла Катарина. Сквозь привычную маску утомленного безразличия пробивалась легкая улыбка.

Вольфганг улыбнулся в ответ.

Нервно.

Еще нынче утром он стирал с губ помаду этой женщины и врал Фриде, что не помнит, хороша ли незнакомка, хотя прекрасно помнил, до чего та хороша, и за день не раз об этом вспоминал, отжимая пеленки или на забаву мальчишкам вырезая потешные рожицы на яблоках и сыре.

Но куда денешься? Из-за миловидных девиц джазмен не вправе похерить работу. Иначе ее не будет вообще.

— Поздравляю, Курт, — сказал Вольфганг. — Выходит, я твой новый управляющий?

— Бьюсь об заклад, папаша, мы раскрутим этот гадюшник! — откликнулся Курт.

Войдя в сумрачный подвал, пропитанный спиртным и табачным

смадом, к которому примешивалась вонь хлорки из сортира, Вольфганг с Куртом именно этим и занялись. Раскруткой гадюшника.

Бесспорно, лучшего ангажемента Вольфганг еще не получал.

И дело не только в том, что Курт оказался до нелепого щедрым нанимателем и платил вдвое против обычного. Главное, он был истинным поклонником джаза и обожал его, как умеет только юность. Как первую любовь. Как открытие, совершенное его поколением. Джаз был религией Курта, его образом жизни. Он знал все записи, только что полученные из Штатов, и половину рядовых оркестрантов в Новом Орлеане поименно. Однако свой вкус не навязывал. Он безоговорочно уважал Вольфганга и предоставил ему полную свободу.

— Главное, чтоб забирало, папаша, — говорил он. — Жги, жги, жги!

Вольфганг боялся верить своей удаче.

— Всем прочим засранцам, у которых я работал, было плевать на музыку, — наутро после первой ночи в «Джоплине» рассказывал он Фриде. — Тугоухие хмыри терпели джаз лишь потому, что он притягивает бандитов и вертихвосток. Лишь бы публика платила — а там пусть играют хоть колыбельные, хоть треклятого Вагнера. Даже те, кто притворялся, будто разбирается в музыке, предпочли бы, чтоб мы весь вечер гоняли «Александровский регтайм-бэнд» или «Парень на Янки Дудл».<sup>[26]</sup> Нет, Курт — другой, душевный. Купил клуб лишь для того, чтобы слушать джаз. Большая-большая игрушка взрослого мальчика.

— Мило, — не отрываясь от бумаг, сухо заметила Фрида. Под кофе и кусочек черного хлеба она работала с какими-то сводками. — Вчера у меня было три случая рахита.

— Ого! — удивился Вольфганг. — Как-то невесело.

— Просто сердце разрывается. Нехватка питания, только и всего. И врач-то не нужен, нужна еда. Обер-бургомистр сказал, что из-за недоедания четверть берлинских школьников не дотягивают до нормального роста и веса. Представляешь? В двадцатом веке.

Конечно, от подобного отклика на чудесные новости Вольфганг сник.

— При чем тут рахит и недоедание, когда речь о моей новой работе? — спросил он.

— Абсолютно ни при чем. Прелестно, что город медленно умирает от голода, а взрослый мальчик забавляется собственным клубом, вот и все.

— Значит, Курт виноват, что страна в полной жопе?

— Не ругайся. Ребята, наверное, проснулись. Сам ведь знаешь, они все перенимают. — В формулярах Фрида ставила бесконечные галочки и крестики.

— Только послушайте великого радикала! Брань — язык пролетариата, не так ли? Я думал, ты горой за рабочий класс.

— Я хочу, чтобы мир был справедливым, а не грубым, Вольф.

— Ты говоришь, как твоя мать.

— Это укор, да?

— Сама решай.

— Я лишь прошу тебя следить за выражениями. Эдельтрауд рассказала, что пару дней назад в Фолькспарке старичок потрепал Отто по голове и наш мальчуган послал его на хер.

— Молодец! Нефиг ерошить чужие волосы. В южных кварталах Чикаго за такое убивают.

— Слава богу, Эдельтрауд сочла историю забавной.

Вольфганг зажег уже четвертую сигарету за утро, однако с новым жалованьем он мог курить сколько хочет.

— Слушай, мне нет дела до Эдельтрауд и старперов в парке. Меня интересует, почему ты считаешь, что моя новая работа как-то влияет на детский рахит.

— Хватит, Вольф. — Фрида отложила бумаги и отнесла чашку с тарелкой в раковину, по дороге половником прихлопнув таракана. — Ты прекрасно знаешь, что от нуворишей один вред. Если твой Курт покупает ночной клуб, значит, эти деньги он у кого-то забрал.

— У кого? У голодных детей?

— Косвенно.

— Эти деньги взяты из *ниоткуда*, Фрида! — Вольфганг разозлился. — Он берет ссуду, делает покупки и потом, когда марка падает, возвращает долг. Простая джазовая экономика. Жаль, на такие дела у меня кишка тонка. Курт не наживается на перепродаже в Бельгии старушечьих драгоценностей, он просто ловкач, вот и все.

Фрида села к столу и выдавила улыбку.

— Ладно, извини, Вольф. Знаю, я несправедлива. Просто работа замучила. Я и подумать не могла, что мне придется в основном наблюдать за умирающими детьми. Ты слышал, что туберкулез на триста процентов превысил довоенный уровень?

— Знаешь, не доводилось. Нет времени на изучение медицинской статистики. Я вкалываю по ночам, чтобы не голодали *мои* дети. И жена моя, коли на то пошло.

Фрида стиснула его руку:

— Да, я знаю. Конечно, я рада твоему новому боссу. Здорово, что он любит твою музыку.



— Ты же помнишь, как меня воротило от допотопных танцев в Ванзее и Николасзее, но я играл, потому что надо было что-то есть, а ты решила за нищенское жалованье работать в общественном медицинском центре.

— Я помню, помню, — согласилась Фрида.

— И вот теперь, когда я получил и впрямь отменный ангажемент, я думал, ты порадуешься.

— Я рада, Вольф, правда. Извини. Иногда работа вконец достанет, вот и все. И я очень благодарна, что ради нас ты так пашешь. — Фрида перегнулась через стол и поцеловала мужа. — Ты совсем иначе представлял наше супружество, да? Кажется, предполагалось, что я буду тебе помогать.

— Да, предполагалось.

— Врач на шее у джазмена, — улыbnулась Фрида. — Такое только в Германии! Только в Берлине!

### ***Жги, жги, жги!***

#### ***Берлин, 1923 г.***

Все рвались в «Джоплин».

Аристократы. Бедняки. Праведники. Подонки.

Уйма красавиц, уйма чудовищ.

С первого дня клуб ходил ходуном от легких денег, выпивки, секса, дури и джаза.

Дурь и секс были епархией Куртова приятеля Гельмута — «педрилы-сводника», который, как выяснилось, работал по наркотикам и проституткам.

И то и другое он частенько предлагал Вольфгангу.

— Выбирай, — говорил Гельмут, любитель широких жестов, указывая на изящных девочек (и мальчиков), которых в жизни не примешь за проституток. — Бери двух и сделай себе сэндвич. Не волнуйся, все чисто как роса. Полгода назад окончили пансион благородных девиц. Но папочка обнищал, а растущему организму надо кушать.

Угощение сексом Вольфганг вежливо отклонял, но время от времени охотно соглашался на химические стимуляторы. Ночи долги, а труба — взыскательный хозяин.

Фриде, конечно, ничего не говорил. Но ее рядом не было, можно не подчиняться ее правилам. Здесь клуб.

В конце концов, он джазмен. Джазмены никому не подчиняются. Вот в чем суть. Чуток кокаина под шампанское? Чем-то дивным затянуться вдогонку виски? Почему бы нет? Как тут откажешься?

И что такого, если в перерывах он все чаще болтал с Катариной? Преступление, что ли? Она ему нравилась. Не только потому, что красивая (хоть это и неплохо), пленительная и загадочная.

Даже сногшибательная.

Уж он-то повидал очаровашек.

Этаких невозмутимых распутниц-вамп, словно сошедших с киноэкрана.

Дело в том, что с ней было по-настоящему приятно.

Оказалось, у них общие интересы и пристрастия. Не только джаз — любое творчество. Когда Катарина говорила об искусстве, лицо ее оживало, глаза сияли. Тщательно отрепетированная поза — надменная пресыщенность жизнью — вмиг улетучивалась, и становилось ясно, что это всего лишь юношеское притворство, а в душе девушка — нескладный подросток.

Разумеется, Катарина мечтала стать актрисой. Немецкие киностудии были единственным реальным соперником Голливуду, и какая же берлинская девушка не хотела попасть на экран? Но в отличие от многих красоток Катарина не стремилась только в кинодивы. Не меньше она любила и театр — и, как выяснилось, бывала на тех же постановках, куда в редкие драгоценные выходные выбирались Вольфганг и Фрида.

— Тебе нравится Пискатор?<sup>[27]</sup> — пристрастно расспрашивал Вольфганг.

— Да, и я его видела живьем. После спектакля «На дне» караулила у служебного входа «Фольксбюне».<sup>[28]</sup>

— Любишь Горького?

— Конечно! Как можно его не любить? Лучше русских никто не пишет. Горький — гений, особенно в постановке Пискатора.

Вольфганг даже терялся, когда вдруг оказывалось, что Катарина гораздо лучше подкована в новой экспрессионистской драматургии. Она специально ездила в Мюнхен на спектакль «Барабаны в ночи» по пьесе нового автора, некоего Брехта, о котором Вольфганг и не слышал.

Катарина всегда знала, кто из берлинских знаменитостей почтил визитом «Джоплин».

— Представляешь, здесь Герварт Вальден!<sup>[29]</sup> — взволнованно известила она, протиснувшись в крохотную гримерку и даже не заметив, что упревшие музыканты раздеты до трусов.

— Какой Герберт? — озадачились джазмены, знать не знавшие о выдающихся фигурах авангарда.

Но Вольфганг был в курсе.

— Господи, разговаривает с Дорфом, — шепнул он, подглядывая сквозь наборную занавеску.

— Наверное, картину продает.

— Издатель «Штурма»<sup>[30]</sup> слушает мой оркестр! — воскликнул Вольфганг. — Поразительно!

— Охолопись, малыш, — раздался голос с сильным американским акцентом. — Кем бы он ни был, он жрет и срет, как все. И потом, мы не *твой* оркестр. Запомни: мы — коллектив.

Томас Тейлор, «дядя Том», был одним из многих американских *черных* музыкантов, считавших, что в плавильне послевоенного Берлина жизнь легче, а работа денежней, чем на расово сегрегационной родине. Немецкий его был хорош, только с миссисипским налетом.

— Не спорю, собрал нас *ты*, но сам по себе я ничейный нигер, — продолжил Том. — А кто он такой, этот чувак Вальдорф?

— Вальден, — поправил Вольфганг. — Он не салат,<sup>[31]</sup> а крестный отец берлинского экспрессионизма, футуризма, дадаизма, магического реализма...

— Видать, чувак тащится от «измов».

— Портрет этого *чувака* написал Оскар Кокошка.<sup>[32]</sup>

— Уж простите мою неотесанность, сэр! — заржал Том. — Кстати, если Оскар Кокошка — подлинное имя, я бы пожал руку его родителям.

В дверном проеме возник Курт, исполосованный шнурами наборной занавески. Его заметно качало. Катарина даже не попыталась скрыть брезгливость.

— Оркестр, жги! — заорал Курт. — Жги, жги, жги!

Он быстро напивался, затем накачивался дурью. «Раньше кокаин нюхал, теперь колется, — рассказывала Катарина. — Мерзость. Вообрази, вчера ширнулся в яйца. *При мне!* Дескать, особый кайф. По-моему, никакой кайф не стоит такого свинства».

Курт ликовал.

— Клево забубенили, ребята! — Язык у него заплетался. — Обожаю... нет, это слабо... преклоняюсь... прям в душу... за живое...

Катарина выскользнула в зал.

— Улет, парни! — балаболит Курт. — Крутизна. Уж я-то понимаю в джазе, и это настоящий джаз, детка...

И без того словоохотливый, под кокаином он превращался в безумного говоруна. Курт *изрыгал* потоки слов. В струе безудержного восхваления они налезали друг на друга, пихаясь и сливаясь. Печальная картина. Лучший в мире босс съезжал с катушек.

Вольфганг подтолкнул Курта из гримерной. Иначе словоблудию не будет конца.

— Курт, нам надо собраться на следующий выход, — сказал он. — Отработать твои денежки.

— Да! Верно! Соберитесь! На следующий выход! — выкрикнул Курт, словно его озарила блестящая идея. — Этого мне и надо! И жги, жги, жги!

Кларнетист Венке презрительно фыркнул вслед нелепой мальчишеской фигуре, укывылявшей в зал. Превосходный музыкант, Венке всегда был мрачен и задумчив — неизгладимое последствие четырех лет в окопах.

— Хер буржуйский, — проворчал Венке. — Ничего, после революции мы его вздернем на фонарном столбе. От этой шушеры тянет блевать. Парни в губной помаде, девки светят грудями... Берлин превращается в выгребную яму.

— При мне попрошу не хаять Берлин! — дружелюбно рассмеялся Том Тейлор, прикладываясь к фляжке, которую держал во внутреннем кармане смокинга. — Я люблю этот город. Знаешь почему? Потому что здесь *нигер* не я, а Вольфганг. Чудеса, да? В Штатах я черномазый, а здесь нет. Наконец-то я нашел город, где кого-то ненавидят больше негров, и пою аллилуйю евреям.

— Дай только бандитам из «Штальхельма» проведать, что ты трахаешь немку, — быстро поймешь, кто у нас негр, — заметил Вольфганг.

— Не-а, меня не застукают, — заржал Том. — Я не стану приглашать зевак. Хотя мастер-класс в дрючке им бы не помешал, — добавил он, опять глотнув из фляжки. — *Американский* стиль, неспешный и свободный, как тягу-у-у-учий блюз!

— Скажу от лица мальчиков в губной помаде, столь немилых Венке, — вмешался саксофонист Вильгельм — наштукатуренный парень с зеленой гвоздикой в петлице. — Коль притомишься от наших городских чаровниц, зови меня, Том, не стесняйся. Я не прочь отведать черняшки.

— Непременно запомню, фройляйн, — усмехнулся Том. — Позову, когда рак на горе свистнет.

— Шобла декадентских распиздяев, — проворчал Венке.

— Конечно! — гаркнул Вольфганг. — Мы джазмены. Декадентское распиздяйство входит в наши должностные обязанности. Ну, пошли. Как говорит наш босс, пора замандюлить, папаша!

В середине второго отделения он заметил, что Катарина сбегает. Поверх раструба инструмента он видел, как она пошла к выходу. С мужиком. Накануне Катарина небрежно представила Вольфганга этому важному киношнику со студии «УФА». Чванливый потный толстяк лет под пятьдесят.

Конечно, это ее дело.

Никого не касается.

Никакой ревности.

Они просто друзья.

Но когда пухлая, унизанная перстнями рука продюсера по-хозяйски легла на изящную обнаженную спину Катарини, Вольфганг в ошеломлении понял, что умирает от ревности.

## Сент-Джонс-Вуд

Лондон, 1956 г.

Окна его квартиры выходили на Риджентс-парк. На жалованье министерского чиновника такое жилье не купишь, но помогли деньги от продажи родительской квартиры в Берлине — родного дома, в сорок втором украденного нацистами и чудом уцелевшего в союзнических бомбежках.

Прощальный дар любимых мамы и папы.

Шагая от метро «Сент-Джонс-Вуд», Стоун гадал, застанет ли еще Билли. Девушка оставалась у него только на выходные, а в понедельник уходила, но всегда в разное время. Она не из тех, кто живет по расписанию.

Дождаясь лифта, Стоун вдруг понял, что *надеется* ее застать. Можно вместе выпить кофе и послушать пластинку, продолжив джазовое образование Билли.

Стоун постарался отогнать эти мысли.

С тридцать девятого года он избегал всяких привязанностей. Всегда уходил, если чувствовал, что с кем-то слишком сближается. Особенно с женщиной. Билли ему нравилась, с ней было хорошо, и одно это наводило на мысль, что пора прекратить их встречи.

С чего он решил, что имеет право на простые удовольствия?

Он ведь выжил.

И вообще, он любит Дагмар. И всегда будет любить. Как обещал на вокзале Лертер.

С Билли, уроженкой Вест-Индии, он познакомился прошлым летом на подвальной тусовке на Лэдброк-гроув. Стоун любил бывать в Ноттинг-Хилле. С тринадцати лет хоть в чем-то да изгой, он симпатизировал переселенцам, недавно обосновавшимся в Западном Лондоне.

Ну вот, еврейского полку прибыло, как-то пошутила Билли. Лучше оставайся в резерве, ответил Стоун.

Ему нравились музыка и бесшабашность ее земляков, плевавших на условности и авторитеты. Нравилось их веселье, хотя сам он не веселился, нравились танцы, хотя сам он не танцевал. Еще он узнал, что марихуана — приятная альтернатива скотчу, который с войны помогал ежевечерне скрываться от мира.

Какое облегчение после долгого дня в напыщенной сухости Уайтхолла скоротать вечерок в шумном взопревшем многолюдстве: поймать кайф и

слушать непривычную музыку, наблюдая за танцевальными парами, в тесном объятии слившимися в единое существо. Вспоминались рассказы отца о маленьких ночных клубах, где грохочут ритмы и полыхает секс, — о клубах, где выступал Вольфганг Штенгель, пока хлыст не рассек воздух. Отец говорил, что в те дни Берлин был прекрасен, буен, шал и жизнеутверждающ.

В маленьких подвальных клубах, которые вмиг, не озаботившись лицензией, открыли выходцы из Вест-Индии, Стоун будто приближался к отцу. Он тешился мыслью, что картина перед его чуть прикрытыми глазами мало чем (разве что цветом кожи танцоров) отличается от той, которой из-за раструба инструмента улыбался Вольфганг в безумные и беспечные ночи давней иной жизни.

Правда, иногда лишняя затяжка или лишний глоток преображали видение, и тогда в одурманенный мозг пробивался бредовый кошмар: распахивалась дверь, в подвал вваливалась толпа кретинов в коричневых рубашках с черно-красными нарукавными повязками, и дубинки превращали изящных юных танцоров в кровавое месиво выбитых зубов и переломанных костей.

Если подобные картины зачастили, в косяк кладки побольше табаку, советовала Билли. Раз так сильно глючит, пора притормозить.

Она еще не ушла.

За приоткрытой дверью спальни из-под простыни высовывалась изящная смуглая ступня с идеальными ноготками под темно-красным лаком.

— Ты еще здесь? — окликнул Стоун. — Хорошо быть студенткой, а?

— Не вольнуйся, дружёк, через час урёк по трафаретный печат, — ответил веселый голос в спальне. — В утре нет занятий, и я маленько читала в постеля, но секунда, голубчик, и я уберюсь с твой гляз долёй.

Ну и фонетика, подумал Стоун. Даже разговор об учебе выглядит игривым трепом. Хоть один немецкий диалект обладает этакой беспечной свежестью?

— Не спеши. Времени полно. Поваляйся еще, если хочешь.

Стоун налил воду в чайник, ложкой отмерил зерна и включил электрическую кофемолку. За кофе приходилось ездить аж в Сохо. К непопулярности кофе на приемной родине он так и не привык.

— Нет, малиш, польно делёв. — Было слышно, что Билли встала и одевается. — Не могу ждать, покюда меня отщворят.

Стоун покраснел.

— Да нет, я в том смысле... то есть... успеешь позавтракать.

Уловив его смущение, Билли рассмеялась:

— Не-а. На завтрак и всяк утехы нет времени, дружёк. Ха-ха! Но кофейку глётну. От запах свежемолётый кофе мне не устоять.

Милые отношения. Таких еще не было. Дружба и постель. Билли тоже не стремилась к чему-то серьезнее, но совсем по иной причине. Как говорится, она — на ярмарку, он — с ярмарки.

Молодая, раскованная, честолюбивая. Ей некогда тратить время на влюбленность. Особенно в него, решившего, что не заслуживает счастья.

— В тебе тёмится мильён бесов, дружёк, — в одну из первых ночей сказала она. — Сделай милёсть, не выпускай их, когда я рядом, лядно? Мне своего дерьма хватает.

— Я и так не выпускаю, — ответил Стоун. И впрямь не выпускал.

Через минуту Билли вышла из спальни, на ходу влезая в туфли. Поразительно, как быстро она обретала безупречный вид.

— Пара минут, и кофе будет готов, — сказал Стоун.

— Еще мясса время. До колледж всего ничего. Зняешь, ты мне люб одним — сьвоим адресём, — поддразнила Билли и, усевшись за стол, достала помаду.

Она училась на третьем курсе текстильного отделения. От квартиры Стоуна до политеха в Кентиш-Тауне минут пятнадцать ходу.

— Конечно, знаю. Рад быть полезным. Других причин для симпатии и не нужно. Слушай, нельзя намазаться после кофе? Потом чашку фиг отмоешь.

— Пёздно. — Билли промокнула ярко-алые губы и сунула салфетку в кармашек Стоунова пиджака, висевшего на спинке ее стула. — Чтоб на неделя меня вспёминать. Ха-ха!

Стоун бы не обиделся, если б она и вправду сошлась с ним только из-за удобства его квартиры. Не такое уж он сокровище — старше на четырнадцать лет, да еще влюблен в воспоминание. Случалось, он нравился женщинам (интересно, чем?), но уж Билли-то могла найти себе кого получше. Его захудалая кухонька буквально озарялась, когда в нее входила эта невероятно элегантная умница в красивом розовом костюме — жакет и узкая юбка — и в тон ему беретте, чудом державшемся на иссиня-черном перманенте а-ля Мэрилин Монро. Широкая улыбка ее просто излучала жизнелюбие.

Стоун налил кофе в чашки. Билли уложила в рюкзак карандаши, бумагу, библиотечные фотоальбомы и картонку с образчиками тканей, которые, не удержавшись, нежно погладила.

— Прётивополюжности притягиваются, — сказала она, будто читая его



мысли. — Я люблю тихёнень. Не мешают тебе быть центр внимания.

Билли глотком выпила свой кофе, закинула рюкзак на плечо и, цапнув гренок с конфитюром, который Стоун только что себе приготовил, устремилась к двери.

— Значит, до виходних, — с полным ртом проговорила она. — Хёчешь, махнем ко мне. Мама готёвит свинина, обжаренная с имбирь и специи. Давай, если что.

— Вообще-то я не ем свинину. Не знаю почему. В детстве ел.

— Мамина съешь за милый душа.

— Не сомневаюсь. Только в конце недели я уеду. Я говорил, что собираюсь в Берлин, помнишь?

— Ах да, тёчно. Затерянная подрюжка, да? Ха-ха! Удячи.

— Она была девушкой моего брата.

— Вёт уж, поди, жалилё!

Стоун не рассказывал о своих чувствах к Дагмар, но, вероятно, все и так было видно. Женщину не проведешь.

— Привезу тебе сладких брецелей, — сказал Стоун.

— Спасибё, не надо. На диета. Вёт если б что-нибудь про Баухаус.<sup>[33]</sup> Пусть на немецкий, глявное — фёто. Звякни, как верьнешься. Конечно, если не спютаешься с девюшка брудера.

— Вечером я свободен, — машинально сказал Стоун. — Можем вместе поужинать.

— Не-а. Позирую в худёжественный училищ. Стюденты меня обожают. Гёвёрят, экзётичная. Что зяпоете, гёвёрю, когда сюда припливет паря мильёнов моих братёв и сёстрь. Бюдет вам экзётика. Ха-ха! Задюмались.

Цокая шпильками, Билли ушла.

Забавно, что она подрабатывает натурщицей.

Просто совпадение. Однако приятное. Мостик к матери, как подвальный клуб — мостик к отцу.

Прихватив кофе, Стоун прошел в маленькую гостиную. С полки над газовым камином взял статуэтку.

Потрогал ее гладкие приятные изгибы. Порочно ли гладить изображение голой матери? Уж Фрейд бы нашел что сказать.

Иногда Стоун ненавидел статуэтку. Из-за ее автора. Но чаще любил. Потому что это его мать. Фрида в первый год жизни сына-несмышленьша. Двадцатидвухлетняя, нагая, в расцвете юности. Статуэтку купил дед, она всегда стояла в их квартире. В 1946 году, перед продажей квартиры, немецкий маклер собрал все уцелевшие семейные пожитки и отправил

Стоуну в Лондон.

Интересно, сколько истинных нацистов лапало статуэтку в те годы, когда квартиру занимало неведомое семейство — кровожадные кукушки, захватившие его родное гнездо? Вот уж ворюги бы ошалели, если б знали, что трогают изображение еврейки. Наверняка был какой-нибудь Нюрнбергский закон, гласивший: *ни один истинный ариец не прикоснется к изделию, если среди предков его модели один или более — еврей.*

Отец терпеть не мог статуэтку.

Стоун усмехнулся. Вольфганг Штенгель впадал в карикатурную ярость, когда кто-нибудь ее хвалил.

Творение попирало все его художественные принципы. Унылый реализм и больше ничего, вопил он. Именно поэтому статуэтка нравилась Стоуну и брату. Именно поэтому Стоун и сейчас ее любил. За унылый реализм в умелом исполнении. Сносный образ любимой матери. Не столь прекрасный, какой она была в жизни, и все же прекрасный.

Стоун взял статуэтку за голову.

Как в ту ужасную ночь.

В хватке побелевшие костяшки.

Мраморная подставка в крови.

Из крана льется вода, смывая кровь, розовые потоки исчезают в сливе. Они с братом лихорадочно уничтожают следы преступления.

## Слишком много джаза

### Берлин, 1923 г.

Клуб, как выразился Том Тейлор, ходил ходуном.

— Во зажигаем! — крикнул он из-за барабанов. — Лучше лабухов и в Нью-Йорке не сыскать!

Вольфганг опробовал новую пианистку — русскую эмигрантку Ольгу, уверявшую, что она царевна. Или какая-то княжна. В то время все русские беженки назывались великой княжной Анастасией. Скорее всего, Ольгин папенька был невежественным селянином, в обмен на свои чрезмерные стада и поля получившим пулю в затылок. Неудивительно, что Ольга ненавидела Венке, кларнетиста-коммуниста, и тот отвечал ей взаимностью.

Конфликтность Вольфганг одобрял.

— Нам нельзя быть закадычными друзьями. Это размягчает, — сказал он. — В миноре полезен этакий раздрай. Вон какие у Венке теперь едкие атональные импровизации.

— Вот бы еще бешеная собака вцепилась в его атональную жопу, — процедила Ольга, пыхнув сигарой.

— Играй пока, княжна. — Венке дунул в кларнет. — Всю жизнь не побегаешь. Все равно революция тебя настигнет, а вас, кулаков, ждут не дождутся фонарные столбы.

— Немчура краснопузая! — фыркнула пианистка. — Революция, как же! Без письменного указания Москвы вы даже не пернете. Выпьем за Ленина и его четвертый инсульт! Говорят, речь отнялась. Дай знать, когда эта сволочь окочурится, я всем поставлю выпивку!

Ольга сплюнула на пол и отсалютовала Венке стаканом водки с перцем. Дабы остановить назревавшую драку, Вольфганг объявил следующий номер.

— Последняя новинка! — крикнул он, перекрывая шум зала. — Думаю, вам понравится, а уж мы-то от нее без ума. Сочинение великого негритянского композитора Джимми Джонсона<sup>[34]</sup> из Нью-Джерси. Называется «Чарльстон»!

Том Тейлор отбил вступительное соло на барабанах, и оркестр грянул пьесе, которая с ходу стала гвоздем сезона.

Глаза Вольфганга за медным соплом трубы лучились счастьем. Вот об этом он и мечтал: каждый вечер битком набитый зал, светильники в

дымном мареве. Извивающиеся тела. Искраженные лица. Выпивка, девушки, веселье. Красота! Три месяца промелькнули как одна неделя. «Джоплин» стал вторым домом.

«Шобла» Курта стала и его кругом.

Даже та бесчувственная девица, что в вечер знакомства сползла под стол, оказалась вовсе не опившейся шлюхой. Ее звали Хелен, и она, несмотря на свои двадцать лет, уже руководила закупкой модных товаров в огромном универсаме Фишера на Курфюрстендамм.

— Извини за вчерашнее, — хихикнула она при следующей встрече. — Наверное, вела себя ужасно, но ничего не помню. Маленько промахнулась с дозой. Бывает.

Заразительная оптимистка Хелен считала, что почти все и все по-своему интересны и увлекательны.

— Зануд я воспринимаю как черновик, который нужно переделать, — делилась она с Вольфгангом. — В каждом скрыто что-то любопытное, правда? Даже то, как он дышит. Нет, если и впрямь задуматься. Верно? Скажи, а?

Хелен оставалась очаровательной балаболкой и хохотушкой, пока ее не вырубили дурь и выпивка. Без предупреждений о том, что «гиря до полу дошла» (ее выражение), девушка просто закатывала глаза и сползала под стол. Гельмут всегда следил за тем, чтобы ее отнесли в машину и доставили домой к любящим родителям. Эффектная, порочная, шалая и живая, она была истинной джазовой девочкой, и в любом другом клубе на перекурах Вольфганг непременно баловал бы себя общением с этакой искрометной поклонницей.

Только не в клубе, где была Катарина.

Он не мог тратить драгоценные перерывы на болтовню с другими девушками, пусть хоть чаровницами из чаровниц.

Вольфганг понимал, что это опасное сближение. Нельзя так желать встречи с ней. Высматривать ее со сцены. Разыскивать в перерывах. При всякой возможности сидеть с ней в баре. Взахлеб делиться впечатлением об очередном спектакле или выставке.

Хотя какая тут опасность. Ведь она с Куртом. А Вольфганг счастлив в браке.

Да, она его поцеловала в утро знакомства, но с тех пор — ни разу. Не накрывала ладонью его руку, когда он подносил огонь. Не завораживала взглядом сквозь дым, выпущенный из губ в той же пурпурной помаде.

В этот ноябрьский вечер, недельный юбилей «Чарльстона», Вольфганг объявил перерыв и тотчас отыскал Катарину в баре.

Они сошлись в том, что музыкальная новинка сногсшибательна.

Позубоскалили над гневливым кларнетистом-большевиком и его врагиней, русской сквернословкой.

Обменялись впечатлениями о постановке в Народном театре последней пьесы Георга Кайзера<sup>[35]</sup> «Сосуществование» в декорациях Жоржа Гросса, их любимого художника.

А потом Вольфганг спросил, почему при знакомстве Катарина его поцеловала.

Вопрос выскочил, как убийца из подворотни. Вернее, как джинн из бутылки. В тот вечер Вольфганг явно перебрал.

— Странно, что ты спросил, — сказала Катарина.

— Сам удивляюсь.

Она пригубила шампанское.

— Наверное, была чуть пьяная. И ты мне понравился. Помнишь, что я сказала? Мол, ты очень клевый. Нагло, да? Что ты женат, я узнала уже *после* поцелуя. Знаешь, на сцене ты не выглядел женатиком.

Во взгляде ее не было дерзости. Катарина потупилась, уставившись в пепельницу.

— И к тому же ты с Куртом, — добавил Вольфганг.

— Марафетчиком? Была, теперь нет.

— Значит, ты одна? — Вольфганг сообразил, что спросил слишком поспешно и пылко.

— Да. Незанятая. Это про меня. — Катарина невесело усмехнулась. — Счастливица, верно?

— А если бы... если бы... — Вольфганг глотнул скотч, бесшабашно сознавая, что и так уже выпил лишнего.

— Что — если бы? — спросила Катарина.

— Если бы я был один? Ну вот ты меня поцеловала — а я ничего не сказал о жене и детях.

— Тогда я бы снова тебя поцеловала, мистер Трубач. А потом еще и еще, пока не закончилось бы твое и мое одиночество.

Вольфганга потрянуло, все существо его откликнулось на эти слова.

Взгляд Катарины затуманился.

— Но ты *сказал* о жене и детях. Это меняет дело, поскольку я, видишь ли, современная девушка со старомодными понятиями. Конечно, хорошо бы, — мечтательно вздохнула она, — если б ты встретил меня, а не свою преданную докторшу. Я была бы не прочь иметь в дружках джазмена-театрала.

Хмель добрался до головы и наделил безрассудной отвагой. Вольфганг

потянулся к руке Катарини. К пальцам с ногтями под черным лаком, державшим сигарету.

— Вот мы и встретились, — тихо сказал он.

Их руки соприкоснулись.

Катарина опустила взгляд и как будто крепко задумалась.

Потом убрала руку, поднесла сигарету к губам и глубоко затянулась.

— Говорю же, я современная старомодная девушка. Пусть все остается как есть, ладно? Мы друзья. Беседуем. Ты женат.

Вольфганг понял, что сглупил. И разозлился. Хмель приволок с собой и хамство.

— Старомодная? А как же продюсер с «УФА»?

— Что?

— Ничего. — Даже пьяный, Вольфганг смекнул, что перешел грань.

— Нет уж, говори, — потребовала Катарина.

Вольфганг пожал плечами и промямлил, глядя в сторону:

— Мужик, с которым ты вчера ушла. Вряд ли ему не терпелось обсудить кинопроизводство.

Пристальный взгляд Катарини был ясен и жесток.

— Значит, ты заметил?

— Конечно, заметил. Я... ревновал.

— Ты женат на фрау Трубач. Какое право ты имеешь ревновать?

— Наверное, никакого, но ревновал.

Катарина вмиг смягчилась. И погрузилась. Вновь глубоко затянулась, спалив сигарету до фильтра. От окурка прикурила новую. Поежилась.

— Это бизнес. Глупый, абсолютно наивный, но все же бизнес. Роль через постель — кажется, так это называется. Он обещал, и я клюнула. Настолько, чтобы расчетливо рискнуть и проиграть. Он получил что хотел, я — нет. Утром пришла на студию, а он меня не принял. Сама дура. Моя первая и последняя подобная ошибка.

Вольфганг успокоился. И устыдился.

— Прости, Катарина. Зря я затеял... морду бы набить этой сволочи...

— Да ладно. Тык-пык и до свиданья. Но если я готова переспать с тем, кто мне противен, и потом оправдываться, дескать, так было надо, я вовсе не хочу трахнуться с тем, кто мне вправду приятен, и потом говорить, мол, были пьяные, устали и от джаза очумели. Ты, кстати, больше, чем я. А потому играй, а затем иди домой к доктору Штенгель, пока не угробил мое расположение к тебе.

Вольфганг слез с высокого стула.

— Что ж, ты права. Извини за дурость. И спасибо за... в общем,

спасибо.

— Иди на сцену. И жги, жги, жги, понял?

На пути в гримерную Вольфганг увидел Гельмута, сопровождавшего бритоголового вояку и смазливую юношу в мужской туалет.

— Гулянке нет конца, верно? — сказал Гельмут.

Вольфганг усмехнулся:

— Боюсь, когда-нибудь придется закончить.

Через две недели, 15 ноября, новый президент Рейхсбанка упразднил обесцененную рейхсмарку и ввел переходную валюту, категорически запретив ссуды и биржевую игру. Так называемая рентная марка удержала свою стоимость, в одночасье разделавшись с очередным немецким безумием.

## **Крикливый трехлетка**

***Мюнхен, 1923 г.***

В то же самое время в Баварии крепчало иное безумие, гораздо кошмарнее. Нацистская партия, громогласное взбалмошное дитяtko, родившееся в один день с братьями Штенгель, накануне своего трехлетия взбеленилась. Адольф Гитлер, ее глас и душа, попытался устроить государственный переворот. Взяв в заложники трех местных политиков, во главе двухтысячной вооруженной банды он промаршировал от пивной к министерству обороны, вознамерившись установить свою диктатуру не только в Баварии, но и во всем рейхе.

Гитлер и его бандиты до министерства не дошли. Путь им преградила сотня полицейских. В короткой перестрелке погибли четверо служителей правопорядка и шестнадцать нацистов. Гитлер смылся, но другой партийный лидер, Герман Геринг, был серьезно ранен. Его занесли в банк, где первую помощь ему оказал один клерк. Еврей.



## Современный джаз

### Лондон, 1956 г.

К вечеру собственная квартира осточертела и Стоун решил прогуляться. Все равно уже не позвонят. Секретная служба схожа с министерством иностранных дел — работает в присутственные часы, а на сверхурочные труды смотрит косо.

В одиночестве отужинав яичницей с беконом под бутылку «Гиннеса», Стоун надумал отправиться к Финсбери-парку и заглянуть в «Новый ритм» — понедельничный ночной джаз-клуб; прежде он частенько там бывал, но потом променял его на заведения Ноттинг-Хилла. Нелегальные клубы выходцев из Вест-Индии казались гораздо отвязнее и круче благонравных лондонских джаз-пабов, куда ходили серьезные студенты из среднего класса. Но джаз Стоун по-прежнему любил. Табби Хейс<sup>[36]</sup> регулярно получал ангажемент в «Новом ритме», а лучшего тенор-саксофона не сыскать. Отец Стоуна обожал саксофон, но сам играл редко — знал, что уступает иным коллегам-оркестрантам. Поэтому на саксофоне играл дома и изредка в барах на джем-сейшен. Стоун считал саксофон «домашним» инструментом. Папино хобби, не работа.

Он взял такси. «Новый ритм» располагался прямо напротив метро «Мэнор-Хаус», но вечерами Стоун избегал подземку. Сам заядлый курильщик, он не выносил накопившуюся за день стоялую табачную вонь, сдобренную человеческими испарениями. Стоун откинулся на сиденье и закурил «Лаки Страйк», поглядывая на световые полосы от уличных фонарей, временами пронизывавшие машину.

Вспомнилось, как однажды он наблюдал за такими же всполохами. В спальном вагоне поезда Берлин — Роттердам. Тесное купе, перестук колес, лязгающая вагонная качка и тьма за окном, прореженная огнями станций.

Стрелка на его часах отсчитывала секунды.

Стоун подставил часы под свет. Те же самые часы. Берлин, Роттердам — Лондон. Похоже, он все еще в дороге.

Стоун закрыл глаза. Мысленно перенесся далеко-далеко. К началу путешествия. В иное время. Иное место. Туда, где был счастлив.

Далеко-далеко от Камдена, Холлоуэя и Севен-Систерс-роуд. В Народный парк. В «Волшебной Стране» крики, смех, фонтаны и сто шесть скульптур сказочных персонажей. По большой круговой тропе Стоун и

брат бегут навстречу друг другу. Между Рапунцель и Красной Шапочкой ловят Дагмар. Хватают ее за мягкие золотистые ручки и выпрашивают поцелуй, а неподалеку Зильке кукуется и обзывает их дураками.

В такси Стоун затянулся сигаретой. Интересно, бродит ли Дагмар среди этих каменных изваяний, вспоминая об ушедших днях? «Волшебная Страна», чудом уцелевшая в бомбежках, теперь в Восточном секторе. Приходит ли туда Дагмар? Вспоминает ли о догонялках за поцелуй под бдительным оком Рапунцель, Красной Шапочки, Белоснежки, Спящей красавицы и прочих обитателей Сказочной страны?

Может, по дороге на службу?

В Штази.

Голос таксиста перебил его мысли:

— Доехали, приятель. Паб «Мэнор-Хаус».

Стоун даже не заметил, что машина остановилась.

Он приехал слишком рано, и зал был почти пуст, но опыт подсказывал, что народу набьется битком, а потому Стоун сразу застолбил себе место. Взяв стаканчик виски и пинту пива для лакировки, он занял столик поближе к эстраде — с той стороны, где расположится духовая секция. Соседей по столику не избежать, однако хотелось максимально снизить шансы досужего трепанья. Уж сколько раз бывало — только погрузишься в музыку, как влезет какой-нибудь умник, которому нейдет продемонстрировать свои энциклопедические познания в технике джаза: «Недурственная септима, а? Что скажете о мелодическом миноре? Клево».

Стоун предпочитал быть нелюдимом. Праздная болтовня его не привлекала. Давнишний завсегдатай джазовых клубов, он привык остерегаться молодчиков, которые бесцеремонно шваркали свои пинты и трубки рядом с его пачкой «Лаки», вообразив, что случайный перегляд во «Флориде», «Фламинго» или «Студии 51» возводит их в ранг его джазовых приятелей.

Стоун закурил и развернул газету, купленную возле метро. Конечно, опять Суэц и Венгрия. Читать не хотелось, но газета — удобная ширма от незваных собеседников, желающих поболтать перед концертом.

Понемногу зал наполнялся. Типично джазовой публикой, нарочито показушной. Шерстяные пиджаки, вельветовые туфли. Прямо слет лейбористов в Хэмпстеде, подумал Стоун. Только люднее. В воздухе витало такое благоговение, голоса приглушенные, лишь изредка кто-нибудь смеялся громко и деланно, демонстрируя свою раскрепощенность. Как вышло, что искусство, некогда растормошившее весь мир, стало таким изысканным? В отцовы времена джаз был громкой и хмельной музыкой

вечеринок, которую не просто слушали — под нее отплясывали. Может, дело в джазовой классовости? Поначалу регтайм и дикси принадлежали бедноте и декадентской элите. Потом эти две группы четко размежевались и джаз вместе с программами Би-би-си и лозунгом «Запретите бомбу!» стал достоянием среднего класса.

— Извините, у вас занято?

Стоун поднял взгляд. Хороший вариант. По виду студенты. Эти не полезут с разговорами к серьезному дяденьке. Четверо. Два битника и две цыпочки.

Классические стилиги. У цыпочек короткие прямые челки. Полосатые джемперы и брючки в обтяжку. Голые икры. Битники в пуловерах. Жиденькие козлиные бородки. Черные джинсы. Высокие замшевые ботинки. Один в берете, из нагрудного кармана вельветового пиджака выглядывают солнечные очки.

Два битника. Две цыпочки. Два стула.

— Нет, свободно, — ответил Стоун.

Битники плюхнулись на стулья, цыпочки — им на колени. Одна пара достала барабаны бонго и потрепанную школьную тетрадь. Видимо, сообразил Стоун, после концерта хотят предложить остаткам публики ритмизованную поэтическую декламацию. Ну уж он-то не задержится.

Под легкие аплодисменты и уважительные кивки появились музыканты. Битники явно хотели похлопать и покивать, но им мешали цыпочки на коленях. Рукам препятствовали девичьи талии под шерстяными джемперами, а головы утыкались в девичьи спины. Вскоре извертевшиеся цыпочки отбыли на стоячие места в конце зала. Вряд ли эта музыка их интересовала вообще. Похоже, джаз стал чисто мужским увлечением. Еще одна удивительная перемена. Прежде все было иначе. В отцовы времена девушки обожали джаз. Джазовые малышки были символом двадцатых годов. Клубы, рассказывал отец, ломались от девиц с круглыми глазищами а-ля Бетти Буп<sup>[37]</sup> и пухлыми губами гузкой.

Все неотразимые симпатяги, говорил папа, и ночь напролет отплясывали шимми.

Мама закатывала глаза.

Стоун не застал тех времен. Когда они с братом подросли, нацисты уже давно предали анафеме так называемую «негритянскую музыку» и закрыли евреям вход в ночные клубы. Вольфгангу запретили играть. Еврейские музыканты могли выступать только перед евреями. Но культурные евреи желали слушать одного Мендельсона. Видимо, его музыка напоминала о том, что некогда они были немцами.

На эстраду вышли трубачи. Нынче почему-то их было двое. Прихлебнули пивка, перебросились парой слов. Продули инструменты, взяли ноту-другую. Подышали на пальцы. Прикрыв глаза, Стоун постарался представить отца. Наверное, он точно так же готовился. Тоже дышал на пальцы.

По правде, ради этого Стоун и приходил. Нет, джаз он любил, но главное здесь — закрыть глаза и вообразить отца. А потом добавить в картину брата. И увидеть то, о чем мечталось.

В детстве было не одно утро, когда они с братом просыпались — Вольфганг не умел вернуться с работы бесшумно — и шепотом строили планы, как однажды вечером проберутся в клуб и послушают папину игру. Спрячутся на задах того волшебного места, которое родители называли «ночным клубом», и проникнут в папин таинственный мир.

Конечно, не сбылось.

Но когда в маленьких лондонских пабах чуть захмелевший Стоун прикрывал глаза, в дымном мареве возникал отец, а рядом сидел брат, и сбывалось все, о чем мечтали в уютных кроватках, стоявших в маленькой комнате берлинской квартиры.

Табби, руководитель оркестра, представил музыкантов.

— Начнем с известной вещицы, — сказал он. — Так, для разогрева.

Оркестр заиграл «Аравийского шейха». В отцовы времена это была новинка. Только что из Штатов.

Стоун курил и вместе с братом слушал отца.

## Цирлих-манирлих Берлин, 1926 г.

Вольфганг отставил кофе, взял ручку и вымучил фразу:

*Учитель музыки набирает учеников.  
Специализация — пианино и все прочие инструменты.*

Ну вот. Начало положено. Сочинил. Вольфганг отложил ручку.

— Поджарить еще тостов? — спросил он Фриду.

— Вольф! Ты же только начал!

— Ладно, ладно.

Вольфганг перечитал фразу и показал листок Фриде:

— Ну как?

— По-моему, нельзя говорить «специализация — все инструменты». В смысле, специализируются на чем-то одном, верно? Даже если ты универсал.

— Ну вот! Говорил же, не получится.

— Вольф! Ты не старался.

— Потому что душа не лежит. Напиши, а?

— Я штопаю.

Оба еще в постели. Воскресное утро. Вроде как лучший день недели. Безмятежный покой. Кофе, тосты. Фрида чинит носки, на ковре Пауль читает, Отто откусывает головы оловянным солдатикам. А Вольфганг сочиняет дурацкое объявление.

Он уныло погрыз ручку.

*Специализация — все инструменты...*

*Обучение на любых инструментах?*

*Скажи, на чем, и я слабаю?*

— Пожалуй, ограничусь пианино, — сказал Вольфганг. — Все хотят, чтоб их детки бренчали на фортепиано.

— Как знаешь. Главное — напиши.

Вольфгангу претило учительство.

И особенно — обучение детей. Но от друзей-музыкантов, которые вынужденно пошли на этот ужасный компромисс, он знал, что иной работы не светит.

— Конечно, нагрянут детки, — пробурчал Вольфганг. — Взрослые уже

понимают, что в музыке ни уха ни рыла. А соплякам еще надо растолковать, что они не смогут играть.

— Пожалуйста, не накручивай себя, — попросила Фрида.

— Но ведь в том-то и соль! На девяносто девять процентов, ей-богу! Долго и мучительно вдалбливаешь ученику, что он полная бездарь и никогда не сыграет ничего сложнее «О Tannenbaum!». [38] День за днем тянешь кота за хвост, и вот наконец до ученика доходит, он сдается и забывает о музыке до той поры, когда отдает в обучение собственных бездарных отпрысков.

— Вольф, замолчи! Либо пиши, либо нет.

— Я не вру, вот и все.

Что уж говорить о чужих детях, если своих-то за уши тащишь к инструменту! Приличную музыку сыновья даже *слушали* только из-под палки. Крепло подозрение, что уродились два филистера. Из джаза им нравился один регтайм, хотя к семи годам музыкальный вкус уже должен развиваться.

— Может, они оба приемыши? — драматическим шепотом спрашивал Вольфганг.

Фрида не находила шутку смешной.

Я профессионал, говорил Вольф, я не нянька с регалиями.

Конечно, всему виной правительство. Этот Штреземан [39] и его социал-демократические подельники, талдычащие о стабильности и благоразумии. Во что превратилась страна? Позор! Все замерло даже в Берлине — сердце и планетарной столице самого молодого, безумного и гедонистического авангарда. Да, в выходные клубы работали, но будни-то были мертвые.

— Люди перестали танцевать! — простонал Вольфганг. — Три года назад у меня было по двадцать халтур в день. А сейчас я дерусь с классными лабухами за грошовую работу. Virtuozы служат таперами во вшивых киношках! Преступное разбазаривание таланта. Господи, как я скучаю по старым добрым денькам!

— Что? — Фрида сосредоточенно вставляла нитку в иголку. — Истосковался по революции и инфляции?

— Да! Именно, Фред. О том и речь. Национальное бедствие, катастрофа — вот что раскачает город. Три года назад, когда страна вконец обессилела, банковские клерки и продавщицы впритирку танцевали до рассвета! В стельку напивались, нюхали кокаин и трахались в туалете! Куролесили, будто завтра не наступит, ибо не верили ни в какое завтра. И

вдруг они превратились в своих родителей. Стыдобища!

— Нельзя вечно веселиться, Вольф.

— Почему это?

— Потому что существуют обязанности. Людям нужно *сберегать*. Потихоньку планировать будущее.

— Будущее! *Будущее*. Если б кто-нибудь из немцев моложе тридцати пяти знал, что *означает* это слово. Пока что *не было* никакого будущего! Утром *проснуться* — вот что считалось будущим. И ближайшая кормежка. А теперь народ планирует *старость*. Думает о пенсии, откладывает на летний отпуск. Мы ничему не научились, что ли? Неужели никто не понимает, что очередной стакан и следующий танец — *единственные* стоящие капиталовложения?

— Решать тебе, милый. Можешь этим заниматься, можешь не заниматься, но ты не хуже меня знаешь, что деньги нам не помешают, — сказала Фрида и, помолчав, добавила: — Ну, пока ты не продашь свое сочинение.

Вольфганг заулыбался. Фрида говорила всерьез. Она все еще верила.

— Как новый Мендельсон?

— Нет, — возразила Фрида. — Как новый Скотт Джоплин.

Вольфганг ее поцеловал.

— Гы! — сказал Отто, окруженный погибшими солдатиками.

— Что ты как маленький... — оторвавшись от книжки, упрекнул его Пауль и чуть слышно закончил: — говнюк.

— Я не Джоплин, — усмехнулся Вольфганг. — Но счастлив жить в мире, где Джоплины существуют.

— И что теперь? — улыбнулась Фрида.

— Ладно, попытаюсь состряпать объявление.

— Давай уж сюда!

А ровно через неделю, в следующее воскресное утро, Вольфганг уже не валялся в постели, а в выходном костюме наливал кофе преуспевающему господину, который вместе с изысканно одетой шестилетней дочкой примостился на краешке захлавленной кушетки.

— Как зовут девочку? — спросил Вольфганг. — Фройляйн Фишер?

— Пожалуйста, называйте ее по имени — Дагмар, — ответил господин.

— Угу. Что-нибудь выпьете, Дагмар?

Из-за кухонной двери послышалось сдавленное хихиканье. Прочих членов семейства Штенгелей явно забавляли отцовские потуги на светскость. В числе озорников была и маленькая Зильке.

Вольфганг грозно глянул через плечо, но злоумышленники были незримы.

— Я бы выпила лимонаду, герр профессор, — чрезвычайно светским тоном ответила девочка. — Пожалуйста, побольше сахару.

В кухне грянул приглушенный взрыв веселья; мало того, следом донесся девчачий голосок, передразнивший гостью: «Я бы выпила лимонаду, герр профессор. Пожалуйста, побольше сахару».

Конечно, благовоспитанная девочка, навытяжку сидевшая рядом с отцом, расслышала издевку и тотчас надменно вздернула носик, как человек, привыкший игнорировать мальчишек и прочую шушеру.

— Извините, — сказал Вольфганг. — Сыновья. Я бы их вышвырнул побираться на улице, но закон обязывает приглядывать за детьми. Веймарское правительство в чем-то слишком мягкотело, верно?

— Мальчишки, — снисходительно улыбнулся герр Фишер. — Помнится, я сам был таким.

— Там еще девочка, — твердо сказала Дагмар. — Я четко ее расслышала. По-моему, очень скверная девочка.

Вольфганг улыбнулся сконфуженно:

— Дочка горничной. Она хорошая, только шалунья.

— Мама говорит, грубость и хамство не имеют оправданий. Шалость никого не извиняет.

Ответом на благочестивую нотацию было глухое прысканье, и Вольфганг решил, что лучше перейти к делу.

— Боюсь, лимонада нет, Дагмар. К сожалению, только вода. И потом, я не профессор.

— Если будете меня учить, значит, профессор, — возразила роскошно одетая девочка. Немигающий взгляд ее огромных темных глаз был тверд. — Все мои наставники — профессора. Так полагается.

Герр Фишер вновь снисходительно улыбнулся, явно уверенный, что собеседник разделяет его восхищение этой очаровательной умницей-куколкой.

На самом деле Вольфганг изо всех сил боролся с искушением отшлепать девчонку и поскорее выставить ее вместе с папашей, чтобы самому закурить и потренировать на пианино. Однако надо было притворяться. Он обещал Фриде, да и деньги не помешают. Хотя Вольфганг был абсолютно уверен, что ему откажут. Он и визитеры — разные люди. Вольфганг знал, кто к нему пришел, этого человека знали все. Хозяин универмага Фишера на Курфюрстендамм. А такие как герр Фишер не доверяют своих дочерей тем, у кого нет даже лимонада, не говоря уж о



профессорском звании.

— Позвольте узнать, герр Фишер, почему вы ко мне обратились? — спросил Вольфганг. — Я ведь не совсем педагог, скорее новичок в преподавании. Не могу похвастать опытом в общении с детьми. Особенно с такими юными.

И особенно с маленькими задаваками, про себя добавил Вольфганг. Ишь ты, принцесса магазинная, цирлих-манирлих. Папенька желают снабдить ее «благородным изящным» навыком, дабы успешно выдать за какого-нибудь второсортного экс-королевича или сынка промышленного магната.

— Мал опыт общения? — рассмеялся герр Фишер. — При нашем появлении из комнаты выскочили два юных сорванца. Наверное, домовые? Судя по их озорству.

Вообще-то мальчишки, напустив на себя грозную презрительную враждебность, уже бочком протиснулись в гостиную, хотя держались вне поля зрения чужаков. Пауль и Отто были готовы терпеть девчонок в школе, но только не в собственном доме (Зильке считалась почетным мальчиком). Особенно таких расфуфыренных — аккуратные розовые банты, белоснежное бархатное платье с черной каймой и воздушными кружевами на воротнике и манжетах.

— Мальчишки — иное дело, — ответил Вольфганг. — Тем более что с этими я обязан только жить, но не учить их музыке.

— Как, вы их не учите? — удивился герр Фишер. — Очень странно.

— Нет, учу, конечно, — смешался Вольфганг. — Но, так сказать, породственному. Серьезно я обучал лишь взрослых и, честно говоря, немногого достиг. Знаете, я совсем не уверен, что я тот человек, который вам...

— Муж будет в восторге, если вы решите отдать вашу прелестную Дагмар ему в ученицы. — С подносом печенья Фрида вышла из кухни.

За ее спиной чьи-то губы громко и непристойно фыркнули, Фрида гневно обернулась, но злодей успел скрыться.

— Я — фрау Штенгель, герр Фишер. — Фрида протянула гостью руку. — Доктор Штенгель.

— Спасибо, дорогая, — решительно сказал Вольфганг. — Я и сам разберусь с клиентами, только у нас вряд ли что получится.

— Вот как? — спросил Фишер. — В объявлении сказано, вы берете учеников. Моя дочь чем-то нехороша?

— Да нет же! — всполошился Вольфганг. — Послушайте, герр Фишер, я знаю, кто вы. В Берлине ваше имя у всех на слуху. Вы богатый

человек и можете нанять в учителя главного дирижера берлинской филармонии. Я вам не нужен.

— Почему?

Вольфганг обвел рукой захлавленную комнату. В углу притулился тромбон. На столе аккордеон в куче газет и рукописных нот. На полу подушки и книги. На книжных полках грязные кофейные чашки. На стенах театральные и киноафиши: соседствуют Пискатор и Чаплин.

Обрамленные эстампы: в угрюмом гневе сирые и убогие взирают на карикатурных алчных капиталистов, купающихся в деньгах, и кровожадных вояк-пруссиков, чьи руки по локоть в крови.

— Жорж Гросс, — сказал Фишер. — С первой берлинской дада-ярмарки.

— Вы его знаете? — изумился Вольфганг.

— Думаете, лавочник не способен ценить искусство?

— Ну... признаюсь, я удивлен... Вам нравится Гросс?

— Я им *восхищаюсь*, хотя в гостиной его картины не вешаю, — уклончиво ответил Фишер.

Повисло молчание. Фрида предложила Дагмар печенье, которое девочка нехотя куснула, точно пресыщенная мышка в ожидании деликатеса.

— Послушайте, герр Штенгель, я слабо разбираюсь в музыке и профан в педагогике, — сказал Фишер. — Я дока в торговле. Когда нанимаю сотрудников, я ищу людей, интересующихся тем, что им предстоит продавать. Чтобы сумели заинтересовать и покупателей. В вашем объявлении сказано: композитор, аранжировщик, инструменталист и вдобавок практикующий исполнитель. Мне это нравится. Не знаю, кто больше композитора интересуется музыкой. Разве что торговец пианино.

— Хотите, чтобы я «продал» музыку вашему ребенку? — Вольфганг не сумел скрыть презрения.

— Как всякий товар, верно? Если собираешься угрохать кучу денег на шляпу, сперва убедись, что она тебе нравится. Чтобы освоить любой инструмент, потребуется масса усилий и искренняя вера в музыку, не так ли? Да, я хочу, чтобы вы «продали» музыку и вдохновили Дагмар на учебу.

Сказано откровенно, подумал Вольфганг, и в этом, бесспорно, есть резон.

— У вас дети. Детская душа — величайшая загадка, в которой я не смыслю ни бельмеса. Вот отчего мы наняли двух нянек. Вы же сами воспитываете своих детей. На мой взгляд, отличная рекомендация.

Вольфганг хотел ответить, но под Фридиным взглядом смолчал, и

Фишер продолжил:

— Мы с женой считаем, что у Дагмар проявился талант... — Он осекся, заметив насмешливую искру в глазах Вольфганга. — Не волнуйтесь, я не из тех нелепых родителей, которые мнят свое чадо вундеркиндом. Просто мы заметили, что брэнчать на пианино ей интереснее, чем возиться с куклами, и решили нанять учителя. Я заглянул к двум-трем дорогим наставникам, но их так называемые «студии» — нечто среднее между тюрьмой и кладбищем. Я же хочу, чтобы дочь веселилась. Кроме того, пару раз я был на ваших концертах.

— Правда? — восторженно воскликнул Вольфганг. — Где?

Фрида улыбнулась его щенячьей радости.

— Давненько уже, поскольку нынче экономика оживает, работаешь допоздна. Но в инфляцию все было посвободнее, верно? Я слышал вас в «Джоплине».

— Мой лучший ангажемент.

— Да, там было весело. И вполне безумно. Помнится, хозяин клуба подошел к нашему столику и предложил мне продать универмаг. Вот так вот. Просто невероятно, ему было лет восемнадцать-девятнадцать.

— Едва восемнадцать исполнилось, — сказал Вольфганг.

— Ну вот. Думаю, этот молодой человек далеко пойдет.

— К сожалению, нет. Он умер.

— Господи! А что случилось?

— В инфляцию у него развились склонности, которым позже он уже не мог потакать.

— Ясно.

— В тот год было много потерь. Он в их числе.

— Весьма печально.

— Да, и мне жаль. Он не знал нот, но был джазменом, каких я не встречал. Вспоминаю его всякий раз, как появляется новый американский диск. Он был бы в восторге. Дурачок. Ладно, герр Фишер, вы меня убедили. Я принимаю ангажемент. Буду продавать вашей дочери музыку.

— Вольф! Ты должен убеждать, — укорила Фрида.

— Да, конечно. Извините.

— Все в порядке, — засмеялся герр Фишер. — Так и так хорошо.

За дверью гостиной вновь влажно фыркнули, потом рассмеялись и зашаркали.

— Дагмар не соскучится, я вам обещаю, — радостно сказала Фрида.

И в этот миг был проложен курс четырех юных жизней.

## Субботный клуб

### Берлин, 1926–1928 гг.

Предубеждение к отцовой ученице вмиг испарилось, когда на первый урок Дагмар Фишер явилась с огромным шоколадным тортом.

Конечно, Пауль и Отто *видели* такой торт. В редкие праздничные визиты в продуктовый отдел знаменитого универмага. Через витрину кондитерского прилавка, о которую расплющивались их носы и грязные пальцы. Однако было невозможно и помыслить, что когда-нибудь этот торт украсит стол в их квартире. Ну ладно еще — *кусочек*, который после долгих дебатов был тщательно отобран, церемониально отрезан продавщицей, завернут в вощеную бумагу и уложен в полосатую коробку, после чего принесен домой и до ужина убран подальше. А уж затем поделен на равные доли, для чего Пауль, желавший абсолютной справедливости, требовал применения весов, угольника и линейки.

Но чтобы целый торт!

Опасаясь визита богатенького чада, мальчишки всерьез прикидывали расположение миски с водой над дверью, но бесстыдно растаяли от благодарности.

Смешанной с благоговением.

Ей-богу, девочка, владеющая таким тортом, — полноправная королева или, самое малое, принцесса.

— Можно кусочек? — робко спросили братья.

— Берите весь, — ответила Дагмар. — Папин опыт учит, что перед тортом не устоят даже самые отпетые хулиганы.

— Похоже, твой папа коварен и бесстрашно честен, — сказал Вольфганг, готовя тарелки и нож.

Зильке (которая в жизни не видела даже крохи этакого избытка крема и шоколада) проявила характер и не дала себя околдовать. Она сложила руки на груди, вздернула подбородок и категорически отвергла угощение.

Продержавшись секунд пятнадцать-двадцать.

Затем четыре детских рта (плюс один взрослый) уничтожили лакомство, героически оставив Фриде весьма небольшую порцию.

— Если мы ели твой торт, — сердито прошептала Зильке, которой велели сопроводить новую гостью в туалет, — это еще не значит, что ты в нашей компании.

— Если я позволила тебе есть мой торт, это еще не значит, что ты в

моей компании, — надменно бросила Дагмар.

Вольфганг надумал подключить к занятиям сыновей и Зильке. Он решил, что с детской группой полтора часа пролетят быстрее, нежели с одной ученицей. И веселее. И в том и в другом он оказался прав — с самого начала уроки задалась. Вопреки или благодаря бесконечным распрям четырех юных учеников.

Шел обмен тайными посланиями. Торжественно заключались и нарушались пакты. Возникали и распадались союзы.

Тем не менее в этой кутерьме как-то постигалась музыка. Герр Фишер не ошибся: его изящная дочка обладала некоторыми музыкальными способностями. Что подстегнуло близнецов в ревностном желании превзойти девчонку, и они стали примериваться к разным инструментам. В конце концов, их папа — композитор, а отец Дагмар — всего лишь хозяин магазина. Отто выезжал на природном чутье, но Пауль был собраннее и за счет усердия играл лучше.

Одна Зильке не выказывала исполнительских способностей, но обнаружила сносное чувство ритма, и Вольфганг определил ее на бубен и маракасы. Потом он услышал, как Зильке потчует соучеников похабными песенками, подцепленными от маминого дружка, и понял, что в ее лице обрел вокалистку.

В конце первого года обучения юные музыканты сподобились на маленький концерт для родителей Дагмар. На аппарате «Джон Булл», который Фрида привезла с английской конференции, даже отпечатали программку.

Эдельтрауд, тоже приглашенная на концерт, пришла с новым дружком Юргеном. Симпатичный парень нервно мял кепку и благодарил фрау Штенгель за оказанную милость посетить ее дом. Присутствие знаменитой четы Фишер повергло его в совершенный трепет, и он всякий раз вставал, когда кто-нибудь из супругов входил или выходил.

Со временем Дагмар все дольше задерживалась у Штенгелей по субботам. Она уговорила родителей, чтобы нянька забирала ее не сразу после окончания полуторачасовых уроков. Фишеры были рады, что их дочь общается с детьми из иного сословия. В конце концов, на дворе двадцатый век, в Германии развитая демократия. Кроме того, музыкальный учитель женат на враче, в тестях у него полицейский, что говорит о крепком и славном семействе. Правда, белокурая дочка горничной весьма невоспитанна, коленки ее вечно сбиты, сандалии потерты, а ее берлинским выговором можно резать стекло, но ничего худого в том, что Дагмар кое-что узнает о девочке совсем иного круга. Нет сомнений, что когда-нибудь

нынешние однокашники станут челядью юной Фишер.

Вероятно, супруги полагали, что дети проводят время за совершенствованием музыкальных навыков, чтением и прослушиванием пластинок. Либо играют в настольные игры — «Змейки и лесенки» или недавно появившуюся и чрезвычайно популярную «Монополию», которую герр Фишер находил увлекательной и развивающей. На самом же деле компания околачивалась на улицах Фридрихсхайна, где был простор для озорства. По субботам Фрида работала, и Вольфганг, в маленькой квартире сатаневший от шума и воплей, просто выгонял ребятню на улицу, предоставляя ей полную свободу радостно шнырять по чужим дворам, скакать в «классики», кидаться камнями, тырить фрукты с лотков и временами изучать причинные места друг друга.

В последнем развлечении Дагмар всегда выступала лишь зрителем. Она не желала показать даже трусики, но мальчишки удовлетворили свое любопытство, исхитрившись задрать ее подол. А вот Зильке в любое время была готова заголиться — мол, подумаешь, делов-то.

Постепенно четырех отроков связали крепкие узы, обособив их от школьных друзей и домашних. Они были Субботним клубом — тайным обществом, известным лишь им и закрытым для новых членов. Многожды давались торжественные обеты и клятвы, обязывавшие хранить вечную верность сообществу и друг другу. Правда, из-за внутренних распрей верность друг другу частенько нарушалась, особенно девочками, которые взяли в привычку на присяге скрещивать пальцы за спиной и чуть слышно шептать «кроме Дагмар» и «не считая Зильке». Однако дружба Субботнего клуба была настоящей. Пауль, Отто, Дагмар и Зильке стали истинной бандой четырех.

Конечно, с Зильке мальчишки виделись чаще, отчего та простодушно воображала, будто у нее преимущество перед Дагмар, а в их компании существует элита. Все было с точностью до наоборот. Сравнительно редкие встречи с Дагмар окутывали ее загадочностью, которая вкупе с естественным высокомерием делала ее совершенно неотразимой. Зильке недоумевала: чем противнее, заносчивее и равнодушнее держалась соперница, тем больше мальчишки перед ней стелились. Тогда как все ее, Зильке, старания угодить они воспринимали как должное или, хуже того, игнорировали.

Прошло года два, прежде чем три члена Субботнего клуба, обитавшие во Фридрихсхайне, столкнулись со своей элегантной подругой с Курфюрстендамм в обстоятельствах, отличных от их табельного дня. Это произошло во время межшкольного водного праздника на озере Ванзее. В

веймарские годы наставшего равноправия воспитанники дорогих частных школ изредка встречались со спортивными соперниками из государственных учебных заведений.

Сидя на берегу живописного озера, Пауль и Отто вдруг неподалеку увидели Дагмар, которая весело болтала с одноклассницами. Братья решили не объявляться — отчасти из робости перед толпой богатых девчонок, отчасти из-за непривычной обстановки вообще. Они ограничились созерцанием своей длинноногой подруги в купальнике — зрелище доставляло непонятное удовольствие.

Потом Дагмар подошла к пьедесталу почета.

— Чего это она? — удивился Пауль. — Черт! Неужто хочет кубки полапать?

Дагмар явно направлялась к столу с призами.

Десятью минутами раньше объявили перерыв на чай, учителя и судьи толпой кинулись освежаться, и Дагмар приняла чей-то вызов на «слабо». Пауль и Отто заворожено следили, как она бочком приблизилась к столу, схватила главный приз и ступила на помост перед стартовыми тумбочками, собираясь позировать для фото.

К несчастью, Дагмар оскользнулась на мокром помосте и выронила роскошный кубок, вдребезги разбив его подставку. В ужасе от содеянного, девочка замерла и лишь тряслась мелкой дрожью, а тут еще прозвучал свисток, возвещавший окончание чаепития и продолжение соревнований. Братья подскочили и выхватили у нее погубленный кубок.

— Вали отсюда! — рявкнул Пауль. — Дуй к своим!

Через минуту вернулись судьи и увидели двух мальчиков в плавках, сокрушенно вертевших в руках разбитый кубок.

— Извольте объясниться! — прогремел седоусый учитель. Жесткий воротничок, сюртук, трость — вылитый старый профессор.

— Какие-то хулиганы баловались, — пролепетал Пауль.

— Это мы баловались, — одновременно сообщил Отто.

— Мы за ними погнались и отобрали кубок, — доложил Пауль.

— Это мы его разбили, мы, — известил Отто.

Братья переглянулись.

— Ты дурак, — сказал Пауль.

В результате братьев Штенгель подвергли публичной порке, за которой наблюдала Дагмар, сраженная их отвагой и великодушием. И если честно, весьма польщенная, ибо не всякую девочку на глазах у подруг защитят два странных взъерошенных мальчика, даже не пикнувших под десятью розгами. А Пауль — под четырнадцатью, за вранье.

Наверное, братья орали бы, если б их секли по отдельности, но не желали выглядеть слабаками друг перед другом.

И уж тем более перед Дагмар.

Зильке со своей школой тоже была на празднике; она не видела происшествия, но тотчас обо всем узнала, ибо слух о событии распространился как лесной пожар. Когда соревнования возобновились (без опозорившихся близнецов Штенгель), сквозь толпу спортсменок Зильке пробилась к Дагмар. Девочки разительно отличались: для восьми лет очень рослая Дагмар в облегающем купальнике из наимоднейшего эластика и низенькая крепышка Зильке в мешковатом вязаном наряде (местами дырявом), не скрывавшем ссадины и царапины — следы бесконечных стычек.

— Из-за тебя мальчишек выпороли! — крикнула Зильке.

— Глупости, — надменно ответила Дагмар. — Я же не просила их брать вину на себя.

— Надо было признаться! Девочку бы не высекли.

— Вышла бы нелепость. Пауль и Отто и так уже наболтали каждый свое. Третья легенда была бы лишней, согласись. Все равно их бы наказали. И потом, они выручили меня — это по законам Субботного клуба. Я считаю, они поступили благородно.

Зильке сжала кулаки. От злости лицо ее пылало. Но в окружении богатых девочек, все как одна в красивых эластичных купальниках, она себя чувствовала гадким утенком.

— Кто это? — раздался строгий голос. На горизонте возникла зловещего вида классная дама. — Девочка, ты должна быть со своей школой. Где твоя группа?

— Я хотела поговорить с Дагмар, госпожа, — пробурчала Зильке, уставившись в землю.

— Подними голову и отвечай отчетливо, девочка! Ты не в гостях у фрау Мямля, — пролаяла учительница.

Девчонки захихикали, а Зильке стала малиновой.

— Я хотела поговорить с Дагмар Фишер, — повторила она, чуть приподняв голову.

Дама недоверчиво взглянула на Дагмар:

— Вы знаете эту девочку, фройляйн Фишер?

— Да, фрау Зинцхайм. Ее мать — уборщица в доме, где я беру музыкальные уроки.

От столь уничижительной рекомендации у Зильке отвисла челюсть.

— Мы подруги! — крикнула Зильке.



Девчонки пуще захихикали, и на сей раз побагровела Дагмар.

— Пусть идет к своим. — Фрау Зинцхайм смерила Зильке недоверчивым взглядом. — Начинаются заплывы младших школьников. Соберитесь, Дагмар. Кроль, брасс, эстафета. Надеюсь, вы завоюете три золота.

— Да, фрау Зинцхайм.

Дама повернулась к Зильке:

— Уходи, девочка. Нечего тебе тут делать.

Фрау Зинцхайм отбыла. Зильке ожгла взглядом Дагмар и показала ей язык.

— Хватит, Зильке. Ты просто завидуешь, — сказала Дагмар. — Ты была бы не прочь, чтобы мальчишки приняли наказание вместо *тебя*. Думаешь, они бы на это пошли?

Зильке хотела ответить, но промолчала. Похоже, Дагмар попала в точку.

## Два застолья и крах

### Мюнхен, Берлин, Нью-Йорк, 1929 г.

Двадцать четвертое февраля.  
Два праздничных застолья.  
Одно — в берлинской квартире.  
Другое — в мюнхенском доме на Шеллингштрассе, 50.  
Пауль, Отто и Национал-социалистическая немецкая рабочая партия.  
Всем исполнилось по девять лет.  
Но только один перешагнет двадцатипятилетний рубеж.  
Двое других обречены, как и бесчисленные миллионы юнцов по всему миру.

Мюнхенский девятилетка всех убьет, прежде чем сгинет сам.  
Берлинское застолье проходило очень весело.  
Были игры, торт и американская содовая. Поначалу одноклассники Пауля и Отто и прочие члены Субботнего клуба друг друга стеснялись, но скованность быстро исчезла. Дагмар даже пожертвовала прической, когда настал ее черед водить в жмурках.

Для торжества был весомый повод, как в своем весьма просторном тосте, произнесенном за трапезой, отметил дед новорожденных. Естественно, юные гости пропустили здравицу мимо ушей, сосредоточившись на булочках и холодной курице.

— Мальчуганам повезло, они добьются больше нашего, — вещал герр Таубер. — Для них открыты любые возможности, ибо Германия очнулась от долгого кошмара.

Надо сказать, что именно по этой причине мюнхенское застолье вышло безрадостным. Юным Штенгелям намечавшееся процветание страны было во благо, Национал-социалистической немецкой рабочей партии — во зло.

Жизнь в Фатерлянде понемногу улучшалась, и партийный манифест, полный беспримесного гнева и ненависти, несколько подувял. В 1924 году на выборах в рейхстаг партия набрала три процента голосов. В 1928-м, после четырех лет криков, воплей, маршей и потрясения кулаками, результат снизился до 2,6 процента.

Коричневые рубашки растерялись.  
Их лидер тоже растерялся. Но скрывал смятение под маской «железной и непоколебимой» воли.

Что пошло не так?

Манифест был вполне ясен. Если отбросить кособокоязыкую противоречивость «двадцати пяти пунктов», на которых Гитлер основал партию, в чистом осадке оставалось одно: во всем виноваты евреи.

Куда уж проще? Однако это утверждение все больше теряло смысл и поддержку.

Значит, евреи виноваты в неуклонном укреплении национальной валюты?

И в улучшении ситуации на рынке труда?

В успешной работе социальных служб?

Во вступлении в Лигу Наций?

Народ-то был доволен. Потому старый герр Таубер и говорил, что кошмар закончился.

Даже великая смута ноября 1918 года и миф о так называемом «ударе в спину», <sup>[40]</sup> столь милый нацистам, уже отдавали паранойей. Все двадцатые годы Гитлер беспрестанно поносил «ноябрьских преступников» — богатых трусливых евреев, затаившихся в Берлине и злонамеренно организовавших поражение имперской армии, — однако не удосуживался объяснить их мотивы.

Поначалу народ верил, но теперь всем было плевать.

Германия шла вперед.

Мюнхенский младенец умирал.

Коричневорубашечники, угрюмо сидевшие за столом, еще не ведали, что вскоре все изменится. Ждать оставалось недолго — через восемь месяцев нацистская партия получит именной подарок, о каком и не мечтала.

Хаос.

24 октября 1929 года в шести с половиной тысячах километров от Шеллингштрассе, на другой, гораздо более известной улице Уолл-стрит произошел величайший в истории биржевой крах, за которым последовала Всемирная депрессия.

Немецкая экономика, только-только выбравшаяся из мрачной бездонной пропасти, была еще очень хрупка. И оттого весьма предрасположена к новому финансовому безумию.

Мюнхенский младенец получит свой шанс.

## Бой за Дагмар Берлин, 1932 г.

Отто сильно удивился. Что это с братом?

Он был забияка и не утруждался разговорами, считая, что кулаком оно доходчивее. Пауль был другой.

Он дрался лишь в безвыходных ситуациях. И чувства свои держал в узде. Нет, он распаялся, но всегда подчинял страсть благоразумию.

Здравый смысл должен был ему подсказать, что в драке с Отто его непременно отметелят.

Пауль был выше ростом, но худощав.

Он был длиннорук, но Отто — цепок.

Пауль был рапира, Отто — гаубица.

Вот почему Отто изумился, кляцнув зубами от апперкота левой. Мало того, вслед за первым неожиданным и чувствительным ударом правый братнин кулак саданул его под дых.

Отто невольно переломился, на что и был рассчитан меткий удар, и тотчас хук слева кувалдой сбил его наземь, из рассеченного уха потекла кровь, в глазах задвоилось.

Отменная «тройка».

Вот чего можно достичь внезапно, хладнокровием и невозмутимой решимостью. Именно об этом неустанно говорил тренер по боксу. Оказалось, брат хорошо усвоил урок.

Идею бокса подал Вольфганг. Фрида была категорически против.

— Обучение драке к добру не приведет, — сказала она. — Еще возомнят, будто им все по плечу.

— Они уже возомнили, — возразил Вольфганг. — Не помешает уравнивать шансы.

Разговор происходил два года назад, в 1930-м, когда в одночасье Берлин вновь превратился в сумасшедший дом, каким был при рождении близнецов. В город вернулись старые знакомые — звон разбитого стекла, топот, вопли и ружейная пальба. Казалось, они и не исчезали. Вновь шли ежедневные стычки между теми же группировками. Вот только у правых нацистские штурмовики заменили почивший и не оплаканный фрайкор.

— Все как прежде, — сказал Вольфганг.

— Нет, — мрачно ответила Фрида. — Для нас стало хуже.

Вольфганг знал, что она права. Столь оголтелого антисемитизма еще

не бывало. Гитлеровский гауляйтер Берлина Йозеф Геббельс ежедневно на каждом углу клял евреев — мол, их власть и влияние донельзя разлагают общество.

— Если б мы вправду были так сильны, давно бы на хер его прикончили, — замечал Вольфганг.

Немецкие евреи ничуть не походили на геббельсовский портрет. Никакой организованности и сплоченности — их объединяло лишь генеалогическое несчастье родиться евреями. Их обвиняли в коллективном заговоре и агрессии, а они были не способны даже на коллективную защиту, — Вольфганг мог обезопасить семью лишь тем, что поставил решетки на окна, носил свинчатку в кармане и отдал мальчиков в секцию бокса.

Конечно, он не думал, что обретенные навыки они применят друг к другу.

Позже ни Пауль, ни Отто не могли вспомнить, кто первым признался в любви к Дагмар. В результате сей исповеди вспыхнула небывало кровавая драка.

Спровоцировала ее Зильке.

В общественном саду неподалеку от квартиры Штенгелей, на грязном пяточке компания играла в «подковы», и Зильке воспользовалась случаем посудачить о «принцессе» Дагмар, которая «совсем уж вознеслась».

— Задается, потому что богатая и смазливая, — брюзжала Зильке. — Потому что папаша миллионер.

Уязвленный этим пренебрежительным отзывом, один близнец велел ей заткнуться — мол, Дагмар нормальная девчонка.

Больше чем нормальная, влез другой близнец, просто замечательная. Даже классная. Офигенная.

В общем, богиня, иначе не скажешь.

И тут все всплыло. Штенгели втюрились.

Оба в одну девочку.

От злости и огорчения Зильке аж притопнула. Она давно подозревала, что в любезных ей близнецах зреет нечто подобное, но никак не ожидала столь всеобъемлющего чувства.

— Дурь какая-то! — крикнула Зильке. — Нельзя ее любить вдвоем!

С этим мальчишки охотно согласились.

— Конечно, нельзя! — рыкнул Пауль. — Тем более что я уже признался ей в любви и она согласилась гулять со мной.

— Вранье! — завопил Отто. — Это я уже признался, и она обещала гулять со мной!

Крепко обозленная, Зильке тем не менее расхохоталась:

— Обоих провела! Во дураки-то! Да она с вами срать не сядет.

— Нет, сядет! — заорал Отто, пихнув брата в грудь. — Она любит меня, а ты держись подальше, не то пожалеешь!

Вот тут-то Пауль и преподнес сюрприз, уложив близнеца отменной «тройкой».

— Она моя! — крикнул он, нависнув над слегка ошалелым поверженным братом. — Сказала, что любит меня!

— Фиг тебе, дровича! — ответил Отто двум зыбким Паулям. — Она любит меня!

Еще никогда брат не был таким пунцовым, а взгляд его — таким бешеным. А ведь Пауль считался тихоней.

— Обоих выставила дураками, — подала голос Зильке, с пенька наблюдавшая за зрелищем. — Как пить дать, сказала это обоим. Потешается теперь.

— Не суйся, Зилк!

Отто застигли врасплох. Наградив брата грубым толчком в грудь, он никак не ожидал ответного града ударов. Но теперь был готов. И знал, от чего Пауль теряет всегдашние спокойствие и рассудительность.

— Верно, не лезь, Зилк, это наше дело, — сказал Пауль. — А ты угомонись, Отт, понял? Не то пожалеешь.

— Чего? — Отто поднялся с земли. — Провел пару удачных ударов и возомнил себя бойцом, что ли? Сейчас я буду выбивать из тебя дурь, Паулище, пока не скажешь, что Дагмар — моя.

Он набычился и провел серию правых и левых хуков, метя в расплывавшийся корпус противника. Отто не был отличником, в биологии отставал от брата, но знал, где находятся печень и почки. И сейчас точнехонько отыскал их у близнеца, в конце удара чуть ввинчивая кулак, как учили.

Пауль икнул и грохнулся навзничь, хватая ртом воздух.

— Ну, говори! — заорал Отто. — Давай, скажи!

Теперь Пауль согнулся пополам.

— Хер тебе! — просипел он, держась за живот.

Отто навис над пыхтящим братом:

— Чего, не понял еще, что ли? Давай, говори.

Только зря он опустил руки.

Пауль выпрямился и угостил его стремительным кроссом — классическим ударом для раззявы, кем и был Отто, вообразивший, будто с братом покончено. Он-то думал, Пауль оклемается минут через десять, не

раньше, но вдруг невесть откуда вылетевший кулак угодил ему в глаз и опять сбил его наземь.

Во всех домашних боях Отто всегда оставался на ногах, а тут рассудительный, осторожный и расчетливый братец за минуту дважды отправил его в нокдаун.

— Ты живой, Отто? — завопила Зильке. Такого она еще не видела. Пауль и Отто беспрестанно дрались, но дело не шло дальше тычков и пиханья. Свирепость они приберегали для общих врагов.

Зильке присела на корточки перед Отто и подолом отерла его окровавленную скулу.

— Вставай! — рявкнул Пауль. — Вставай и клянись, что отвалишь от Дагмар. Иначе еще получишь.

— Вы два идиота! Она же просто задавака и стерва!

— Заткнись, Зильке! — Отто ее оттолкнул. — Не твое собачье дело!

— Нет, мое! Она вам врет! Хочет разрушить Субботний клуб!

— Закрой варежку! — крикнул Пауль. — Тебя не касается!

Теперь бдительность утратил он. Пауль смотрел на Зильке, а надо было не спускать глаз с Отто, который воспользовался его секундной рассеянностью и вновь ринулся в атаку. Сейчас Отто понимал, что нельзя недооценивать противника. Тараща заплывший глаз, он атаковал, не прибегая к шквалу ударов. Четкая комбинация. По учебнику. Джеб левой, прямой правой, хук левой и вновь прямой правой. Пауль попытался перейти в клинч, но Отто сделал финт левой, а сам атаковал правым кроссом, подкрепив его зубодробительным ударом головой, не значившимся ни в одном учебнике, кроме его собственного.

Он вроде как победил техническим нокаутом, но по очкам выходила ничья, поскольку оба равно окровавленных боксера пребывали в равной очумелости.

— Ничего себе! — опешила Зильке. — Ну вы и завелись!

Вскоре Пауль, слегка оглушенный финальным ударом, сумел сесть и отер расквашенные губы.

— Дагмар Фишер моя, — тихо сказал он. — Убери от нее свои поганые лапы.

— Что? — вскинулся Отто. — Я же тебя уделал! Я ее выиграл! Ты убери свои лапы!

— С девчонками это не проходит, — буркнул Пауль. — Дракой их не завоюешь.

— А какого фига мы дрались? — Отто протянул руку и помог брату встать.

— Потому что вы олухи! — разозлилась Зильке. — Она же просто лживая кривляка. Чего вы в ней нашли?

— Ты ей завидуешь, вот и все, — сказал Отто.

— Ни капельки!

— Завидуешь, завидуешь!

— Чему завидовать-то?

— Тому, что она нравится нам, — засмеялся Пауль.

— Ха! Мне-то какое дело! — выкрикнула Зильке, но покраснела, чего не скрыл даже ее золотистый загар. — Обыкновенная дылда, и титьки у нее ненастоящие. Спорим, лифчик набивает салфетками? Ну и нянькайтесь со своей Дагмар, мне-то что. Я пошла домой.

Теперь заржал и Отто. Забыв о драке, братья потешались над огорчением давней подруги.

Зильке зашагала прочь, предоставив им сравнивать боевые раны.

Субботний клуб пережил свой первый серьезный раздрай.



## Этот человек

### Берлин, 30 января 1933 г.

Вот те на! Невероятно. Непостижимо. Немыслимо. Невозможно.

Еще вчера — *вчера* все было прекрасно.

И вдруг ни с того ни с сего *этот человек* стал канцлером.

— Он даже не получил большинства! — твердил Вольфганг за ужином в тот кошмарный вечер. — Ублюдох отставал!

Так и было. Они даже слегка расслабились. Он донимал их весь прошлый год. *Этот человек*. В 1932-м месяц за месяцем всякий газетный заголовок извещал о приближении *этого человека* к дверям семейства. Он надвигался, точно зловещий средневековый вурдалак. Но потом отступил. Электорат его зачах. Геббельс уже выказывал отчаяние. Кризис миновал.

— А теперь из-за кучки трусливых засранцев и дряхлого пиздюка Гинденбурга<sup>[41]</sup> он получил шанс. Блядство! Натуральное блядство!

Мальчики подняли головы — во взглядах читалось веселое изумление.

— Вольф! За столом! — Фрида грохнула стаканом с водой, утаивая страх. — При детях...

Вольфганг пробурчал извинение и, кусая губы, стиснул в руке очередной стаканчик шнапса.

— Ничего, мам, — с полным ртом проговорил Отто. — Я тоже считаю, что Гинденбург пиздюк.

Фрида перегнулась через стол и впервые в жизни отвесила ему оплеуху.

— Никогда не смей сквернословить! Чтоб я не слышала...

Слезы не дали ей закончить.

— Прости, мам. — Отто был потрясен не меньше. — Так мне и надо.

— Нет, это *ты* меня прости. Сама не знаю, как это вышло.

— Да ладно, ерунда.

Фрида обошла стол и обняла сына.

— Вот что уже сотворил с нами *этот ужасный человек*.

Некоторое время они молча ели. Фасолевый суп с хлебом. На второе — холодная говядина со свеклой.

— Надеются на сделку! — не выдержал Вольфганг, переламывая хлеб, будто нацистскую шею. — Сделка! *С Гитлером!*

— Пожалуйста, Вольф, давай не будем за едой.

Пауль просматривал вечернюю газету, сообщавшую о формировании нового кабинета министров.

— У нацистов всего лишь пара мест, — сказал он. — Тут пишут, что без согласия другой партии ему ничего не сделать. Может, герр фон Папен [\[42\]](#) сумеет...

— Пропади они все пропадом! — перебил Вольфганг. — Фон Гинденбург, фон Папен, фон, мать его, Шлейхер... [\[43\]](#) Думают, аристократическая приставка позволит управлять Гитлером. Будто они генералы и фельдмаршалы, а он — все тот же капрал... *Ой, спасибочки, что пустили в канцлеры! Я послушный нацистик и сделаю, что прикажут!* Не слышали его выступлений, что ли? Не видели его карманную армию? Хер им он будет слушаться!

— Вольф! Прекрати!

Потом из окна квартиры семейство наблюдало за факельным шествием, оранжевыми всполохами расцветившим вечернее небо. Ликующая колонна шла по городу.

К Бранденбургским воротам.

На сцену вновь вышла свастика, в 1920-м дебютировавшая на касках фрайкора. Теперь не белая, но черно-малиновая, она красовалась на тысячах стягов. А толпы зевак уже не молчали угрюмо, но заходились в истерической радости.

Напустив на себя будничное спокойствие, Фрида прибирала со стола.

— Не забудьте сделать уроки, — сказала она мальчикам. — А грязь с бутсов отскребите в цветочный ящик.

Вольфганг сидел у окна. Поглядывая на небо и шепотом матерясь, на укулеле он подбирал американскую новинку «Вновь вернулись счастливые дни». [\[44\]](#) Перестань, попросила Фрида.

Иронию она уловила. Но ей было страшно. С полудня, когда объявили о приходе *этого человека* и он едва ли не впервые улыбнулся с газетных страниц, евреям не стоило привлекать к себе внимание. Укулеле звучный инструмент. А в доме тонкие стены.

## Дошло

### Лондон, 1956 г.

Стоун проснулся. Тот же сон.

Маленький пляж на берегу Ванзее. Как всегда, рядом брат. И Дагмар. Все, как в тот день.

Только во сне Дагмар выбрала его. Это он касался губами ее искропленных дождевыми каплями плеч.

И душа его воспарила над сонно разметавшимся телом.

Как обычно, пробуждение от чудесного сна одарило унынием. А сегодня и еще кое-чем.

Во сне мозг продолжал работать, пытаюсь уразуметь, что давеча произошло в пустой кенсингтонской комнате. Теперь Стоун окончательно проснулся, и с глаз его будто спала пелена — впервые с той минуты, когда пришло берлинское письмо.

История, которой его потчевали, — липа.

Концы с концами не сходятся.

По сути, агенты МИ-6 сообщили два факта. Первый: Дагмар жива. Второй: извилистый жизненный путь привел ее в Штази.

Сейчас было ясно: ему так хотелось поверить в первое, что он за здорово живешь принял второе.

Стоун вылез из постели и пошел ставить чайник. Линолеум охлаждал ступни. Занимался зябкий рассвет.

В темной кухне Стоун чиркнул спичкой, и конфорка ожила трепещущим голубым пламенем, отбросившим слабые тени на стены. Нашарив пиджак, Стоун достал сигареты. Свет не включил — темнота вроде как помогала сосредоточиться. Нагнувшись, прикурил от газового кружка. Чего зря спичку тратить.

Он жадно затянулся. Светлячок сигареты ярко вспыхнул, потом пригас. Вспышка. И огонек. Вспышка. И огонек. С каждой затяжкой мысли прояснялись. Словно красная пульсирующая точка посылала сигнал. Безмолвная тревога.

Заверещал чайник.

Точно сирена. Сколько их было, этих сирен. Полицейские. Воздушной тревоги. Все сигналили об одном. Беда на подходе. Опасность рядом.

Чайник свистел. Противный надсадный вой помогал собраться с мыслями. И толкал к скверному выводу.

Агенты МИ-6 ошиблись.

Дагмар мертва, как он и думал.

Драгоценное письмо — фальшивка. Состряпанная, видимо, из старых подлинных писем и дневников. Из погребенных воспоминаний. Штази в этом дока.

Его заманивали в Берлин.

## Последний матч

### Берлин, 1933 г.

Братьев загнали в угол.

Конечно, зря они пришли.

Как только им в голову взбрело, что все будет по-старому? Думали, наденут футбольную форму, выйдут на знакомое поле и сыграют?

Всю неделю Пауль тревожился. Даже пришил на стенку план района, обозначив на нем пути отхода.

— Если придется уносить ноги, нельзя угодить в тупик, — сказал он. — Видишь, вот тут и тут, а здесь огороженная стройка. Нужно точно знать, как с любого места выбраться к метро, понял?

— Если погонятся, будем драться, — хмуро ответил Отто. — На всю-то команду четыре поганых нациста.

— Теперь все нацисты, Отт.

— Слушай, это же наша команда. В школе-то все нормально.

— Пока что.

Все так. В школе слышались злые шепотки, парочка учителей тоже что-то бурчала под нос, но не больше того. Может, и на футболе обойдется?

Даже родители сказали, что нужно пойти на игру. Мальчики давно в команде. Пять лет гонять мяч с одними и теми же ребятами — что-то да значит.

Но теперь Пауль и Отто, загнанные в угол раздевалки, поняли: ни черта это не значит.

В один миг товарищи по команде превратились в озверелую свору, грозившую бедой.

— Жи-ды! Жи-ды!

Ударами шлагбольной биты по хлипкой стене раздевалки здоровяк Эмиль задавал ритм скандирования.

— Жи-ды! Жи-ды!

Братья встали плечом к плечу. Пауль ухватил ножку сломанного стула, крышка мусорного бака и обломок углового флажка служили Отто щитом и мечом. Атакующие мешкали, ибо знали, что в паре братья Штенгель — серьезная угроза.

— Сраные жи-ды! — выкрикнул Эмиль и, оборвав ритм, шагнул к братьям. — Теперь поплатитесь за все, что сделали с Германией!

Пауль и Отто взгляделись в строй озлобленных лиц. Конечно, Эмиль

всегда ненавидел братьев, такие ненавидят всех и каждого, особенно тех, кто не прогибается. Но другие-то ребята считались друзьями. Всего *две недели назад* они несли Отто на плечах, когда в важном матче юношеской лиги он с корнера забил крученный гол. Но Гитлер у власти уже вторую неделю, и от скорости перемен захватывало дух.

Эмиль Брас ухватился за первую возможность поквитаться со Штенгелями. За то, что они классные футболисты, не чета ему.

За то, что они всегда душа компании, а он слывет угрюмым занудой.

За то, что они нравятся девчонкам, а его и дурнушки величают тупым увальнем.

В Германии пробил час всякого озлобленного недоумка. Наконец-то выпал шанс стать начальником.

Отто понимал расклад. Таких как Эмиль проймешь лишь одним.

Бей первым и наповал.

Таков закон.

Пауль был категорически против. Он исповедовал другой закон. Не вступать в бой, если можно договориться. Это разумный путь. Да — если что, бей наповал, но сначала попытайся не бить вообще.

Отто уже вскинул оружие, на руках его взбугрились мышцы. В неполные тринадцать лет он обладал статью молодого бойца.

Пауль тоже был в отличной форме — отец этим озаботился. Но второй близнец не изготовился к бою. Наоборот, рассмеялся.

Достоинством сего тактического хода была неожиданность.

Свора слегка опешила, но кулаки не опустила.

— Чего лыбишься, жиденъш? — вызверился Эмиль.

— Да рожа у тебя смешная, — ответил Пауль. — Но с тобой нефиг говорить.

Он взглянул на паренька, стоявшего чуть в стороне от группы.

— Чего ж ты, Томми, — сказал Пауль. — Мы же с детского сада дружили.

Отто рыкнул. Что толку взывать к добрым чувствам? Дело слишком далеко зашло.

Но Пауль никого не пытался разжалобить.

План его был наглее. Как говорил Геббельс, уж если врать, то по-крупному.

— Мы не евреи, — заявил Пауль.

Такого никто не ожидал. Свора опешила — Штенгель отрицал общеизвестную истину. Используя всеобщее недоумение, Пауль развил преимущество:

— Скажи, Томми, ты когда-нибудь видел меня с пейсами и в черной шляпе?

Томми и вправду давно дружил с близнецами. И всегда знал, что они — евреи. Нелюди, как известил немецкий канцлер. Подонки. Прожорливая раковая опухоль на теле нации. Кровососы.

— Вы гадские жидаы, — сказал Томми. — Но скрываете это, свиньи. Спрятались и затаились.

— Никакие мы не жидаы, — рассмеялся Пауль. — Пускай дровича Эмиль считает нас евреями, он же хер от пальца не отличит. И даже не знает, с какой стороны к мячу подойти.

В толпе прыснули. И Томми усмехнулся.

Только что Эмиль вел команду в атаку на Штенгелей, виновных во всех германских бедах, и все ему подчинялись.

Его душераздирающие рассказы помогли мальчишкам одолеть неловкость перед старыми друзьями (и отменными футболистами). Штенгели — жидаы, а потому ничего не остается, как хорошенько их вздуть и навеки изгнать. В Берлине в феврале 1933-го всякий, кто дорожил собственной шкурой, не стал бы заступаться за евреев.

Однако никто не ожидал столь дерзкого отказа от еврейства, и атака захлебнулась.

Если Штенгели евреи, они заслужили свою участь, но если нет, тогда все превосходно: добро пожаловать в команду, мы снова лучшие друзья.

Даже Отто опешил, хотя старался этого не выказать. Он привык доверять братниным замыслам и расчетам, но сейчас тот нагло врал. Все знали, что Штенгели — еврейская семья. Конечно, светская — без молений, особых праздников, дурацких шляп и блюд. Отто всю жизнь питался бы сэндвичами с беконом и шкварками, но, как ни крути, он еврей, и все это прекрасно знали. Зачем отрицать-то?

Но у Пауля был туз в рукаве.

Вернее, в штанах, как позже поведал он потрясенной маме.

Над этим он думал всю неделю.

Конечно, крайняя плоть не сможет тягаться с фактами семейной истории. Но в переулке или погребке сойдет за аргумент. Для ощерившейся волчьей стаи.

Если этим аргументом помахать да еще прикрикнуть. Нагло, уверенно, яростно, напористо. Должно убедить.

И вот настало время проверить замысел.

В кольце бывших друзей и заклятых врагов, при раскладе девять против двоих, оставалось только блефовать.

— Взгляни-ка, Эмиль! — выкрикнул Пауль и свободной рукой задрал штанину футбольных трусов. — Как тебе этот парнишка?

Выпростав член, он помахал им перед изумленной публикой.

— Когда-нибудь видел необрезанного еврея? — гаркнул Пауль и, отбросив ножку стула, до колен спустил трусы. — Может, отсосешь, говнюк? Давай, Отто, покажи этой манде, что такое настоящий немецкий елдак!

Отто мешкал. Заголяться было чертовски унизительно. Но силы уж больно неравны.

Отложив обломок флажка и крышку мусорного бака, Отто медленно спустил штаны.

Команда пришла в восторг. Мальчишки взвыли от смеха: Пауль помахивал членом перед Эмилем, а тот вконец растерялся и не знал, чем ответить.

— Передай своему стручку, что если еще раз потянет на достойных немцев, будет иметь дело с молодцами Штенгелями! — разорялся Пауль.

Отто зарычал и натянул штаны.

Раздался свисток. Соперники уже вышли на поле. Судья поторапливал.

— Так мы играем или нет? — выкрикнул Пауль. — Пошли уделаем слабаков!

Инцидент был исчерпан. Оконфузившийся Эмиль смотрел в сторону. Кто-то из команды хлопнул Отто по плечу. Тот доброхота послал.

Пауль и Отто сыграли матч. Как всегда, выложившись до конца. Они понимали, что еще легко отделались, и порой ловили на себе подозрительные взгляды Эмиля и других неприкрытых нацистов.

Конечно, братья играли в последний раз.

Для них футбол закончился. Славное время спортивного товарищества миновало.

Оба знали, что больше не рискнут появиться в команде.

По финальному свистку они покинули поле. Их команда выиграла, Отто забил два мяча, но братья не ликовали. Не было песен, кучи-малы и диких воплей. Товарищи не несли Отто на плечах, как бывало. Победа, но праздновать нечего. Рухнул целый мир.

— Все-таки надо было драться, — уже в метро сказал Отто.

— Чушь. Нас бы убили.

— Пускай. Зато не пришлось бы штаны спускать.

— А чего такого? Подумаешь! — искренне удивился Пауль.

— Мне — не подумаешь. Выходит, мы с тобой разные, только и всего, — ответил Отто.



В молчании добрались до дома.

Где ждало новое унижение.

Отныне подобное станет повседневностью.

В квартире были Зильке, Эдельтрауд и ее дружок, а ныне жених Юрген. Тот самый почтительный юноша, что пять лет назад на первом детском концерте не выпускал из рук кепку. С тех пор он довольно часто захаживал, однако в последнее время почти пропал.

А сейчас впервые явился в коричневой форме штурмовика.

— Мальчики, попрощайтесь с Эдельтрауд, — сказала Фрида. — Она к нам больше не придет.

— Конечно, не придет! — пролаял Юрген. — Негоже немке прислуживать евреям. Пора бы знать!

Братья взглянули на Эдельтрауд — каменное лицо, сжатые губы.

Посмотрели на заплаканную Зильке — она и сейчас беззвучно всхлипывала.

— Скажите, а десять лет назад еврейке было гоже приютить семнадцатилетнюю бродяжку с ребенком на руках? — спокойно спросила Фрида.

— Вы ее эксплуатировали! Заставляли на вас горбатиться!

Фрида взглянула на Эдельтрауд:

— Неужели?

Та отвела глаза и обронила:

— Вы евреи.

— Пусть так, но мы всегда были евреи. Все эти совместно прожитые годы. Ты, Зильке и мы. Было столько смеха, столько слез... Что изменилось?

— А изменилось *то*, фрау Штенгель, — встрял Юрген, — что Германия очнулась. Весь народ пробудился. Теперь мы знаем, *кто* вы и *что* натворили. Настал *наш* черед. А сейчас отдайте Эдельтрауд деньги.

— Какие деньги? — удивилась Фрида. — Она уже получила жалованье. Выше, чем у обычной прислуги.

— Выходное пособие. Мы требуем деньги за месяц.

— Но ведь она увольняется, — тихо сказала Фрида. — Ты прекрасно знаешь, что в этом случае пособие не положено.

— Она не увольняется. Ее *вынуждают* уйти.

— Чем? Чем я вынуждаю?

— Тем, что вы — евреи. Увольнение по расовым мотивам. Отдайте деньги и скажите спасибо, что я не требую больше!

Фрида прошла в кухню. Взяла бочонок из-под печенья, в котором

держала деньги на хозяйственные расходы.

— Я знала, Эдельтрауд, что ты потихоньку берешь отсюда марку-другую, — негромко сказала Фрида. — И никогда не укоряла.

Мальчики изумленно вытаращились на Эдельтрауд. Черт, а им в голову не пришло! Зильке тоже уставилась на мать. Эдельтрауд покраснела, но промолчала.

Вольфганг сидел за пианино, отвернувшись.

— Может, стаканчик шнапса, Юрген? — Он крутанулся на табурете. — Прежде ты никогда не отказывался.

Молодой штурмовик молча топтался на синем ковре, который вечно оккупировали для игр маленькие Зильке и близнецы.

— Прощай, Эдельтрауд, — сказала Фрида. — Больше десяти лет ты была нам родным человеком. Такой я тебя и запомню.

— Вы — евреи, — повторила Эдельтрауд. Похоже, ничего другого она сказать не могла. Этот рефрен был ее щитом от совести.

Эдельтрауд выхватила у Фриды деньги и сунула их в карман передника.

— Уходим! — приказал Юрген.

Эдельтрауд шагнула следом, но Зильке замешкалась.

— Пауль, Отто... — впервые за всю сцену проговорила она. — Все равно я навеки в Субботнем клубе.

— Уходим, я сказал! — рявкнул Юрген.

И они ушли.

## Тринадцатые дни рождения Мюнхен и Берлин, 1933 г.

В феврале близнецы Штенгель и нацистская партия вновь отметили дни рождения, только на сей раз в Мюнхене праздник был горласт и весел, а в Берлине — довольно скромно, ибо всегдашние гости отклонили приглашение.

— Дело в том, что у нас мало знакомых евреев, — пробурчал Вольфганг.

— Еще пару недель назад мне в голову не приходило, что я — жид пархатый, — угрюмо сказал Пауль. — И потом, я на жида не похож.

— А как выглядит пархатый жид? — поинтересовался Вольфганг.

— Нельзя ли без этих выражений? — взмолилась Фрида. — Пусть все вокруг ополоумели, мы не должны забывать о приличиях.

Даже Зильке не пришла, но исхитрилась накануне прислать открытку, в которой сообщила, что мать и штурмовик на весь день запрут ее дома.

Дагмар оказалась единственной не родственной гостьей.

Если честно, близнецы этому были только рады. По уши влюбленные, они бы все равно не спускали глаз с нее одной.

Дагмар ничуть не возражала. Близнецы превратились в симпатичных подростков. Совсем не похожие, оба были по-своему привлекательны. По общепринятым меркам Пауль, наверное, был виднее: жгучий брюнет, густая шевелюра, очень темные глаза, красивый овал лица. Рыжеватый сероглазый Отто был чуть ниже ростом и слегка конопат, но выделялся недюжинной силой и энергичностью.

Дагмар охотно приняла роль абсолютного центра внимания.

Хотя отмечался их день рождения, близнецы приготовили подарки ей. Пауль сочинил эпическую любовную поэму, в которой Дагмар и он выступали героями, а брату отводилась скромная роль оруженосца. Сочинение высоким штилем было тщательно исполнено в готическом шрифте. С помощью холодного кофе автор даже состарил листки, чтобы походили на пергамент.

На уроках труда Отто, сноровистый столяр, изготовил шкатулку. Красивая вещица с перламутровыми пуговками вместо ручек была тщательно ошкурена и отлакирована.

— Сгодится на туалетный столик, — смущенно сказал Отто. — Ну там, для всякой всячины... колечки и все такое.

Дагмар пришла в восторг и наградила братьев поцелуями, от чего те зарделись. Родители и дед с бабкой снисходительно улыбнулись.

— Можно подумать, мы празднуем день рождения Дагмар, — сказала Фрида, всем наливая лимонад. — Ну, разрежем ее великолепный торт. Да уж, пекари Фишера не утратили мастерства.

Естественно, перед дележкой торта герр Таубер традиционно попросил слова. За три недели гитлеровского правления старый полицейский заметно сдал, но тост произнес с обычным апломбом.

— Отто и Пауль, я вами горжусь, — решительно заявил он. — Вам тринадцать, вы прекрасные юноши. Это счастье. Ибо вскоре Германии понадобятся славные молодые люди. Добрые немцы, которые взвалят на себя труд по восстановлению репутации Фатерлянда в цивилизованном мире. Вот почему сегодня, в день вашего рождения, я заклинаю вас быть осторожнее. По вашим синякам и царапинам видно, что вы деретесь. Конечно, вы гордые и смелые, а времена нестерпимы. Однако *надо* перетерпеть, ибо, помяните мое слово, нынешний морок пройдет, и довольно скоро. В марте новые выборы, а мы под защитой закона и конституции, что бы ни говорил *этот человек*. Закон и конституция превыше любого правительства. Да, нынче пивное отребье захлестнуло наши улицы, но закон есть закон, и даже *этот человек* не может от него отмахнуться. Я, знаете ли, пока еще капитан полиции. Окажетесь в опасности — бегом ко мне. Ни к чему пасть жертвой бродячих штурмовиков, опьяненных своим успехом, ибо скоро все наладится, вот увидите. Величайшая и самая передовая европейская нация не позволит уличной шпане долго собой управлять. Закон восторжествует. Попомните мои слова. А теперь разрежем торт.

Через три дня, 27 февраля, нацистский отрок получил еще один припозднившийся именинный подарок.

Кто-то поджег Рейхстаг, и преступный тринадцатилетний именинник воспользовался «провокацией», чтобы устроить праздник, о каком давно мечтал.

Последовали массовые аресты, бесчисленные убийства и избиения, тысячные «исчезновения» и изгнание всей оппозиции, кроме свадебных генералов.

Возлюбленный закон герра Таубера не защитил от трех миллионов коричневорубашечных бандитов, рекрутированных в ряды полиции.

Недавно наделенная властью нацистская партия, уже не младенец, но злобный и хитрый подросток-психопат, дала карт-бланш на грабеж, насилие и убийство. Преступления против «врагов» партии, заявил ее

лидер, суть не преступления, а законная услуга отечеству.  
Бандиты правили бал, закон молчал.

## На больничном приеме

Берлин, 1933 г.

Тук-тук. Тук-тук. Тук-тук.

Приложив стетоскоп к животу будущей матери, Фрида слушала биение крохотного сердца.

— По-моему, все хорошо, фрау Шмидт, — улыбнулась она озабоченной пациентке. — Совсем как в прежние шесть раз.

— Будем надеяться, этот выйдет спокойным, — радостно ответила крупная круглолицая женщина. — Еще одного крикуна я не выдержу. Последний-то всех в доме достал! Когда нижние жильцы узнали, что я опять забрюхатела, пожаловались в квартальный комитет. Будто их дело. Зимой-то в кровати мерзнешь, ну вот и греешься. Куда ж деваться-то?

— Ну если *постараться*, можно избежать последствий, фрау Шмидт. — Фрида осторожно пальпировала живот. — Сейчас, знаете ли, никто не обязан заводить детей. По крайней мере, можно существенно снизить риск беременности. Я говорила вам о контроле рождаемости...

— Тсс, доктор! Это измена! — Большой, уже славно потрудившийся живот в сизых прожилках и растяжках заколыхался от смеха. — Именно что *обязан*, вы не слышали? Нынче это наш долг. Я-то все себя бранила — надо же, дура какая, растопырилась перед подвыпившим муженьком. А выходит, я — героиня! Каково? По чести, я всегда мнила это дело за подвиг: с годами мой боров краше не становится.

Обе рассмеялись — женская солидарность в мире мужчин.

— И потом, доктор, нынешний-то обернется выгодой. Недурно, а?

Фрида усмехнулась — пациентка говорила о правительственной программе «вознаграждения» материнства. Возврат государственных ссуд зависел от числа рожденных детей. «Детский заем», шутил народ, — возьми денежками, верни ребенком.

— Правда же, здорово? — не унималась фрау Шмидт. — Тут не поспоришь.

Жизнерадостная румяная женщина чуть смутилась. Фрида уже привыкла, что в последнее время пациенты смущенно отводят глаза, поминая «добро», которое «те» делают для народа. Еще она подметила, что знакомых неевреев слегка раздражает заикленность иудеев на своем положении. Как будто антисемитизм — единственная характеристика нового правительства! В конце концов, все чем-то жертвуют ради

возрождения Германии. Евреи лучше других, что ли?

— Думаю, не все могут рассчитывать на ссуды, — тихо ответила Фрида. — Вряд ли герр Гитлер желает, чтобы моя нация плодилась.

«Господин» Гитлер. Та к Фрида и все ее друзья-евреи называли вождя, втайне надеясь, что цивилизованное обращение превратит его в цивилизованного человека. Им отчаянно хотелось верить, что, несмотря на все его слова, в глубине души он трезвый политик, соблюдающий нормы поведения, а не сбрендивший психопат из жутких кошмаров.

Пряча глаза, фрау Шмидт сосредоточенно застегивала платье.

— Пожалуй, нет, — брякнула она. — Но вы ж и не хотели большую семью, фрау Штенгель. Прежде всего вы *доктор*.

— Пока еще, фрау Шмидт.

Фрида отложила стетоскоп. Со стеллажа во всю стену кабинета она взяла семейную карточку Шмидтов и села к столу, чтобы записать результаты осмотра.

С окончания мединститута в 1923 году Фрида работала все в том же кабинете общественной клиники. Десять лет, долгие тяжелые дни и бессчетные тревожные ночи. Бесконечные часы изматывающей, иссушающей душу работы за мизерный оклад.

Жертву приносила не только она. Страдала и семья. Часто мальчики ужинали и ложились спать, так и не увидев маму, а Вольфганг, мечтавший беспечно сочинять джазовые симфонии, нянчился с детьми и бегал по халтурам, зарабатывая на прожитие.

— Может, наконец сбросишь венец мученицы, повесишь медную табличку на дверь и начнешь заколачивать деньгу, дорогуша, — полушутя говаривал Вольфганг. — Помогай разжиревшим матронам пережить климакс. Бери с них втридорога за предписание ослабить корсет и принять аспирин.

Но Фрида любила свою работу, болела душой за самую передовую в мире веймарскую политику общественного здравоохранения и своих пациентов. Семья и общественная больница Фридрихсхайна — вот что было главным в ее жизни.

— Кто еще позаботится о людях? — говорила она мужу, когда они вдвоем ломали голову, как уложиться в семейный бюджет.

— Знаешь, тут я согласен с твоим папашей — пошли они на хер, — отвечал Вольфганг, но Фрида надеялась, что он шутит.

Пролистывая карточку Шмидтов, она машинально отметила, что за десятилетнюю практику почерк ее стал ужасно скверным. Первые четкие записи, сделанные юным врачом, касались мужа фрау Шмидт, когда тот

еще был холостяком и лечился от гонореи, подхваченной в бельгийском армейском борделе. А вот нынешняя запись была сделана характерным врачом почерком, который могли разобрать только сам автор и местный аптекарь.

— Вы еще придете, фрау Шмидт? — не поднимая головы, спросила Фрида. — По-прежнему хотите, чтобы я приняла роды?

— Конечно, фрау доктор. Уж шесть лет, как всякий год вы принимаете моих крикунов, и все в ажуре. Чего ж теперь-то?

— Вы же понимаете. Времена изменились.

Теперь Фрида подняла голову. Фрау Шмидт натянула пальто — на воротнике красовалась маленькая свастика. В нацистскую партию женщин не принимали, но это не мешало им в знак поддержки покупать значки и брошки.

— В смысле, что вы еврейка? — Шмидт опять чуть сконфузилась. — Да, конечно... тут не повезло... вам, то есть. Время очень беспокойное. Но вам-то чего тревожиться, фрау доктор Штенгель, — всякий знает, что вы не из *этих*. Берлинские евреи совсем другие, верно? Я знаю штурмовиков, которые ходят к еврейкам.

Фрида выдавила улыбку. Сколько раз она это слышала. Мол, она — не из *тех* евреев, о которых говорил герр Гитлер. *Тех* евреев изображал еженедельник «Дер Штюрмер», выходящий миллионным тиражом, — на сатанинских обрядах они упивались кровью христианских девственниц. *Те* евреи были где-то далеко, может, в глубинке, где на деревенских околицах уже вывешивались плакаты: евреям въезд запрещен, за последствия никто не ручается. Здесь, в Берлине, евреев *знали*. С ними вместе работали, пользовались их банками, покупали их торты. Эти евреи не имели ничего общего с теми, о которых писал герр Гитлер. *Те* евреи часами таились в засадах и на темных улицах насиловали молодых немок, целенаправленно поганя арийскую кровь.

Уж народ бы заметил, занимайся чем-то подобным булочник герр Веббер, или ювелир герр Шимон, или учитель музыки и джазовый трубач Вольфганг Штенгель.

— Вы не из *тех* евреев, — заверила фрау Шмидт, явно растроганная собственной добротой. — Не представляю, что фюрер может иметь против вас.

— Поживем — увидим, — ответила Фрида.

Долго ждать не пришлось.

В чем не откажешь Адольфу Гитлеру, он честно всех предупредил. Еще в самых первых речах и статьях он четко дал понять, что уготовил



евреям. И 31 марта 1933 года, через шестьдесят дней своего канцлерства, доказал, что слова его не расходятся с делом.

Фрида дописывала результаты осмотра, и тут постучали в дверь.

Пришел нелюбимый коллега Мейер. Убежденный в том, что перед больницей стоят не только медицинские, но и политические задачи, он считал своим долгом приобщить пациентов к коммунистическому учению. На взгляд Фриды, это было нахально и безнравственно. Именно Мейер осуждал ее за помощь несчастной Эдельтрауд, продиктованную сентиментальностью, а не политической активностью.

Обычно лицо его светилось улыбкой. Этакой снисходительной, высокомерной ухмылкой, говорившей, что рано или поздно историческая неизбежность подтвердит правоту и мудрость его слов. Однако нынче Мейер был угрюм. Он молча положил перед Фридой газету. Слов и не требовалось, поскольку весьма красноречив был заголовок, извещавший о срочных «вынужденных» мерах противодействия евреям. В частности, поминался указ, согласно которому отныне еврейские врачи имели право пользоваться только евреями.

Уже на первых абзацах Фриду обуял страх.

— Ну вот, фрау Шмидт, похоже, вам придется искать другого врача, — сказала она и, помолчав, тихо добавила: — Конечно, вы можете не подчиниться этим бандитам. Я была бы признательна.

— Бандитам? — Жизнерадостное лицо фрау Шмидт непроницаемо затвердело. — Это правительство, фрау доктор. Там не бывает бандитов.

— В России правят коммунисты, но ваш Гитлер называет их бандитами, — вмешался Мейер.

Повисло молчание. Пациентка и Мейер испепеляли друг друга взглядами, а Фрида сгорбилась за столом, уставившись на только что добавленную запись в карточку.

— Я прослужила здесь десять лет, — тихо, будто сама себе, сказала она, — и никогда не различала евреев и неевреев. Все были пациенты.

Фрау Шмидт торопливо застегнула пальто и взяла сумку.

— Сочувствую вам, фрау доктор. Ей-богу, — сказала она, глядя в сторону.

— Я что, обогатилась? — запальчиво вскинулась Фрида. — Повесила докторскую табличку на Вильгельмштрассе и выкачивала баснословные гонорары из честных немцев? И все другие врачи-евреи тоже?

Она понимала бессмысленность своей тирады перед опешившей работягой, от которой ничего не зависело. Но тогда хоть в чем-нибудь есть смысл? Если б миллион таких работниц отказался исполнять указ, все было

бы в порядке. Фриду затопила злость на несправедливую жизнь.

— Нет, вот на этом самом месте, за нищенскую плату я вкалывала по пятьдесят-шестьдесят часов в неделю. В том числе принимала ваших треклятых младенцев, фрау Шмидт! Делала им прививки! Лечила от кори, коклюша и бог знает чего еще!

— За границей ваши соплеменники клеветают! Поливают грязью Фатерлянд! — Фрау Шмидт схватила газету и ткнула пальцем в передовицу: — Вот, тут написано, доказанный факт!

— Мои соплеменники? Мои? Извините, фрау Шмидт, но я всегда считала соплеменниками жителей Фридрихсхайна. Иначе с какого ляду я мчусь к ним в любое время дня и ночи, стоит им захворать? Чтобы тайком упиться кровью их младенцев? Когда-нибудь я пила кровь ваших детей, фрау Шмидт? Скажите, сделайте милость!

Пациентка смешалась, однакогнула свое:

— Ясное дело, нет, фрау доктор, но сородичи ваши пили, и коль сами вы не можете их обуздать, приходится герру Гитлеру. — В доказательство она потрясла газетой. — Он долго терпел. Я знаю, вы тут ни при чем, фрау доктор, но тех, других, надо прищучить. Заграничные евреи поносят Германию, и в острастку им нужно наказывать своих. Мы тоже жертвы. И мы пострадали!

Жертвы. Ну да, конечно. Вот и Гитлер всякий раз это говорил. Он и его подельники — потерпевшая сторона. Жертвы, которые втихаря организуют концлагеря и пыточные камеры. С тяжелым сердцем и только для самозащиты, ибо «терпение лопнуло».

Фрида хотела ответить, но не нашла слов. Да и что тут скажешь? Весь ужас в том, что эту невероятную ложь ежедневно извергала национальная пресса. Отрицание навета лишь укрепляло доверие к лжецам. Фрау Шмидт *десять лет* знала Фриду, которая наблюдала ее в шести беременностях. И теперь ее нужно убеждать, что Фрида не состоит в международном заговоре с целью уничтожить немецкую «расу» и править миром? Какими словами?

Существуют ли они вообще?

Фрау Шмидт покраснела и, прижав сумку к груди, с несчастным видом твердо сказала:

— Герр доктор Мейер, пожалуйста, назначьте мне другого врача. Горько, но фрау Штенгель больше не позволяют меня пользоваться.

Мейер взял у нее газету и показал абзац в середине статьи:

— Знаете, фрау Шмидт, пока еще бойкот добровольный. Правительство дает понять, что вскоре издаст закон, отлучающий доктора

Штенгель от практики, но сейчас вы еще вправе пользоваться ее услугами.

Фрида едва не усмехнулась. Ох, Мейер, завзятый педант-комитетчик, оспаривающий подпункты. Как будто «добровольный» здесь означает что-то еще.

Лицо фрау Шмидт ясно говорило, что трактовки ее не интересуют. Вперевалку она поспешила прочь из кабинета.

Фрида съежилась за столом. Она уже не имела права здесь сидеть.

— Неужели правда? Мне запретят практиковать?

— Да, — сказал Мейер. От злости губы его дрожали. — Похоже, тебе запретят всякую деятельность. С завтрашнего дня объявляется бойкот *всех* еврейских предприятий.

Фрида глянула в газету: «Состоятся массовые демонстрации».

Она чуть не рассмеялась:

— Смешно. Откуда известно, что массовые? Стихийный протест по приказу.

Даже сейчас Мейер не удержался от соблазна набрать политические очки:

— Может, теперь ты поймешь, почему мы, коммунисты, всегда...

— Коммунисты! — зло перебила Фрида. — Куда же вы подевались? Месяц назад ваша партия насчитывала *миллионы*. Сто депутатских мест в рейхстаге. И армия головорезов. Не меньше, чем у этих. Что произошло? Где они и где вы? Никто не будет сражаться?

Мейер смотрел холодно.

— Наши вожди... — начал он.

— Ваши вожди драпанули в Москву! Они спасают свою шкуру, а соратников пусть убивают! Почему же они не объявляют «массовые демонстрации»? А социал-демократы? Церковники? Военные? Почему *все* молчат? У этих блядских нацистов даже нет большинства!

Фрида *никогда* не материлась. И даже в тот кошмарный день пожалела, что сорвалась. Единственное, чего Гитлер не в силах отнять, — ее личные устои. Только самой можно от них отказаться.

Да и что проку в ее горячности? Все равно что ломиться в наглухо закрытые двери.

— Я не в ответе за капиталистических лакеев, так называемых демократических социалистов, фрау доктор, — чопорно сказал Мейер. — Что касаето немецкой компартии, теория Советского Интернационала предписывает...

В кои-то веки Фрида избежала бесконечного диалектического попугайства коллеги-сухаря — помпезных оправданий трусливого

бездействия компартии и слепого подчинения прихотям Сталина.

За дверью раздался шум.

Грохот, злобные голоса. Истошный вопль. Потом дверь распахнулась и на пороге возникли они. Немыслимо, невообразимо. В ее кабинете.

В один миг святилище заботы, где десять лет изо дня в день трудилась Фрида, было изгажено, осквернено.

Захвачено. Поругано.

На пороге стояли трое. В коричневой форме и черных сапогах.

Штурмовики.

Много раз Фрида видела их на уличных углах, где они гремели жестянками, собирая деньги, и облаивали тех, кто ничего не давал. Злые задиры с тупыми лицами корчили из себя несчастных жертв и одновременно сверхчеловеков. Фрида уже приучилась избегать их взглядов и миновать рысцой.

И вот — невозможное свершилось.

Они в *ее кабинете*, перед ее столом. Победоносные красные рожи, большие пальцы зацеплены за кожаные ремни. Ноги широко расставлены, животы выпячены — так важно и вызывающе, что смахивает на клоунаду.

Однако, вопреки своему чванству, на секунду прищельцы замялись, будто и сами осознали нелепость ситуации. Поняли грубую неуместность своего присутствия в маленькой комнате, где миниатюрные весы и всякие инструменты, на стенах анатомические схемы и плакаты, призывающие пользоваться презервативами для контроля рождаемости и предупреждения дурных болезней. Где за столом маленькая докторша заполняет карточку.

Они были ужасно чужеродны. Как танк в палисаднике.

— Здесь больница! — выкрикнул Мейер. — Тут исцеляют!

Фрида оценила, что он нашел в себе силы заговорить, хотя голос выдал его дикий страх.

— Бойкот начнется только завтра. Кроме того, он добровольный. Вам тут нечего делать. Я вызову полицию.

Слова его разрушили чары, но весьма неожиданно. Штурмовики загоготали, будто смешной анекдот помог им преодолеть неловкость.

— Мы и есть полиция, герр доктор, — известил вожак.

Фрида встала.

— Что со мной будет? — спросила она. — Убьете?

— Пока ничего не будет, — ответил вожак. — Вам дозволяется уйти.

— Дозволяется уйти из собственного кабинета?

— Именно так. Валяйте домой. Мы пришли за ним.

Троица развернулась к Мейеру.

Лицо его мгновенно превратилось в маску смертельного ужаса. Он был абсолютно уверен, что пришли за Фридой.

— Ты член компартии, Мейер.

— Нет! То есть да, я был... — забормотал врач. — Но партия запрещена, и потому я больше не...

Мейер не договорил. От удара наотмашь дубинкой по лицу он без чувств рухнул на пол.

— Закиньте его в грузовик, — приказал главарь.

Оставляя кровавый след, штурмовики выволокли бесчувственного коммуниста.

— Хайль Гитлер! — Вожак щелкнул каблуками и вскинул руку в нацистском салюте.

Они ушли.

Фрида плюхнулась на стул. Сглотнула, боясь, что ее вырвет. Попыталась все осознать.

Адольф Гитлер, объект нелепого всеобщего салюта, пришел к власти два месяца назад.

И успел сделать так, что в больнице абсолютно невиновного беззащитного человека оглушают дубинкой и куда-то увозят. Причем безнаказанно, ибо такова государственная политика.

Всего за два месяца.

А Гитлер говорил, что его рейх просуществует тысячу лет.

На карточку капнули слезы. Запись о беременности фрау Шмидт расплылась синими разводами. Крохотная соленая дань океану горестей, уготованных миру.

## Утраченная надежда

Лондон, 1956 г.

Дагмар мертва.

Стоун в этом уверился и от пламени под вопившим чайником прикурил вторую сигарету.

Недолгая греза о возможности новой жизни обернулась жестокой иллюзией. Впереди вновь расстилалась бескрайняя серая пустота.

История, в которую так хотелось поверить, просто нереальна. Побег из Биркенау? Партизанский отряд? Неволя в Гулаге? Это возможно. *И только.* Однако невозможно, чтобы все эти перипетии закончились должностью в восточногерманской тайной полиции, как утверждает МИ-6.

По крайней мере, теперь он это понял. Письмо писал человек, который много знал о Дагмар. Надо ехать в Берлин и выяснить, что на самом деле с ней произошло.

М-да, горькое утешение.

Что произошло после 1939 года, когда случился прощальный душистый поцелуй за столиком вокзального кафе? Сколько еще она прожила? Евреев окончательно изгнали из Берлина лишь в 1943-м. Она продержалась до конца?

А что потом? В какой склеп ее отправили? Как она умерла? Дагмар Фишер, прекраснейшая девушка во всей Германии.

От голода? Болезней? В газовой камере? Труп ее сожгли в печи? Или же она уцелела в лагерях, но, вконец обессилив на марше, рухнула в канаву, когда под натиском Красной армии эсэсовцы перегоняли своих жертв в Германию? Может, сгинула рабыней на подземном заводе? Стала одной из сотен тысяч человеческих тварей, о которых Шпеер<sup>[45]</sup> даже не ведал? И ее голый труп был в куче скелетов, которую бульдозером сгреб плачущий американский солдат? И горожане Дахау или Бергена — свидетели, согнанные потрясенными американцами, — были последними, кто видел ее разложившиеся останки? В мрачном оцепенении поселяне смотрели на плоть, которую он всегда желал, о которой с двенадцати лет грезил каждую ночь?

В Штази у кого-то был ответ. Этот человек так много знал о Стоуне и его любви, что сумел состряпать письмо якобы от Дагмар.

В темноте Стоун разглядывал тлеющий кончик сигареты, отгоняя

неизбежный вывод.

Зрела уверенность, что страшные торжественные клятвы отважных членов Субботнего клуба были чрезвычайно грубо нарушены.

## Открытие магазина

**Берлин, 1 апреля 1933 г.**

Дагмар Фишер разглядывала себя в зеркало. Вообще-то она себе нравилась. Если знаешь о своей красоте, почему бы не полюбоваться собственным отражением? Как там сказано в глупой записке Отто Штенгеля? Ее глаза — словно темные мерцающие омуты. Или это написал Пауль? Оба говорили очень приятные комплименты. Но Пауль обычно писал по-французски.

Да, глаза красивые, спору нет. Пожалуй, как у Нормы Ширер, или Дитрих, или английской кинозвезды Мэри Астор. Чуть приспущенные уголки глаз наделяют лицо этакой меланхолической загадочностью. А вот брови никуда не годятся — по-детски густые, противные, — но выщипывать их категорически запрещалось. Дагмар тайком их прореживала — в день по три волосинки из каждой брови, но от этого ничего не менялось. Однажды, не утерпев, она увеличила ежедневную квоту до десяти волосинок и тотчас за завтраком получила нагоняй от отца, приказавшего горничной неделю не подавать к столу мед, что было унижительно. Не лишение сладкого, а публичный выговор. Перед прислугой.

Дагмар отвернулась от зеркала и глянула на приготовленное платье. Столь же кошмарное, как и школьная форма, — иные варианты родители даже не принимали к рассмотрению.

Матросский костюмчик, господи ты боже мой! Она же не ребенок.

Уже обозначились формы. Появилась грудь.

Какая нелепость — грудастый юнга. И еще носки! Белые детсадовские носочки. Дагмар примерилась к бунту. В конце концов, все затеял отец. Может, вцепиться в перила и отказать ему в содействии?

Конечно, этого она не сделает.

Отец не из тех, кого можно послушаться. Приказы его исполняют беспрекословно.

— Главное — показать, что мы не боимся, — сказал он.

Ему-то хорошо, подумала Дагмар, его не выставляют на всеобщее обозрение в наряде десятилетнего малыша.

Она вновь взглянула на свое отражение.

Особой храбрости не заметно.

Вот если б чуть-чуть подкраситься. В дорогущей гимназии кое-кто из



одноклассниц уже тайком красился. Говорили, чувствуешь себя уверенной красавицей. Нынче это совсем не помешало бы.

Может, стянуть мамины тени для век и румяна? Если разок мазнуть кисточкой, никто не заметит. Нет, заметят. Если стать уверенной красавицей, отец потребует салфетку и сотрет всю красоту и уверенность. Перед прислугой.

Никуда не денешься. Отвагу придется изображать с тем, что бог дал. Как учила тренер по плаванию фройляйн Шнайдер: грудь вперед, плечи назад. Долой страх, постараться все сделать так, как хочет отец.

Дагмар надела шелковую комбинацию и бело-голубой матросский костюмчик. Села на кровать и натянула ненавистные белые носочки на длинные стройные ноги.

В дверях возникла мать:

— Ты готова, милая? Скорее обувайся. Ты знаешь, что папа не терпит опозданий.

— Я прямо как школьница.

— Ты и есть школьница, милая.

— Почему нельзя на денек закрыться, как все другие?

— Потому что мы — не другие. Мы Фишеры. И должны подавать пример. Надо помнить, что привилегии накладывают ответственность. От нас ждут образца поведения, и мы не обманем ожидания. Ну же, обувайся. Нет-нет, без каблучков, плоские.

Полвека универмаг Фишера был частью берлинской жизни. Магазин основал дед Дагмар, начинавший (как многие лавочники) торговлей с тележки. С той поры уличный лоток превратился в крупный берлинский универмаг, облюбованный равно секретаршами и кинозвездами. Он был символом стабильности, предлагавшим качественные товары по умеренным ценам. В войну и мир.

В горе и радости.

Он всегда был открыт.

— Мы откроемся и сегодня, — за завтраком спокойно сказал герр Фишер и вновь развернул газету, не радовавшую новостями.

Наступило 1 апреля 1933 года. Накануне вдруг объявили, что с этого дня и до особого распоряжения «истинным» немцам надлежит «добровольно» бойкотировать все еврейские заведения.

Указ поражал своей детальностью. Скажем, он предписывал работникам-нееврейцам бойкотировать свои предприятия, но обязывал владельцев-евреев полностью сохранять жалованье за отсутствующими служащими.

Сотням тысяч штурмовиков, обеспеченных полным содействием полиции, надлежало «пикетировать» еврейские предприятия по всей стране. Тем самым создавалась видимость стихийных демонстраций, от имени населения объявленных нацистскими лидерами. Корявые надписи на витринах извещали, что любой, кто пользуется услугами еврейского учреждения, переходит в стан предателей. Предписывалось также на стенах и окнах малевать лозунг, состряпанный пресловутым Юлиусом Штрайхером,<sup>[46]</sup> нацистским гауляйтером, который еще недавно был известен властям как сбрендивший извращенец и насильник. Неизящность сочинения восполнялась лаконичностью.

*Смерть жидам.*

Большинство заведений, осажденных всемогущей Коричневой армией, решили пока закрыться, надеясь, что их минует эта кратковременная «кара» за всемирные преступления.

Но герр Фишер, хозяин знаменитого универмага, решил иначе.

— Берлинцы знают наши рабочие часы и рассчитывают, что мы будем открыты. И мы их не подведем, — накануне сказал он персоналу («пожаловав» неевреям оплаченный выходной). — Сама императрица Августа Виктория почтила нас визитом всего за месяц до отречения кайзера. По случаю помолвки своей фрейлины она купила перчатки ей в подарок. Если завтра ее императорское высочество пожалуют из Голландии и вновь пожелают приобрести перчатки, к ее услугам будет самый богатый выбор по умеренным ценам.<sup>[47]</sup> Как всегда.

Речь его вызвала бурные аплодисменты, и герр Фишер, ободренный поддержкой служащих, распорядился изготовить два наглядных знака — в противовес лозунгу, уже намалеванному на витринах. Первый представлял собой копию мемориального списка, оригинал которого висел под часами в роскошной центральной галерее универмага. В нем значились служащие Фишера, отдавшие жизнь за отечество на Великой войне. Среди них были и евреи. Фишер приказал их имена подчеркнуть и пометить шестиконечной звездой.

Второй знак — транспарант — растянули над главным входом. Он извещал, что Фишер приветствует своих многочисленных постоянных покупателей и в благодарность за их верность объявляет двадцатипятипроцентную скидку на все покупки, сделанные первого апреля. Акция однодневная.

Вопреки кошмарной ситуации, Фишер даже посмеивался, когда за ужином поделился своим планом с женой.

— Посмотрим, не удастся ли нам обернуть себе на пользу весь этот вздор, — сказал он. — Знаю я берлинцев — они не устоят перед скидкой в двадцать пять пфеннигов с каждой потраченной марки.

Однако его планы пассивного сопротивления не ограничивались декорациями. В них была и Дагмар, которую после ужина призвали в гостиную и ошарашили известием о том, что завтра она пропустит школу, но отправится в магазин.

— Ты, мама и я будем стоять в дверях и лично приветствовать каждого покупателя, почтившего нас присутствием. Берлинские Фишеры покажут зарвавшемуся хулиганью и всему миру, что такое добропорядочная немецкая семья.

Перед сном Дагмар позвонила близнецам. В ее спальне стоял телефон (что, на взгляд Пауля и Отто, было неммыслимым изыском), и она, покончив с домашними заданиями, частенько болтала с братьями.

Обычно близнецы спорили, кому первым с ней говорить, и порой так яростно, что Дагмар это надоедало, и она вешала трубку. Однако нынче мальчики, понимавшие серьезность ситуации, не пихались, но оба приникли к трубке, пытаясь успокоить подругу.

— Все обойдется, — сказал Пауль. — Зато прожахаешь школу. Поди плохо?

— Может, обед будет из кондитерского отдела, — добавил Отто. — Ты там чего-нибудь для нас прибереги.

Разговор получился односторонним, и вскоре Дагмар распрощалась: после восьми вечера ей не разрешали пользоваться этим телефоном.

Она положила изящную перламутровую трубку на блестящие медные рычаги и улеглась в постель, обняв потертую вязаную обезьянку, с которой засыпала, сколько себя помнила.

А потом наступило утро, и был завтрак, который в виде исключения ей разрешили съесть в своей комнате, но она к нему не притронулась, и были ненавистный матросский костюмчик, белые носочки и мамино требование надеть туфли без каблучков. А потом вдруг настало время выходить из дому.

Родители ждали ее в вестибюле роскошного особняка.

Отец старательно держался так, будто ничего особенного не происходит.

Мама была величава, однако нервничала.

Дагмар приняла от дворецкого пальто и шляпку и вышла на улицу, где поджидал сияющий черный «мерседес».

— Десять минут девятого, — сказал отец шоферу. — К универмагу нужно подъехать ровно в восемь двадцать девять, чтобы я сам вовремя его

открыл.

— Слушаюсь, господин.

Шофер распахнул дверцу, и благородное семейство элегантно село в машину. Дагмар забралась на сиденье первой, а фрау Фишер задержалась перед бесстрастным водителем в ливрее.

— Спасибо, Клаус, — сказала она.

— Мадам?

— Что нынче вышли на работу.

— Сегодня я на вас не работаю, мадам, — ответил шофер. — Как вы знаете, это веление нашего вождя. Я уже уведомил герра Фишера, что сегодняшней день следует вычесть из моего месячного жалованья.

— Но... — опешила фрау Фишер.

— Однако я имею честь сегодня вам *услужить*, — продолжил шофер. — По собственной воле, в свободное время.

На глаза фрау Фишер навернулись слезы.

— Большое вам спасибо. — Она села рядом с Дагмар, которая тоже старалась не расплакаться.

Следом забрался герр Фишер, и они тронулись в путь.

— Чудесный денек, — сказал герр Фишер. — Вечером, дорогая, можем все вместе покататься верхом, если не похолодает. Лошади забывают, кто их хозяин, если имеют дело только с конюхами.

Фрау Фишер безуспешно попыталась улыбнуться.

Стояло и впрямь чудесное весеннее утро. Настроение Дагмар не то что поднялось, но хотя бы вышло из пике. Превосходное авто шуршало сквозь дорогие кварталы Шарлоттенбург-Вильмерсдорф. На платанах, окаймлявших величественный бульвар Курфюрстендамм, набухали почки. За окном маняще проплывали роскошные магазины и кафе, хорошо знакомые Дагмар и ее одноклассницам. Вроде все как обычно.

Но не совсем. Улицы непривычно безлюдны. Некоторые заведения закрыты, их сверкающие витрины, полированное дерево и медь изуродованы надписями, с которых еще капает краска, а перед входом толпятся молодцы в коричневой униформе, вооруженные стягами со свастикой.

— Мандельбаум, Розебаум, — бормотал Фишер, глядя в окно. — Даже Самуил Бельцфройнд. Я думал, ему-то хватит смелости, в Торговой палате он всегда герой. Нет, все сидят по домам.

— Может, и нам стоит передумать, дорогой? — осторожно сказала фрау Фишер. — Раз все другие...

— Я уже говорил, мы — не *другие*. Мы — берлинские Фишеры. —

Герр Фишер помрачнел и сжал губы.

— Ну что ты, мама! — с наигранной веселостью воскликнула Дагмар. — Императрица может вернуться из голландской ссылки и спросить перчатки для своей фрейлины.

— Именно! — подхватил герр Фишер. — И вдруг мы закрыты — вообрази!

Впервые за утро все трое слегка улыбнулись.

А потом вдруг настала эта минута. Лимузин подрулил к знаменитому универмагу Фишера, который часто сравнивали с лондонским «Хэрродс» или нью-йоркским «Мэйсис». Однако сегодня магазин ничем не напоминал своих роскошных собратьев. Нынче он был сам по себе посреди беспримерного кошмара.

От ужаса Дагмар задохнулась. Она так часто любовалась витринами, где постоянно менялась экспозиция модных роскошных товаров. Теперь они были изуродованы, все до единой. Всюду шестиконечные звезды, ругательства и творчество Штрайхера — свинцово тупой и злобный лозунг дня: «Смерть жидам».

Под маркизой цветного стекла над главным входом столпилось человек двадцать штурмовиков. Прибытие «мерседеса» их явно удивило. Кое-кто вскинул руку в нацистском салюте, решив, что подъехала какая-нибудь партийная шишка, проверяющая ход акции.

Заблуждению способствовал шофер в ливрее, который вышел из машины и открыл заднюю дверцу, игнорируя коричневое сборище. Но вскинутые в трепетном ожидании руки сердито упали, когда на тротуар ступило семейство Фишеров, охаянное в бесчисленных публикациях нацистской прессы. Первым вышел герр Фишер, следом Дагмар. За большими магазинными дверями мелькали испуганные лица персонала, уже собравшегося в зале. Снаружи вход был забаррикадирован мусорными баками. Ни одного покупателя.

И уж конечно, нигде не видно бывшей императрицы Августы Виктории.

Дагмар услышала голос отца:

— Доброе утро. Я — Исаак Фишер, хозяин магазина. А где транспарант?

Не было ни объявления, извещавшего о скидке, ни внушительного памятного списка погибших фронтовиков.

— Скажите, куда вы дели транспарант? — повторил вопрос Фишер.

Штурмовики загоготали, чей-то голос передразнил его интеллигентный выговор: *Скажи-ите, куда вы дели транспарант?* Только

теперь на тротуаре Дагмар заметила обрывки веревок и ткани — останки памятного списка и извещения о скидке, растоптанных коваными сапогами.

— Так это *твой* транспарант? — ухмыльнулся мальй с сержантскими нашивками на рукаве — труппфюрер по нацистскому ранжиру. — Шибко не повезло.

— Прочь с дороги! — сказал Фишер. — Я хочу открыть магазин.

— Что?! — брызгая слюной, взревел труппфюрер. — Блядь! Ты кому это сказал, пиздюк жидовский?

Фишер отшатнулся, будто его ударили. Дагмар ухватилась за мать. Фрау Фишер была неудержимая дрожь.

Площадная брань.

На Курфюрстендамм, перед их магазином.

Невероятно. Неслыханно. Невозможно.

Но это происходило.

Семейство Фишер, владевшее берлинским универмагом, вдруг уяснило, что ни один цивилизованный закон к ним больше не применим. Богатство, достижения, культурность и образованность ничего не стоили. Фишеры были бесправны и абсолютно незащитны.

Главарь вновь заговорил, вернее, завопил, истово подражая нацистскому вождю:

— Вздумал командовать труппфюрером штурмового отряда? Крыса вонючая! Сраная гнида! Сам напросился, жидок! На, отведай!

Мальй, не старше двадцати двух — двадцати трех лет, шагнул к тщедушному Исааку Фишеру, давно разменявшему пятый десяток. Молниеносно достал из кармана кастет и нанес сокрушительный удар в висок, от которого Фишер рухнул как подкошенный. Кованый сапог труппфюрера раз-другой впечатался в распростертое тело.

Все случилось внезапно и было просто невысказано.

Дикая жестокость. Ни за что ни про что. *Мгновенно*.

На миг фрау Фишер и Дагмар замерли — сознание отказывалось принять то, что видели глаза. А потом истово закричали и бросились к главе семьи. Мужу и отцу. Защитнику. Человеку, на которого всецело полагались и которому безоглядно верили.

Однако помочь ему не сумели. Коричневая банда оттащила их в сторону. Шофер попытался укрыть хозяина в машине, но и на него посыпался град ударов.

Дагмар отбивалась от ржавших штурмовиков, от вездесущих лап, шаривших по ее телу. И вдруг через дорогу, в центре широкого бульвара, усаженного платанами, заметила двух полицейских. Казалось, муке конец.

Ведь это берлинская полиция, там служил дед Отто и Пауля. Герр Фишер регулярно делал благотворительные взносы в ее фонд. Все страшные годы берлинские полицейские без страха и упрека служили порядку. Вот и сейчас они его восстановят.

— Евреи, что ли? — крикнул один патрульный.

— Ну да, — ответил штурмовик. — Грязные жида, вздумали командовать национал-социалистами.

Полицейский усмехнулся и махнул рукой. Через минуту патрульные ушли.

Штурмовики вздернули Фишера на ноги.

Побитого шофера они отпустили, но с семейством пока не закончили.

— Давай-ка еще разок! — рявкнул труппфюрер на Фишера — у того по правой половине лица расплзался кровоподтек. — Говоришь, твой транспарант, господин жид?

Перед глазами Дагмар плыла и качалась улица, в голове наявлялся безумный оркестр, в котором звучали партии разбитого стекла, ревуших клаксонов, хриплых воплей и железа, скрежещущего по камню. Кулак врезался в папину грудь. Папа снова упал. Потом что-то ударило Дагмар в спину, колени подломились, и она очутилась на тротуаре рядом с распростертой мамой в окружении черных и коричневых сапог.

— Раз транспарант твой, пиздюк, значит, тебе и твоим лярвам здесь надо прибраться, — сквозь какофонию оркестра пробился голос главаря. — Ишь замусорили улицу!

Он так сказал?

Вправду?

Дагмар поняла, что сошла с ума. Она лежит на *тротуаре* Курфюрстендамм перед папиным магазином. Роскошным торговым замком, где была *принцессой*. Не *стоит*, а *валяется*. Удар вышиб из нее дух. Любимые родители, символ силы и власти, кладезь покоя и *надежности*, беспомощно распростерлись рядом. Папино лицо распухло и в крови. Кровь его испятнала тротуарные плиты.

На Курфюрстендамм.

И трех минут не прошло, как они ехали в семейном «мерседесе». В одном из семейных «мерседесов». Перед глазами плиты, по которым она тысячи раз ступала. Одна. С подругами. С родителями. Изредка (и украдкой) с Паулем и Отто, балдевшими от того, что улыбчивый швейцар отдает ей честь.

Это было ее королевство. Еще вчера.

— Ждешь особого приглашения, фройляйн? — рявкнул глумливый

голос. — Научим вас не срать на немецких улицах!

Дагмар машинально подобрала обрывок транспаранта.

Рядом кто-то вскрикнул. Мама. Удар сапога выбил из ее рук собранные лохмотья.

— Сказано же, убрать за собой говно! — заорал коричневорубашечник. — Подбирай, сука жидовская!

Так говорили с мамой.

В Берлине.

На Курфюрстендамм.

Дагмар подняла голову. За спинами штурмовиков шли прохожие. Одни уткнули взгляд в землю — мол, ничего особенного не происходит. Другие останавливались, улыбались и брали на руки детей, чтоб тем было видно, криками подбадривали штурмовиков.

*Так им!*

*Пуцай поелозят!*

*Пора жирным еврейским богатеям расплатиться за все, что с нами сделали!*

За что? *Что* она сделала?

Казалось, сейчас она потеряет сознание. И впрямь, лучше бы грохнуть в обморок.

А то и умереть.

Однако ни обморок, ни смерть не пришли на помощь. Сознание упрямо извещало, что она ползает на четвереньках, собирая обрывки транспаранта. И молится, чтобы кованый сапог не расплющил ей пальцы.

Чей-то голос перекрыл общий гам. Кричал кто-то из злорадных зевак. Нарядно одетая женщина.

— Пусть вылизут! — орала она. — Пусть вылизут тротуар!

Нацистам идея пришлась по душе. Черт, как же сами-то не додумались?

Под ударами семейство Фишер — мать, отец и дочь — приникло к земле и стало лизать тротуарные плиты.

Гиканье, смех. Жуткий, ликующий, глумливый смех. Кто-то затянул песню. Конечно, «Хорст Вессель» — неизменный гимн штурмовиков. Иначе и быть не могло. Похоже, других песен они не знали.

Но сейчас запев не подхватили. В веселье было не до песен.

Дагмар не выдержала. Слепая от слез, она душераздирающе завизжала, вскочила и бросилась бежать. Как ни странно, штурмовики не кинулись вдогонку. Наверное, истерическая вспышка застала их врасплох.

И толпа зевак расступилась. Может, пожалели девочку в матросском



костюмчике, обезумевшую от ужаса. Или побоялись подцепить заразу от недочеловека. Как бы то ни было, Дагмар вырвалась из кольца и понеслась вдоль магазинных витрин.

Она слышала стук своих туфель по тротуару. Отменных туфель из лакированной кожи.

Какое счастье, что послушалась маму! На каблуках не убежала бы.

Огромный универмаг занимал целый квартал по Курфюрстендамм и почти квартал по улице, перпендикулярной к бульвару. У всех его многочисленных входов стояли пикеты штурмовиков.

Дагмар неслась вслепую. Пригнув голову, смотрела лишь на свои черные блестящие туфли, на миг появлявшиеся из-под подола юбки и тотчас исчезающие.

Наверняка она бы во что-нибудь врезалась или вылетела под машину. Но чьи-то руки ее остановили, и Дагмар поняла, что вновь оказалась в лапах заклятых врагов.

— Куда разогналась-то? — просипел чей-то голос. — Ишь рванула! А кто поможет папеньке с уборкой?

— Не надо... — выдохнула Дагмар, — пожалуйста...

Штурмовик не ответил.

Потому что Дагмар вдруг грохнулась навзничь.

Что произошло?

Сначала она подумала, что мучитель ее толкнул.

Но тот лежал рядом. И хватал ртом воздух, придавленный какой-то тяжестью.

Весом Отто Штенгеля.

После давешнего телефонного разговора братья поняли, что Дагмар нуждается в поддержке. Член Субботнего клуба взывал о помощи, и долг требовал быть рядом. Конечно, решение не имело ничего общего с торжественными обетами, которые в детстве они давали после музыкальных уроков. Дагмар была их манией и вождленным божеством. Разумеется, близнецы не могли упустить великолепный законный повод оказать ей услугу.

А посему утром, якобы отправившись в школу, братья рванули к метро и доехали до станции «Зоопарк». Бегом преодолев остаток пути, на Курфюрстендамм они успели как раз к моменту, когда Дагмар вырвалась из кольца зевак.

Близнецы тотчас кинулись следом, покинув жуткую сцену — фрау и герр Фишер на четвереньках вылизывают тротуар. Они почти догнали Дагмар, но та вновь оказалась в руках штурмовика.

Отто всегда действовал по наитию, а потому с налету прыгнул на обидчика и пушечным ядром пригвоздил его к земле. Рухнули все трое. Первой, взбрыкнув ногами, грохнулась Дагмар в грязном порванном матросском костюмчике, рядом, утробно крикнув, приземлился толстобрюхий штурмовик, придавленный Отто.

Пауль всегда действовал по уму и, резко затормозив перед расprostертой троицей, сообразил, что на разработку плана у него не больше полутора секунд. Потом коричневорубашечники оправятся от изумления, сдернут брата с поверженного камрада и изобьют. Скорее всего, до смерти.

Фокус в том, смекнул Пауль, чтобы первым изложить свою версию событий.

— Сволочь! — заорал он и, вздернув Отто на ноги, борцовским захватом зажал его шею. — Попался! Теперь не уйдешь!

Свободной рукой он отвесил брату затрещину (по мнению Отто, излишне крепкую).

Пауль обернулся к подбежавшим штурмовикам.

— Жиды! — заполошно выкрикнул он. — Грязные жиды! Целая банда! Напали на немку! Там, за углом! Хотят изнасиловать! Срывают одежду! Скорее! Этого я взял, не уйдет! Быстрее туда, помогите!

Юнец в цейтноте, Пауль блестяще сыграл на струнах оголтелого нацистского антисемитизма. Исполнил любимую, хорошо отрепетированную партию коричневых. Грязное похотливое распутство было чуть ли не главным преступлением из всех, которые для евреев сочинили «Дер Штюрмер» и прочая нацистская пресса.

Штурмовики не мешкали. Возможность жестко покарать за групповое изнасилование распалило их природные инстинкты и потаенные фантазии. Толпой они кинулись к проулку. На месте остался лишь оглушенный боец, который постепенно приходил в себя и уже сидел на тротуаре, уронив голову на грудь.

Вряд ли, рассудил Пауль, он упустит возможность поквитаться с Отто и наверняка пожертвует сладостным зрелищем, в котором жиды срывают одежду с немки. Кроме того, подельники его вот-вот достигнут угла и поймут, что их провели. Вновь на решение оставались доли секунды, и вновь Пауль сумел угадать психологическую слабость в нокаутированном противнике.

— Этих двоих я забираю! — рявкнул он, свободной рукой вздернув Дагмар на ноги. — Мой отец — гауптштурмфюрер. Он группирует задержанных и будет очень рад, что ты поймал эту свинью. Скажу ему,

чтобы лично тебя отблагодарил.

Тирада не отличалась смыслом, зато демонстрировала властность. Пауль знал, что нациста хлебом не корми, но дай подчиниться приказу и бездумно последовать за командиром. Слово «гауптштурмфюрер» подействовало магически.

Пауль не стал ждать, пока штурмовик разберется, с какой стати мальчишка, у которого даже нет формы гитлерюгенда, шныряет по улицам и собирает арестованных для некоего гауптштурмфюрера. Вместе с Дагмар и братом он выскочил на мостовую и, не обращая внимания на гудки клаксонов и визг тормозов, устремился к трамвайной линии в центре бульвара.

Трамвай, шедший на восток столицы, уже закрывал двери, но Пауль успел просунуть руку и (к большому неудовольствию пассажиров) заставил их вновь открыться.

В вагоне Отто взъерепенился:

— Чего так сильно меня треснул?

— Переживешь, дурак. Как ты, Даг? Что произошло?

Но Дагмар на время онемела. Она даже не могла плакать, только смотрела перед собой и старалась вдохнуть.

# Берега Красного моря

## Берлин, 1 апреля 1933 г.

— Все ждут Моисея, — сказала Фрида и улыбнулась. Она знала — нужно улыбаться.

На лицах вокруг читались безграничное потрясение и ужас, а потому следовало выказать хоть какое-то присутствие духа. Фрида Штенгель понимала одно: с этого злополучного дня, когда нацисты взаправду показали зубы, дали заглянуть в бездонную пропасть своего безумия, таким, как она, только характер поможет устоять.

Если им суждено устоять.

Она оглядела тех, кто собрался в ее гостиной.

Знакомые лица как будто принадлежали совсем другим людям. Сбитым с толку, растерянным, беспомощным. Точно младенцы, которых прошлая жизнь исторгла из теплого уюта своего чрева на беспощадный свет абсолютно чуждого враждебного мира. И вот теперь они моргали, сиюсь крикнуть и задышать.

Совершенно другие люди. Буквально.

Недавние уважаемые граждане Германской республики. Родители, труженики, налогоплательщики, военные ветераны. Люди.

А теперь — *Untermensch*. Нелюди. Презренные изгои. *Официально* презренные. Изгои *по закону*. Отлученные от дела. Выброшенные с работы. Избитые и растерянные, они пришли к Фриде Штенгель. К доброму доктору.

Страх заставлял трепетать их ноздри. Подкачивал слезы в покрасневшие глаза.

Из последних сил сдерживаясь, они заламывали руки.

Аптекарь Кац с женой и взрослой дочерью. Супруги Леб, державшие табачный и газетный ларек у входа в метро. Книготорговец Моргенштерн. Страховщик Шмулевиц. Чета Лейбовиц, хозяева ресторанчика на Грюнбергерштрассе. Мусорщик. Фабричный. Подручный пивовара. Двое безработных. Домохозяйки. Пара детишек, которым страшно идти в школу.

Евреи Фридрихсхайна.

Вчерашние граждане. Ныне просто жида.

В надежде на утешение и смысл они потянулись к Штенгелям. Фрида была местным магнитом. Ее любили за доброту, уважали за ум и неиссякаемую энергию. Может, она знает ответ? Может, в ее доме найдется

кроха утешения и хоть какое-то объяснение? Ведь раньше добрая *фрау доктор* на все имела ответ.

Однако нынче ответа не было.

Его просто не существовало.

Фриде оставалось лишь улыбаться и искать утешение в притчах, которым не особо верила. Однако сейчас они были как нельзя кстати.

— Сдается, наше несчастное племя опять в пути, — сказала Фрида, стараясь, чтоб вышло бодро. — Вновь изгнанные из Египта, мы стоим на берегах Красного моря. Гитлер — тот же фараон, правда? Вопрос в том, как теперь спастись. *Все ждут Моисея.*

Но пока Моисея никто не видел, на улицы, оккупированные коричневой армией, не выйти, и потому все просто сидели. Оглушенные, натянутые как струна. Отсчитывали секунды, уводившие в ничто.

Выпили кофе, закусили кексами и прочей снедью, которую кое-кто принес с собой: сладкие брецели, штоллены, коржики с корицей. Опять выпили кофе.

Вольфганг тихонько наигрывал на пианино. Выбирал что-нибудь не слишком скорбное, в основном мелодии из мюзиклов.

— Наверное, вот так же было на «Титанике» в его последний час, — сказал он. — Всегда восхищался ребятами из тамошнего оркестра. Вот уж не думал, что войду в его состав.

Фрау Кац заплакала.

— Вольфганг! — укорила Фрида.

Вольфганг извинился и вновь забренчал на пианино.

Иногда слышались возгласы, полные обиды и растерянности.

*Меня толкнули.*

*В меня плюнули.*

*Фрау такая-то смолчала.*

*Герр такой-то отвернулся.*

*Мы сто лет знакомы. После краха я ссужал их деньгами. Они ничего не сделали, когда бандиты разбили мое окно и швырнули собачье дерьмо. Ничего.*

Но в основном шла вежливая беседа, в которой всякое слово было бумажным мостиком над разверстой мрачной преисподней.

*Как ваши дети?*

*Фрау такая-то оправилась от гриппа?*

*Нынче в Тиргартене очень рано зацвели деревья, правда?*

Однако в напряженных голосах и нервном звяканье фарфоровых чашек из лучшего Фридиного сервиза слышался безмолвный вопль:

ПОЧЕМУ? ПОЧЕМУ! ПОЧЕМУ!

Почему — мы?

И конечно — что дальше?

Раз-другой заглянули друзья-неевреи — выразить поддержку. Пришел управдом. Потом еще дворник, который каждое утро выкатывал тачку и подметал улицу; завидев Фриду, он опирался на метлу и говорил: «Чудесно выглядите». Все десять лет. Вольфганг считал это подхалимажем, но сейчас был благодарен ему за визит.

— Чудесно выглядите, фрау доктор. — Глядя под ноги, дворник смущенно топтался в дверях и мял кепку. В коридоре положил на столик незатейливый букетик и ушел.

В обеденный перерыв из больницы примчался доктор Шварцшильд, Фридин коллега. Возникла мысль, рассказал он, в знак солидарности закрыть клинику, но потом решили, что это будет непродуктивно.

— Конечно, — согласилась Фрида. — Людям нужна медицинская помощь.

— И евреям ее окажут? — встрял Вольфганг.

— Разумеется, — смешался Шварцшильд. — А как иначе?

— Не знаю, старина. — В тоне Вольфганга проскользнул злой сарказм. — Не ведаю.

— Прекрати, Вольф, — перебила Фрида. — Руди тут ни при чем.

— А кто при чем? — спросил Вольфганг.

Уже разверзлась пропасть.

Широченная. Как бездна между жизнью и смертью.

Обитатели смертельной стороны, ныне «евреи», невольно прониклись злобой и горькой обидой на тех, кто пребывал на стороне жизни и теперь назывался «арийцем». Поскольку ни один нацист или даже тихий попутчик не взглянет им в глаза и с ними не заговорит, отверженные выплескивали свои чувства на тех единственных «арийцев», кто еще считал их за людей, — оставшихся друзей-неевреев.

*Значит, вот что задумал ваш господин Гитлер, да?*

*Что теперь вы нам уготовили?*

*Вы что, вправду считаете, будто мы отобрали у вас жилье и работу?*

Вскоре Шварцшильд ушел. Его ждали пациенты — его и Фридины. Больные, о которых Фрида уже беспокоилась, невольно чувствуя себя виноватой в том, что вдруг их бросила. Пока провожала Шварцшильда к двери, в голове ее роились сотни не законченных историй болезни.

— Меня тревожит нарыв фрау Оппенхайм. Я его вскрыла, но заживает

плохо. Подозреваю, она не промывает ранку, как я велела. После перелома мальчик Розенбергов до сих пор не ходит, потому что пропускает сеансы физиотерапии. Надо жестко поговорить с родителями... Я всем напишу записки. Принесешь мои истории? Наверное, это еще дозволено. Вместе посмотрим. Знаешь, я боюсь, у старика Блоха выявится диабет, — сделай анализ крови на сахар.

Вроде так легче. Находить убежище в хлопотах былой жизни. Опосредованно помогать людям, которых правительственный декрет обязал избегать ее как чумы.

— Чего ты о них беспокоишься? — спросил Вольфганг, разглядывая ее. — Они-то о тебе беспокоятся?

— Я врач, Вольф. Ответное внимание мне не требуется.

Вольфганг усмехнулся и пожал плечами:

— Что ж, верно. Ты гораздо лучше их всех, что было известно и без сволочных нацистов. А вот я — плохой, и на твоём месте сказал бы: да хрен-то с вами!

То ли в знак протеста, то ли от досады он заиграл «Пиратку Дженни» Курта Вайля.<sup>[48]</sup>

— Вольфганг, не надо, — попросила Фрида.

Вольфганг обернулся. Лица, искаженные страхом.

— Извините, — горько сказал он. — Не нравится еврейская музыка?

— Перестань, Вольф, — урезонила Фрида. — Стены тонкие, зачем дразнить гусей?

— Я тоже так думал, — ответил Вольфганг. — Но теперь считаю, что никакой разницы.

— Если дразнить, нас убьют, — сказал табачник герр Леб. — Нас мало, их много.

— Нет, не убьют! — вскрикнула фрау Лейбовиц. — Мы в Германии, наверняка это ошибка. Временное помрачение.

Некоторые согласились. Заблуждение. Немыслимо, чтобы национал-социалистическое правительство продолжило травлю.

И вновь это учтливое обращение. *Национал-социалистическое правительство*. Будто полное название нацистской партии и вежливая официальность заставят нацистов ответить тем же.

Иные смотрели на вещи мрачно.

— Сын считает, они не остановятся, пока всех нас не перебьют, — сказал книготорговец Моргенштерн. — Он хочет уехать. С невестой. В Цюрихе друг на время их приютит.

— Но что он будет делать? Где найдет работу? Есть швейцарское

разрешение на трудоустройство? — посыпались вопросы.

— Разрешения нет, — ответил Моргенштерн. — Но все равно сын уедет. Вроде как на выходные, и там останется. Мол, пусть хоть расстреляют. Девушка его согласна. Собираются уехать на следующей неделе.

Новость еще больше всех удручила.

Цепляешься за надежду и вдруг узнаешь, что кто-то ее уже оставил. Однако у всех имелись знакомые, считавшие ситуацию нестерпимой. Особенно молодежь — ей-то терять нечего, вот и бежит.

Супруги-пенсионеры Хирш, жившие двумя этажами ниже, принесли свежий выпуск вечерней газеты. Внутри передовицы, сообщавшей об «успехе стихийного бойкота», маячил подзаголовок: «Вводятся выездные визы».

Чтобы покинуть Германию, требовалось разрешение полиции. В первую очередь это касалось евреев, дабы из враждебного зарубежья не клеветали на страну. Прежде чем уехать, следует поклониться в ножки властям, а те еще подумают.

— Хотят нас запереть, — сказал Вольфганг под собственный бунтарский аккомпанемент из «Мэкки-ножа».

Моргенштерн попросил разрешения позвонить, чтобы сообщить новость сыну.

Пришли Фридины родители.

У Фриды разрывалось сердце — таким она отца еще не видела: сдерживаемая ярость и полное смятение. Всего пару недель назад капитан Константин Таубер был значительной фигурой берлинской полиции. Ветераном войны, орденосцем. Глубоко консервативным немецким патриотом, поборником закона.

Теперь он никто. Человек без гражданского статуса, работы и прав.

— Вчера в участок заявился штурмовой отряд, — поведал Таубер.

И вновь политес. *Штурмовой отряд.*

*Национал-социалистическое правительство.*

*Герр Гитлер.*

Словно речь шла о чем-то понятном и знакомом, а не совершенно чужеродной силе, чья первобытная жесткость и невежественность превосходили всякое понимание.

— Просто ввалились, — продолжил герр Таубер. — С тех пор как герр Гитлер стал канцлером, они являлись когда хотели, но вчера пришли за мной. Еще недавно этих самых молодчиков я арестовывал за дебоши, запугивание людей и прочие безобразные хулиганства. Сажал в кутузку. А



теперь они на коне! Потребовали освободить стол! Забрали фуражку и револьвер. Сказали, я недостаточно немец, чтобы служить в полиции. Однако я сгодился для газовой атаки под Верденом, а? И был вполне хорош, когда за кайзера три года гнил в окопах!

Он смолк, взял чашку кофе и ухватился за женину руку.

— Мы пришли, потому что прочли указ о врачах-евреях, — сказала фрау Таубер. — Ужасно! Отлучить тебя от пациентов!

— В нашей семье было два уважаемых профессионала, теперь ни одного, — пробурчал капитан Таубер.

— Да ладно, пап. Ты же не хотел, чтобы я стала врачом.

— Это было давно. Я изменил свое мнение. И очень тобой горжусь. Разве я не говорил?

— Вообще-то нет.

Повисла тишина, которую нарушил Вольфганг:

— Ничего, папаша. В семье еще остался музыкант.

Таубер лишь зыркнул.

Поговорив по телефону, вернулся Моргенштерн:

— Прошу прощения, герр капитан. Может быть, у вас остались друзья среди коллег?

— Меньше, чем я полагал, — ответил Таубер.

— Дело касается выездных виз. О них объявили только сегодня, — наверное, их в одночасье не введут?

— Нет. Они не сверхчеловеки, что бы о себе ни говорили. Даже в нынешние невероятные времена нужна определенная процедура, дабы граница функционировала как положено. Одного хотенья мало.

— Не могли бы вы, герр капитан, узнать, когда потребуются эти визы?

— Попробую, — сказал Таубер. — Называйте меня просто «герр», я уже не капитан.

Он встал и пошел в коридор к телефону. Фрида смотрела на отца. Он выглядел глубоким стариком: ссутулился и волочил ноги по синему ковру. Видимо, отец и сам это почувствовал, потому что вдруг выпрямился, расправил плечи и чуть вскинул голову.

Молодец, подумала Фрида. Нам нельзя сгибаться. Вольфганг всегда говорил мальчикам: хотите себя чувствовать рослыми, держитесь прямо.

Телефон зазвонил, едва герр Таубер потянулся к трубке.

— Квартира Штенгелей, — сказал он. — У аппарата Таубер.

Через минуту он вернулся в комнату:

— Звонил герр Фишер, хозяин универмага. Спрашивал, не знаем ли мы, где Дагмар.

## Тихий день в магазине

**Берлин, 1933 г.**

После побега Дагмар штурмовая банда еще минут десять издевалась над ее родителями.

Герр и фрау Фишер ползали на четвереньках, собирали обрывки транспаранта и, давясь, вылизывали тротуар.

— Пожалуйста, воды, — прохрипела фрау Фишер, с земли глядя на молокососов, годившихся ей в сыновья.

— Чего ты там мямлишь, свиноматка? — заржал один. — Говори по-немецки. Я тебя не понимаю.

Распухший язык еле ворочался во рту, забитом песком и грязью.

— Сжальтесь... воды... — вновь попыталась выговорить фрау Фишер.

О жалости не могло быть и речи. И дело не в том, сказали бы палачи, что у них нет ни сердца ни совести, а просто евреи не заслуживают сочувствия. Ибо преступления их ужасны, а натура коварна. Непременный долг всякого немецкого патриота — быть бессердечно жестоким к этим нелюдям.

Всего лишь на прошлой неделе в передовице «Фелькишер Беобахтер» герр Геббельс особо предостерег против соблазна проявлять жалость, напомнив достойным немцам, что это не просто безвольная глупость, но измена. Родичи несчастной еврейской бабули, в Берлине взывающей о помощи, засели в Вашингтоне и Москве и радостно потирают руки, замышляя уничтожить европейскую цивилизацию, подчеркнул министр пропаганды.

Посему фрау Фишер, чья нация представляла страшную угрозу для Германии, никак не могла рассчитывать на стакан воды.

Что вполне устраивало высившихся над ней молодчиков, ибо нет ничего приятнее, чем изгаляться над беспомощным существом.

Конец пытке положило не сострадание, но прагматизм. Слух о сцене, разыгравшейся перед знаменитым универмагом, достиг кабинетов на Вильгельмштрассе, занятых теми, кто понимал: за рубежом не одобряют подобные инциденты. Для нового немецкого правительства, желавшего, чтобы мир услышал его голос, это пока еще имело значение.

Фрау Фишер умоляла дать ей воды, и тут подъехал еще один «мерседес».

Машина остановилась за роскошным авто, доставившим гордое

семейство к его голгофе.

Из автомобиля вышел человек в габардиновом плаще и хомбурге — непременный костюм «крутого парня», столь любимый прусской политической и уголовной полицией, вскоре переименованной в государственную тайную полицию — гестапо. Полицейского в гангстерском наряде сопровождал не столь зловещий субъект в пиджачной паре.

— Эй, ты! — Гестаповец окликнул жоака штурмовиков, помахав удостоверением.

— Хайль Гитлер! — Штурмовик вытянулся по стойке «смирно» и отсалютовал.

— Достаточно. Поднимите этих двоих.

Развлечение прервали, и главарь явно огорчился. Рядовые штурмовики, считавшие себя истинными наследниками нацистской революции, крепко недолюбливали официальную полицию и охранные отряды — СС. Но приказ есть приказ — не подчиниться немисливо. Жок проглотил обиду и рявкнул, чтобы Фишеров подняли на ноги.

— Там человек с фотокамерой, — пролаял гестаповец. — Сюда его.

Человек в толпе, делавший снимки, понял, что его заметили, и хотел скрыться. Но когда, распихивая зевак, два штурмовика кинулись к нему и взяли под локотки, благоразумие победило.

Герр Фишер оттолкнул бойцов, помогших ему встать, и подошел к гестаповцу. Лицо его было разбито, одежда изорвана, и все-таки он держался с достоинством.

— Меня зовут... — Слова давались с трудом. Губы кровоточили, язык распух, во рту пересохло. Ужасно хотелось пить. — Меня зовут Исаак Фишер, — выговорил он со второй попытки.

— Я вас знаю, — оборвал гестаповец. — Почему вы обратились ко мне?

Чтобы справиться со следующей фразой, Фишеру пришлось отхаркаться. Гестаповец брезгливо скривился.

— Потому что вы представляете власть. — Голос Фишера скрипел наждаком. — Я хочу подать жалобу.

Толпа безмолвно ахнула. Одних поразила его отвага, других — наглость. В толпе прокатился злобный шепоток: слышали, жид ябедничает!

— Жалобу? — холодно переспросил гестаповец. — Чем вы недовольны?

Фишер опешил. Невероятно. Голова плохо соображала, однако столь грубого безразличия он не ожидал. Он и его жена, немолодая женщина, у

всех на глазах подверглись нападению банды юнцов.

Чем недоволен? Фишер напрягся, формулируя ответ.

Еще два месяца назад молодчиков, что стояли за его спиной, надолго упекли бы в тюрьму.

— Эти люди помешали мне войти в мой магазин, — наконец сказал он.

— Минуту. — Гестаповец повернулся к фотографу, которого штурмовики выгнали из толпы.

Фишер нашел в себе силы возмутиться:

— Но...

— Говорить, лишь когда я разрешу, никак иначе! — рявкнул гестаповец. Тон его сообщил, что, вопреки претензии на официальность, он столь же опасен и непредсказуем, как давешние мучители.

Фишер умолк.

— Кто вы? — спросил гестаповец человека с фотоаппаратом.

— Я есть американский гражданин, — на скверном немецком ответил тот. — Я есть сотрудник «Нью-Йорк таймс», и ваши люди не имеют права меня хватить.

— Дайте камеру. — Гестаповец протянул руку в черной кожаной перчатке.

— Так невозможно! Я есть аккредитован на фотореп...

По кивку гестаповца штурмовик сдернул кожаный ремешок с шеи репортера и вручил фотоаппарат начальнику.

— Камера быть собственность... — начал американец, но смолк. Продолжать было бессмысленно, поскольку гестаповец вынул кассету и засветил пленку. Затем все вернул владельцу.

— Вот ваша собственность. Все в порядке, не так ли? Мой коллега из министерства образования и пропаганды охотно ответит на любые вопросы касательно необходимой полицейской акции, свидетелем которой вы стали.

В сопровождении гестаповского спутника, рассыпавшегося в извинениях и оправданиях, возмущенного американца отвели в сторонку.

— Еврейская провокация... — стрекотал чиновник министерства пропаганды. — Необходимая предупредительная акция ради сохранения общественного порядка... Евреев попросили убрать последствия их собственного вандализма.

Гестаповец повернулся к Фишерам:

— Можете войти в свой магазин.

— Господин, вы, как я понимаю, полицейский, — начал Фишер. — Эти люди действовали противозаконно. Бойкот добровольный...

— Герр Фишер. — Гестаповец вплотную придвинулся лицом к

Фишеру. Тихий голос его был страшнее любого крика. — Вы получили приказ от офицера прусской политической полиции. Предлагаю немедленно его исполнить. Иначе я вас арестую за нарушение общественного порядка и, поверьте, вы раскаетесь, оказавшись под надзором этих парней. Давай, жид, бери свою жидовку и ступай в свой жидовский магазин.

Фрау Фишер тихонько потянула мужа за рукав.

— Пожалуйста, пойдём, Исаак, — прохрипела она. — Нас отпускают. И я страшно хочу пить.

Фишер слегка поклонился гестаповцу и взял жену под руку. На ватных ногах, аукавших болью в ободранных коленях, они зашагали к двойным стеклянным дверям главного входа.

На часах 9.05.

Тридцатипятиминутная задержка.

Впервые в своей истории универмаг Фишера открылся с получасовым опозданием.

Двери распахнулись.

За стеклами маячили бледные лица персонала. Такие знакомые лица, искаженные страхом.

Швейцар.

Охранник.

Старший приказчик, через две недели собиравшийся на пенсию. После сорока лет службы. Подарок ему уже у гравера.

Все служащие-евреи были на местах. В ожидании предполагаемого визита императрицы Августы Виктории с восемью пятнадцати они стояли за прилавками, сидели за кассами.

Красивые, молодые. С отменной выправкой. В чудесной униформе. Девушки — в пилотках, придуманных лично фрау Фишер.

И ни одного покупателя. Магазин-призрак. Впервые за свою историю тихий в рабочее время.

Превосходный, броский, со вкусом исполненный интерьер напоминал киношную декорацию, еще без массовки. Казалось, вот-вот раздастся команда невидимого режиссера — «Начали!» — и универмаг заполнят сотни оживленных покупателей.

Герр Фишер сумел улыбнуться и даже осилил короткую речь, больше похожую на карканье:

— Всем спасибо, что пришли. Надеюсь, вы останетесь на рабочих местах и дождетесь начала торговли.

Под руку с женой он двинулся через зал.

Кто-то из продавщиц расплакался. Потрясенные продавцы тоже шмыгали носами. Супруги это заметили. Слегка расправив плечи, они чуть кивали и улыбались своим верным служащим.

В огромном роскошном зале стояла напряженная тишина. Нарушали ее только шаги супругов по сверкающему мраморному полу.

Отдел фарфора. Парфюмерия.

Косметика. Кожаные изделия. Портпледы, кофры, чемоданы. Канцелярские товары. Стеки, трости, зонтики.

За стеклянной аркадой продуктовый отдел и ресторан. Кондитерская, где семь лет назад Дагмар выбирала шоколадный торт на первый музыкальный урок. И давеча — на день рождения братьев Штенгель.

Знаменитые эскалаторы. Лесенки-чудесенки установил старый герр Фишер, посмотреть на них сбегался весь Берлин. А открывал их лично наследный принц Вилли. Ежедневно они поднимали и опускали толпы покупателей, но сейчас были пусты.

Эскалаторы ехали. Вхолостую.

С половины девятого утра до шести вечера, вверх-вниз, вверх-вниз, сейчас они были к услугам призраков.

В дальнем конце зала супруги Фишер остановились.

Впервые после нападения герр Фишер обратился к жене:

— Дорогая, поднимемся в контору и обзвоним знакомых. Надо разыскать Дагмар.

— Прошу прощенья, герр Фишер, — деликатно вмешался приказчик. — Фройляйн Фишер видели служащие, собравшиеся у южного входа. Она бежала от безобразной сцены у парадных дверей, но злодеи ее поймали. Знаете, ее выручили два паренька. Совсем мальчишки, герр Фишер, они как-то сумели вызволить ее из лап штурмовиков и вместе с ней сели в трамвай, что идет в восточные районы.

— Ага, — кивнул Фишер, и на его в кровь разбитом лице мелькнула тень улыбки. — Похоже, дорогая, ясно, где наша Дагмар.

Вечером в своей спальне Пауль и Отто заключили пакт.

Они поклялись защитить Дагмар. Что бы ни случилось. Что бы ни удумал Гитлер.

Это станет их жизненной миссией.

Они — отважные рыцари в сияющих доспехах, она — их дама сердца, попавшая в беду.

Их собственная жизнь — ничто, смысл их существования — служить возлюбленной. Так или иначе они уберегут свою принцессу от огнедышащего дракона, грозящего всех сожрать.

Гитлер ее не получит.  
Они — ее щит.

# Юриспруденция

## Лондон, 1956 г.

Стоун выключил газ под чайником, заварил чай.

На гриле поджарил тост и пошел в гостиную за учебниками.

Летом предстоял адвокатский экзамен по заочному курсу. Это будет уже третья попытка, но в последние дни он забросил учебу. Все мысли занимало письмо якобы от Дагмар. Стоун разложил учебники на кухонном столе и под чай с тостом постарался сосредоточиться.

Перед глазами плыли слова: *деликты, право, уголовное, гражданское, семейное, имущественное, торговое.*

Удивительно, сколько законов требуется для цивилизованного управления страной.

А вот Гитлер плевал на закон. И на юристов.

В лепешку разобьюсь, но стану адвокатом, поклялся себе Стоун.



## Будет бал

### Берлин, август 1933 г.

В середине лета, первого из тысячи, запланированной Адольфом Гитлером для своего рейха, семейство Штенгель облегченно вздохнуло. Сдержанно, опасливо и все же облегченно.

— До сих пор мы в общем-то живы, — сказал Вольфганг, готовя сыновьям школьный обед — бутерброды с сардинами. — Два месяца назад я бы гроша на это не поставил.

— А я бы поставил, папа, — ответил Отто. Он уже расправился с овсянкой и в углу комнаты тягал гантели, что стало его ежеутренней и ежевечерней привычкой. — Пусть бы попробовали меня прикончить.

— Не скажи я папе, чего ты удумал, угрохали бы только так, — возразил Пауль.

— Ябеда чертов!

— Я спас тебе жизнь, дурень, — с полным ртом каши проговорил Пауль.

Отто промолчал, сосредоточенно выжимая гантели. Под кожей его перекачивались мускулы.

Фрида опустилась на кушетку.

— Как вспомню, и сейчас ноги слабеют.

— Ладно, прости, мам, — сказал Отто. — Просто я решил: пора уже втолковать этим свиньям, что нас, евреев, нельзя шпынять. Мы сильные. Гордые. И в конце концов их одолеем.

— Нас, евреев? — засмеялся Пауль. — Как ты вдруг завелся! Раньше тебе было плевать, еврей ты или нет.

— Да, а теперь не плевать. И если б ты не фискалил, я был бы евреем с пистолетом!

— Угомонись! — прошипел Вольфганг. — Не будем начинать сначала, ладно? Эта фиговина покоится на дне Шпрее. Откуда, похоже, ее и выудили, чтобы тебе впарить. Запомни, Отто: еврея с оружием, даже если это ржавая железяка, из которой не стреляли со времен франко-прусской войны, тотчас вздернут, невзирая на возраст. Ты понял? Казнят на месте.

Отто закатил глаза и продолжил гимнастику.

— Слушай отца, Отто! — От страха за сына Фрида осипла. — Ведь знаешь, на что они способны.

Неделю назад семью известных социал-демократов линчевали в их

собственном саду. Они схватились за охотничье ружье, когда к ним вломились пьяные штурмовики. Через пять минут отца и двух сыновей, защищавших свой дом, повесили на одном дереве.

— Просто я хотел что-нибудь делать.

— Погибнуть нехитро, — сказал Пауль. — Это значит — ничего не сделать.

— Гитлер говорит, что мы трусы, — не сдавался Отто. — Однажды он увидит, каким храбрым бывает еврей. А ты-то что сделаешь, умник?

— Пока не знаю, но, уж поверь, когда дойдет до дела, я буду к нему готов.

— Чего? — не понял Отто.

— Буду готов.

— Как? *Выучишься*? Какой смысл в учебе? Работы не получишь, хоть тысячу экзаменов сдай.

— Кто знает? Возможно, когда-нибудь закон вернется. И тогда понадобятся юристы.

— Верно, Паули, — согласилась Фрида. — Слушай брата, Отто.

— Маленький сынок! — фыркнул Отто.

Пауль игнорировал выпад:

— Больше того, с профессией я смогу содержать нашу семью, если вдруг придется уехать из Германии. А ты что напишешь в эмиграционной анкете? «Дайте визу, потому что у меня большие мускулы»? В Америке, знаешь ли, своих тяжелоатлетов хватает.

— И трубачей, — грустно добавил Вольфганг.

— Может, до этого и не дойдет. — Фрида сделала веселое лицо. — Как говорит папа, мы еще живы, правда? Отто, ступай оботришь. Таким потным нельзя идти в школу.

Конечно, в августе тридцать третьего жить стало заметно легче, считали Штенгели. Не сравнить с той официально санкционированной оргией жестокости, что весной достигла пика в бойкоте.

— Не хотят отпугивать своих новых дружков-промышленников и банкиров, — говорил Вольфганг.

Еврейские заведения никто не пикетировал, уличные избиения и грабежи прекратились, реже стали внезапные аресты, означавшие неизбежную гибель в концлагере.

Евреи вновь отважились передвигаться по городу. Правда, с оглядкой.

Не сказать, что жизнь стала радостной. Наверное, чуть менее опасной, но столь же унижительной и тревожной. Разнообразные запреты для евреев и цыган остались в силе. Был закрыт доступ ко многим профессиям.

Больше не было евреев-судей и юристов. Евреев изгнали из армии, полиции и почти всей торговли. Ввели крохотную квоту на университетские места, а учебники еврейских авторов не просто запретили, но публично сожгли.

И все-таки жить было можно.

К своему изумлению, Фрида смогла вернуться на работу в больницу, которая теперь называлась «Медицинский центр имени Хорста Весселя», да и весь район Фридрихсхайн переименовали в честь любимого «мученика» штурмовиков.<sup>[49]</sup> Ей разрешили пользоваться только евреев, но пациентов хватало, ибо иудеи не имели права лечиться у арийцев. К Фриде обращались даже состоятельные евреи, которые прежде и носа не казали в общественную клинику. К сожалению, ни Фриду, ни центр это не обогатило, поскольку полисы частных страховщиков не распространялись на врачей-евреев и все страховые взносы прикарманивало государство.

Однако Фрида, как ни странно, получала жалованье. Оказалось, без команды донацистская немецкая бюрократия функционировала в прежнем режиме, а новые команды принимала только письменные и в трех экземплярах. Неразворотливая государственная машина не могла быстро «дееврейзировать» все структуры, и потому Фрида оставалась в платежных ведомостях, что обеспечивало семье относительно сносную жизнь.

Пауль и Отто ходили в ту же школу, но пребывали в постоянной готовности к атакам задиристой шпаны. Обстановка стала зловещей. По новым правилам занятия начинались с исполнения государственного гимна и «Хорста Весселя», в каждом классе висел портрет вождя. Учителя приветствовали учеников «германским салютом», а ученикам, под страхом порки, полагалось отвечать. Детей из еврейских семей пока терпели, но «освободили» от уроков истории, где их «проклятая раса» систематически обвинялась во всех бедах Фатерлянда.

Однако все эти передряги не сильно заботили Пауля и Отто. Тревожило то, что они давно не видели Дагмар.

После той кошмарной истории предмет вожделения напрочь исчез с их горизонта. По слухам, Дагмар и школу-то посещала кое-как, а уж на музыкальные уроки не ходила вовсе. Кроме редких записок в ответ на регулярные письма, стихи и гостинцы братьев о ней не было ни слуху ни духу.

— Боюсь, бедняжка никогда не забудет тот жуткий день, — сказала Фрида.

— Но ведь она не шибко пострадала, мам, — возразил Отто. — Мы успели ее спасти.

— Дело не в физических увечьях, милый. Дагмар пережила шок. Фрейд называет это «психической травмой», которая может быть такой сильной, что останется навсегда.

— Что значит «психическая»? — спросил Пауль.

— Иначе говоря, душевная.

— Душевная? — разволновался Отто. — То есть ее ранили в душу?

— В общем, да. Ей нанесли серьезную рану, которую нужно долго лечить заботой и любовью.

Братья переглянулись. Каждый знал, о чем подумал другой. Если Дагмар нуждается в любви и заботе, она их получит. Если душа ее изранена, храбрые и благородные Штенгели ее исцелят.

А потом вдруг в последнюю августовскую субботу на пороге их квартиры возникла сама Дагмар, вне себя от радости.

— Мы уезжаем в Америку! — с ходу выпалила она. — В Нью-Йорк! Там мамин кузен! Через две недели из Бремерхафена отплываем на лайнере «Бремен». У меня отдельная каюта! Мама и папа — в соседней! *Своя каюта!* Представляете? Со стюардом!

Дагмар восторженно взвизгнула и хлопнула в ладоши. Казалось, все злосчастия последних семи месяцев переплавились в чистейшую радость.

— Бог ты мой! — в коридоре ахнула Фрида. — Ну же, заходи и рассказывай. Визы получили? Все в порядке?

— Да! Папа этим занимался с тех пор, как... — Дагмар не закончила фразу. Даже в радостном опьянении она не могла заставить себя говорить о том жутком событии. — В общем, долго занимался, и все получилось. Дали выезд и въезд. Оказывается, уехать в Америку не так уж трудно.

— Наверное, деньги сказали свое слово, — усмехнулся Вольфганг. — Ты же не собираешься стать американскому государству обузой?

— Надеюсь, нет, — засмеялась Дагмар. — Я вряд ли сгожусь на роль безработной для кинохроники.

Фрида и Вольфганг печально переглянулись. Они тоже подумывали об эмиграции, но это совсем не просто, если ты не владелец универмага на Курфюрстендамм. Великая депрессия ничуть не ослабевала, и зарубежье не горело желанием принимать эмигрантов, когда миллионы собственного населения сидят без работы. Как врач, Фрида имела шанс найти место, но была обременена двумя сыновьями-школьниками, мужем «без практических навыков» и престарелыми родителями, которые наверняка не получают работу. Да, нацисты евреев выпускали (предварительно забрав львиную долю их имущества), но сначала надо было найти страну, готовую тебя принять.

— Надо же — Америка! — Ради девочки Фрида наиграла восторг. — Всегда мечтала там побывать.

— Теперь сможете! — Дагмар лучилась радостью. — Вы все приедете к нам в гости. Папа договаривается о квартире на Манхэттене, но наверняка загородный дом тоже будет, так что места хватит. Сейчас это неважно. Самое главное, я устраиваю вечер. Вернее, устраивают родители, но это и мой праздник, и вы непременно должны прийти. Будет бал! Мы сняли зал в отеле «Кемпински», я могу пригласить кого захочу и, конечно, приглашаю всех-всех. Очень много людей, с кем надо проститься, а так я разом со всеми попрощаюсь. Хотя мы же простимся не навеки, а *до встречи*, потому что я уверена, что в конце концов все наладится.

В радостном и даже слегка истеричном возбуждении Дагмар все балаболила о приготовлениях к празднику и невиданных вкусностях, ожидавших ее гостей.

— Поскольку вечер все-таки для взрослых, будет море шампанского! Фужер-другой я умыкну. Герр Штенгель и фрау Штенгель, вы не против, если я дам мальчикам попробовать шампанского?

— При условии, что и мне достанется глоток, — ответил Вольфганг. — Раз уж ты здесь, может, чего-нибудь сбацаем? Без тебя оркестр слегка зачах, да еще солистка примкнула к Лиге немецких девушек.<sup>[50]</sup>

— Зильке в ЛНД? — задохнулась Дагмар. — Вот сука!

— Это нехорошее слово, Дагмар, — укорила Фрида. — Вряд ли твоя мама его одобрит.

— Зря ты, Даг, — сказал Пауль. — Ее отчим заставляет. А она удирает всякий раз.

— Может, и так, — ядовито сказала Дагмар. — Но все-таки марширует и носит свастику на рукаве, правда? Наверняка черный берет очень к лицу светловолосой арийке.

Отто и Пауль промолчали. Они знали, что Зильке не нацистка, но страшно обрадовались Дагмар и не удосужились защитить отсутствующего члена клуба.

И Дагмар, вся в мыслях о предстоящем бале и чудесной жизни в США, не желала тратить время на разговоры о Зильке и самодеятельные концерты. Вольфганг сдался и, плеснув себе шнапса, разрешил сыновьям прогулять школу.

— Вот мелочь, — сказал он, дав деньги Паулю. — На обратном пути купите мне «Лаки Страйк», но чтоб хотя бы полпачки осталось.

Обрадованная неожиданным выходным, тринадцатилетняя троица

спешным порядком выбралась на улицу. Как некогда в счастливые времена.

Хотя для Дагмар это был, пожалуй, самый счастливый день в жизни. Ухватив братьев за руки, она буквально приплясывала от радости.

А вот близнецам плясать не хотелось.

Попытки изобразить радость закончились хмурым пинаньем тротуарной бровки. Даже предложение Дагмар каждого одарить бутылкой кока-колы под сигаретку не подняло им настроение.

— Значит, уезжаешь, — сказал Пауль. — Прямо в Америку?

— Конечно. Чего ради здесь оставаться?

— Ну да, — угрюмо кивнул Пауль. — Все верно.

Они добрались до Фолькспарка и подошли к своему любимому дереву. Огромному платану, под которым сотни раз играли в догонялки. Пауль поднял сучок и злобно кинул в белку. Отто поднял ветку, через колено ее переломил, удвоив свой арсенал, но тоже промазал.

— Вам завидно, ребята? — тихо и мягко спросила Дагмар. Радости в ее голосе уже не слышалось. — Скажите, я пойму. Я бы ужасно завидовала, если б у вас были визы, а у меня — нет.

— При чем тут зависть? — рассердился Пауль. — Разве мы против твоего счастья?

— Мы хотим, чтобы с тобой все было хорошо, — добавил Отто. — Остальное пофиг.

— Мы тебя любим, — пробормотал Пауль. — Сама знаешь, уже сто раз признались.

— Конечно, знаю, мальчики. — Глаза Дагмар влажно блеснули. — Обещайте, что будете вечно меня любить. Я не переживу, если разлюбите. И потом, вы же меня спасли. Ради меня всем рисковали.

Она встала между ними и взяла их за руки.

— Пустяки! — Весь красный, Отто уставился в землю. — Мы бы десять раз тебя спасли... сто раз.

— Только теперь это не нужно, — добавил Пауль. — Ты будешь в безопасности, что просто замечательно и отлично... Но мы будем по тебе скучать, вот и все.

— Ой, мальчики! — Дагмар сжала их руки. Влажный блеск в ее глазах превратился в две слезы, скатившиеся по щекам, — по одной на брата. — Милые, дорогие мальчики, я тоже буду по вам скучать. Каждый день. Я буду писать, обещаю, каждый день, если получится, и пришлю вам тонну жвачки.

— Тут вот еще что... — Пауль замялся.

— Что?

— Такая штука...

— Какая?

Пауль тоже стал пунцовый, что с ним, от природы смуглым, бывало нечасто. Носком ботинка он ковырнул сухую траву и сунул свободную руку в карман.

— Ты знаешь... настанет день...

— Ну? — Дагмар вновь просияла. — Какой день?

— Когда ты выйдешь за меня, вот какой.

— В смысле, за меня, — поправил Отто.

— Ладно, — уступил Пауль. — Когда-нибудь ты выйдешь за меня или Отто. То есть за кого-то из нас. Мы это обсудили. Если честно, много раз, и все решили.

— Да, — подхватил Отто. — Мы решили. Чтоб все было ясно.

Дагмар расплылась в широченной улыбке и плюхнулась под дерево, увлекая за собой ребят. Юбка ее вспузырилась. Дагмар обхватила руками колени. Сквозь прорези сандалий сияли ногти в ярком лаке.

— Паули, Оттси! Какие же вы глупые! Конечно, я за вас выйду. Если угодно, сразу за обоих! Вы навеки мои лучшие друзья. На тамошних парней я даже не взгляну, обещаю!

— Ну ладно, — пробурчали братья.

— За исключением Кларка Гейбла. Вы видели «Красную пыль»?<sup>[51]</sup> Он такой шикарный! Клянусь смотреть лишь на Кларка Гейбла!

Братья повеселели. Они высказались, принцип установлен.

## Фишеры задают вечер

### Берлин, 1933 г.

Такси подвезло семейство Штенгель ко входу знаменитого старого отеля «Кемпински». В прошлом это величественное здание привлекало королевских особ и глав государств, перевидало самых богатых и элегантных берлинцев.

За последние месяцы антисемитские лозунги сильно изгадили фасад еврейской собственности, однако нынче, к радости Вольфганга и Фриды, отель не осаждали пикеты штурмовиков. Прежде Фишеры объявили бы о рауте в газетах, а сейчас единственным свидетельством того, что полиция знает о приеме, были две фигуры в черных кожаных плащах и хомбургах, с блокнотами и карандашами в руках маячившие за спиной швейцара.

К сожалению, не только штурмовики не почтили своим присутствием званый вечер.

Гостей тоже не было. Дагмар говорила о несметном числе приглашенных, и Штенгели ожидали увидеть столпотворение машин и веселую толчею в дверях, однако в полном одиночестве вышагивали по красной дорожке, расстеленной на тротуаре.

— Видимо, народ подъедет позже, — весело сказала Фрида. — Мы-то приехали вовремя, а это, как известно, дурной тон. Наверняка потом будет не протолкнуться. Ладно, зато не надо маяться в очереди за напитками.

В вестибюле Штенгелей учтиво направили в большой танцзал в глубине. Семейство зашагало по коридорам, устланным толстыми коврами.

— Все понятно! — просветлела Фрида. — Ну конечно, я вспомнила — у танцзала отдельный вход. Давно-давно здесь была какая-то врачебная вечеринка и мы входили прямо с улицы.

Пусть они зашли не с того входа, но и перед золочеными дверями зала толчеи не наблюдалось. Там стояли только Фишеры, встречавшие гостей.

Все трое выглядели великолепно. Даже изумительно.

Ну прямо сливки богатого берлинского общества.

Подтянутый герр Фишер в смокинге, на груди памятная медаль, через плечо лента берлинской Торговой палаты. Фрау Фишер в сильно декольтированном вечернем платье и сказочном бриллиантовом колье стоимостью в целое состояние.

И Дагмар.

Челюсти оробевших восхищенных братьев отвисли до пола. Дагмар



вдруг превратилась в юную женщину, тогда как они остались мальчишками. Неуклюжими и косноязычными, оглушенными плохо скрытым желанием. Дагмар была в длинном шелковом платье без бретелек, не оставлявшем сомнений в том, что выпуклости, которые однажды Зильке заклеила подложными, самые что ни на есть натуральные. Близнецы были напрочь сражены.

Завороженные красотой, поначалу они не заметили, что возлюбленная их слегка напряжена и опечалена.

Тринадцатилетние подростки, смятые вождением, они не особо вглядывались в ее лицо.

— Милости просим, герр и фрау Штенгель, — сказал Фишер. — С женой моей вы уже знакомы. Мы вместе забирали Дагмар из вашей квартиры в тот ужасный день, когда эти прекрасные юноши ее спасли. Благодарность наша вечна и неизменна. Добро пожаловать. Прошу в зал. — Он взглянул на дочь: — Дагмар, поприветствуй своих гостей.

Дагмар будто очнулась:

— Конечно, папа. Здравствуй, Пауль. Здравствуй, Отто.

— Ух ты! — выговорил Пауль.

— Ух ты! — эхом откликнулся Отто.

— Ты выглядишь... — Пауль пытался удержать взгляд на лице Дагмар, но тот упорно съезжал ниже.

— У тебя такие... — Отто даже не пытался.

— Классные...

— Совсем как...

Дагмар покраснела.

— Хорош пялиться! — прошипела она.

— Я не смотрю! — зарделся Пауль.

— Я тоже! — соврал Отто.

— См отрите! — гневно прошептала Дагмар. — Можно подумать, никогда меня не видели!

— *Столько* тебя не видели, — сказал Отто.

Пауль лягнул брата.

— Так пялиться — просто хамство, но мне все равно, потому что творится кошмар! Ступайте в зал и ешьте мороженое, вам, наверное, больше ничего и не надо, а я пойду к родителям, хотя лучше бы мне умереть!

Дагмар отвернулась, громко шмыгнула носом и промокнула глаза.

Пауль и Отто слегка растерялись, однако вместе с родителями послушно последовали в зал. Братья в жизни не видели ничего подобного,

но смекнули: что-то пошло не так.

Кроме семейства Штенгель и двадцати официантов в зале не было ни души.

— Улыбайтесь, — прошептала Фрида и сама натянуто растянула губы. — Кажется, мы первые.

Только Вольфганг расплылся в неподдельной улыбке. Курьезно! Они одни в огромном зале с десятью громадными хрустальными люстрами, и на каждого — по пять официантов.

— Какой красивый ковер, правда? — Фрида отважно пыталась светской болтовней заполнить пустоту. — Чтоб такой соткать, нужна целая вечность. Шампанское восхитительное! Как вам фруктовый салат, мальчики? Вот уж лакомство!

Шло время, подтянулись и другие гости; в хороммах, легко вмещавших двести персон, набралось человек сорок.

Приглашенные растерянно слонялись по залу. Слышались реплики:

— Говорят, свирепствует грипп... Наверное, многие свалились...

Когда стало ясно, что дальнейшее ожидание совершенно бессмысленно, в зале появились хозяева. Возросшая числом обслуга внесла канапе и десятиметровый стол под белоснежной скатертью, уставленный снедью на двести персон.

Пауль и Отто ели в три горла.

Беспреданно наведываясь к волшебной самобранке, они съели мяса больше, чем за последние три месяца. Затем приступили к десертам, твердо решив перепробовать абсолютно все.

Дагмар вяло ковыряла куриную ножку и печально оглядывала пустой зал.

— *Никто* из моих друзей не пришел, — сказала она. — Ни один. Никогда не прощу. Никому.

— Мы-то пришли, — проговорил Пауль с полным ртом клубники под взбитыми сливками.

— Да, мы-то здесь, — поддержал Отто, выглядывая из-за вилки с ростбифом. Он решил сделать второй заход на все роскошные яства.

— Вы не считаетесь. Я знала, что вы придете. Но больше никто не появился, даже евреи. Они-то почему не пришли?

— Наверное, побоялись, что штурмовики дадут от ворот поворот, — сказал Пауль. — По правде, я и сам опасался.

— Я тоже, — буркнул Отто. — Потому и подготовился.

— В смысле? — не поняла Дагмар.

Отто попытался загадочно улыбнуться. Из-за крема, которым был

вымазан его рот, вышло не вполне загадочно.

— Кончай, Отто, — нахмурился Пауль.

— Нет, скажи, — не отставала Дагмар.

Оглядевшись, из внутреннего кармана пиджака Отто достал выкидной нож. Нажал кнопку, потом насадил картофелину на выскочившее лезвие и отправил ее в рот.

Печаль Дагмар тотчас сменилась восторгом.

— Ого! Ты прямо как гангстер в кино! — выдохнула она.

— Спрячь! — рыкнул Пауль. — Сколько можно! Ладно — предосторожность, но похвалиться-то зачем? Если поймают с ножом, тебя не пощадят, сам знаешь.

— Ага, и я не пощажу, — огрызнулся Отто.

Проткнув ножом кроваво-красный ростбиф, он подал его Дагмар. Та возбужденно хихикнула и сняла мясо со зловещего лезвия.

Паулю было не до смеха.

— Совсем рехнулся? Убери! Какого хрена размахался! Наверняка тут полно шпиков. Вон как зыркают эти официанты в бабочках. Если тебя кто заложит, ты покойник. На входе гестаповцы, сам же видел.

Отто неохотно закрыл и спрятал нож в карман.

— Может, ты и прав, — сказал он. — Но если кто сунется — поймет, что перед ним не еврейский паинька. Уж поверь.

— Молодец, Отто! — сурово сказала Дагмар. — Зарежь хоть одну свинью. Хорошо бы сотню заколоть!

— Сотню — мало! — промычал Отто. — Один еврей стоит тысячи бандитов, по меньшей мере. Вот столько и положу. Увидишь.

— Ага! — рявкнул Пауль. — А что будет с мамой, если грохнут тебя? Мало ей переживаний?

С минуту все трое молча ели.

— Ну хоть теперь знаю, кто мои настоящие друзья, — сказала Дагмар. — Не надо надрываться с письмами из Америки. Только вам буду писать.

— Вот это надо отметить! — ухмыльнулся Пауль. — Давайте еще навернем клубники со сливками.

— Тогда принеси и мне тарелочку, Паули, — попросила Дагмар. — Пожалуй, я немного съем.

— К вашим услугам, мадам! — Пауль вскочил, обрадованный, что именно его удостоили просьбой.

Когда он ушел, Дагмар повернулась к Отто.

— Еще разок покажи, — шепнула она.

— Что?

— Нож.

— А, сейчас. — Отто слегка опешил, но и обрадовался. — Круто, да?

Он достал нож и выкинул лезвие.

Дагмар потрогала острие.

— Думаешь, ты бы смог? — Голос ее чуть дрогнул. — Сможешь пырнуть нациста?

— Конечно. Если придется. Наверное, офигенное чувство. В кайф.

На секунду гримаса возбуждения исказила красивое личико Дагмар.

— Ты сможешь, я знаю, — выдохнула она. — И мне это очень нравится.

Пальцы Отто стиснули рукоятку ножа.

— Конечно, этого делать нельзя, — поспешно добавила Дагмар. — Пауль прав — слишком рискованно... Просто здорово, что ты смог бы, вот и все.

Убедившись, что Пауль все еще у десертного стола в дальнем конце зала, она взяла салфетку и, будто бы вытирая крем со щеки Отто, его поцеловала.

Поцелуй был не девчачьим. Нет, взрослее, опытнее, сродни тому, каким в «Красной пыли» Джин Харлоу одарила Кларка Гейбла.

— На память обо мне, — сказала Дагмар. — Спрячь нож, пока кто-нибудь не увидел.

С десертом вернулся Пауль.

— Что с тобой? — спросил он брата. — Чего такой красный?

— Не в то горло попало, — поспешно просипел Отто.

Супруги Фишер, обходившие немногочисленных гостей, остановились возле Фриды и Вольфганга, которые сидели в центре почти пустого зала.

— Признаюсь, я был лучшего мнения о берлинцах, — сказал герр Фишер. — Поразительное малодушие.

Он изрядно приложился к вину, и его слегка покачивало.

— Не вините людей, герр Фишер, — ответила Фрида. — Они знают, что гестаповцы запишут тех, кто пришел. Вы же видели двоих на входе.

— Вот потому-то лица, имеющие общественный вес, и должны были прийти. Подать пример. Но трусили! Эта власть управляет не по закону, а дубиной страха.

Захмелевший Фишер был беспечен и говорил довольно громко.

— Тише, дорогой. — Фрау Фишер обеспокоенно взглянула на маячивших официантов. — Помни, где мы находимся.

— Ну вот, извольте! — бесстрашно продолжил герр Фишер, но уже

чуть тише. — Все боятся говорить правду. Слава богу, я развязался с этой страной. — Он подался вперед и заговорщически прошептал: — Знаете, днем я дал прощальное интервью берлинскому корреспонденту «Нью-Йорк таймс». В апреле он видел бесчинство перед моим магазином. Его самого захомутали.

— Перестань, дорогой, — сказала фрау Фишер. — Что толку сейчас вспоминать.

— Дорогая, негоже покидать землю предков, поджав хвост. Мы не бежим — нас выжили. И я не стану из этого делать секрет.

Фрау Фишер опять встревоженно оглянулась.

— Кажется, подают кофе, дорогой, — сказала она.

— Да и нам пора, — подхватила Фрида. — Мальчикам рано вставать в школу, мне — в больницу.

— Прежде чем вы уйдете, хочу кое-что сказать. — Герр Фишер тщательно выговаривал слова, как человек, пытающийся скрыть опьянение. Он взял Вольфганга за руку. — Мы с женой в неоплатном долгу перед вашими прекрасными мальчиками.

— Перестаньте, прошу вас, — перебил Вольфганг. — Они уже обалдели от счастья, когда вы дали им по сто марок.

— Наверное, в тот день они спасли жизнь нашей дочери, — не смолкал герр Фишер. — И уж точно уберегли от бесчестья. Мне вовек с ними не рассчитаться.

— Они — друзья вашей дочери, — вмешалась Фрида. — Пожалуйста, не стоит...

— Я лишь хочу сказать, что никогда этого не забуду. Дагмар, фрау Фишер и я скоро станем американцами, а у меня есть друзья, у которых есть друзья в конгрессе. Прошу вас, дайте знать... если вдруг... если ситуация... если вам понадобится помощь.

Вольфганг пристально посмотрел на Фишера.

— Большое спасибо, — сказал он. — Надеюсь, вы говорите всерьез, герр Фишер, потому что очень велика вероятность, что мы воспользуемся вашим предложением.

— Абсолютно всерьез. — Фишер стиснул руку Вольфганга. — Вы и фрау доктор Штенгель чудесные люди, а ваши мальчики — просто сокровище. Мы с женой их никогда не забудем.

# Auf Wiedersehen

## Берлин, 1933 г.

Мечта Дагмар стать американкой не осуществилась, потому что семья ее так и не покинула Берлин.

Разглядывая газетные фотографии, запечатлевшие арест, Фрида и Вольфганг тотчас поняли, что гестапо намеренно тянуло до последнего. Фишера могли задержать на выходе из дома, но арест на подножке спального вагона представлял его перебежчиком, удиравшим тайком. Подзаголовок в «Фёлькишер Беобахтер» гласил: «Не спеши, еврей! Немецкий народ желает с тобой перемолвиться!»

Изумленное лицо Исаака Фишера, схваченное фоторепортером (которого полиция загодя уведомила об аресте), говорило о том, что он ни сном ни духом не ведал об уготованной ему судьбе. Удар был жестоким и сокрушительным.

В сияющем «мерседесе» отъезжая на вокзал, Фишеры пребывали в уверенности, что вскоре окажутся в стране, где им не будут угрожать разбой и насилие.

Настроение слегка подпортила гадкая заметка в утренней газете, живописавшая вчерашний прием в отеле «Кемпински». Еще год назад ее бы поместили в разделе светской хроники и корреспондентка умилялась бы роскошными нарядами элиты, танцевавшей до рассвета. Нынче же заметку под хлестким заголовком «Меньше полусотни евреев обжирались за столом на двести персон» напечатали в колонке новостей. В репортаже подробно описывалось безмерное количество блюд, которые горстка богатых развращенных евреев просто не могла осилить, тогда как истинные берлинцы, понимавшие, что национальная экономика переживает тяжелые времена, туже затягивали пояса.

Закусив губу, Фишер в машине прочел возмутительную «утку», злобно смял и швырнул газету под ноги. Однако пасквиль не сбил воодушевления Дагмар. Ядовитая заметка (где ее величали противной и капризной еврейской принцессой) лишь подстегнула желание уехать.

— Теперь им придется кого-то другого обливать грязью, папа. — Дагмар сжала отцовскую руку. — Мы уезжаем прочь от этой дряни! Спасибо тебе. Огромное спасибо за покой и безопасность.

На вокзале Фишеры отпустили машину и взяли носильщика. «Мерседес» продадут вместе с другим имуществом, каким семейство

владело в Германии, — Фишер оставил доверенность своему банку. Он понимал, что государство приберет к рукам весомую часть его состояния, но в ту пору нацистская администрация еще позволяла кое-что вывезти. Кроме того, значительная доля активов находилась за границей, и всего важнее было избавиться от гонений.

В цветочном ларьке герр Фишер купил гвоздику себе в петлицу, жене — кисть сирени на корсаж, дочери — букетик примулы. Дагмар купила брецели в сахарной пудре.

— Если в Нью-Йорке брецели не делают, мы откроем пекарню и будем их продавать, — сказала она.

— В Нью-Йорке, дорогая, есть *все*, — заметила фрау Фишер.

— Все будет, когда приеду я, — рассмеялась Дагмар и заскакала на одной ножке, но вспомнила, что теперь она взрослая. Нынче даже в настоящих чулках вместо обычных носочков. Юные дамы в чулках не скачут козликом.

Элегантное семейство шествовало по перрону: все трое в модном дорожном платье, дамы в изящных шляпках; следом на тележке ехали однотонные чемоданы.

Братьям Штенгель, выскочившим из метро, не составило труда разглядеть Фишеров.

— Дагмар! Дагмар! — завопили они и, рванув по платформе, перед билетным турникетом нагнали семейство.

— Мальчики? — удивился герр Фишер. — А почему вы не в школе?

— Нынче какой-то новый праздник и нет занятий, — объяснил Пауль.

— Мы сбежали с уроков! — одновременно выпалил Отто.

Пауль саданул его локтем в бок. Дагмар засмеялась. Неисправимы!

— Полезный совет, ребята: врите, сговорившись. — Герр Фишер притворно нахмурился, а Пауль испепелил взглядом брата. — Но все равно очень приятно вас видеть.

— Мы хотели попрощаться с Дагмар, — сказал Пауль.

— Как мило! — улыбнулась фрау Фишер. — Прощайся, Дагмар, пора.

— Боюсь, надо поторапливаться, — сказал герр Фишер. — Через двадцать минут отправление, желательно, чтобы мы устроились, пока поезд стоит.

— Я так рада, что вы пришли! — Дагмар перевела взгляд с одного близнеца на другого, потом каждого обняла и чмокнула в щеку.

— Мы тоже рады, — сказал Пауль.

— Ага! — поддержал Отто.

Дагмар сунула ему пакет с брецелями.

— На двоих, — сказала она и пошла к поезду.

— Мы тут постоим, пока не отъедете! — вслед ей крикнул Пауль.

— И вообще будем тут стоять, пока ты не вернешься! — присовокупил Отто.

— Выгляни в окошко! — добавил Пауль.

Они печально смотрели вслед изящной фигурке, надеясь, что Дагмар еще обернется и помашет. Дагмар оборачивалась и махала через каждые два шага. Вот герр Фишер о чем-то спросил кондуктора, и тот проводил их к вагону.

Вот Дагмар села в поезд.

Позже она часто вспоминала уютный вагон. В обитом плюшем купе Дагмар пробыла не больше минуты, но память сохранила все детали. Ночники на столиках. Улыбчивый проводник, показавший ее место. Безопасность и комфорт, радостное предвкушение путешествия в Бремерхафен. Кофе. Журналы. Обед в вагоне-ресторане первого класса.

Дагмар еще даже не присела на диван, когда услышала рассерженный голос отца.

— Что происходит? — на платформе выкрикнул герр Фишер. — Я ничего не сделал!

Однако сделал. Опорочил германское государство. Очернил штурмовые отряды. Страшно оклеветал берлинскую полицию — мол, ей закон не писан.

В интервью «Нью-Йорк таймс» он сказал всю правду, но не озаботился тем, чтобы правда эта вышла в свет уже после его отъезда из Германии. Наоборот, свое выступление он полагал прощальным выстрелом.

Еще чуть-чуть, и все бы получилось.

В Берлине было девять утра, когда на столы кабинетов на Вильгельмштрассе легли материалы свежего номера «Нью-Йорк таймс», переданные по телеграфу.

Девять утра в Берлине. Три ночи на Восточном побережье США.

В немецком посольстве кто-то допоздна задержался либо спозаранку явился на службу. А худые вести не лежат на месте.

Если б германский атташе разоспался или семейство взяло билеты на поезд, отходивший раньше, Фишеры успели бы покинуть Берлин, до того как министр пропаганды узнал о проступке герра Фишера. Впрочем, тогда их задержали бы в порту или даже в море. Ведь они были бы на борту немецкого судна.

Йозеф Геббельс часто хвалился, что читает всю зарубежную прессу. Видимо, в то утро он застрял на «Нью-Йорк таймс». Передовица



рассказывала, как еврея избили перед входом в собственный знаменитый магазин. Как унизили и оскорбили его жену и несовершеннолетнюю дочь. И вот теперь одна из прославленных немецких семей вынуждена бежать в США, спасаясь от соотечественников, превратившихся в «бандитов».

Такая клевета не могла остаться безответной. О том и говорил фюрер: заграничные евреи поливают грязью Фатерлянд.

Министр и его подручные прекрасно знали, что в статье все правда, но это несколько не уменьшило их искренний праведный гнев. Они умели все вывернуть наизнанку. Из задиры превратиться в жертву.

И гестапо получило команду на театральный арест.

Позже Исаак Фишер с горечью спрашивал себя, что подтолкнуло его к катастрофической неосмотрительности: искреннее заблуждение или самоубийственное тщеславие?

Гордыня ли разомкнула его уста, прежде чем он спрятался в норку? Ведь в душе он понимал, что рискует. Зачем же рисковал?

На голом полу камеры окровавленный Фишер с переломанными костями пытался утешиться тем, что его несдержанное интервью стало просто удобным предлогом.

В любом случае ему не дали бы уехать.

Но, окутанный тьмой, он понимал, что это неправда. Если б он не вякнул в тот день, который полагал своим последним на родине, — наверняка уехал бы.

Другие-то богатые и знаменитые евреи уезжали. Толпами. Но им хватало ума отбыть тихо.

Он же приговорил себя. И семью. Сам спровоцировал нацистов. Как дурак захотел, чтобы за ним осталось последнее слово. Забыл, на каком он свете? Забыл, что нацисты, кем движут злоба и гордыня, непременно отомстят? Они *никогда* не прощали.

Пауль и Отто смотрели, окаменев от ужаса.

Вот люди в черных плащах и хомбургах, неведомо откуда появившиеся, взяли герра Фишера за плечо.

Вот фрау Фишер вцепилась в мужа и попыталась втащить его в вагон.

Вот герр Фишер яростно замахал на жену — мол, иди в купе — и крикнул высунувшейся из окна Дагмар, чтобы не выходила на платформу.

Вот фрау Фишер покачала головой и жестом позвала дочь.

Вот побелевшая от страха Дагмар, чья недолгая американская греза обернулась немецким кошмаром, вновь вышла на перрон.

Вот гестаповцы скрутили и протащили герра Фишера через билетный турникет. Заметив близнецов, он попытался согнать с лица ужас, чтобы их

не пугать.

И сгинул.

На перроне оцепенело стояли его жена и дочь, раздавленные несчастьем.

Рывкнул гудок. Паровоз окутался паром.

— Дагмар! Фрау Фишер! — закричал Пауль. — Садитесь в вагон! Уезжайте!

На него оборачивались. Одни — с нескрываемой враждебностью. Другие — удивленно.

Удивился и Отто. В юношеском эгоизме он возликовал, когда любимая осталась. Но уже в свои тринадцать Пауль соображал лучше.

— Ты знаешь, что будет, — сказал он. — Они *всегда* карают родственников. Если Даг не уедет сейчас, не уедет вообще.

Вовсе не дурак, Отто понял, что брат прав.

— Езжай, Даг! — вдруг завопил он. — До самой крыши Эмпайр-Стейт-билдинга!

Затрещина оборвала его клич.

— Заткнись, парень! — не стерпел билетный контролер. — Чего разорался у моего турникета? Да еще из-за жидовки.

— Пошел на хер! — окрысился Отто и вновь крикнул: — Дагмар! Уезжай!

Но поезд уже тронулся, а две окутанные паром женские фигуры лишь оцепенело смотрели на свой вагон, проплывший мимо них, потом на следующий и тот, что за ним... Наконец они остались одни на пустой платформе.

Потом мать и дочь побрели назад к турникету. Зеваки глумливо усмехались. Контролер держался надменно и властно, словно железнодорожная форма приобщила его к полицейской акции.

— Проходите, — бессмысленно приказал он. — Ваш поезд ушел, вы опоздали. Шагайте отсюда.

Совершенно растерянная фрау Фишер топталась перед турникетом, слепо глядя перед собой. Дагмар посмотрела на мать и расплакалась.

Пауль принял командование.

— Идемте на стоянку такси. — Он взял фрау Фишер под руку. — Вам нужно домой.

Голос его помог ей очнуться.

— Да, — сказала она. — Спасибо, Пауль, ты прав. Нужно ехать домой.

Пауль повел фрау Фишер к выходу, Отто шел с Дагмар.

— Классно выглядишь, — помолчав, сказал он. — Я еще не видел тебя

в чулках.

На заплаканном лице девочки промелькнула улыбка.

— Теперь тебе надо меня защищать, — ломким голосом сказала Дагмар. — Ты это понимаешь, да? Вам с Паулем придется меня оберегать.

— Ну само собой, — ответил Отто.

Через месяц Исаак Фишер предстал перед судом за клевету на Германское государство и его службы. Единственным свидетелем защиты был американский фоторепортер, у которого, как злорадно сообщала геббельсовская пресса, не имелось никаких фотографий для подкрепления своих голословных утверждений. Вдобавок он оказался внуком еврейки, что, похоже, стало еще одной уликой обвинения.

Два других возможных свидетеля защиты в суде не появились. Братья Штенгель навестили фрау Фишер в ее особняке в Шарлоттенбург-Вильмерсдорф, готовые прийти в суд и рассказать обо всем, что в день бойкота видели на Курфюрстендамм.

— Какие вы славные мальчики! — Фрау Фишер сидела в роскошной гостиной — еще не украденном атрибуте прежней жизни. — Но вряд ли свидетельство двух молодых евреев что-либо изменит. Только беду накличете, на себя и на родителей.

Обвинение было гораздо представительнее. Двадцать штурмовиков засвидетельствовали, что Фишеру лишь было сделано внушение за отказ убрать несанкционированный лозунг оскорбительного содержания, вывешенный над входом его магазина. Пришлось самим снять транспарант. Гестаповский офицер и сотрудник министерства образования и пропаганды, позже прибывшие к месту события, показали, что никакого насилия не применялось и подобные обвинения есть не что иное, как измышления проеврейской американской прессы, извращающей факты. В результате суда американского посла вызвали на Вильгельмштрассе и вручили ему ноту министерства иностранных дел.

Герр Фишер получил десять лет исправительных работ с отбытием наказания в новом концлагере Дахау. Однако уже через три месяца он погиб. По официальной версии, его застрелили при попытке к побегу, но тело вдове не показали.

## Инструктаж

Лондон, 1956 г.

И вновь Стоун сидел за столом с чайными чашками и телефоном тридцатых годов; перед ним восседал пухлый коротышка, из угла поглядывал худощавый молчун. Верный традиции, пузан уже приступил к печению.

— Надо маленько поднатаскать вас в шпионском ремесле, — сказал Питер Лорре. — Основные шифры, система связи. Конечно, за вами будут следить. Там следят за всяким, кто прибыл с Запада, уж сотрудником МИДа еще как заинтересуются. Едва попытаетесь связаться с Дагмар Штенгель, об этом сразу узнают.

— Они уже знают, — негромко, но твердо ответил Стоун. — Это подстава. Дагмар мертва. Письмо не от нее.

— Что ж, это, конечно, возможно, — согласился Богарт.

— Больше чем возможно. Это правдоподобно. В сто раз правдоподобнее того, что Дагмар — восточногерманский агент. Вам не хуже меня известно, что в Штази антисемитизм еще сильнее, чем в КГБ. Евреев туда не берут. Особенно таких, кто не имеет ни подготовки, ни способностей и всю сознательную жизнь прятался в берлинской квартире либо гнил в лагере.

— Значит, вы полагаете, что кто-то в Штази связался с вами от имени вашей покойной невестки?

— Да. Никак иначе.

— Что ж, любопытная версия, — кивнул Богарт.

— Правда? Только, знаете, с трудом верится, что вам она не приходила в голову.

Богарт усмехнулся и беспечно пожал плечами:

— Возможно, мы ее рассматривали.

— Возможно? Черта с два! Вы прекрасно знаете, что Штази заманивает меня в Берлин! Так?

— Есть вероятность.

— Стопроцентная определенность!

— С какой целью? — спросил Питер Лорре. — Поведайте, раз уж вы лучше нас все знаете.

— У вас и у них одна цель. Грязный шпионаж. Вы хотите отправить меня в Берлин для перевербовки сотрудника Штази. Очевидно, их осенила

та же идея, только мишень — я. Вряд ли я такой уж ценный улов. Я всего лишь переводчик, но работаю в министерстве иностранных дел и числюсь за восточногерманским отделом. Для них это может представлять интерес.

Впервые за все время Богарт вышел из угла и подсел к столу. И даже угостился печеньем.

— Разумеется, вы правы. — Йоркширец, он слегка картавил. — Вполне возможно, что вы — мишень. Вот потому и надо вас поднатаскать. Было бы жаль потерять вас из-за глупой ошибки в элементарных вещах.

— Не гоните! — огрызнулся Стоун. — Давайте проясним. Вы охотно пошлете меня в Восточный Берлин, даже зная, что Штази готовит мне какую-то ловушку?

— Мы *не* знаем, — ответил Лорре. — Ничего не знаем. Так уж заведено. Мы *полагаем*, что это подстава.

— Но вы же сами сказали, будто вам известно, что Дагмар жива, мать вашу за ногу!

— Видимо, точнее было бы сказать так: нам известно, что жив тот, кто воспользовался ее именем, — мягко уступил Богарт. — Кто имеет на это право или не имеет. — Он подлил Стоуну чаю и весело продолжил: — Оба варианта нам годятся. В конце концов либо вы завербуете, либо завербуют вас. Весьма многообещающая ситуация для правительства ее величества.

Стоун закурил, пытаясь все осмыслить.

— Значит, с самого начала вы допускали, что я вернусь агентом Штази?

— Это один из возможных сценариев, — согласился Лорре.

— А меня собирались предупредить?

— Знаете, мы придерживаемся весьма полезного правила: без крайней необходимости своими соображениями не делиться.

— Значит, сидели бы и ждали — предателем я вернусь или нет? И такой и сякой сгожусь?

— Мы были бы готовы как можно дольше не препятствовать всякому развитию событий.

Стоун курил, прихлебывал чай и думал.

— Ладно, — наконец сказал он. — По крайней мере, теперь мы чуть лучше друг друга понимаем. Ну, поехали. Учите шпионить.

— Ничего мудреного. — Питер Лорре вновь обрел эту самую покровительственность. — Кое-какие адреса, явка на случай провала. Денежные источники. Посольские коды и кое-что из международного права, если вдруг придется заявить о дипломатической неприкосновенности.

— Меня мутит от зубрежки права, — мрачно сказал Стоун.

— Ну да, вы пытались сдать адвокатский экзамен, — кивнул Лорре. — В министерстве иностранных дел вам не нравится?

— Мне нигде не нравится.

— Еще кое-что, мистер Стоун, — негромко сказал Богарт. Он уже вернулся в свой угол, откуда ощупывал Стоуна загадочным отстраненным взглядом.

— Да?

— Поначалу письмо вас растревожило — неужто фрау Штенгель жива?

— Да.

— В нем полно личных деталей, оно вселило надежду. Вы усомнились в его достоверности, лишь когда мы сказали, что автор письма, кто бы он ни был, агент Штази.

— Верно.

— Кто его написал, если не Дагмар Фишер? Наверняка вы об этом думали. Кто из ныне живущих настолько осведомлен о вашей юношеской привязанности, что сумел сочинить такое письмо?

Стоун выдержал паузу и лишь потом ответил:

— Знаете, я придерживаюсь весьма полезного правила: без крайней необходимости своими соображениями не делиться.

## Дружелюбный нацист

Берлин, 1934 г.

В прибрежном баре Вольфганг играл на пианино.

Полного запрета на выступления евреев перед арийской публикой еще не было, но он старался не заострять внимания на своем расовом статусе. Хозяин бара, поклонник джаза, ни о чем не спрашивал, а Вольфганг ничего не говорил, играя за чаевые и выпивку.

Он хранил свою маленькую страшную тайну. Свой секрет, которого вроде как надо было стыдиться. И потому в нем и впрямь жил смутный необъяснимый стыд.

И года не прошло, как Гитлер получил власть, а евреи уже соответствовали портрету, созданному фюрером.

Он говорил: евреи — другие.

И они *стали* другими.

Он обвинял их в хитрой изворотливости.

И они *стали* хитры и изворотливы. Прятались. Таились. Стереглись. Шмыгали прочь, словно живучие крысы. Всегда начеку, всегда готовые исчезнуть, дабы никому не попасться на глаза и под ноги. Всеми силами скрывали свою подноготную.

Вели себя именно так, как утверждали Геббельс и Штрайхер.

— Наши души загнали в гетто, — говорила Фрида.

В маленьком баре с прокуреным потолком Вольфганг сидел за пианино. Прикрыл глаза и мысленно перенесся далеко-далеко.

*Да, сэр, вот моя малышка. Нет, сэр, вовсе не пустышка.*<sup>[52]</sup>

В далеком двадцать пятом Ли Морс<sup>[53]</sup> обессмертила эту мелодию, но он играл ее иначе — медленно и раскатисто, точно душевный блюз. Далекий блюз. В далекой Америке.

— Привет, Вольфганг, — сказал голос за его спиной.

Тихий и даже ласковый, он, однако, вдребезги разнес задумчивость, словно принадлежал самому фюреру. И напомнил, кто тут паразит. Крыса. Испуганный таракан, рванувший к плинтусу.

Вольфганг открыл глаза и опасно обернулся. Изыщно одетый блондин лет под тридцать или чуть за тридцать. Губы под ниткой щегольских усов кривятся в сардонической понимающей усмешке.

На лацкане золотой значок члена нацистской партии.

Вольфганг отвернулся к пианино. Сведенные страхом пальцы не могли отыскать нужные клавиши.

Золотые значки имели только *истинные* нацисты.

Лишь первая сотня тысяч. Те, кто вступил в партию, когда вся нация отмахнулась от сумасшедшего Гитлера. Верные приверженцы, они презирали так называемых «сентябристов», толпами кинувшихся под знамена вождя после его первого успеха на выборах в сентябре 1930 года.

Этот золотой партиец знал имя Вольфганга. Следовательно, знал, что тот еврей. И при таком раскладе мог сделать с ним все что заблагорассудится.

— Раньше не слышал, чтобы ты играл на пианино, — сказал блондин.

— Теперь вот услышали, господин. — Вольфганг не сводил взгляда с клавиатуры. — Я был бы весьма признателен за пару монет или кружку пива.

— О, разумеется. Всегда рад выпить со старым другом. Кажется, ты предпочитаешь односолодовый виски. Верно, мистер Трубач?

Теперь Вольфганг вспомнил. Помогло старое прозвище, придуманное Куртом и подхваченное всей его компанией.

— Привет, Гельмут. — Вольфганг бросил играть и развернулся на табурете.

— Ну так-то лучше. — Гельмут подал Вольфгангу стакан со скотчем. Улыбка его была вполне дружеской.

Прошло одиннадцать лет, но Гельмут оставался таким же стройным, красивым и слегка женоподобным. Человек из прошлой жизни. Он почти не изменился, вот только отпустил усы.

— Давно не виделись. С «Джоплина».

— Да уж. Одиннадцать лет, — весело откликнулся Гельмут.

— Для тебя — одиннадцать. Для меня — вечность.

— Ну да, — кивнул Гельмут, но тем и ограничился.

Вольфганг поднял стакан:

— Помянем Курта?

— Да, конечно. За Курта. Знаешь, я по нему скучаю. Я ведь его предупреждал: нет денег на приличный марафет — не употребляй вообще. Чертовски жалко. Хотя, может, оно и к лучшему. Не уверен, что он прижился бы в нашем новом славном отечестве.

— Не то что ты. — Вольфганг кивнул на золотой значок: — Похоже, ты вполне прижился.

— О да. Гнется и не ломается — это про меня. Я раньше других учуял, куда дует ветер. Допивай. — Гельмут снова заказал выпивку. — А ты,



гляжу, все играешь. Очень рад, ей-богу.

— Сейчас, конечно, немного сложнее, — осторожно ответил Вольфганг. — Играю, где позволяют. Постоянной работы нет. Получаю лишь чаевые. Без ангажемента.

— Кончай, Вольфганг. Я ношу значок, потому что в этом есть польза. Но это не имеет отношения к моим друзьям.

Вольфганг отхлебнул виски. Лучше сосредоточиться на преходящей роскоши уже забытого напитка, нежели на унижительном факте: что бы Гельмут ни говорил, он *не может* дружить с евреем. И общается с ним лишь из милости. Как ни крути, они на разных общественных полюсах. Один — хозяин, другой — пес. Пусть хозяин очень добрый, собака останется собакой.

— А как ты? — наконец спросил Вольфганг. — По-прежнему...

— Педрила-сводник? О да, вовсю. Как никогда. Мои коричневорубашечные камрады обладают *отменными* аппетитами, и кое-кто — *весьма* экзотическими. Ей-богу, забавно: чем больше они поносят разврат, тем, похоже, сильнее его желают. А может, проверяют, так ли уж страшен черт. В исследовательских, можно сказать, целях. А как еще узнать, порочно ли разодрать задницу нищему безработному парню, мечтавшему лишь о хлебе и униформе? Только на личном опыте.

Вольфганг выдавил улыбку — благоприобретенный собачий инстинкт подталкивал к угодливости, хоть легкомыслие Гельмута ничуть не веселило.

— Ну да, ведь говорят, что власть развращает, — сказал он, благодарно принимая «Кэмел». Сейчас Вольфганг мог себе позволить лишь дешевые немецкие сигареты, и то не всегда.

— Да, и абсолютная власть развращает абсолютно,<sup>[54]</sup> — ухмыльнулся Гельмут. — А наша власть настолько абсолютная, что отдает дурновкусием. Гей-гоп. Вот так всегда. Знаменосцы новой Европы до бесчувствия долбят, а на панелях Шенеберга и Потсдамерштрассе робких девочек и мальчиков больше, чем в декадентские веймарские времена. Смешно, правда?

— Ты сказал — «камрады». — Впервые за все время Вольфганг посмотрел собеседнику в глаза. — Ты штурмовик?

— Еще какой. Аж с двадцать седьмого года, старый боец, можно сказать. Конечно, ни в каких побоищах я не участвовал. Нет, прямиком двинул на верха. Главный сводник самого Рёма.<sup>[55]</sup> Забавно, а? Предводитель трех миллионов безоговорочно послушных молодцев

нуждается в моих услугах. Наверное, чтобы избежать светской беседы, хотя вся прелюдия дорогуши Эрнста сводится к одному: «Снимай штаны, парень, повернись задом и нагнись».

Беспечность Гельмута поражала. Конечно, по Германии гуляла молва о гомосексуальных склонностях всемогущего лидера штурмовиков, причем зверских, но чтобы так откровенно о них говорить...

— Потеха! — засмеялся Гельмут. — Со стариной Эрнстом мы в чем-то сродни тебе, ибо официально — заклятые враги национал-социализма. Партию заклинило на гомиках. Вообрази, кое-кто предлагает нас стерилизовать. Нет, правда, какой смысл в *стерилизации* голубых? Но пусть мои драгоценные однопартийцы сами ломают голову. Им не до логики, лишь бы позверствовать. Все ж тупые как бревно. Не поверишь, до чего неотесанные.

Гельмут даже не пытался говорить тише, и кое-кто из посетителей бара уже беспокойно ерзал и злобно косился. Все, впрочем, отвернулись, когда он нарочито поправил свой черно-красный значок в золотой окантовке.

— Пошли отсюда, — сказал Гельмут. — Раз ты не нанят, можешь взять выходной, верно? Позволь угостить тебя ужином. Тут ни одной симпатичной мордашки. Когда-нибудь видел такое скопище рож?

— Ужин? Ты собираешь *есть со мной*?

— Именно, жид и голубой, а? СС будет в восторге. Пошли, спланируем чье-нибудь убийство.

Поначалу Вольфганг изумился подобной дерзости, но вскоре понял: удивляться нечему, ибо Гельмуту не требовалось особой храбрости. Нацисты больше всего уважали силу, и высокопоставленный приближенный Эрнста Рёма был неуязвим. А посему Вольфганг решил на пару часов расслабиться и заодно бесплатно поесть.

В такой компании его никто пальцем не тронет.

Кроме того, ужасно хотелось кое о чем спросить. Едва они сели в уютном ресторанчике и заказали еду и выпивку, Вольфганг задал свой вопрос:

— Катарину не встречал?

Гельмут вдруг погрузился.

— Ах да, ты же в нее втюрился, верно? — сказал он.

— Было так заметно?

— Кричаще, дорогуша. Кричаще. Но кто тебя обвинит? Красавица Катарина, она была такая изысканная. Всех прелестнее.

— Была? — спросил Вольфганг. Грусть перепорхнула на его лицо.

— Боюсь, что так. — Гельмут печально уставился в бокал с мартини.  
— Неужели... умерла?  
— Нет. Пока нет. Думаю, еще жива. Но уже давно очень больна. Скверно больна. К сожалению, у нее сифилис.

— О господи. Не может быть.  
— Болезнь на поздней стадии, она сильно обезображена. Вот же злосчастье. Ты ведь помнишь, она была такая сдержанная, всегда в рамках, не то что мы. Говорит, всего один раз допустила ошибку. С кинопродюсером. Она же хотела стать актрисой.

— Да, я помню.  
Вольфганга пронзило болью. Настоящей, физической болью. Катарина была его тайной. Смешной тоской о не свершившемся, которую он хранил в шкапулке, спрятанной глубоко в душе. И уже давно в нее не заглядывал. И без того забот хватало. Но сладкое воспоминание о прекрасном, что прошло мимо, было живо.

— Сочувствую, Вольфганг. — Гельмут понюхал вино, предложенное официантом. — Знаю, как много она для тебя значила... Вы не... Или да?

— Нет, никогда. Хотя я был не прочь. Однажды по пьяни попытался, но она поставила меня на место. Мол, не спит с женатиками.

— Возблагодари судьбу. Считаю, пронесло. Потому как жизнь несправедлива, жестока и паскудна.

Официант подал суп; некоторое время оба молча ели.  
— Что еще сказать? — заговорил Гельмут. — Она от всего отдалилась и переехала к матери. Пару лет назад мы свиделись. Симптомы на время отступили, но она уже была сильно изрубцована.

— Я бы хотел ее повидать.  
— Очень сомневаюсь, что она этого захочет. И потом...

Гельмут смолк, разглядывая бриллиант на крышке портсигара. Он не договорил. Но и так было ясно, что несчастной девушке не хватало еще еврея, набивавшегося в друзья.

От него никакого проку. Ни Катарине, ни семье, ни ему самому.  
— Наверное, лучше помнить ее прежней, — сказал Гельмут. — Очаровательной красавицей.

За ужином они вспоминали чудесный славный «Джоплин». Отныне память о нем будет проникнута нестерпимой печалью, думал Вольфганг.

Известие о том, что прочие из Куртовой компании весьма преуспели в пробудившейся Германии, ничуть не утешило. Дорф, ученый денежный отмывальщик, теперь служил у Шахта<sup>[56]</sup> в Рейсбанке.

— По-прежнему мухлюет с долгами, — рассмеялся Гельмут. — С той

лишь разницей, что теперь он это делает трезвый. А помнишь Ганса? Ты не поверишь, он в том же деле, что и в двадцать третьем году. По дешевке скупает дорожные машины тех, кому нужно срочно избавиться от имущества.

Вольфганг кивнул. Интересно, сколько роскошных машин из тех, что в прошлом году прибыли на прощальный ужин Фишеров, за гроши купил и втридорога толкнул старина Ганс? Возможно, среди них был и Фишеров «мерседес».

— Ну и конечно, Хелен, — рассказывал Гельмут. — Помнишь нашу резвушку? Она взлетела выше всех и по-прежнему под финал вечеринки вырубается, но уже в резиденциях послов и танцзалах на Вильгельмштрассе. Подружка Геринга, не хухры-мухры. Он, как известно, падок на милашек.

— Хелен — нацистка? — спросил Вольфганг.

— О да, и не только из удобства. В отличие от меня, национал-социалиста лишь в ясную погоду, она истово верит. Без ума от всей затеи. Обожает стяги, форму. Власть. Искренне убеждена, что Германия пробудилась. Правда, не знает, от чего и к чему. Вот пробудилась, и все. Новый рассвет, молодая нация, чистая кровь. И все такое. Разумеется, истерически влюблена в Адольфа, как и многие в общем-то весьма благоразумные женщины. Все мечтают, как он промарширует в их будуары и жестко прикажет им растелешиться; по стойке «смирно» со вскинутой правой рукой они опрокинутся навзничь, а он известит о своем непреложном желании вкусить их прелестей. Я и сам завзятый ценитель мужской красоты, но в данном случае ни черта не понимаю.

Вольфганг вспомнил давнишнюю Хелен. Молодую и остроумную. Помешанную на модах и веселье. А теперь она помешана на Гитлере.

— У Фишера она ведала закупкой модных товаров, — сказал Вольфганг.

— Конечно, до пробуждения мы все пребывали в еврейском рабстве, — усмехнулся Гельмут.

Вольфганг тоже чуть улыбнулся. Спокон веку у Гельмута не было запретных тем для шуток.

— Она была такая бесшабашная, — сказал Вольфганг. — И душевная, уж я-то знаю. Мы беспрестанно смеялись. Она обожала «Аравийского шейха» и «Авалон».<sup>[57]</sup> Неужели ее не мутит? В смысле, от всей этой ненависти и насилия.

— Она просто не задумывается, дорогуша. А если задумается, решит, что все это еврейские враки и стенания — ну подумаешь, милые мальчики-

штурмовики перевозбудились и слегка увлеклись. Такие как Хелен живут в кайфе и не хотят, чтобы он закончился. Все кайфуют. Ежедневно очередной парад заверяет нас, что мы лучше всех на свете, а это так вдохновляет. Понятно, что людям нравится. Я хочу сказать, что если б Гитлер надумал ополчиться, скажем, на левшей и позволил евреям примкнуть к его банде, вы бы гарцевали наравне со всеми, верно?

— Надеюсь, нет. Я бы не гарцевал. Хотя, конечно, многие стали бы. Но этого не случится. Всегда достается евреям. Вот почему мы здесь.

— Кстати. — Гельмут вынул из кармана авторучку и блокнотик со свастикой, оттиснутой на кожаном переплете. — Это мой телефон. Понадобится помощь — звони. А она понадобится. Говори осторожно, но я обещаю сделать все, что смогу. Ради дружбы и старых добрых времен. — Он вырвал листок из блокнота и встал. — К сожалению, мне пора. Боюсь, меня ждет долгая-долгая ночь в поезде. В твой бар я заглянул, надеюсь подцепить компаньона в поездку. Люблю, знаешь ли, свежачок, не могу устоять перед соблазном новизны, но теперь, видимо, скоротаю ночь с книжкой.

— Куда едешь? — спросил Вольфганг. — Наверное, славное местечко?

— В Мюнхен! Колыбель нашего движения, дружище! Родина толстых животов и крохотных мозгов. Слава богу, лишь проездом в Бад-Висзее, на очаровательный курорт. Доводилось бывать?

— Нет. Никогда не ездил в отпуск. То дети слишком маленькие, то времени нет, то денег.

— В те дни Берлин был праздником. Зачем куда-то уезжать, верно?

— Верно.

Обоим взгрустнулось. Гельмут допил вино, залакировал его коньяком и спросил счет.

— Особой прелести поездка не сулит. Сам по себе Бад-Висзее прекрасен, но компания скверная. Гей-гоп! Долг зовет. В трудах без игрищ шеф куксится, и мне надлежит подыскать ему партнеров.

Прощаясь, Гельмут взял Вольфганга за руку:

— Не забудь, я могу помочь. Мы, штурмовики, делаем что хотим. Скоро не будет ни армии, ни полиции и даже правительства, только СА. Мы — партия, и мы — нация. Даже Адольф побаивается Рёма. Ну еще бы — трехмиллионное войско. СА — крупнейшая европейская армия, которая подчиняется не королю Адольфу, а королеве Эрнсту.

— Я признателен. Спасибо.

На выходе из ресторана они расстались: Гельмут сел в поджидавший его черный «мерседес», Вольфганг потопал пешком.

Мысли его были в далеком прошлом. Берлин двадцать третьего года, клуб, беседы с головокружительной девушкой о театре и живописи.

Любовь к Катарине сгинула. Впрочем, любви в подлинном смысле слова никогда и не было. Истинной любовью была Фрида, а Катарина — так, морок, наваждение. Правда, искреннее и красивое, в котором были и общность взглядов, и плотское влечение. Ужасно, как ей не повезло. Если бы он мог полюбить другую женщину, его избранницей, конечно, стала бы ошеломительная красавица Катарина.

Какие беседы о театре и живописи! Какой стиль! Какая пленительная внешность!

И вот.

Ему доводилось видеть лица, обезображенные страшной болезнью.

Вольфганг отогнал жуткие образы и вновь представил девятнадцатилетнюю красавицу-брюнетку. Невероятно блестящие волосы, стрижка «боб». Взгляд с поволокой. Пурпурные губы. Она болтает об Эрвине Пискаторе и Бертольде Брехте. И одну за другой таскает сигареты из его пачки «Лаки Страйк», что лежит на барной стойке.

Плутая в 1923 году, Вольфганг не видел, что происходит вокруг.

Иначе бы наверняка заметил большой черный фургон перед домом. Обратил бы внимание на ребячью стайку, которая словно чего-то дожидалась и, поглядывая на него, хихикала. Подметил бы нервозность консьержки, которая еще неприветливее обычного буркнула «добрый вечер» и тотчас спряталась за дверью.

Но охмелевший мозг, погруженный в воспоминания, смекнул, что дело неладно, лишь когда древний лязгающий лифт привез Вольфганга на его этаж и сквозь ромбовидную сетку он увидел, что дверь в квартиру настезь распахнута.

Явно что-то не так.

Вольфганг сдвинул решетку лифта, шагнул на площадку, и в ту же секунду из квартиры донесся крик Пауля:

— Беги, папа, беги!

Но было поздно.

Вольфганга вмиг скрутили и втащили в квартиру, где он увидел Фриду: оцепенев от страха, она прижимала к себе сыновей.

В квартире еще было с полдюжины мужчин; одни в цивильном, другие в форме, какую Вольфганг видел лишь в кинохронике: устрашающе черный наряд, на фуражках кокарды — череп и скрещенные кости.

Одна из черных фигур держала гравюру Жоржа Гросса, лет десять висевшую над пианино: 1918 год, военная медкомиссия признает скелет

годным к строевой службе.

Кулак в кожаной перчатке проткнул эстамп, вдребезги разнеся стекло. Осколки посыпались на пол.

— Любишь этого декадента? — с надменной издевкой спросил эсэсовец.

Декадент? Мозг, даже охваченный паникой, возмутился таким неслыханным произволом: бандит врывается в чужой дом, срывает со стены и уничтожает картину, а потом еще имеет наглость называть *творца* декадентом!

— Да, — только и смог ответить Вольфганг. Он прекрасно понимал: нагрянула беда и никакие слова не имеют значения. За ним пришли, вот и все. Почему — никто не знает. За прошлый год он потерял уйму друзей и знал: стоит попасть под прицел этих людей — простись со всякой надеждой...

Другой эсэсовец ухватил драгоценную трубу Вольфганга:

— Играешь негритянскую музыку?

И вновь небрежная издевка. Похоже, и впрямь они считают цивилизованными людьми *себя*.

— Да... я играл джаз... но сейчас...

Заговорил человек в гражданском. Явно гестаповец, о чем свидетельствовали неизменный габардиновый плащ и хомбург, наводившие ужас на всякого немца, даже самого ярого нациста.

— Мы получили информацию, что ты диверсант. Опасный *жидовский* диверсант. Пойдешь с нами.

— Опасный? Я музыкант.

— Играешь негритянскую музыку.

— Что в этом опасного?

— Она развращает. Германия оберегает себя от декадентской и прочей скверной культуры. Пошли.

Отчаяние затопило Фриду.

— Послушайте, господин офицер! — взмолилась она. — Здесь какая-то ошибка, он всего лишь бедный музыкант. Совсем безвредный. А я врач, в округе меня знают, многие знакомые арийцы подтвердят, что муж мой человек маленький. Здешний лютеранский пастор скажет, я знаю... Сейчас, я только позвоню ему!

— Иди сам, Штенгель, или мы тебя заставим. — Гестаповец выставил палец. — Вряд ли ты хочешь, чтобы это видели дети.

Вольфганг глянул на родных.

Фрида лихорадочно листала телефонную книжку.

Отто смотрел зверем, готовый убить... Рука его нырнула в карман.

Взгляд Пауля метался с одной черной фигуры на другую — сын пытался хоть что-нибудь придумать.

Чем дальше тянуть, понял Вольфганг, тем скорее мальчишки чего-нибудь учудят. Особенно Отто.

— Хорошо, я иду, — сказал он. — Ребята, успокойтесь. Ради мамы. Успокойтесь.

— Нет! Заберите меня! — выкрикнул Отто. — Это я диверсант! Ваш стукач говорил про меня! Вот, у меня...

Пауль мгновенно перехватил его руку, готовую вынырнуть из кармана, и толкнул брата себе за спину.

— Стойте! — Он пытался улыбнуться. — Кажется, я понял. Я знаю, в чем дело. Здесь путаница. Ваш информатор имел в виду *других* Штенгелей! Коммунистов. Они живут... как же там... а, точно! — на Боксхагенерштрассе. Нас вечно путают. Если вы...

Ход был неплох, но лиходеи не слушали. Гестаповец пролаял команду, и две черные фигуры схватили Вольфганга. Фрида вскрикнула и бросилась к мужу, пытаясь вырвать его из лап чужаков.

Возникла сумятица, отчего показалось, будто в комнате стало вдвое больше людей, и Вольфганг исхитрился сунуть жене свой бумажник.

— Держи, там немного денег... для мальчиков, — сказал он и шепотом добавил: — Еще телефон. Спроси Гельмута, расскажи ему...

Эсэсовцы выволокли его из квартиры.

Когда гестаповец, замыкавший процессию, шагнул за порог, Отто вынул нож. Щелкнув, выскочило лезвие и зловеще блеснуло. Ослепленный ненавистью Отто вскинул оружие, изготовился к броску. Пауль вовремя заметил опасность и что есть силы саданул брата плечом. Отто грохнулся на пол, входная дверь захлопнулась.

— Рехнулся? — заорал Пауль. — Совсем спятил? Хочешь, чтобы маму тоже убили?

Отто ожег его бешеным взглядом, потом обмяк и вдруг заплакал. Наверное, его доконало слово «тоже». Значит, отца убьют? Оба понимали: это возможно. Вполне.

Пауль и сам заплакал. Наверное, к мальчишкам присоединилась бы и Фрида, но она судорожно рылась в бумажнике.

На площадке лифт лязгнул, застонал и поехал вниз.



## Недружелюбный нацист

Берлин, 1934 г.

Около часа Фрида безуспешно названивала по номеру, который нашла в бумажнике.

Пауль и Отто, раздавленные внезапно свалившейся бедой, молча сидели на кушетке. Они прекрасно понимали, что грозит отцу. Нынешний арест сильно отличался от процедуры, узаконенной в других странах. Когда зачитывают права и вызывают адвоката. Когда есть возможность защиты и шанс на оправдание. За полтора года без всякого повода повязали столько народу, что братья Штенгель не строили иллюзий относительно судьбы отца. Вполне возможно, он уже мертв.

— Как с отцом Дагмар. На вокзале, — наконец проговорил Отто. — Вот он стоит, а через секунду его уже нет.

— С нашим будет иначе, — нахмурился Пауль. И повторил себе под нос: — Иначе.

Фрида положила трубку:

— Минут через пятнадцать еще попробую. При вас отец когда-нибудь поминал какого-то Гельмута?

Нет, ответили мальчики, не слышали.

Чтобы отвлечься, Фрида сделала чай себе и горячий шоколад сыновьям.

На площадке застонал подъехавший лифт, и на секунду в них проснулась надежда.

Но вошла Зильке.

Она хотела поделиться собственным горем. Ее отношения с мамашиним дружком-нацистом испортились окончательно. С самого начала Зильке не признавала его главенство, из-за чего регулярно получала шлепки и затрещины. Сейчас, в четырнадцать лет, это ее страшно бесило и разжигало ее непокорство, которое, в свою очередь, бесило штурмовика. И шибко удивляло. Он явно полагал, будто сожителство с ее матерью означает покупку двух служанок по цене одной. То бишь одежда его должна быть выстирана, еда сготовлена, пиво и сигареты поданы, а ему остается лишь хрюкать подле газового обогревателя. Напрочь забитая Эдельтрауд жутко боялась его потерять. Как невеста штурмовика она собой что-то представляла, впервые в жизни с ней считались. Штурмовики имели власть и творили что хотели, а если кто возражал, за углом ждали еще три

миллиона таких же, готовых к неравной драке. Эдельтрауд буквально млела от сознания, что всякая старая стерва, прежде глумливо обзывавшая ее шлюхой, теперь должна перед ней лебезить, и потому в стычках дочери с Юргеном всегда принимала его сторону. Зильке старалась как можно меньше попадаться им на глаза и часто находила убежище у Штенгелей, где ей всегда были рады.

Нынче от галантности пробудившегося германца у Зильке распухло ухо и пекло задницу, но она вмиг поняла, что ее несчастья — ничто по сравнению с бедой, обрушившейся на старых друзей. И на нее тоже, ибо Вольфганг и Фрида давно стали ей родными.

— Как думаешь, твой коричневый отчим не поможет? — без всякой надежды спросил Отто.

— Смеешься? Он даже не подозревает, что я к вам хожу, — ответила Зильке. — Знал бы, он бы, наверное, меня вообще убил. И потом, эсэсовцы — совсем другая статья. Юрген — тупой капралишка. Он из себя строит начальника в нашем квартале да еще передо мной, а перед теми, кто выше, он трусливый крысеныш. К нему прислушиваются такие же мартышки с нашей улицы, больше никто.

Фрида угостила ее горячим шоколадом. Вчетвером они старались что-нибудь придумать. Фрида вымела осколки стекла от гравюры Жоржа Гросса. Пауль клейкой лентой скрепил рисунок, прорванный кулаком эсэсовца. К счастью, ни один кусочек не потерялся, реставрация была почти незаметной. По крайней мере, анфас.

Незастекленную гравюру Пауль повесил на прежнее место. Маленький акт неповиновения.

В гулком лестничном колодце опять заскрежетал лифт, затем послышались грузные шаги, и на миг вновь ожила надежда.

Однако силуэт, возникший в дверном проеме, принадлежал кому-то другому. Человек этот мальчикам был незнаком, но Фрида его узнала. Хотя не видела одиннадцать лет. Последний раз они встречались во времена инфляции, когда на рынке он за гроши сбывал свои творения.

— Добрый вечер, фрау Штенгель, — из темноты сказал гость. — Надеюсь, я не помешал.

— Нет-нет, что вы... конечно, нет... — сбивчиво ответила Фрида. — Герр Карлсруэн... какой неожиданный сюрприз... Мальчики, ступайте в свою комнату и закройте дверь, пожалуйста. Заберите Зильке.

Надежда угасла, ее сменило изумление — уж кого-кого, а этого пришельца из давнего прошлого Фрида не ожидала. Когда дети, настороженно косясь на темную фигуру в дверях, ушли, надежда вновь

приподняла голову. Некогда он сходил с ума по Фриде, но сподличал. Неужто совесть заговорила? Наконец-то решил возместить урон?

Может ли он как-нибудь помочь Вольфгангу?

Судя по виду, Карлсруэн — влиятельный человек. Ничего похожего на озлобленного ларечника, за бесценок сбывавшего свои статуэтки. Теперь он вновь состоятельный господин. Даже стал еще богаче. Вон как раздобыл, и одет шикарно. Просторное кашемировое пальто, трость с серебряным набалдашником.

Фрида подметила, что воротник пальто у гостя поднят, а широкие поля шляпы приспущены. Будто он не хотел, чтобы его разглядели на входе в дом.

Ведь ему известно, что она такое. В свое время она выкрикнула правду ему в лицо.

— Вот уж не ожидала, герр Карлсруэн, — сказала Фрида. — Хотите чаю?

Взгляд скульптора обшарил ее с ног до головы и обратно. Фрида стояла на синем ковре посреди комнаты. Карлсруэн так и остался в дверях.

— Или кофе? Детям сварила горячий шоколад — нынче вечер прохладный. Входите, пожалуйста, присаживайтесь.

Карлсруэн молча ее разглядывал. По крайней мере, так подумала Фрида, ибо глаза скульптора прятались в тени широкополой шляпы.

— Повернись, — наконец сказал он.

— Что?

— Десять лет, даже тринадцать, большой срок. Тебе было двадцать или двадцать один, когда ты мне позировала. А сейчас за тридцать. К этому возрасту большинство женщин отцветают и теряют форму. Но я знал, что ты сохранишься. Твоя красота еще долго не увянет. Ну же, повернись.

Фрида раз-другой сглотнула, но затем исполнила просьбу — повернулась вокруг себя, закончив оборот застенчивым неловким реверансом.

Нужно угождать ему, решила она. По крайней мере, пока ситуация не прояснится. Надо цепляться за самую крохотную надежду. На лацкане гостя партийный значок. Раз уж ему приспичило, она готова вертеться, а он пусть, как встарь, осыпает ее нелепыми комплиментами.

Карлсруэн шумно засопел, будто высасывая воздух из комнаты. Казалось, он *обнюхивает* Фриду.

— Ты все так же хороша, моя прелесть, — сказал он.

— Благодарю. — Фрида выдавила улыбку. — Вы очень любезны.

— И почти не изменилась. По-прежнему великолепная фигура. Вроде

бы. Однако наверняка не скажешь, пока...

Карлсруэн многозначительно не договорил. Фриду бросило в жар, она почувствовала, что неудержимо краснеет. Бог знает почему, старый козел по-прежнему ее желал. Может, это ей на руку?

Как-никак он член партии.

— Я хочу попросить тебя вновь мне позировать, — величественно заявил Карлсруэн.

— Позировать? Зачем? Нет молоденьких девушек, что ли?

— Я постоянно тебя вспоминал, милочка. Пусть мы... неладно расстались, я навеки запомнил, как ты меня вдохновляла, и я томился по тебе... — Он глянул на статуэтку на пианино. — Вижу, ты сберегла наше творение. Помнится, его купил твой отец. По ничтожной цене. Но ведь он еврей, чему удивляться. У вас это в крови.

Фрида уже настроилась заискивать, но оговор ее возмутил:

— Он заплатил, сколько вы с женой запросили. Одна цена для всех покупателей.

Разглядывая серебряный набалдашник трости, Карлсруэн смахнул невидимую соринку. Статуэтка его не интересовала, он явно обдумывал свою следующую фразу и наконец выговорил:

— Не будем пререкаться, дорогуша.

— В столь поздний час вы пришли предложить мне работу? — спросила Фрида. — Может, для возобновления знакомства уместнее была бы записка?

— Скажу прямо. Я не могу забыть нашу последнюю... кхм... встречу. Не на рынке... в студии.

— Знаете, я тоже. Однако не будем ворошить прошлое. Вы были пьяны и...

— Я вправе на тебя сердиться и, надо сказать, сержусь.

У Фриды, готовой изобразить всепрощение, отвисла челюсть:

— Вы сердитесь?

— Ты меня обманула! — благочестиво вскричал скульптор. — Я думал, ты немка!

— Я и была немкой, герр Карлсруэн! И сейчас я немка. Лишь год назад кому-то взбрело иное. Неизвестно по какому праву.

— Вы не немка, фрау Штенгель, сами знаете. Вы еврейка. В Нюрнберге скоро примут закон, который всех евреев лишит гражданства...

— Герр Карлсруэн, вы пришли пересказывать передовицы «Фёлькишер Беобахтер»?

— Я пришел сказать, что по-прежнему вождедею вас, фрау Штенгель!

И хочу закончить работу, начатую в двадцатом году. Все эти годы она меня преследует. Тогда ты мне отказала, но теперь, надеюсь, не откажешь. Ну вот, сказал. Я знаю, это плохо, но...

— Еще бы хорошо!

— Ты еврейка, общаться нам нельзя. Чужеродная кровь, низшая раса. Но ты меня околдовала. Не могу забыть твое роскошное тело.

Фрида поняла, что должна сделать выбор.

Ужасный, невозможный, еще час назад невообразимый. Но Вольфганг в лапах штурмовиков. И она сделает все, чтобы его спасти. *Все что угодно.*

— Ну... это очень... лестно, герр Карлсруэн. — Фрида старалась, чтобы голос не дрожал. — Наверное, тогда я *грубовато* с вами обошлась. А сейчас... понимаете, дело в том, что моего мужа...

— Да уж, твой муженек! — злорадно воскликнул Карлсруэн. — Ты говорила, он бы убил за мое вожделение... Но теперь-то неоткуда ждать помощи, а? Даже себе он не помощник. Ты знаешь, где он? Сомневаюсь.

И тут Фриду осенило. Странно, что кошмарная истина доходила так долго. Все же очевидно. Карлсруэн тотчас объявился. И часу не прошло...

— Что ты знаешь о моем муже? Говори!

— Что его, декадента и разносчика еврейской заразы, законно взяли под стражу и...

— Ты! Ты на него донес! — прошипела Фрида. — Сволочь поганая! Убрал его с дороги и приперся ко мне!

— Ваш муж арестован, фрау Штенгель, больше нам ничего не известно. Сейчас вам следует подумать о себе и детях. Я имею вес. В официальных кругах со мной считаются. Может, слышали, недавно я был принят в Прусскую академию искусств... Возможно, я не Арно Брекер,<sup>[58]</sup> но, говорят, сам фюрер...

— Ты его спасешь? Если сделаю, как ты хочешь, ты спасешь моего мужа?

Фрида решилась. Пусть он своего добьется, лишь бы вернул Вольфганга.

Но конечно, надежда была напрасной.

— Ваш муж сгинул, фрау Штенгель, — сказал Карлсруэн. — В бездну. Ни я, ни кто другой не в силах изменить его судьбу. Подумайте о себе и детях. Если согласны время от времени тайно со мной встречаться, вам я помогу. Обеспечу защиту и послабления. Поверьте, очень скоро вашим сородичам это понадобится. Я похлопочу, чтобы вашим сыновьям дали закончить обучение. Местных штурмовиков предупредят.

— Герр Карлсруэн, вы поможете моему мужу? Его только что забрали!

Еще не поздно!

— Твоего еврея больше нет! — озлился Карлсруэн. — Забудь о нем. Думай только о себе. Делай, что тебе сказано, и получишь помощь. Откажешь мне — и горько пожалеешь, я тебе обещаю. Сколько лет твоим щенкам? Четырнадцать? В самый раз для Дахау... Покорись! Выбора нет. Я свое получу, жидовская потаскушка! Ты же шлюха! Посмеешь отказать? Ты нелюдь! Покорись или сдохни. Я сломя твою жидовскую гордыню! Узнаешь, как укрощают дикую тварь! Ты исполнишь всякую мою прихоть — или твои ублюдки вслед за папашей отправятся в Дахау!

Отбросив показную цивилизованность, Карлсруэн вцепился во Фриду. Она полностью в его власти. Она никто. И совершенно беззащитна.

Он заберет ее мальчиков. Их отправят в лагерь.

Выбора нет.

Фрида впилась ему в губы. Взасос.

Сквозь шерстяные брюки стиснула его хозяйство. Он скорчился.

— Ну вот и дождался... — выдохнул Карлсруэн.

— Не здесь. — Фрида отстранилась. — Дети...

Она не договорила.

Эта незаконченная фраза — последнее, что в своей жизни услышал Карлсруэн. Слово «дети».

Что было вполне логично, ибо дети его и убили.

Удар нанес Отто.

Вместе с Паулем и Зильке он подслушивал из спальни. Когда мерзкий разговор сменился возней, все трое шагнули в гостиную.

Карлсруэн был слишком увлечен и ничего не заметил, а тела его застили Фриде обзор.

Как всегда, Отто действовал по наитию. Он схватил первое, что попало под руку (бронзовую статуэтку, для которой некогда позировала Фрида), подскочил к Карлсруэну и мраморной подставкой раскрыл ему череп.

Скульптор обмяк. И кулем рухнул на толстый синий ковер.

Фрида. Три подростка. Распростертое тело.

Никто не шевелился.

Отто тяжело дышал, сжимая в руке статуэтку. За его спиной замерли Пауль и Зильке. Карлсруэн завалился набок. На ковре расплывалась кровавая лужа. Безумные распахнутые глаза потрясенной Фриды.

— Что... мы наделали...

Мозг напрочь отказывался принять случившееся.

Мозг Фриды, но не Пауля, который присел на корточки перед

бесчувственным телом и пощупал пульс.

— Сдох? — спросила Зильке.

— Нет, еще дышит.

Отто молча занес статуэтку над головой, изготовившись ко второму удару.

Фрида охнула. Пауль вскинул руку:

— погоди! И так уж кровищи... Слава богу, у нас толстый ковер. Беда, если б грохнулся на половицы, — дочиста не замоешь.

Известие, что Карлсруэн жив, погасило сумбур Фридиных мыслей. Включились ее профессиональные навыки.

— Надо оказать ему помощь.

— Чего? — опешил Отто.

— Чего-чего? — эхом откликнулась Зильке.

— Он ранен. Я врач.

— Мам, он ранен, потому что Отто его долбанул, — спокойно сказал Пауль. — Нельзя помогать.

Фрида замешкалась. Конечно, сын прав.

Но принять это тяжело. Впервые в жизни надо отказать в помощи тому, кто в ней нуждается. Нарушить клятву Гиппократу. Все остальные, включая Пауля, Отто и Зильке, ни на секунду не усомнились бы. Охотно дали бы свинье помереть, даже если б живой он не представлял собой страшную угрозу. Просто он это заслужил.

Но она-то — не все остальные. Фрида была на редкость искренним альтруистом, и в ту секунду какая-то часть ее умерла. Не самое страшное преступление из тех, какие она никогда не простит Адольфу Гитлеру, но для нее — трагедия.

Карлсруэн пошевелился. Из его нагрудного кармана Пауль выдернул платок. Большой квадрат пурпурного шелка. Вычурная деталь, которая в купе с широкополой шляпой и тростью с серебряным набалдашником придавала их владельцу нелепый «артистический» облик.

Отто решил, что брат хочет перевязать рану.

— Какого... — начал он и осекся, потому что Пауль затолкал платок бесчувственному скульптору в рот.

Видимо, затуманенное сознание подало некий сигнал об опасности, ибо Карлсруэн вышел из ступора и задергался. Отто прижал к полу его руки, молотившие воздух, а Пауль пропихнул ткань в глотку. Дабы не лишиться пальцев, он использовал авторучку, которую всегда носил во внутреннем кармане куртки.

И зажал скульптору нос.

Отчаяние удесятирило силу предсмертных конвульсий и без того грузного Карлсруэна. Но и братья были не слабы, особенно Отто, у которого сила ненависти не уступала силе рук. Наконец Карлсруэн затих.

— Пауль... Отто... — прошептала Фрида.

Но она понимала, что ее мальчики иначе поступить не могли.

Нацисты превратили их в убийц.

Пауль встал:

— Надо от него избавиться.

Голос его прерывался, но он был спокоен. Даже властен. Он думал. Заставлял себя придумать план.

— Как? — тихо спросил Отто. — Ты знаешь?

Вновь повисло молчание.

Пауль сжал кулаки, прикрыл глаза. Сосредоточенно нахмурился.

Фрида смотрела на труп на полу. Кровь, что натекла из проломленной головы, впиталась в толстый синий ковер.

— Ох, Паули, как же нам... — шепнула Фрида.

— Так, — перебил Пауль — возможно, он даже не слышал мать, — Отто, дуй к старику Зоммеру и возьми его тележку. Скажи, мама продает барахло. Оставь тележку во дворе на велосипедной стоянке и сразу сюда. Понял?

Фрида отерла слезы.

— Ничего не выйдет, Пауль, — сказала она. — Даже если унесешь покойника. Его хватятся и выяснят, куда он ходил.

— Попытаются, но вряд ли след приведет к нам, — ответил Пауль. — Помнишь, как он появился? Когда стемнело. Воротник поднят, шляпа надвинута: он не хотел, чтобы его узнали, верно? Хороший нацист не якшается с евреями и, уж конечно, не ходит к ним в гости. И не склоняет еврейку к сожителству. Он — член партии. Исключено. Никто не знает, что он здесь. И не узнает, если мы не запаникуем и все четко спланируем. — Он взглянул на Зильке: — Тебе не нужно в этом участвовать, Зилк. Уходи.

Зильке сдерживала рвотные позывы и ответить не смогла, лишь помотала головой.

— Ладно, оставайся, поможешь нам. Надо завернуть его в ковер.

Все так же молча Зильке присела на корточки.

Пауль повернулся к брату:

— Чего застрял? Бегом за тележкой!

Окрик вывел Отто из оцепенения.

— Хорошо. — Он ринулся к двери. — Тележка.



Пауль присел рядом с Зильке и обшарил карманы мертвеца.

— Паули! — ужаснулась Фрида. — Не смей грабить человека!

Пауль поднял голову и посмотрел на нее. Необычайно мрачно и решительно.

— Он не человек, мама. Он труп. Мы с Отто его убили. Надо сохранять полное спокойствие и все хорошо продумать. Тогда выкрутимся. В беде деньги не лишние, у нас их мало. Разумно их взять. Мы должны поступать разумно, мама. И без единой ошибки. Тогда уцелеем.

Зильке уже отыскала бумажник мертвеца. Деньги. Больше, чем Фрида зарабатывала за три месяца.

— Это была самозащита, — бормотала Фрида. — Но если ограбим его и вас поймают...

— Если нас поймают, будет уже все равно, ограбили мы его или нет. — Пауль стал закатывать труп в тяжелый ковер. — Но нас *не поймают*. Что он был здесь, знаем только мы и он. Он мертв, а мы никому не скажем. На папу он наверняка донес анонимно. Обычная история.

Пауль застыл. В этом кошмаре он совсем забыл про папин арест. На секунду показалось, что боевой дух его иссяк, но он глубоко вдохнул и приказал себе собраться.

— Сосредоточимся. Все по плану. — Он будто разговаривал сам с собой. — Если сумеем его унести и выбросить, все будет хорошо.

Труп закатали в ковер и обвязали бечевкой. Вернулся Отто. Вдвоем с Паулем они затащили тюк в лифт и поехали вниз, Зильке стрелой неслась по лестнице, удостовераясь, что горизонт чист. Втроем они загрузили тяжеленный тюк в тележку. Повезло — квартал был безлюден, однако они заготовили печальную историю: приходится все распродавать, чтобы купить еду. Конечно, толстая ковровая скатка выглядела подозрительно, но ее обложили тряпьем и подушками со всей квартиры, и картина вышла вполне достоверная: обнищавшая еврейская семья вынуждена продавать свой скудный скарб.

— Сейчас только девять, — прошептал Отто. — На улицахлюдно. Может, выждем? До полуночи.

— Ни в коем случае, — ответил Пауль. — Только сейчас. Хорошо, чтолюдно. Днем было бы еще лучше.

— Чего? — прошипел Отто. — Спятил, что ли?

— В таких ситуациях надо действовать внаглуу. Если б крались глухой ночью, нас бы точно сцапали. А сейчас полно людей с тележками. Ну, двинули.

Братья взялись за рукоять, и тут на крыльце появилась Фрида.

— Надо же, когда-то я ехала в этой тележке, — сказала она. Голос ее был глух и словно чужой. — Ваш отец вез меня в больницу ро... ро... — Фрида не договорила, подавившись слезами.

— Мы знаем, мам, — мягко откликнулся Пауль. — Ты уже сто раз рассказывала. Не волнуйся, папа вернется. Некоторые возвращаются, сама знаешь. Тем более этот хмырь больше не сможет пакостить.

Фрида ушла в дом, и троица покатила тележку.

— Куда едем? — спросила Зильке. С самого убийства она ни слова не проронила.

Отто, всецело положившийся на брата, встревожился.

— Господи, я и не подумал. — Он даже побледнел. — Куда едем-то, Пауль?

— Само собой, к реке, — не останавливаясь, ответил Пауль. — В такой обмотке он камнем пойдет ко дну. Всего и дела — так его скинуть, чтобы никто не видел. Или хотя бы не вмешивался. — Он глянул на Зильке: — Ты здорово помогла, Зилк, но теперь уходи. Вдвоем мы управимся, чего тебе зря рисковать.

— Наверное, лучше мне остаться, — тихо сказала Зильке. — Компания с девочкой выглядит не так подозрительно. Два парня скорее привлекут внимание.

Пауль улыбнулся и приналег на рукоять.

На улицах они встречали редкие равнодушные взгляды, и только. За последние двадцать лет берлинская брусчатка привыкла к грохоту тележек тех несчастных, кто продавал или обменивал свои небогатые пожитки, чтобы не умереть с голоду. Братья больше опасались, что кто-нибудь вздумает их ограбить, и потому Отто держал наготове нож.

К счастью, оружие не понадобилось, и примерно через час подуставшие братья вкатили тележку на пристань. Пауль повернул ее к безлюдному причалу.

— Все делаем быстро и нагло, — сказал он. — Никаких прятков и перебежек. Избавляемся от хлама. Знаю по опыту: действуешь нагло — никто не сунется.

— Лучше пусть, бля, не лезут, — буркнул Отто.

— Точно. Поехали.

— Вон какой-то пьяный смотрит, — испуганно шепнула Зильке.

— Плевать. Всегда кто-нибудь да смотрит. И что он сделает? Вызовет полицию? Кто ночует у реки, не дружит с легавыми. Давайте, сейчас самое время.

Они подкатили тележку к концу причала и просто скинули свой груз в

воду. Потом водворили на место подушки и тряпье, развернулись и поехали обратно.

— Не оглядывайтесь, — предостерег Пауль. — Идите спокойно. Не канителить, но и не бежать.

Его хладнокровный расчет оказался верен. Никто их не потревожил. Бродяга лишь пожал плечами и отвернулся. Как и пьяный матрос со шлюхой, кутившие на соседнем причале.

С ноября 1918 года каждое утро берлинская река отдавала трупы, от которых по ночам избавлялись какие-то тени. Ничего особенного. Если смекалка работает, не мешай людям выкидывать мусор. Пусть они хоть совсем юнцы.

# Прерванная вечеринка

*Бад-Висзее, 1934 г.*

В красивом курортном поселке весь день и весь вечер гремело веселье. Играли оркестры, рекой лилось пиво, поглощались несметные яства, на забаву служившие также метательными снарядами. При поддержке войска из молодых штурмовиков Эрнст Рём и высшее руководство СА проводили «конференцию», в которой капля дел растворилась в море удовольствия.

В симфонии безудержного разгула слегка диссонировали неблагозвучные ноты — дескать, плоды национал-социалистической революции слишком медленно распределяются среди тех, кто больше всех их достоин. Кастеты и кованые сапоги штурмовиков привели Гитлера к власти, и теперь коричневая армия желала награды.

— Мы суть полиция! Мы суть армия! — Перекрывая шум застолья, Рём орал в ухо Гельмуту. На губах у шефа пузырилась пивная пена, подбородок блестел от свиного сала. — Пресловутый рейхсвер — лишь сотня тысяч снобов-юнкеров, лизавших дряхлую задницу старого дурака Гинденбурга. Уверяю вас, дружище... — Рём отер слюнявый рот, — если наш дорогой фюрер не поспешит утвердить СА на ключевых государственных постах, случится *вторая* Германская революция, и тогда уже ни у кого не останется сомнений, кто правит страной.

— Истинная правда! — Гельмут поманил молодого штурмовика и усадил его к Рёму. — А пока, Эрнст, вы заслужили небольшой отдых!

Ни Гельмут, ни Рём, облапивший сосватанного юнца, еще не знали, что проселками приближается Немезида.

Сквозь ночь скользила флотилия «мерседесов».

Иссиня-черных. Как форма их шоферов. Как тьма, окутавшая зловещий замысел.

Кортеж подъехал к поселку, когда руководство СА в полном составе разошлось по апартаментам, дабы предаться всевозможным утехам. Лишь уборщики и ночные портье стали свидетелями невероятного зрелища: из головной машины выбрался диктатор всея Германии и с пистолетом в руке прошагал в отель.

Гитлера сопровождал человек с безвольным подбородком и в очочках в металлической оправе. Как и все, он был в черной форме, кокарда — череп со скрещенными костями, в руке пистолет. Солдаты были вооружены автоматами.

В своем номере на втором этаже Гельмут рассеянно принимал ласки молодого штурмовика, которого накануне подцепил в Мюнхене.

Настроение было квелое.

Вечер вылился в жуткую скукотищу, наутро ожидалось продолжение.

Гельмуту претили деланное дружелюбие и вся эта атмосфера летнего лагеря: хоровое пение и нелепые пьяные игрища, напрочь лишённые прелести нежного обольщения. Что за радость в скотском совокуплении хамов, напившихся до свинячьего визга? И от ритуала унижения новобранцев просто мутило. За ужином двух юнцов с пушком на щеках заставили догола раздеться и встать по стойке «смирно», вскинув руку в нацистском салюте, а Рём и его приспешники метали в них еду.

Однако Гельмуту не суждено было изнывать на втором дне конференции штурмовиков, ибо день этот не наступил. Инстинкт выживания, спасавший Гельмута во всевозможных немецких безумствах, на сей раз его подвел. Он поставил не на ту лошадь. Лучше бы подыскивал уступчивых старлетов и подружек для Геббельса и Геринга, нежели мальчиков для Рёма. Ибо дни Рёма как второго лица рейха были сочтены. Его громадную бандитскую организацию вскоре усмирит зловещая сила еще мрачнее. История назовет это «Ночью длинных ножей».

Все закончилось очень быстро.

Возможно, Гельмут и его любовник слышали шум в коридоре, но не придали ему значения. Рёмова клика всегда веселилась шумно. Всю ночь слышались вопли и грохот — мальчиков перегоняли из комнаты в комнату. Скажи кто Гельмуту, что в сопровождении отряда СС по темным коридорам шастает сам Адольф Гитлер с пистолетом в руке, он бы не поверил.

Гельмут еще увидел, как в щепки разлетелась дверь, как молодой штурмовик отвлекся от его промежности, как в комнату ввалились черные фигуры с автоматами.

Еще услышал нутряной рык «Извращенцы!», а потом...

Небытие. Мозги Гельмута изгваздали подушку. Мозги любовника изгваздали живот Гельмуту.

Накануне, далеко в Берлине, Фрида полдня и весь вечер набирала номер, который дал Вольфганг, но слышала только гудки. Утром снова попыталась, однако номер был отключен.

## Зона, свободная от арийцев

### Берлин, 1935 г.

В школе Пауля и Отто объявили расовую сегрегацию. Об этом чрезвычайно сурово и самодовольно известил классный руководитель, встав под портретом Гитлера. Оба, наставник и фюрер, излучали непреклонную решимость взвалить на плечи героический труд по унижению и запугиванию незащитных подростков.

— Недопустимо, когда в школе немецкие дети вынуждены общаться с евреями, — вещал наставник. — Посему ученики-евреи должны быть отделены и сидеть лишь друг с другом на местах, которые им милостиво отведут.

Затем он назвал шестерых мальчиков, чья национальность и так всем была известна. Он медленно зачитал фамилии — после каждой следовали долгая пауза, гадливая усмешка и покачивание головой. Все, кого назвали, должны были встать.

— Евреи — злосчастье Германии, — торжественно произнес учитель фразу, ежедневно звучащую во всех школьных классах страны. — Вы шестеро — наша беда. Вы — *ядовитые грибы*.

Грубый и намеренно унижительный навет был цитатой из детской книжки «Ядовитый гриб»<sup>[59]</sup> — первого учебного пособия всякого германского ребенка, включая евреев.

— Из уроков по расовой науке мы знаем: человеческое общество подобно поляне, где существуют съедобные и несъедобные грибы. Так и у людей: один вид ядовитый, другой — нет. Разумеется, еврейские особи — наиболее вредоносный вид. Запомните, мальчики: порой самый ядовитый гриб выглядит вполне безобидно. Сколько погибло простодушных дровосеков, уверовавших, что нашли съедобный гриб! И организм нашей нации долго пребывал в заблуждении, что евреи безвредны. Как эти шестеро, издавна затесавшиеся в наши ряды.

Учитель помолчал. Шесть учеников так и стояли.

— А как быть с тобой, Хартманн? — Наставник глянул на испуганного паренька за партой. — Ты знаешь, что такое *гибрид*? Конечно, знаешь. На уроках биологии вам рассказывали, что в животном мире все особи держатся своего вида. Стадо серн никогда не пойдет за вожаком-оленом. Скворец спаривается со скворчихой. Смешение особей порождает

уродливую помесь, наделенную худшими свойствами каждого вида. Это наука, мальчики! Простая чистая наука, и ты, Хартманн, — научный пример подобной гибридной смеси. Полукровка. Помесь. Встань.

Хартманн поднялся. От позора багровый. Одноклассники опешили. Многие отвернулись.

— Мать этой полукровки — еврейка, — поведал учитель. — Немецкая кровь отца испорчена. *Безнадёжно* испорчена. Хартманн — метис. Нечистокровный плод смешения рас. Он будет сидеть с евреями, пока закон не прояснит его статус. Отныне эти семь учеников существуют отдельно. Мы лишь терпим их присутствие в классе, не более того. Немецким ученикам запрещено с ними общаться. Они — *ядовитые грибы*.

Класс был потрясен. С детства ребята были вместе, и нынешнее разделение резало по живому многие связи. Впрочем, весь прошлый год евреев поносили беспрестанно и по всякому поводу, отчего многие дружбы зачахли, и только храбрец готов был разрываться на два лагеря.

Шесть евреев и один метис взяли свои учебники и понуро пересели в угол. Они прекрасно понимали: это еще один шаг к тому, чтобы жизнь их стала невыносимой. Пять евреев сели за парты. Один так и стоял.

— Сядь, Отто Штенгель, — приказал учитель.

Набычившись, Отто стоял руки в боки.

— Я хочу кое-что сказать, — заявил он.

— Скажешь на перемене. Сядь и открой учебник.

— Я скажу сейчас.

Пауль дернул его за куртку.

— Отто, сядь, — прошипел он. — Пожалуйста.

Но Пауль понимал, что брата не остановить. Уж если что задумал — сделает, наплевав на последствия. Убийство Карлсруэна (о чем братья редко говорили, но часто думали) на обоих сказалось сильно, но совершенно по-разному. После этого страшного события Пауль стал еще осторожнее и расчетливее. Не то чтобы в нем не было страсти — врага он ненавидел не меньше Отто и не менее глубоко переживал всякое унижение. Однако понимал, что гордыня и горячность вредят не только задаче выжить — они вредят и отмщению.

— Одолеть врага — не значит его убить. Главное — не дать ему убить нас, вот в чем вся хитрость, — говорил он брату.

Победа над маминым обидчиком придала Отто злобной силы. Они успешно отбили атаку на семью. Вот что было главное. И Отто стал еще бесшабашнее. Одного он уже угрохал. Почувствовал вкус вражеской крови. И понял: если с врагом сражаться, можно нанести ему урон.

Скотский арест Вольфганга тоже по-разному повлиял на братьев. Пауль изо всех сил старался об этом не думать, иначе накатывали страх, отчаяние и полное бессилие. Он понимал, что лучшей поддержкой отцу станет помощь матери. Стремление жить. Прилежание в школе и усердие в каждодневном выживании.

Отто же беспрестанно думал об отце, и мысли эти переполняли его злобой. Ярость, бившая через край, наделяла его бесстрашием.

Вот и сейчас, уполномоченный кровью на своих руках и отцовской бедой, Отто ополчился на учителя и одноклассников.

— Это зона, свободная от арийцев! — Он обвел рукой парты, выделенные евреям. — Вход сюда вам запрещен, чтобы евреям не приходилось общаться с вами. Этот приказ — моя *непоколебимая воля!* — рявкнул Отто, пародируя человека, чей портрет висел над доской.

От такой неслыханной дерзости в классе воцарилась оглушительная тишина. Длилась она секунды две, но Пауль успел на стуле отъехать к стене, обезопасив тылы.

Затем началось побоище.

Правда, кое-кто из «немцев» счел заявление Отто уморой и покатился со смеху, один-другой в восторге даже грохнули крышками парт. Однако большинство взбесились и тотчас сформировали карательный отряд числом восемь бойцов, которые вскочили на ноги и ринулись к Отто. Впрочем, даже столь весомое численное преимущество не привело атакующих к успеху. Отто был крепок, а уроки бокса даром не прошли. Кроме того, ограниченный плацдарм и заграждения из парт не позволяли развернуть полномасштабную атаку. Авангард из двух бойцов Отто вывел из строя, прежде чем подтянулись главные наступательные силы. Пауль уже был рядом с братом и отбивал атаки тех, кто, совершив обходной маневр вокруг парт, пробивался с фланга. Конечно, Пауль понимал, что от боя не уклониться. С младших классов все в школе знали, что братья Штенгель сражаются в паре.

Рукопашную остановили трости классного руководителя и еще двух учителей, призванных из соседних классов, — внедрившись в свалку, наставники раздавали удары направо и налево. Когда удалось восстановить относительный порядок, Отто выволокли к доске. Он утер кровь с лица и злобно зыркнул заплывшим глазом.

— Немедленно к директору, Штенгель! — рявкнул классный наставник. — Тебя высекут и вышвырнут из школы! Не сомневайся!

— Поздно. — Отто сплюнул через разбитую губу. — Я ухожу. Отто пробудился! — выкрикнул он, переиначив любимый лозунг нацистов. —



Вы упекли моего отца. Меня вам не удержать.

С этим он покинул класс навсегда.

Взбешенный еврейской наглостью, учитель повернулся Паулю:

— Ну, Пауль Штенгель? — Губы его тряслись. — Есть что добавить?

— Нет, господин учитель, абсолютно нечего! — Пауль вытянулся по стойке «смирно». — Я с благодарностью приму любое место, какое школа соизволит мне отвести! Кроме того, приношу глубокие извинения за безобразную выходку моего брата. Он глуп и горяч, но уверяю вас, он еще научится себя вести, а пока умоляю простить его дурость.

— Что ж, ладно, — буркнул учитель, падкий на раболепие. — Учись, еврей.

## Дельфин на берегу

Берлин, 1935 г.

Вскоре после указа, разделившего учеников в классах, евреям запретили посещать общественные плавательные бассейны.

Особенно больно запрет ударил по Дагмар Фишер. Для нее плавание всегда было важно, и после смерти отца она все чаще искала анонимного уединения на водных дорожках. Великолепный бассейн Шарлоттенбурга и бескрайние озера Ванзее были ее убежищем. Там она находила покой и утешение. Стремительный кроль в прохладной воде ненадолго затмевал мучительные воспоминания об аресте и убийстве отца. Перевороты, нырки и «ножницы», с балетным изяществом исполненные не для кого-то, а для себя, на время вымывали из памяти вкус тротуара на Курфюрстендамм.

— Может, и хорошо, что папа этого не видит, — сдерживая слезы, сказала Дагмар братьям. Всякий раз, как она вспоминала погибшего отца, глаза ее увлажнялись. — Я научилась плавать едва ли не раньше, чем ходить. Папа меня учил. Мне было два года, когда он повез меня на озеро Комо в Италии. Папа называл меня «дельфинчик Дагмар». И так мною гордился.

В школе Дагмар была недосягаемо лучшей пловчихой. Настоящая спортсменка, стройная и сильная, она, говорили тренеры, уже в отрочестве подавала большие надежды.

— Когда объявили, что Олимпиада пройдет в Берлине, от радости мы с папой плясали. Правда! Наверное, вам смешно, он же всегда был такой строгий и сдержанный. Но в тот день он схватил меня в охапку и мы стали танцевать. Он уже видел, как я выиграю золото для Германии! Конечно, все это было еще до нацистов. Теперь мне нельзя даже тренироваться, какие уж там соревнования. Чего они боятся? Что мое еврейство растворится в воде и испортит их истинно арийские носы?

Дагмар расплакалась, и братья беспомощно переглянулись — как всегда при виде ее слез.

— Они бы только похорошели! — проворчал Отто. — Даг, они все это затеяли, потому что знают: мы гораздо лучше их. Вот отчего они нас ненавидят.

— Что ты несешь! — От возмущения Пауль задохнулся. — Сам-то себя послушай! Они возомнили себя высшей расой, мы считаем себя избранным народом. На хрен всех, вот что! Я — это я. И все. Просто я.

— Ага. Ты — мандюк, — выдохнул Отто. На пушистом розовом ковре он качал пресс, ибо редкую минуту не использовал для упражнений. Всегда готовился к предстоящим сражениям.

Воскресный полдень, самое скучное время. Пауль и Отто сидели в спальне Дагмар — одном из немногих мест в Берлине, куда им вход не заказан.

— А мы разве не особенные, Паули? — Дагмар разлеглась на кровати и, затянувшись сигаретой, выпустила дым в потолок. — Нам поэтому так и достается.

— Нет, Даг, болтовня об избранности — то же самое, что нацистская брехня о расовой элитарности. Люди есть люди, и все произошло от обезьян. Если б Отто не был евреем, он бы, наверное, стал нацистом.

— Иди на хер, — просипел Отто — руки на затылке, морда красная, вены взбугрились.

— Надо же, какая эрудиция! — фыркнул Пауль. — «Мандюк», «иди на хер». Блестящая аргументация, Оттси. Теперь понятно, как ты попал в «избранные». Наверное, благодаря языковым познаниям.

— Девяносто два... девяносто три... — пыхтел Отто.

— Ух ты, обезьяна умеет считать!

— Сто! — победоносно объявил Отто и, тяжело дыша, откинулся навзничь. Потом, глядя в потолок, добавил: — Я чего говорю-то: они не пускают Даг плавать, потому что боятся — вдруг выиграет.

— Конечно, выиграю! — рассердилась Дагмар. — Я всегда побеждаю... вернее, побеждала. А теперь что? Бегать на стадионе — нельзя, плавать в бассейне и озере — нельзя. Если буду сидеть сиднем, я растолстею!

Дагмар с матерью жили в том же особняке в Шарлоттенбург-Вильмерсдорф, который их семья занимала в донацистские времена. Правда, теперь многие комнаты были заперты, а прислуга сильно уменьшилась числом: евреи не имели права нанимать арийцев.

Большой дом стал тюрьмой. После смерти мужа фрау Фишер отчаянно пыталась вновь придать ход застопоренной эмиграции. Въездные визы в США еще действовали, а вот немецкие выездные были отозваны. Мстительные нацисты решили, что смерть Исаака Фишера — недостаточная расплата за правду о Германии, пусть и родственники его страдают. Всего лишь на прошлой неделе фрау Фишер запросила разрешения покинуть страну и получила очередной отказ. Отказ тем более обидный и горький, что для подачи прошения она выстояла шестичасовую очередь в конторе на Вильгельмштрассе.

— Говорят, мы станем клеветать, поэтому нас не выпустят, — уныло поведала Дагмар.

— Может, оно и к лучшему, а? — сказал Отто. Теперь он выполнял жим лежа, используя пуфик от туалетного столика. — Уедешь со мной в Палестину.

— Куда? — удивилась Дагмар. Отто никогда не поминал Палестину.

— Как, ты не слыхала? Теперь он сионист, — с едким сарказмом сказал Пауль. — Блин! Отто, ты даже не знаешь, где находится Палестина!

— Знаю! — возразил Отто. — Маленько пониже Турции, где-то там. Верно?

— Это Ближний Восток, где уже полным-полно арабов.

Новообретенный братнин сионизм смешил и раздражал Пауля. Многие берлинские евреи поговаривали об отъезде в Палестину. Даже нацисты допускали это как возможное решение «еврейского вопроса».

— Там наша родина! — напористо сказал Отто. — Больше и знать ничего не надо. В будущем году — в Иерусалиме!

Дагмар засмеялась. Еще недавно было не сыскать более аполитичного человека, чем Отто Штенгель. А также менее набожного и благочестивого. До мозга костей он был мальчишкой. Его интересы ограничивались спортом, механикой, едой, музыкой и Дагмар. В школе ему нравились только столярное дело и живопись, а из относительно пассивных занятий — музыка. И вот теперь, ухватив в еврейских кофейнях пару нелегальных брошюр, Отто вдруг заговорил языком сионистских политиков.

— Надо же! Родина! — возмутился Пауль. — Это было *две тысячи лет* назад, Отто! Хочешь верь, хочешь нет, с тех пор кое-что изменилось. Нынче Палестина — родина... Кого? Дай подумать. Вспомнил! Палестинцев. Понятно? В Палестине живут палестинцы. Подсказка в имени нации. Вряд ли они шибко обрадуются пятнадцатилетнему немецкому еврею, который вдруг заявит, что это его земля.

— Значит, отберем землю, — буркнул Отто. — Другого выхода нет.

— Здорово! — рявкнул Пауль. — А потом запрети арабам посещать парки и бассейны.

Это напомнило Дагмар о ее собственных горестях.

— Десять лет я ходила в здешний бассейн, — горько сказала она. — Начала еще в детстве. Знаю всех тамошних служителей, почти все со мной заигрывали. А вчера говорят: тебе нельзя. Мы пришли классом. Пока все плавали, я и еще две девочки-еврейки ждали в администраторской. Та к *унизительно!* Раньше все девчонки просились в мою команду. А

купальники школа без наценки купила в папином магазине. До сих пор в них плавают!

Дагмар опять расплакалась. Отчаянно, беспомощно.

И без страшного удара, нанесенного смертью отца, перемены в жизни Дагмар были гораздо круче и жестче, чем у большинства берлинских евреев. Как все обычные люди, те были знакомы со всякими мелкими запретами, обидами и разочарованиями. А вот жизнь Дагмар до 30 января 1933 года была просто сказочно счастливой. Единственная драгоценная дочь невероятно богатых и любящих родителей, она обитала в самом сердце прекраснейшего из европейских городов. Мало кого на свете так пестовали, и мало кого ожидало будущее лучезарнее и счастливее. И теперь яркие воспоминания о той жизни изводили Дагмар. На каждом шагу встречались те, кто некогда перед ней лебезил, а нынче, похоже, злорадствовал над ее несчастьем.

Дагмар отерла слезы и полезла за платком, презрительно надувшись.

— Видал? — Отто мрачно взглянул на брата. — Ты понимаешь, что происходит? Нас перемалывают. Надо что-то делать.

— Я делаю, — ответил Пауль.

— Что? Учишься?

— Да. Учусь.

— Ха! И что проку? Евреи всегда учились. *Учиться, учиться, учиться!* Мама беспрестанно талдычит. На фига? Какая выгода? На хрен учебу. Мечтаешь стать юристом? Смехота! Какой нам толк от законов? Законом нас и удельывают. И потом, евреям запрещено быть юристами. И прочая достойная работа не для нас. Ты кончишь высокообразованным нищим!

— Вот что я тебе скажу. Когда я отсюда уеду, неважно куда — в Палестину, Лондон или Тимбукту, я буду готов. Смогу предложить свои знания. Прекрасно, что ты тягаешь тяжести и ходишь с ножом в кармане, но их всех не перебьешь. Нужен *план*.

Пауль хотел бы продолжить лекцию, однако он сидел на полу, спиной привалившись к кровати, с которой свесились длинные голые ноги Дагмар. Обнаженная плоть любимой была так близко, что даже аналитический мозг не мог сосредоточиться ни на чем ином.

— Ненавижу школу! — Дагмар дрыгнула ногой и досадливо пошевелила пальцами. — А теперь еще нас отсадили.

Пауль не слушал. Он созерцал милые крашенные ноготки и изящные лодыжки. Отто тоже уставился.

Обоим жутко хотелось расцеловать эти ножки.

— Я и две другие еврейки позорно жмемся друг к другу, — сказала Дагмар, в кои-то веки не заметив сногсшибательного впечатления, производимого на братьев любой ее оголенной частью. — Раньше мы даже не дружили. Эти девочки на бесплатном обучении. Бывало, я свысока на них поглядывала. Смешно. Теперь так смотрят на меня.

— Лично мне плевать, что нас рассадили. — Не выдержав убийственного воздействия темно-красных ногтей, Пауль отъехал от края кровати. — Ну и что? Я прихожу работать, а не трепаться. Хрен-то с ними. Если по приказу они со мной раздружились, значит, паршивые друзья. Нечего о них и думать.

Дагмар скинула ноги с кровати, две пары глаз жадно следили за каждым ее движением. Из прикроватной тумбочки она достала пачку сигарет.

— Черт, ты смолишь одну за другой! — сказал Пауль. — Мать не учует?

— Учует, ну и что? Раньше я ее слушалась, но после папы все стало по-другому. Я даже не проветриваю. Вообще-то я думаю, ей все равно.

Мальчики кивнули, хотя не очень поняли. Отца отправили в концлагерь, что, конечно, сильно сказалось на их семейной жизни, однако несколько не уменьшило мамино главенства. Наверное, потому, что в их доме Фрида всегда была главнее Вольфганга.

Дагмар угостила братьев сигаретами:

— Французские. «Житан». Присылает француженка, с которой я переписываюсь.

Втроем молча покурили.

— Наверное, я сделаю, как ты, Отт, — с внезапной злостью сказала Дагмар. — Брошу школу. Ненавижу ее. Все на меня так смотрят.словно я больная или калека. Многие пытаются быть добренькими, но это еще хуже. Я несчастный ребенок с неизлечимой еврейской болезнью. И потом, там он. Всюду, везде.

— Кто?

— Ну он. Этот человек. В каждом классе его портрет. Пучится как псих ненормальный. Хотя он и есть псих. Он убил папу. И не разрешает мне плавать. Чего он взъелся? Какая ему разница, плаваю я или нет?

Дагмар яростно затаилась, чтобы опять не расплакаться.

Пауль и Отто переглянулись, не в силах помочь ей в несчастье.

— Не бросай школу, — мягко сказал Пауль. — Не дай им тебя одолеть.

— Фигня, бросай! — фыркнул Отто. — Пошли их всех. Чего сидеть и слушать, как они распевают «Хорста Весселя»? Я знаю, почему Паули

такой зубрила. Чтобы писать тебе дурацкие письма на латыни. Думает, шибко умный!

— Гад! — опешил Пауль. — Ты рылся в моей тетради!

— Да. Вот уж мура! *Pulchra es amo te*. Я глянул в словаре. Ты так прекрасна, Даг, и он тебя любит! *Oculi tui sicut vasa pretiosa* — твои глаза как самоцветы! Ха-ха! Просто хрень собачья!

От ярости багровый, Пауль вскочил и сжал кулаки:

— Сволочь ты, Отт!

— Сам сволочь! — Отто соскочил с розово-золотого пуфика, на который только что сел, и принял боксерскую стойку.

— Здесь не драться, мальчики! — крикнула Дагмар. Лицо ее озарила слабая улыбка — соперничество близнецов за ее благосклонность всегда немного воодушевляло. — Вы такие неуклюжие здоровяки, все тут разломаете. И потом, Отт, мне нравятся письма на латыни.

— Я хотел сделать для тебя что-нибудь непростое, — оправдывался Пауль, пунцовый от смущения. — Чтобы ты поняла, как я старался, и впечатлилась.

— Ты бы высек письмо на Бранденбургских воротах, — пробурчал Отто. — Вот уж непросто.

— Я впечатлена, Пауль, — сказала Дагмар. — Обожаю твои письма. Кроме того, приходится учить уроки, чтобы их прочесть. Подруги не верят, что один мой парень пишет мне на латыни... А другой посвящает песни.

— Что? — вскинулся Пауль. — Отт сочиняет для тебя песни?

— А ты не знал? — ухмыльнулась Дагмар. — Очень милые.

— Вот гад ползучий! Когда ж ты успел?

— Пока ты протираешь штаны в школе, дружище.

— Значит, он без меня к тебе таскается и наяривает песни?

— Ну, всего пару раз, — стыдливо призналась Дагмар.

— Понял? — возликовал Отто. — Зубрила не всегда самый умный.

— Не ревнуй, Паули, — успокоила Дагмар. — Ты же знаешь, я люблю вас обоих.

— А ты знаешь, что когда-нибудь придется выбирать, — выпалил Пауль. — Мы уже сто раз тебе говорили.

— Единственное, в чем я с ним согласен, Даг. Когда-нибудь придется выбрать.

— Наверное, я предпочту того, кто увезет меня отсюда, — сказала Дагмар.

Она вроде бы шутила, но в этой шутке была немалая доля истины. Мысль о том, как выжить, надолго никого из них не покидала.

— Я тебя увезу, Даг, — твердо сказал Пауль.

— Нет, я тебя увезу.

— Так что? — засмеялась Дагмар. — Похоже, мы уедем втроем.  
Здорово, правда?



## Новые законы

### Берлин и Нюрнберг, 1935 г.

Вольфганг не сгинул в нацистской неволе.

Концлагеря, спешно созданные в первом угаре власти штурмовиков, еще не стали фабриками смерти, в которые превратятся под началом СС. Как и предрекал Пауль, Вольфганг вернулся.

— Олимпиада! — ослабилась часовой, выпуская группу эков, которые приковыляли, прихрамали и почти что приползли к деревянным воротам с колючей проволокой. — В глазах мира надо выглядеть пригоже, точно? Глядишь, из вас соберут команду для эстафеты.

Изможденные скелеты, ковылявшие на относительную свободу, оценили шутку. Здоровье всякого, кто около года провел под опекой СА и все же уцелел, было безнадежно подорвано, и Вольфганг не был исключением. Голодная диета, тяжкий труд и воздействие химикалий крепко его подкосили. Мучил ревматизм, печень и почки были ни к черту; вдобавок он подцепил туберкулез. Последнее означало, что, несколько минут поиграв на любимой трубе, Вольфганг начинал задыхаться.

— Все равно что футболисту отрезать ноги, — сетовал он.

Однако скрипка и пианино были ему по силам, ибо в неволе он как мог берегал пальцы.

— Когда меня сбивали с ног, я сжимал кулаки и прятал руки под себя, — рассказывал он. — Охранники старались растоптать пальцы. Многие берегли яйца, а я — руки.

— Ну спасибо тебе! — Фрида пыталась шутить. — Нет чтобы обо мне подумать!

— Не волнуйся, крошка! — Изможденное лицо Вольфганга расплывалось в щербатой улыбке. — Ты же знаешь, у меня яйца из стали. Об них штурмовики ломали ноги.

Шутка пришлась ему по душе, и он без конца ее повторял, отчего морщились сыновья и Зильке, которая вечно паслась у Штенгелей.

— Пап, нас коробят подобные разговоры, — сказал Пауль.

— Точно, — поддакнула Зильке. — Прямо уши вянут, когда старики болтают о сексе и всяком таком.

— Что-то с трудом верится в вашу щепетильность, детки, — усмехнулся Вольфганг. — После того, что было.

Он глянул на пол, прежде укрытый толстым синим ковром.

Конечно, первым делом ему поведали, что произошло в вечер его ареста. Как жену его чуть не изнасиловали, как тринадцатилетние сыновья, поддержанные Зильке, оглушили и удавили обидчика на этом самом полу.

— Перестань, Вольф. — По лицу Фриды пробежала тень. — Я стараюсь об этом не вспоминать.

— Понимаю, Фредди, — сказал Вольфганг. — Это ужасно, но я очень горжусь мальчиками и Зильке. Могу только надеяться, что мне хватило бы духу поступить так же.

— Хватило бы, пап, — заверил Отто.

— Да, — поддержал Пауль. — Сделал бы не задумываясь. Как мы.

Троица переглянулась. Даже намеком они редко говорили о событиях той кошмарной ночи, но всегда о них помнили и часто видели во сне.

Если о происшествии и говорили впрямую, то лишь в чрезвычайно редкие визиты Дагмар. Казалось, она слегка завидует трем членам Субботнего клуба, которые без нее прошли столь жестокое судьбоносное испытание. Пусть близнецы любили ее и только ее, с Зильке их сближало нечто, чего не извела она.

— Я бы смогла, — заверяла Дагмар. — Сама бы его убила. Или уж сделала бы не меньше Зильке.

— Я заворачивала его в ковер! — огрызнулась Зильке. — И помогла сбросить в реку!

— Давай еще расскажи подружкам по ЛНД, — посоветовала Дагмар, когда в очередной раз, невзирая на Фридин протест, возникла эта тема. — В самый раз для баек у лагерного костра.

Зильке, одетая в форму Лиги немецких девушек, покраснела. Она всегда смущалась, когда в нацистских регалиях приходила к Штенгелям, но выбора не было. Как у многих девушек из рабочего класса, униформа ЛНД была самым красивым и носким нарядом в ее гардеробе. Кроме того, нынче она дежурила и заскочила попрощаться перед отправкой на Нюрнбергский съезд.

— Странно, что тебя отправляют сейчас, — сказала Фрида, радуясь возможности сменить тему. — До парада еще месяц.

— Верно. Знаете почему? Мы идем *пешком*. Правда! От Берлина до Мюнхена. Дети со всех концов страны пойдут пешедралом. Говорят, это в знак нашей силы и сплоченности.

— На целый месяц детей вырывают из семьи?

— Слыхали анекдот? Нынче из-за гитлерюгенда, ЛНД, СА и Женской лиги добропорядочная немецкая семья собирается вместе только на Нюрнбергском параде.

Фрида грустно улыбнулась.

— А как же школа?

— Для партии образование не важно. Главное — преданность.

— Нарукавную повязку-то могла бы снять, — фыркнула Дагмар. — Между прочим, здесь одно из немногих мест, где мы не обязаны любоваться свастикой.

Конечно, в гостинной Штенгелей Зильке смотрелась чужеродно: черный берет, из-под которого выглядывали густые светлые волосы, собранные в хвостики, свастика на рукаве коричневой блузы.

— Она пришита, — оправдывалась Зильке. — И хорош язвить! Я не виновата.

— Конечно, не виновата. Никто ни в чем не виноват, кроме самих евреев, да?

— Кончай, Даг, — вмешался Пауль. — Членство в Лиге немецких девушек еще не означает, что Зильке — нацистка.

— Я даже сомневаюсь, что она девушка, — ответила Дагмар.

— Дагмар! — укорила Фрида.

— Я не нацистка! — выкрикнула Зильке. — Я коммунистка, сама знаешь.

— Два сапога пара, — отмахнулась Дагмар.

— Так говорить — свинство и дурь! — озлилась Зильке. — Мы ненавидим нацистов.

— Ты же ничего не знаешь про коммунизм, — надменно сказала Дагмар.

— Побольше тебя знаю! Я читала. Когда жгли книги, я стащила Маркса и Ленина. У нас многие тырили книжки. Подружка моя свистнула «Колодец одиночества»<sup>[60]</sup> — там про лесбиянок, а она себя мнит розовой. В ЛНД вовсе не все нацисты. Многие вступили ради веселья.

— Какого? До одури маршировать? — фыркнула Дагмар. — Обхохочешься!

— Да не так уж много мы маршируем. — К Зильке вернулось хорошее настроение. Обычно она недолго злилась на высокомерную Дагмар. Отчасти из сочувствия к ее утратам, но еще и потому, что давно поняла: близнецы, чьим расположением она дорожила, всегда примут сторону соперницы. — Еще кидаем набивные мячи, в трусах прыгаем сквозь обруч, сигналим шарфами. Это же не гитлерюгенд. Из нас не делают солдат. В ЛНД гораздо свободнее, потому что партии в общем-то нет дела до девочек.

— Похоже, тебе там нравится.

— Знаешь, да. Мы часто ходим в походы, и еще я научилась вязать.

— Да уж, кому-то везет, — сухо заметила Дагмар. — Я бы тоже отправилась в поход или на природу, да вот нас никуда не пускают.

— Я понимаю, — загорячилась Зильке. — Сочувствую тебе и все такое, но ведь раньше у тебя было полно всяких праздников. А у меня ни одного. Впервые праздник мне устроила ЛНД. Прежде рабочий класс не имел возможности... — Она смущенно осеклась. — Не в том смысле, что теперь жизнь *лучше*. Я не к тому, что... Просто для *меня* стало лучше, вот и все.

— Безумно рада за тебя, — ответила Дагмар.

Вмешалась Фрида, вечный миротворец.

— Конечно, поход — это здорово, — мягко сказала она. — И на параде будет очень... интересно. В газетах пишут, нынче соберется еще больше людей. Не представляю, как это возможно. В прошлом году было семьсот тысяч.

Парад 1934 года был запечатлен в документальном фильме «Триумф воли»,<sup>[61]</sup> извещавшем мир о грандиозной победоносности нацизма. Мрачный интерес погнал Фриду в кинотеатр. При покупке билета документов не спрашивали. На этих сеансах никак не ждали евреев.

— Столько народу! Сотни, тысячи идеальных шеренг, — сказала Фрида. — Где ж найти уборные на такую уйму?

— Писали где придется, — разъяснила Зильке. — Где-нибудь присядешь, а то и прямо где стоишь. Если оказался в первых рядах, дуешь в штаны. Бедняги выстаивали по восемь часов и больше. В сортирной зоне вонь стояла кошмарная, но в фильм это не попало. Пусть это триумф воли, но уж никак не триумф канализации. Нынче в утро парада я ни глотка не выпью.

Съезд 1935 года оказался грандиознее своего предшественника. И гораздо важнее — по крайней мере, для немецких евреев.

Были оглашены новые законы. Антисемитизм, стержень немецкой жизни, утверждался официально.

Пресловутые «Нюрнбергские законы».<sup>[62]</sup>

Зильке не поняла, о чем говорилось. Она стояла в восьмидесятом ряду, ей нестерпимо хотелось писать. Усиленный динамиками голос, скрежетавший над парадом, казался собачьим лаем из бочки.

Но в Берлине Фрида, прикипя к радиоприемнику, разобрала каждое слово фюрера и поняла, что они означают для ее семьи.

Для ее сыновей.

— Вольф, надо рассказать мальчикам, — прошептала она.

Вольфганг пытался найти какой-нибудь другой выход.

— Думаешь? — спросил он. — Но ведь в этих законах ничего нового по сравнению с тем, что мы уже имеем.

— Как ты не понимаешь? Теперь все официально. Медленно, но верно нас загоняют в ситуацию, когда закон нас не только не защитит, но сам уничтожит. *Легально*. Досточка за досточкой они строят виселицу, и когда нас с петлей на шее поставят над люком, все будет выглядеть неизбежной справедливостью. Дескать, прикончить вас требует закон. Административный вопрос. Вне чьих-либо полномочий. Мол, извините и все такое, но закон есть закон.

— Сволочи. — Иных слов у Вольфганга не нашлось.

— Разумеется, закон этот коснется лишь троих из нас, — взволнованно сказала Фрида.

Помолчали, думая о секрете, с которым жили пятнадцать лет.

О тайне, бывшей некогда сугубо семейным делом.

Личным переживанием. Вопросом, к которому они собирались когда-нибудь вернуться, но так, чтобы четыре члена семьи продолжали жить как прежде.

Собственно говоря, Фрида и Вольфганг давным-давно решили: в конце концов они объявят мальчикам, что один из них приемыш, но сначала не скажут, кто именно. Объяснят, что это не имеет никакого значения, а всю правду они раскроют как-нибудь потом. А может, и нет.

Потому что невозможно сказать, кто из них роднее.

Как невозможно сказать, кто больше похож на родителей. Пауль в мать прилежен и усидчив. Отто в отца бесшабашный лодырь. Отто, как отец, музыкален, а Пауль, как мать, мечтает помогать людям. Пауль темноволос, как Фрида, Отто рыжеват и конопат, как Вольфганг.

— По-моему, мы поставили любопытный эксперимент, в котором воспитание взяло верх над природой, — в беззаботные времена говаривала Фрида. — Может, когда-нибудь напишу диссертацию.

Но в гитлеровской Германии понятия «природа» и «воспитание» благополучно почили. Их полностью заменило нечто под названием «кровь».

«Кровь!» — вопил по радио *этот человек*.

Любой ценой надо защитить немецкую кровь.

Каждый человек в стране должен пройти проверку, которая определит, сколько в нем «немецкой» и сколько «еврейской» крови.

Секрет, в 1920 году зародившийся в учебном медицинском центре,

больше не мог оставаться секретом.

## Романтический жест

### Берлин, 1935 г.

До четырнадцати с половиной лет Отто и Пауль почти все делали вместе. Веселились. Дрались.

Вместе влюбились в одну девочку.

Вместе убили.

Конечно, последнее было вызвано жесткой необходимостью, не оставлявшей выбора. Но когда Отто решил создать «отряд возмездия» и отдубасить штурмовика, братья разделились.

— Мы и не такое делали, — мрачно сказал Отто, когда брат отменил его план. — Кое-что похуже, забыл, что ли?

— Заткнись, дубина! — прошипел Пауль. — И *никогда* об этом не говори вне дома, понял?

— Я буду говорить и делать что хочу, — ответил Отто. — И это сделаю.

— Значит, ты совсем спятил. Тебя грохнут, ты разобьешь мамино сердце.

Но Отто был непреклонен. Настало время дать сдачи. Обозначить фронт и начать контратаку. Пусть это кроха, но кто-то должен что-нибудь *делать*.

Дагмар пришла в восторг.

Глаза ее буквально засияли, когда Отто изложил свой план. Дело происходило в ее спальне пастельных тонов, где вечерами троица частенько покуривала. Идея конкретного воздаяния была точно крохотная искра в кошмарной тьме нынешней жизни.

— Что значит — отряд возмездия? — спросила Дагмар.

— Да то и значит. — Отто старался говорить небрежно и буднично. — Я и еще пара-тройка еврейских парней из нашей округи отметелим нациста. В нашу компанию просятся коммуняки и прочие, но их не берем. Это наш бой.

— Вот так решит и полиция, которая за нами придет, — сказал Пауль.

— Легавые не допрут, что тут замешаны евреи, — ответил Отто. — Я все продумал. Мы заберем деньги — как будто ограбление. И потом, даже если нас обвинят, чего еще нам сделают?

— Рехнулся? Забыл, что сделали с папой в лагере? А с герром Фишером?

Последний довод возымел обратный эффект. Дагмар еще горячее поддержала Отто, которому ничего другого и не требовалось.

— Да, папу убили! — В голосе Дагмар слышались горечь и злоба. — Его убили, Паули. А Отто собирается вздуть одного гада. Если на свете есть справедливость, гада нужно убить.

— Нет! — вскинулся Пауль.

— Если хочешь, убью, Даг! — горячо ответил Отто. — Правда. Перережу на хер глотку.

— Не надо. — Дагмар немного успокоилась. — Не надо убивать. Не ради меня. Паули прав. Наверняка легавые дознаются. Поднимут бучу. Но если уж избить, надо все обставить как грабеж.

— Ладно, — пробурчал Отто. — А в следующий раз грохну, да?

— Хорошо. — Взгляд Дагмар был холоден и тверд. — Пусть призадумаются. Но я хочу сувенир. Принесешь мне пуговицы с его рубашки?

Пауль всполошился. Теперь уже ничто на свете не остановит брата.

— Даг! — выдохнул он. — Ты прямо как бандитка. Что с тобой?

— Что со мной? — ледяным тоном переспросила Дагмар. — Ты еще спрашиваешь? *Что* со мной?

Пауль не выдержал ее взгляда. Отвел глаза.

— Я просто боюсь, что из-за тебя Отто убьют, — пробормотал он.

— Не убьют, — отрезал Отто.

Зловеще и торжественно он выложил свой арсенал на туалетный столик. Выкидной нож, свинчатка и кастет. Среди кисточек, пудрениц и прочих девчачьих побрякушек они смотрелись весьма чужеродно.

Там же стояла красивая шкатулка, которую по случаю собственного тринадцатилетия Отто изготовил в подарок Дагмар. Тогда он был совсем мальчишка.

Дагмар подошла к столику. Потрогала вооружение. Она была в шортах и теннисных туфлях на босу ногу, что позволяло любоваться ее стройными смуглыми ногами. Блузка, узлом завязанная под грудью, оставляла открытой нежную полоску живота. Завороженные братья глазами пожирали Дагмар, но та будто не замечала их обожающих взглядов и рассматривала бойцовые штуковины.

— Давай, Отто, — прошептала она. — Пусть хоть один призадумается.

— Сделаю. Обещаю, — ответил Отто.

— Говорю же, рехнулся, — угрюмо повторил Пауль.

— Тебя не приглашают.

— Уж будь уверен, не пойду.



В трюмо Пауль увидел взгляд Дагмар. В нем читалось разочарование.

— Я буду сражаться в иных боях, — сказал Пауль, понимая, что это звучит неубедительно.

Следующим вечером Отто исполнил обещание. Впятером в переулке они подкараулили и избили двух штурмовиков. Драка была жестокой — сыпались удары кулаками и ногами, сверкали ножи. Дюжие штурмовики, поднаторевшие в уличных схватках, были сильнее пятнадцатилетних пацанов, но числом и страстной ненавистью мальчишки их одолели. Бесчувственных мужиков спихнули в сточную канаву. Обшарили карманы, забрали деньги, а потом Отто присел на корточки и выкинул лезвие ножа.

Сверкающий клинок застыл над горлом распростертой жертвы. Одно движение — и все. Отто глянул на сгрудившихся приятелей. Страх и восторг полыхали в их глазах.

— В другой раз, сучий потрох, — прошептал Отто. — В другой раз.

Затем срезал пуговицы с форменной рубашки.

В любую минуту ожидая ареста, Отто два часа петлял по городу, а потом возник на пороге Фишеров. Вид у него был весьма расхристанный, но фрау Фишер безмолвно впустила его в дом. Последнее время она вообще мало разговаривала, все больше замыкаясь в себе. Вся в своих мыслях, она, вероятно, даже не заметила его синяки, ссадины, окровавленную рубашку, выглядывавшую из-под куртки.

Дагмар заметила.

— Боже мой, Оттси, — выдохнула она, перегнувшись через перила площадки второго этажа.

Отто вспомнил Джульетту из знаменитой английской пьесы, которую в переводе заставляли читать в школе. Темно-рыжие волосы обрамляли идеальное лицо. Огромные карие глаза околдовывали и пленяли.

— Пошли ко мне, — позвала Дагмар.

Фрау Фишер вернулась в гостиную, где, прячась за ставнями, жили воспоминания о золотом времени, а Отто через две ступеньки взлетел по лестнице.

В спальне протянул руку и разжал кулак.

— Тебе, — сказал он.

На ладони его лежали пуговицы с рубашки штурмовика.

Дагмар тихо ойкнула.

— Ты смог, — шепнула она. — Ты это сделал.

— Да. Сделал... для тебя.

Дагмар подняла взгляд и улыбнулась.

Отто ослаб в коленях.

— Здорово, что ты улыбаешься, Даг, — пробормотал он. — Последнее время это нечасто.

— Не получается, всякий раз перед глазами возникает тротуар. Сапоги. А мама и папа лизут плиты...

— Не надо.

— Иногда вижу платформу и людей, которые уводят папу, но чаще — тротуар перед нашим магазином. Мое лицо прижато к тротуарным плитам. Во сне я даже чувствую их запах.

Отто молчал; они с Паулем давно поняли, что частица ее навсегда останется в том дне и никакими словами ее не утешить.

Однако сегодня было чуть иначе. Возможно, его безумный поступок хоть немного ей поможет. Даст передышку от боли и тягот.

Дагмар потрясла пуговицы в кулаке, а потом одну за другой выронила на туалетный столик — *дзынь, дзынь, дзынь*.

— Наконец-то жертва не я, — прошептала она. — Кто-то другой увидел сапоги перед глазами.

Дагмар угостила его сигаретой «Житан».

Такое бывало часто. Но в этот раз — иначе. Сногсшибательно иначе. Она сама прикурила сигарету. Зажала ее пухлыми губами, сделала затяжку и передала Отто.

Губы его прикоснулись к тому, чего только что касались ее губы.

От возбуждения Отто буквально колотило. Руки неудержимо тряслись.

После пары затяжек Дагмар забрала у него сигарету, сама курнула и вновь вставила ему в рот. Отто чувствовал вкус ее помады, окрасившей кончик.

Он даже не представлял, что курение может быть столь изощренно чувственным. С каждой затяжкой он будто вырослел на целое десятилетие.

Дагмар взяла окурок из его губ и загасила в хрустальной пепельнице, меж безделушек стоявшей на туалетном столике. Потом притянула Отто к себе и поцеловала в губы. Уже не впопыхах, украдкой, как тогда в отеле, но медленно, щедро и чувственно.

Губы ее раскрылись, Отто почувствовал ее язык.

В голове его помутилось, он был словно в горячечном бреде. Полыхал чистый беспримесный восторг. Отто пытался не упустить этот важнейший и прекраснейший миг в своей жизни.

Через секунду Дагмар отпрянула и улыбнулась.

Восхитительный миг закончился, но Отто не роптал. В таком счастье было не страшно и умереть.

А потом мягкие губы Дагмар коснулись его уха.

— Если хочешь, можешь залезть мне под блузку, — шепнула она.  
Невероятное сбылось.

Три долгих года Отто лишь об этом и грезил, и вдруг священный миг настал.

Дагмар вновь приникла к его губам, когда Отто вытянул душистую ткань из-за пояса ее юбки. Рука его нырнула под блузку и двинулась вверх, под шелковистой кожей чувствуя ребра. Пальцы коснулись груди, сначала сквозь лифчик, а потом забрались в чашку и тронули сосок.

От возбуждения Отто трясло. Казалось, и Дагмар дрожит.

Открытие ошарашило. Отто не мог и *помыслить*, что в Дагмар тоже бурлит желание. Невообразимо, чтобы божество ответило взаимностью. Можно было лишь надеяться, что оно *дозволит* преданно служить ему по гроб жизни.

Однако ее вроде бы тоже колотило.

Привалившись к туалетному столику, они врасос целовались. Отто пытался одновременно забыться и навеки запомнить неопиcуемый восторг от подлинного *прикосновения* к груди Дагмар.

Потом Дагмар его оттолкнула.

— Хватит... — выдохнула она. — Надо остановиться, пока... Не потому что я не хочу... а потому что *хочу*...

Она покраснела и смолкла.

Широченная ухмылка располовинила лицо Отто.

— Лучшая ночь в моей жизни, — выговорил он. — Взаправду. Честно. Прямо... без дураков.

Дагмар тоже улыбалась. Широко и искренне, будто на мгновение избавилась от боли. Сейчас она была не затравленной еврейкой, праздновавшей победу над врагом, но расцветающей пятнадцатилетней девушкой, которая впервые по-настоящему целовалась с парнем.

— Спасибо за пуговицы, — сказала она, заправляя блузку в юбку. — Наверное, не надо их оставлять. Ты не обидишься?

— Конечно, нельзя оставлять, — ответил Отто, все еще пунцовый от восторга. — Я их унесу и выброшу, ладно?

— Только обещай выкинуть в первую же канаву. Если вдруг их у тебя найдут...

— Не бойся, — усмехнулся Отто. — Умник у нас Пауль, но и я, знаешь ли, *не совсем дубина*.

Имя Пауля кое о чем напомнило. Они молча смотрели друг на друга, понимая, что в жизни их троицы многое изменилось.

— Ну я пойду, — сказал Отто.

Он сгреб пуговицы в ладонь, шагнул к двери и, запнувшись о толстый ковер, чуть не опрокинул туалетный столик со всеми баночками и финтифлюшками.

— Оттси, — окликнула Дагмар. — Помнишь, вы говорили, что когда-нибудь мне придется выбрать?

— Да. — Отто сглотнул.

— Ну вот, я выбрала. Паули я люблю, но... выбираю тебя.

## Приемный сын

### Берлин, 1935 г.

Домой Отто вернулся очень поздно. На облаке счастья он будто плыл над Берлином и лишь раз приземлился на Кепеникерштрассе, чтобы выбросить пуговицы в огромную кучу конского навоза.

Как ни странно, в столь поздний час родители и Пауль еще не спали.

Они ждали его.

Семья.

— Наконец-то! — проворчал Пауль. — Мама с папой хотят с нами поговорить, но без тебя не объясняют о чем. Весь вечер тебя дожидаемся, я даже не смог позаниматься.

— Ай-ай-ай, какой ужас, — ответил Отто. — Кстати, Дагмар согласилась быть моей девушкой. Извини, дружище, но вот так вот.

Услышав это жуткое заявление, Пауль вмиг забыл о странном поведении матери:

— Врешь!

— Спроси сам, если хочешь. Позвони, она еще не легла.

Видя помертвевшее лицо брата, Отто пожалел, что с ходу его огорошил, но, с другой стороны, как ни скажи — легче не будет.

Пауль встал из-за стола. Казалось, сейчас он расплачется.

— Извини, мам. — Пауль старался, чтобы голос не дрожал. — Что бы там ни было, разговор придется отложить. Я устал и ложусь спать.

Фрида улыбнулась. Грустно.

— Нет, Пауль, ты останешься, — сказала она. — Я хочу поговорить с вами обоими. За Дагмар побьетесь в другой раз.

— Бой окончен, — самодовольно заявил Отто. — Я победил.

Наверное, слово «бой» вывело Фриду из задумчивости. Вся в мыслях о предстоящем признании, она не сразу заметила, в каком виде пришел Отто.

— Где ты был, Оттси? — спросила Фрида.

— Гулял.

— Что это, у тебя рубашка в крови? — испуганно взглянула Фрида.

Пауль понял.

— Значит, все-таки сделал?

Отто лишь пожал плечами.

— Что сделал? — всполошилась Фрида. — Говори, что ты сделал?

Отто молча отошел к плите, цапнул краюху хлеба и поставил чайник

на газ.

— Паули, что он сделал? — спросила Фрида. — Похоже, ты знаешь. Теперь Пауль пожал плечами:

— Он и его дружки собирались избить штурмовика. Видимо, план исполнен.

— Ну спасибо. — Отто смазал краюху застывшим жиром. — Трепло.

— Все равно потом стал бы хвастать, — сказал Пауль. — Наверное, и перед Дагмар похвалялся.

— Оттси! — ахнула Фрида.

— И что, если так? Я этим горжусь! Слегка вломили сволочам, и они визжали как паршивые трусы. В следующий раз я сам уделаю хмыря. Один на один. Пришью. Нынче не стал, потому что Пауль канючил...

— Я не канючил, балда! — рывкнул Пауль. — Только сказал, что всем сделаешь хуже.

— Куда хуже-то? Теперь мы даже не граждане! В автобусах в нас плюют! Вышвыривают из магазинов. Каждый день пинают и шпыняют. Обзывают и лапают наших девушек. Всюду запреты, везде нельзя. У нас все отобрали! Все!

— Не ори, идиот! — прошипел Пауль.

Вольфганг и Фрида молча сидели за столом и смотрели на сцепившихся братьев.

— Правильно, Паули, шепчи! В собственном доме! Ты что, ослеп? Евреев заставляют пресмыкаться! Но вот один еврей взбунтовался. Нынче Дагмар улыбалась, потому что я чуть-чуть отомстил за ее отца. Когда последний раз ты видел ее улыбку? Евреям надо самим за себя постоять. Помощи ждать неоткуда. Нас все ненавидят, даже в тех странах, которые притворяются терпимыми. Только евреи помогут евреям! — Отто уже размахивал ножом. — Мне все обрыдло. Пойду прогуляюсь.

— Отто! — прикрикнула Фрида. — Ты никуда не пойдешь! Слушай меня. Надо поговорить.

Отто остановился. Братья переглянулись, посмотрели на мать. Что-то случилось. Перепалка стихла.

— Чего, мам? — покаянно спросил Отто.

Фрида смотрела ему в глаза. Время пришло.

— Оттси, сынок... мальчик мой любимый... Ты не еврей.

Братья ошеломленно замерли.

Первым опомнился Пауль:

— Как это? В каком смысле, мам?.. А! — Он просветлел. — В нашей родословной обнаружился гой! Ух ты! Мы метисы, мам? Некоторых

метисов пускают в бассейн!

Фрида печально покачала головой:

— Речь не о тебе, Паули. Не о папе и не обо мне. Я говорю об Оттси. Прости, милый. Я не хотела, чтобы это вот так вышло наружу.

— Что? Что вышло-то? — И вновь вопрос задал Пауль. Отто молчал.

— Отто, родной, мы с папой больше жизни тебя любим. Ты это знаешь, правда? Вы с Паулем наши милые мальчики...

Теперь Отто заговорил:

— Что ты хочешь сказать, мам?

Фрида пыталась. Она давно заготовила нужные слова. Продумала, как говорить о своей безмерной любви к сыну и убедить его, что все к лучшему. В отличие от них у него был шанс на нормальную жизнь. Жизнь без страха.

Но она понимала, что Отто *не захочет* этот шанс.

Он любил свою семью. Мать, отца, деда с бабкой. Несмотря на постоянные стычки, он был неразлучен с братом. И как-то удивительно гордился тем, что он еврей. Потому что был защитником семьи, яростно преданным и ужасающе бесшабашным. Ему только дай повод, и Гитлер дал — лучший из возможных поводов. А теперь вместе со всей прежней жизнью этот повод забрали, выбив почву из-под ног.

Фрида молчала.

— Что, мам? — повторил Отто. — Что ты хочешь сказать?

Сказал Вольфганг. Последнее время он разговаривал все меньше. Предпочитал курить, когда не мучил кашель, и выпивать, чем удавалось разжиться. Но сейчас он сказал. На минуту вновь стал сильным. Ради Фриды.

— Ты приемыш, Отт, — тихо проговорил Вольфганг. Лицо его преждевременно постарело, щеки ввалились, остро выпирали скулы. — Мама родила двойню, но один ребенок был мертвый. Твоя настоящая мать умерла в родах, и отца уже не было. Мы тебя усыновили. Прямо там, в день вашего рождения. Вы с Паулем порознь не жили и часа. С тех пор так и пошло.

— Вы близнецы, наши любимые мальчики, — мягко сказала Фрида. — Только твоя жизнь, Отт, зародилась не во мне. Но я люблю тебя, как если бы сама выносила.

Братья молчали, разинув рты.

— Для нас это было совсем не важно, — поспешно добавила Фрида. — Вы — наши мальчики, вот и все. Но потом пришел Гитлер, и вдруг это стало важным. Главное — *кровь*. Кровь, кровь, треклятая кровь!

Только и знают, что талдычить! Какой-то извращенный фетишизм. Безумие. Я направила сотни пациентов на переливание крови. И мы никогда не спрашивали, какую веру исповедует донор!

Фрида иссякла. Потрясенные братья молчали. Вольфганг старался не поддаваться эмоциям, но быть практичным.

— Понимаешь, Оттси, по этим новым законам они прошерстят родословную каждого, раз и навсегда выяснят, кто еврей, кто нет. Мама, Пауль и я — евреи. А ты — нет.

Отто молчал, съежившись на стуле. Он так и не выпустил нож.

— Черт, отличная новость, а? — деланно оживился Пауль. — Кто бы мог подумать? Похоже, ты соскочил с крючка, Отт. Надо отпраздновать.

Теперь Отто подал голос. Бледное лицо его вдруг покраснело от злости.

— А ты спросил, хочу ли я? Кретин! Думаешь, я мечтаю соскочить с крючка?

— Отто, перестань, — сказала Фрида.

— Не приказывай мне, — окрысился Отто. — Ты мне не мать.

— Не говори так! — задохнулась Фрида. — Никогда! Не смей! Я твоя мама.

— Сама же сказала, что я не твой сын. Паули твой. А я нет. Бог весть откуда взялся. Даже не еврей. Кто ж я такой? Никто!

— Неправда, Отт, — сказал Вольфганг. — Ты наш. Мы семья. Все это из-за нацистов. Я...

— Почему раньше не сказали? Вы же всегда знали, что я не ваш сын!

— Наш. Ты наш сын.

— Эй, не ори на маму, Отт! — взъярился Пауль, тоже красный от злости. — Я не меньше тебя ошарашен. Но все это ерунда. Мама верно говорит: кровь, раса — мура собачья.

— Но не семья, — ответил Отто.

— Конечно, и мы — семья. Что случилось при нашем рождении, то случилось, и ладно. После войны скольких детей усыновили. На твоём месте я бы радовался.

— Чего? — поперхнулся Отто. — Сдурел, что ли?

— Конечно, радовался! — Пауль тоже завелся. — Потому что не перестал бы быть твоим братом, а мама с папой не перестали бы быть моими родителями. Но вся страна не желала бы мне сдохнуть...

— Лучше мне сдохнуть!

— Нет! — вскрикнула Фрида.

— Дурак ты! — сказал Пауль. — Ну и что с того, что ты не еврей!



— Я еврей! — заорал Отто. — Я не хочу быть с ними! Одного сегодня чуть не прикончил. Зачем вы мне рассказали? Я еврей!

— Все равно ты бы узнал, — ответила Фрида. — Пойми, Отт, гестапо дотошно проверит каждого германца. Всем налепит ярлыки. Остались документы. В больнице — бумаги на усыновление. В ратуше — твоя метрика. Мы должны были тебе сказать, чтобы выработать план...

— Какой план? — сквозь слезы выкрикнул Отто. — Нет никакого плана! Потому что меня нет! Нет Отто Штенгеля! И никогда не было. Я не существую.

Он схватил куртку и ринулся к двери.

— Отто! Не уходи! — закричала Фрида. По лицу ее катились слезы.

— Кончай, Отто! — приказал Пауль. — Сядь на место!

— Чего разорался? — в бешеной злобе прорычал Отто. — Чего раскомандовался? Ты мне не брат!

## Фамильные деревья

### Берлин, 1935 г.

Ночь Отто провел в Народном парке среди сказочных изваяний, однако на рассвете вернулся домой. Ныло заочневшее тело, болела душа, но слезы высохли. Родители не виноваты в его мучительном смятении, страхе и одиночестве всеми отвергнутого изгоя. Виновен Гитлер. Теперь нацисты — не заклятые, а смертные враги.

Чтобы в столь ранний час не скрежетал лифт, Отто пехом одолел лестничные пролеты и вошел в сумрачную кухню. Мать так и сидела за столом — видно, всю ночь не шелохнулась. Отто кинулся к ней, обнял.

— Прости, мам. Прости меня.

— Ничего, Оттси, ничего, — прошептала Фрида. — Видали, опять плачу. Я уж думала, и слез-то не осталось. Она прижала к себе сына. — Я очень беспокоилась. До часу ночи Паули тебя искал. Папа тоже хотел пойти, но обессилел. Обзвонили твоих друзей. Все думали, тебя схватили за то... что вчера сделал.

— Прости, пожалуйста, — повторил Отто. — Зря я убежал. Не подумал.

— Ты же знаешь, что бы ни было, мы вас любим, — приговаривала Фрида. — Вы наши мальчики.

— Знаю, мама. Мы неразлучны. Навеки.

По Фридиным щекам струились слезы.

— В сердце своем, сынок, — прошептала она. — В своем сердце.

Отто прижался лицом к ее мокрой щеке. Он расслышал мамину боль, а соленые ручейки горя подтвердили его догадку.

— Меня заберут, мам? — спросил Отто.

Фрида не смогла ответить.

Привалившись к косяку, Вольфганг слушал их разговор из спальни.

— Наверное, Отт, — прокаркал он — табак и чахотка славно потрудились над его горлом. — Видимо, заберут. В газетах пишут, что полиция определит «расово ценное племя». СС открывает сиротские приюты. Гиммлер собирает детей.

— Господи, что ж они за люди? — чуть слышно сказала Фрида. — Осталось в них хоть что-нибудь человеческое?

Печаль Отто сменилась испугом. Даже в сером утреннем свете, сочившемся в окна, было видно, как он побледнел. Редкое зрелище. Отто

давно наловчился скрывать боязнь, и родные считали его бесстрашным. Однако перспектива опеки СС на секунду ужаснула даже его.

— Я спрячусь, — наконец выговорил он. — Они заявятся, а меня нет. Уйду в подполье. Схоронюсь.

— Тогда возьмут нас. — В дверях детской стоял Пауль.

— Вечно здравомыслящий братик, — горько усмехнулся Отто.

— Сам знаешь, так и будет. Тебе противно это слышать, а мне противно говорить, но если тебя не найдут, накажут нас. Мне все равно. Я сбегу, начну воевать — в твоём духе. Но папе нельзя опять в лагерь.

Отто кивнул. Брат дело говорит, никуда не денешься.

Вольфганг отвернулся, устыдившись звания самого слабого семейного звена.

— Ты прав, Паули, — сказал Отто. — *Бесспорно*. Всегда чертовски прав. Пусть меня заберут. А *потом* я убегу.

— Наверное, у нас еще есть время на размышление, — сказала Фрида. — Не будем пороть горячку. Как говорят, надейся на лучшее, готовься к худшему. Ты провел ночь на улице, Отт. Сейчас сделаю тебе тосты с сыром и горячий шоколад.

— Спасибо, мам. Ты лучшая мама на свете.

После обнародования Нюрнбергских законов не только Штенгели надеялись на лучшее. Когда затянувшееся лето 1935 года наконец перешло в осень, вся страна только и говорила о своих родословных.

Новые законы, официально определявшие понятие «еврей», стали искрой, которая распалила безумные генеалогические изыскания. В Германии всем надлежало пройти расовую классификацию, и даже арийцы из арийцев нервно оглядывали свои фамильные древа, страшась отыскать еврея, затаившегося на какой-нибудь ветви. По всему рейху граждане и полиция досконально изучали церковные книги, приходские списки, надписи на Библиях и надгробиях, древние сделки и соглашения, дабы определить расовые верительные грамоты всего населения.

Грамоты, как едко заметил Вольфганг, которые и так были самоочевидны.

— Не понимаю, из-за чего сыр-бор, — злобно бурчал он. — Делов-то! Как увидишь сторбленного типа со скошенным лбом, носом что твой гарпун и с окровавленным ножом в руке — вот тебе еврей!

— Кошмар! — вздыхала Фрида. — Все арийцы боятся отыскать в роду еврея, а все евреи судорожно ищут в предках арийца. Целый день в больницу приходят люди и спрашивают медицинские карточки. Вдруг привалит счастье и окажется, что их бабушку изнасиловал какой-нибудь

мясник? Лучше уж быть потомком арийца-насильника, нежели еврея-благотворителя.

Именно эта реплика одарила Отто идеей, о чем он немедленно и заявил.

За ужином семья говорила о новых законах. С тех пор как братья узнали правду о своем рождении, законы эти обсуждали каждый вечер.

— Надо же, идея! — притворно изумился Пауль. — Первая в жизни? Надо отметить!

Отто дал ему тумака. Чем бы ни грозило будущее, близнецы оставались верны себе.

— Да, представь себе! — сказал Отто. — Зачем ждать, пока гестапо исследует мою родословную? Я сам исследую. Если в предках отыщу какого-нибудь еврея, меня не заберут.

— Ох, Отто! — прошептала Фрида. — Какой же ты смелый и хороший!

Вольфганг протянул через стол исхудавшую руку и стиснул ладонь сына.

— Спасибо, сынок, — просипел он. — Ты храбрый парень, спору нет. Однако Пауль думал иначе.

— Ты дурак! — В сердцах он отломил хлебную корку, будто сворачивая братнину шею, и утопил ее в тарелке с гуляшем. — Совсем спятил. Всякий немецкий еврей мечтает отыскать в роду парочку нееврейских предков, а ты хочешь найти еврея?

— Да. — Отто был чрезвычайно доволен, что в кои-то веки обскакал братца-всезнайку. — Как я понимаю, я еврей. Надо лишь это подтвердить годным родичем.

— Ты *не* еврей! — гаркнул Пауль. — В том-то вся штука! Неужели не видишь своей выгоды?

— Я не желаю этой выгоды! Я хочу быть Штенгелем, а Штенгели — евреи.

— Скажи, что пошутил. Это полная дурь. Причем самоубийственная. В Германии никто не хочет быть евреем.

— Жалко, что в двадцатом году все вышло так, а не наоборот. Правда, мам? Тогда все были бы счастливы.

Пауль опешил. Отто понял, что попал в точку.

— Что, Паули? — поднажал он. — Ты был бы рад? Если б тебе не пришлось быть евреем? Даже если надо уйти из дома и жить под опекой нацистов.

— Да, — твердо ответил Пауль. — Только не ради бассейна и

нормальной учебы. Будь у меня гражданские права, я бы смог помочь родителям и деду с бабушкой. Сам-то подумай. Дальше будет хуже, и ручной немец очень пригодился бы семье. Я бы охотно исполнил его роль.

— По-моему, это очень разумно, — сказала Фрида.

— Думаешь? — насмешливо откликнулся Отто. — А по-моему, знаменитые мозги нынче что-то засбоили. Ручной немец! Брось, Паули, их всех уже приручили. В том-то и закавыка. До черта знакомых немцев шепчут — мол, они не одобряют того, что творится. При встрече взглядом просят прощения, что не здороваются вслух. Какой от них прок? Никакого. Ну и пошли они в жопу! Вместе с коммуняками, столь любезными Зильке. Я уже сто раз говорил: когда станет еще хуже, только мы сами сможем себе помочь. Надо держаться вместе. И поэтому в моем древе требуется жидок.

— Попробуй, но я очень сомневаюсь, что ты кого-то найдешь, — сказала Фрида. — Твоих кровных деда с бабкой я видела всего раз, но с виду они — немцы из немцев.

— Надо искать. Сдохну, но найду среди предков еврея.

— Скорее всего, и впрямь сдохнешь, если найдешь, — угрюмо ответил Пауль.

— Большое спасибо, Пауль. — Вольфганг плеснул себе выпивку. — Ты нас очень обнадежил.

## Загородная поездка

### Саксония, сентябрь 1935 г.

На другой день близнецы пришли в районную ратушу, чтобы разыскать имена и адрес кровных родичей Отто.

— Если б дело не касалось жизни и смерти, было бы просто смешно, — по возвращении сказал Пауль. — Битком народу. Евреи, цыгане, нацисты — все роются в архивах. На стене огромная схема с вариантами фамильного древа — белые кружки для немцев, черные для евреев...

— Скажи на милость! — из-за пианино откликнулся Вольфганг.

— И черно-белые для метисов. Идея в том, чтобы предками заполнить кружки и понять, достоин ты сидеть на парковой скамье или нет.

— О родственниках Отто что-нибудь выяснили? — спросила Фрида.

— Только по материнской линии, — ответил Пауль. — И то лишь имена и название деревни в Саксонии.

— Я их отыщу, — решительно сказал Отто. — Сгоняю на велике — всего-то сто двадцать километров.

Узнав о предстоящей поездке, Зильке тотчас стала набиваться в спутницы. Она только что вернулась из эпического похода в Нюрнберг и, вкусив свободу дальних дорог и ночевок под звездами, не желала возвращаться к монотонности домашних будней, где ей была уготована роль бесплатной служанки отчима.

— От школы отбрехаться легко — дескать, нужно для ЛНД, — сказала Зильке и, усмехнувшись, процитировала партийных краснобаев: — Мы, молодежь, принадлежим фюреру! Не знаете, что ли? В его сердце для нас особое место и особые планы. Та к что пусть учителя утрутся, ха-ха! И потом, сгодится моя форма. Одинокий велосипедист с рюкзаком, но без формы гитлерюгенда, — верная мишень. Все прочие молодежные союзы под запретом, даже «Католические орнитологи». В деревнях полно молодчиков, которые только и смотрят, кого бы отдубасить. Чужак для них добыча. А со мной — ты будто бы поехал в гражданке.

На следующий день Отто и Зильке отправились в путь, прихватив бутерброды, яблочный сок, два одеяла, парусиновую палатку и немного денег на еду.

Поначалу путники изрядно вопрекли, ибо им надлежало пересечь Берлин с юго-востока на северо-запад, а утро позднего сентября выдалось теплым. Однако вскоре они выбрались на старую гамбургскую дорогу и

покатили почти безлюдным извилистым проселком, что от живописных окраин Бранденбурга вел к Саксонии и терялся в долине прекрасной Эльбы, где была запланирована ночевка.

Стоял чудный солнечный день, и Отто постепенно забыл все свои страхи перед будущим, отдавшись простому наслаждению дорогой.

«Гитлеровская погода», говорил народ. И правда, после захвата фюрером власти лето будто стало длиннее и теплее, нежели в веймарские времена.

— Ну и жарница! — Зильке пригнулась к рулю, чтобы крепче давить на педали.

Ножки-то ничего, подумал Отто, поглядывая на спутницу, пылившую по проселку. Форменная юбка доставала до икр, но Зильке заткнула подол в трусы, чтоб не мешал езде. И теперь ее загорелые, до бедер оголенные ноги, крутившие педали, радовали взор.

Удивительно, что у коротышки Зильке получились такие славные ноги, размышлял Отто. Он смахнул пот с бровей и вновь предался приятному созерцанию. Кто бы мог подумать?

Литые, красивые ноги. Прямо *женские*. Конечно, не такие очаровательные, как у Дагмар, но уж таких-то не бывает вообще — бесконечных, изящных и стройных, как у газели в человеческом обличье. У Зильке ноги не особо длинные, зато не тощие. Хорошие ножки, что и говорить. Ладные и крепкие. Нынче без ссадин и пластырей. Даже не упомянуть ее коленки без болячек и чернильных клякс. А сейчас ножки чистые и гладкие. Единственное напоминание о бессчетных драках и падениях — два белых шрамика на золотистой коже.

Поразительно. Она так долго была «своим парнем» и вдруг превратилась в девушку. Вон даже формы есть. Когда же это случилось? Формы у худышки Зилк? Появились как по волшебству.

— Заметили, как Зильке повзрослела? — недавно сказала мать. — Я всегда знала, что она станет хорошенькой.

И она таки стала.

Давняя улыбчивая подруга, добрая и солнечная, как зайчики, что сверкали в ее пшеничных волосах, разметанных ветерком. Пыхтит, пригнувшись к рулю.

Старина Зильке.

Милый старый друг.

— Поди, Пауль-то жалеет, что не поехал! — прокричала Зильке.

— А то! — откликнулся Отто. — Торчит в школе среди врагов и готовится к работе, которую никогда не получит. Умник, называется. Ха!

Ехали бок о бок. Взбирались на пригорки, миновали ручьи, поля и душистые рощи. Изредка останавливались глотнуть яблочного сока.

Оба знали, что на всю жизнь запомнят этот чудесный день. С каждым километром настроение улучшалось. В чистом прозрачном воздухе теплый ветерок смешивал сладкие ароматы леса, свежего сена и луговых цветов.

— До чего прекрасен мир! — сказала Зильке.

— Ага, — поддержал Отто. — Только люди в нем ни к черту.

Сказано это было после того, как очередной селянин отвлекся от полевых трудов и приветствовал их не взмахом руки и обычным «Добрый день!», но «германским» салютом и громогласным «Хайль Гитлер!».

— Я готов обматерить солнце за то, что им светит, — продолжил Отто. — Под ним все так красиво, даже эти остолопы со вскинутыми руками.

— Ну да, ведь до Гитлера не было солнца, — сострила Зильке.

Наступило сентябрьское равноденствие — любимый языческий праздник нацистов. На всем пути деревни были украшены цветами и свастиками. На полянах и опушках толпились танцоры.

Девушки в венках и традиционных крестьянских платьях. Перед ними притоптывают парни в форме гитлерюгенда, взяв «на плечо» деревянные ружья. Оркестры играют марши, хором поют дети.

Отто ответно помахал дружелюбным певунам. Он узнал их песню. В школе ее пели на сборах и музыкальных уроках.

*Das Judenblut vom Messer spritzt, geht's uns nochmal so gut.*

«Обагрим ножи еврейской кровью, то-то уж веселье».

Вот так и ехали в чересполосице настроений — восторга от вольной красоты природы и хандры от бессчетных следов нацистской оккупации. На въезде в каждую деревню над дорогой красовались транспаранты «Евреи, вон!», «Берегись, жидовня!».

Да еще слышались кличи «Смерть жидам!» — так крестьяне приветствовали путников, словно желая им доброго утра, удачи и приятной поездки.

То и дело встречались марширующие отряды радостных детей, тоже улыбочиво желавших смерти своим соотечественникам. Округа буквально кишела подростками. Исполняя наказ Гитлера «его молодежи», они пробирались через реки и леса, дабы «тела их стали крепче стали».

Вечером усталые путешественники разбили бивуак в рощице на берегу ручья, который Отто упорно называл речкой, ибо так сия водная преграда значилась на карте.

Теплая ночь не сулила дождя, поэтому палатку не ставили. Даже не



развели костер — Отто сильно сокрушался, но Зильке сочла это благом.

— Огонь привлечет всякую кусачую мошкарю, — сказала она. — Гнус, комаров и гитлерюгенд. Как пить дать, нас бы пасли, окажись тут какой-нибудь отряд. Это их пунктик, они же «глаза фюрера». Хотя нам нечего скрывать, особенно теперь, когда ты больше не еврей. Но все равно — обойдемся без компании.

— Умница, — похвалил Отто. — Пауль бы тобой гордился.

— А ты думал, смазливая мордашка и больше ничего?

Зильке смущенно хихикнула. Отто рассмеялся:

— Старина Зилк! Свой парень, да?

Похоже, комплимент ее не особо порадовал.

Поужинав хлебом с сыром и фруктами, они укутались в одеяла и рядышком улеглись. Сквозь полог листвы в небе подмигивали звезды.

Даже не припомнить, когда последний раз мы с Зильке разговаривали, думал Отто. Чтоб *по-настоящему* говорили друг с другом. А такое вообще было? Он беспрестанно ее дразнил, вместе они веселились, дрались и удирали от взбешенных лавочников. Но не *разговаривали*. С какой стати? Она же — свой парень. Друган. С корешами не балаболят.

— Как думаешь, что будет? — спросила Зильке. — В смысле, с Паулем, тобой и вашими родителями?

— Ну, если повезет, мама добьется выезда. Они с отцом часто об этом говорят. Правда, сейчас папа безработный, да еще дед с бабушкой. Даже если захотят уехать, им это будет тяжело.

— Не хотят?

— А то ты их не знаешь! Они же немцы. И никем другим быть не могут. Дед говорит, что он немец с 1870 года, а австриец Гитлер — лишь с 1932-го. Так почему дед должен уезжать?

— Да уж, узнаю герра Таубера! — засмеялась Зильке. — Я всегда его до смерти боялась.

— Я и сейчас боюсь, — сказал Отто.

— Думаешь, твоя мама оставит их здесь?

— Может, и придется. Но даже если нам откроют выезд, я не поеду.

Зильке приподнялась на локте и посмотрела на Отто. Его лицо чуть белело в тусклом лунном свете.

— Из-за Дагмар? — тихо спросила она.

— Ну да. Если она не сможет уехать, я буду за ней приглядывать.

— Законы Субботного клуба? — усмехнулась Зильке.

— Да. В точку, — ответил Отто.

Но оба понимали, что Субботный клуб тут ни при чем.

Зильке сменила тему:

— Ты что-нибудь слышал про *Rote Hilfe*?

— «Красная помощь»? — переспросил Отто. — Кажется, нет. Что это?

— Вроде как Берлинское Сопротивление. Раньше это была ячейка Красного Креста, но теперь, конечно, она ушла в подполье. Пытается вывозить семьи, в которых отцов отправили в лагерь. И сообщает за рубежом правду о том, что здесь происходит.

— И что, ты с ними?

— В общем-то, сама не понимаю. Все очень секретно, ничьих имен не знаешь. У меня есть пара контактов.

— И чем ты занимаешься?

— Какой-то мелочью. Отправляю за границу сводки новостей.

— Ничего себе! И как ты это делаешь?

— Легко. По почте. Никто не заподозрит девочку в форме ЛНД. Покупаю женский журнал и вкладываю тайное послание меж страниц. Потом иду на почту и простой бандеролью отправляю на женевский адрес.

Отто задумался.

— Здорово, — наконец сказал он.

— Просто хотела, чтоб ты знал... — Зильке замялась. — Мы по-прежнему вместе. Субботний клуб. Пусть на мне эта форма, но верим мы в одно и то же.

— Я знаю, Зилк.

— И потом, вот как ты хочешь заботиться о Дагмар, я хочу помогать и приглядывать за тобой, — сбивчиво сказала Зильке.

— Мы же все связаны клятвой, верно? — рассмеялся Отто.

— Вот именно.

— А Паулю поможешь?

— Конечно! Чего спрашивать-то?

— А Дагмар? (Повисла пауза.) Она ведь тоже в Субботнем клубе.

— Да, *наверное*, — ответила Зильке.

В темноте Отто улыбнулся:

— Надеюсь ты всегда ей поможешь, если сумеешь. Хотя бы ради меня, Зилк.

Больше сказать было нечего, и оба уснули.

По крайней мере, сраженный усталостью Отто уснул мгновенно. Зильке уснула не сразу. Какое-то время она прислушивалась к его дыханию и смотрела на его лицо в лунном свете.

## Кровная родня Саксония, 1935 г.

Утром встали вместе с солнцем.

Из своего рюкзака Зильке достала полотенце и маленькую цинковую мыльницу.

— Пойду умоюсь и все такое, — сказала она.

— Ух ты, мыло. Когда маленькими спали на воздухе, ты обходилась без умывания.

— Так я уже не маленькая, — не глядя на Отто, сказала Зильке.

— Мне и в голову не пришло взять мыло, — признался Отто.

— Мальчишки, чего от вас ждать! — наигранно проворчала Зильке. — Ладно, пользуйся моим... Только после меня.

— Конечно. Давай. Ты первая. Я подожду и уж потом.

Они улыбнулись. Раньше запросто пошли бы вместе. Легко, без всякого стеснения. Но сейчас оба понимали, что время невинной близости прошло.

— Я быстро, — сказала Зильке.

— Не спеши.

— Если нужно, в моем рюкзаке садовый совок и туалетная бумага.

— Ты отменный турист, Зилк. А я ничего не взял.

— В ЛНД нас хорошо натаскали. Фюрер за тобой следит, даже когда ты присел в кустиках.

— Я так и думал, что он извращенец.

После туалета и завтрака, который запили ключевой водой, вновь оседлали велосипеды.

— Ох! — закричала Зильке.

— И у меня все ноет, — признался Отто. — Ничего, осталось всего двадцать пять кмэ.

— Ага. И вся обратная дорога.

Деревушка, куда они направлялись, даже не значилась на карте. Тяжелая для велосипедов, изъезженная немощеная дорога пробежала мимо отдаленных ферм и уперлась в затянутый ряской пруд, вокруг которого сгрудились бедные домишки.

В деревне имелись бревенчатая часовенка и вроде как местный трактор, разместившийся в парадной комнате домика, где над входом висела старая жестяная вывеска «Пиво „Битбургер“». Эта же комната

служила почтой и крохотным магазином с небогатым выбором: консервы и шоколад в седом налете. Там Отто и справился о тех, кого искал. Герр и фрау Хан. Родные дед и бабушка с материнской стороны.

Отто побаивался, что за пятнадцать лет, прошедших со смерти их дочери, они могли уехать из деревни, но крестьяне Хан, как их ровесники и все предшествующие поколения, родились, жили и умрут на своем пяточке земли. Лишь однажды они ездили в Берлин к рожавшей дочери, надеясь забрать ее в деревню и выдать за славного крестьянского парня, согласного принять ее убудка.

Планам их не суждено было сбыться, ибо дочь не вернулась домой. Но теперь в их маленьком жилище перед ними стоял ее сын.

— Ты симпатичный парнишка, — сказал старик, чье лицо в глубоких морщинах кривилось то ли в слезах, то ли в улыбке.

Старуха не таясь плакала, промокая глаза выдавшим виды пожелтевшим кружевным платком.

— Ты вправду сынок нашей Инге? — спросила она.

— Конечно, ты глянь, — сказал старик. — Вылитая Инге. Будто никуда не уезжала. Глаза-то прям ее.

Отто неловко переминался перед расчувствовавшейся парой. Его тяготило неумеренное внимание чужаков, с которыми он вовсе не желал породниться.

— Верно! Сынок Инге! — всхлипнула старуха.

— Послушайте, фрау Хан... — начал Отто, но, прежде чем он договорил, сгорбленная старушка метнулась к комоду, на котором стояли семейные реликвии — пара фарфоровых статуэток, музыкальная шкатулка и обрамленные фотографии.

— Погляди, — сказала она, беря одно фото в руки. — Вот твоя покойная матушка.

Отто не шелохнулся. Он смотрел на репродукцию в гирлянде засушенных цветов, которой отвели почетное место над комодом. Портрет Гитлера.

— Вы нацисты? — спросил Отто.

Старик кивнул на Зильке, которую усадили в единственное мягкое кресло, и склонил голову:

— Мы все служим фюреру, как твоя очаровательная подруга.

— Он послан нам провидением, — набожно проговорила фрау Хан. — Фюрер нас хранит и творит добро.

Отто молчал, губы его чуть подергивались.

— Ну чего ты? — поспешно сказала Зильке. — В каждом доме такой

портрет. Бог с ним, с фюрером, посмотри мамины фото.

Отто глянул на Зильке:

— Ты знаешь, кто моя мама. Ее нет на этих снимках.

— Конечно, знаю, но все равно посмотри.

Отто шагнул к комоду и взглянул на выцветшую фотографию милостивой блондинки.

— Девятнадцатый год, — горестно вздохнул старик. — До того, как она встретила...

— Моего отца? — бухнул Отто, поскольку герр Хан не желал закончить предложение.

— Коммунист чертов! — Даже через шестнадцать лет злость старика не угасла. — Обрюхатил ее и бросил!

— Его убили, — возразил Отто. — Родители мне рассказывали о бойне в Лихтенбурге. Его убил тот самый фрайкор, из которого произошли нацисты, герр Хан.

Супруги смутились.

— Не называй меня «герр Хан», внучок, — попросил опечаленный старик. — Я твой дедушка.

Отто прикусил губу.

— Я хотел узнать о своей семье, — сказал он. — Нет ли в нашем роду евреев?

Старики на миг опешили, но тотчас улыбнулись. Конечно, они по-своему истолковали вопрос.

— Бедненький! — сказала фрау Хан. — Ну конечно, как приемьшу не беспокоиться о чистоте крови!

— Вдруг какой еврей тайком сиганул через ограду! — хохотнул старик.

— Все понятно, дитя мое. Тебе нужно удостовериться. Вот, гляди!

На единственной стенной полке стояли две книги: старая семейная Библия и «Майн кампф». Фрау Хан гордо раскрыла Библию:

— Вот наше фамильное древо. Шесть поколений с 1790 года. Только добрые христиане, все похоронены на здешнем и соседних кладбищах. Не дальше десятка километров от истинно германской земли, на которой мы стоим. Здесь все имена из церковных книг нашего и близлежащих приходов. Дорогой мой, в нашем роду нет ни жидов, ни цыганвы.

С виду такая милая старушка. Наверняка и душа у нее добрая. Но уж угостила бы всякого «жида и цыганву», посмевающих сунуться к ее досточтимому «роду».

Отто разглядывал рукописный перечень. Последней значилась Инге

Хан. Его мать.

— А что мой отец? — спросил Отто. — Его имени нет ни в этом списке, ни в справке об усыновлении. Вы знаете, как его звали?

— Знаем, — ответил старик. — Только я не произнесу его имя в своем доме и вообще нигде. — На клочке бумаге он тщательно вывел фамилию. — Не бойся, мой мальчик. Хоть он и опозорил свою и нашу семью, он из хорошего рода. Инге говорила, отец его был священником лютеранской церкви, что в берлинском районе Пренцлауэр-Берг. В войну умер. Может быть, мать жива. Не ведаем.

Отто взял бумажку и поблагодарил стариков.

— Нам пора, — добавил он. — Домой еще долго добираться.

Старики оторопели, даже перепугались. Внезапное появление внука одарило их надеждой.

— Оставайтесь! — упрашивали они. — У нас еда, яблочный сок. Мы так тебе рады, о стольком надо поговорить.

— Нет, госпожа, — бормотал Отто, уставившись на свои ботинки. — Не можем.

— Да можете! — увещевала старуха. — Как же так — только приехал и сразу уезжать?

— Извините, фрау Хан. Остаться не могу. Пожалуйста, извините, но я узнал все, ради чего приехал. — Отто шагнул к двери. — Давай, Зильке, поехали.

Старуха заплакала. Муж ее протянул Отто старую Библию в кожаном переплете:

— Ну хотя бы впиши себя в древо. Под именем матери. Она записана последней.

Отто отказался.

— От души желаю вам всего хорошего, герр Хан, — вежливо сказал он. — Но вы мне не родственники, и те, кто в списке, не моя семья. Для меня там нет места. Моя семья — люди, которым вы меня отдали. Кроме того, они евреи. И я еврей.

Супруги остоленели.

— Что? — в неподдельном ужасе спросил герр Хан. — Врач отдал тебя евреям? И мы это допустили?

— Именно так. Вы оставили меня самым чудесным людям в Берлине, и уж за это я навеки вам благодарен. До свидания.

С этим Отто вышел из домика, а за ним, смущенно распрощавшись с супругами, кинулась Зильке.

Отто выехал на дорогу, не оглядываясь, но Зильке обернулась: с

крыльца старики смотрели им вслед, обескураженные и растерянные.

В Берлине Отто, даже не заехав домой, покатыл к лютеранской церкви в Пренцлауэр-Берг и спросил о прежнем священнике, умершем в Великую войну. Имя его было записано на бумажном клочке.

Старый герр Хан оказался прав. В родословной Отто по отцовской линии тоже не было ни тени еврейства.

Известие, о котором мечтал всякий немец, смяло Отто: он официально попадал в категорию «чистокровных», что подтверждалось шестью поколениями предков. Он не еврей и никогда им не будет, как бы ни старался.

И потому его ждала ссылка — как евреев, к которым он больше не мог себя причислить.

## Судьба решена

### Берлин, 1935 г.

Через две недели после поездки Отто в Саксонию Фриду и Вольфганга вызвали в районный отдел гестапо.

Вернулись они пепельно-серые.

— Сказали, мы больше никогда с тобой не увидимся, — еле выговорила Фрида.

— Нет! — выкрикнул Отто. — Так нельзя! Почему? Какой смысл запрещать нам видеться?

— Говорят, наше тлетворное влияние слишком затянулось, — сквозь слезы выдавила Фрида.

С бутылкой дешевой выпивки Вольфганг плюхнулся на винтовой табурет и уронил голову на грудь.

— Всякие отношения с тобой будут считаться серьезным уголовным преступлением, — сказал он, адресуясь к своим коленям.

— А если я сам? — взмолился Отто. — Если я к вам приду? Вы же не виноваты...

— Если придешь, — перебил Вольфганг, — это сочтут похищением и нас троих отправят в концлагерь.

Все молча смотрели друг на друга.

— Завтра? — механически спросил Отто. — Завтра меня заберут?

— Мы еще увидимся, Отт. — После глотка Вольфганг расхрабрился. — Что-нибудь придумаем. А то видали — как будто нашей семьи вообще нет.

— Конечно, так нельзя, мы этого не допустим. — Фрида высморкалась и попыталась взбодриться. — Найдем способ не разлучаться.

— Если вы ко мне придете, вас накажут. Если я здесь появлюсь, вас сошлют. — В отчаянии Отто взглянул на Пауля: — С первого дня на этом свете мы были вместе. А теперь нам запрещают быть братьями.

Пауль тоже сдерживался, сердито утирая рукавом мокрые глаза.

— Может, нам разрешат свидания, если пообещаем драться? — Он пытался улыбнуться. — Нам это раз плюнуть, правда?

Отто не плакал, но стал наливаясь яростью.

— Они пожалеют, что связались со мной! — грохнул он кулаком по столу. — А также семья, которая меня примет. Я им устрою веселую жизнь! Они возненавидят во мне еврея, которым я был и остаюсь! Надо будет —



убью!

— Прекрати, Отто! — закричала Фрида. — Не смей так говорить! Никого не трогай. Тебя накажут!

— Накажут? Куда уж больше? Говорю, мам, теперь мне все равно!

— А мне не все равно, Отто! И я твоя мать. Что бы ни говорили эти безумцы, я все еще твоя мать, а тебе только пятнадцать, и ты будешь меня слушаться!

Отто смолк. Мамина распеканция. Сейчас такая неуместная и такая знакомая. Сколько раз так бывало. Отто привычно потупился, словно получал выговор за воровство печенья из банки или неприличную открытку, обнаруженную в его портфеле. Он чуть не улыбнулся.

— Нечего ухмыляться, когда мать с тобой говорит! — прикрикнула Фрида, промокая глаза. — Убери эту свою улыбочку и слушай маму! Мало того, что ты останешься без моего пригляда, так ты еще хочешь набедокурить. — Фрида с собой справилась. Тревога за сына пересилила отчаяние разлуки. — Я должна быть уверена, что с тобой все хорошо. Делай, что велят, иначе тебя крепко накажут. Ты же меченый, как ты не понимаешь? За еврейским воспитанником непременно будут следить. Надо быть тише воды ниже травы. Ради меня. Слышишь? Вступай в гитлерюгенд, пой их песни, отдавай салют. Кричи «Смерть жидам!». *Лишь так* я буду уверена, что тебе ничего не грозит.

Отто смотрел на мать. Во взгляде его чередовались злобная решимость и крайнее отчаяние.

— Хорошо, мама, — тихо сказал он. — Я буду послушным.

— *Обещай* мне, Отто.

— Я обещаю.

Фрида улыбнулась и притянула его к себе.

За спиной Отто держал скрещенные пальцы. Через мамино плечо он поймал взгляд Пауля. Маму одурачить легко, а вот брата не проведешь.

— Хоть буду знать, что с тобой все благополучно, — прошептала Фрида. — Давай больше не ссориться. Завтра ты уйдешь, мы надолго расстанемся.

— Как думаешь, когда мы сможем увидеться? — спросил Отто.

— Когда спадет безумие. Время придет.

Вольфганг, тупо уставившийся в ноты на пюпитре пианино, безотчетно вздохнул. Вздох этот был красноречивее любых слов. Вольфганг уже не верил, что безумие когда-нибудь спадет.

— Так будет, — ответила Фрида на его невысказанную мысль. — И скажу почему, Вольф. Потому что иначе все закончится развалом Германии.

Они талдычат о возрождении, но на самом-то деле разрушают страну, и скоро даже последний дурак это поймет.

Вольфганг пожал плечами.

— Не надо пожимать плечами, Вольф! Я не отчаиваюсь! Нам нельзя отчаиваться. Бандитское государство рухнет! Нельзя выжить на одном насилии. Такого общества никогда не было и не будет. Если эти люди и дальше станут пренебрегать моралью и всеми цивилизованными нормами, они *сами себя* погубят. Но они такого не допустят — больно хитры. Им слишком нравится сытая жизнь, униформа и большие черные авто, они не рискнут все это потерять. И потому в конце концов пойдут на компромисс. Как-нибудь извернутся, дабы увильнуть от собственной гибели.

Вольфганг опять непроизвольно пожал плечами, словно в его арсенале жестов ничего другого не осталось.

— Надеюсь, ты права, Фредди, — только и сказал он.

Вечером Пауль и Отто улеглись в детской, которая с младенчества была их общей комнатой и отныне, наверное, больше не будет.

— Ты скрестил пальцы, когда обещал маме беречься? — прошептал Пауль.

— Не хотел ее расстраивать, понятно? — вызывающим шепотом ответил Отто. — И ты не болтай, если не хочешь, чтоб она волновалась, усек?

— Значит, беречься не собираешься? Будешь воевать против всего государства?

— А как ты думаешь?

— Я думаю, ты чокнутый.

— Слушай, не тебе завтра уходить в какую-то семью сраных нацистов! Ты по-прежнему еврей. Тебя не пускают в кино, но ты хоть остаешься в родном доме. А меня ждут приемные родители, нацистская школа и гитлерюгенд. Это невыносимо, понимаешь? Напрочь. Лучше сдохнуть, вот прямо сейчас. Если б эти гады попытались меня убить, я был бы счастлив, потому что хоть одного заберу с собой.

— Оттси...

— Пойми, ненависть — единственный способ это пережить. И я буду их ненавидеть и бить.

— А если тебя убьют? Что будет с мамой?

— Может, она и не узнает, — буркнул Отто. — Ты уж позаботься. Мама ошибается, что когда-нибудь нацистам придет конец. Во многом она права, но тут заблуждается. Им не будет конца. Они просуществуют тысячу лет, как обещала их главная сволочь. И не остановятся, пока нас не

перебьют.

— Кого?

— Евреев.

— Но ты же не...

— Я еврей! И я тебе морду расквашу, если скажешь, что нет! Они убьют всех евреев, до кого доберутся. На стене школы написано «Смерть жидам!». Но ты не допустишь, чтобы это случилось с нашей семьей. Я уверен, Паули. Ты шибко умный, мама тоже. Найдете способ уехать. А я, наверное, об этом не узнаю! Останусь здесь, один среди врагов. Меня ссылают, Паули, но лучше бы мне умереть.

Пауль подсел на кровать брата.

— Оттси, старик... Ты же знаешь, мы никогда тебя не бросим.

— Меня не выпустят, как ты не понимаешь? Им нужно пушечное мясо. Гитлерюгенд и затеян для военной муштры. Гитлеру нужны солдаты. Но вот что я тебе скажу: когда меня обучат, им придется меня отпустить или убить на месте. Мне все равно.

— Оттси, завязывай с этими разговорами. Мы найдем выход. Обещаю.

— Возможно. Но я сомневаюсь.

Отто пошел чистить зубы. В гостиной он увидел отца, сгорбившегося у пианино. Пустая бутылка валялась подле табурета.

— Пап, иди спать, — шепнул Отто.

— Сейчас, сынок, — не поднимая головы, ответил Вольфганг.

— Пап, ты маленько соберись. Маме нужна твоя поддержка.

— Да, конечно, — вяло сказал Вольфганг. — Паршивый из меня помощник, верно?

Больше сказать было нечего, Отто прошел в ванную. На обратном пути он увидел, что отец так и сидит в темноте.

В детской, погасив свет, Отто улегся и шепотом окликнул брата:

— Паули.

— Что?

— У меня есть просьба.

— Знаю. Хочешь, чтобы я сказал Дагмар, да?

Отто хмыкнул.

— Может, у нас разная кровь, брат, но ты по-прежнему читаешь мои мысли. Понимаешь, мне, наверное, нельзя там появляться, даже если улучу минутку.

— Конечно, нельзя, — прошептал Пауль. — Если учесть обещания гестапо, за тобой наверняка будут следить. По крайней мере, первое время. И отыграются на всяком еврее, с которым ты попробуешь связаться.

— Да. Пожалуй, так.

— Конечно, обидно, старина. — Пауль будто улыбнулся. — Как мне, когда она кое-что тебе позволила. Везучий гад. До сих пор не верится, что она дала себя потрогать! Знал бы, что она так далеко зайдет, сам бы изуродовал штурмовика.

— Ага. Теперь она вся тебе достанется. Ну и кто из нас везучий гад?

— Знаешь, я бы не хотел такой ценой.

— Уверен?

— Ну... почти.

Оба рассмеялись.

— Давай спать, — сказал Пауль. — Коль ты собрался воевать со всеми германскими нацистами, тебе нужны силы.

— Да... Ну вот. Последняя ночь дома.

— Выходит, так. Спокойной ночи, брат.

Однако у Отто остался еще один вопрос.

— Паули?

— Что?

— Ты думал о том, каким он был бы?

— Кто?

— Он. Твой близнец. Настоящий. Тот, который с тобой был в маме, но умер. Если б он был жив, а меня бы не было. Какой он был бы?

— Конечно, не задумывался, — прошептал Пауль. — Зачем мне? Я знаю, каким он был бы. В точности как ты. Потому что он — это ты и есть.

## Спонтанная выпивка

Лондон, 1956 г.

— Это была последняя ночь с братом, — сказал Стоун. — Утром пришли гестаповцы.

Они с Билли договорились свидеться уже после Берлина, однако Стоун позвонил и предложил встретиться.

Он понимал, что нарушает их неписанные правила. Но после целого дня в компании неумемного комического дуэта из МИ-6 Стоун, сидя в пустой квартире, почувствовал, что хочет увидеть Билли сейчас.

Кроме того, неизвестно, *вернется* ли он из Берлина. Там ждала ловушка. Вот это он знал точно.

Стоун не рассчитывал, что Билли согласится. Вполне возможно, она занята. Занята своим молодым, беспечным, многообещающим бытием. Общением с теми, кого история не покалечила.

Настоящей жизнью.

— Я знаю, мы договорились на неделе не встречаться... — по телефону начал Стоун.

— Ты так сказаль, малиш, не я, — возразила Билли. — Лично я не люблю правил. Люблю спонтянность.

— Спонтянность? — переспросил Стоун. — Вроде что-то приятное. Погоди, сейчас припомню, что это.

— Давай будем спонтянные. Возьмем и напьемся среди неделя. В стельку и вдризг, а? — Билли рассмеялась. — Не бейся, малиш, жениться не надо, ничего тякого.

Они условились встретиться на Пиккадилли и пошли в маленький паб на Сент-Джеймс-стрит неподалеку от «Рица». Стоун заметил взгляды посетителей. Любопытство было привычно, но все равно раздражало. В пабах Уэст-Энда темнокожие еще были редкостью, и белый мужчина с темной спутницей привлекали внимание. Особенно если спутница молода, красива и вызывающе броско одета. В тот вечер Билли была в белых туфлях на шпильках, обтягивающих бриджах и тесном розовом кашемировом джемпере, прикрывавшем ягодицы и в талии перехваченном черным кожаным пояском. В довершение всего на пышной, жгуче-черной шевелюре ее красовалась щегольская фетровая шляпка.

— Я зняю, о чем они дюмают, — прошептала Билли, когда Стоун с выпивкой вернулся от бара.

— «Везучий гад», ничего другого, — ответил Стоун.

— Не-а. Они дюмают, по карману ли им цена, которую я залёмила.

Пинту биттера и портвейн с лимонадом Стоун поставил рядом с пачками сигарет. Билли курила французские, он — американские.

— Не хотелёсь бить одною? — спросила Билли.

— Да. Наверное. Похоже, так. Эта берлинская поездка. Кое-что осложнилось.

— У тебя сплётся слёжно, — засмеялась Билли. — Это заманчивый и даже пикантный, только не переборщивай. Девюшка соскучивает, если о парне только десятая доля известная.

— Ты же просила не выпускать моих демонов, — улыбнулся Стоун.

— Мы били знакомый всего неделя, — ответила Билли. — А сейчас три месяца. Может, пора выпустить? Парочку-другую.

— Ты правда хочешь?

— Я же сказала, да?

И Стоун начал рассказывать.

То, о чем *никогда* не говорил. Понемногу избавляясь от груза прошлого и чувств, накрепко запертых в чемодане души.

Возможно, свою роль сыграли сигареты.

Билли курила «Житан», которые некогда Дагмар получала от французской подруги. Вдвоем они курили их в ту ночь, когда он принес пуговицы с рубашки штурмовика и Дагмар предпочла его брату. С тридцатых годов вид пачки ничуть не изменился.

— Мы отделали гадов. — Стоун прихлебнул пиво. — Я и сейчас не жалею. Все было словно вчера, я прямо вижу их сквозь доньшко стакана. И нынче сделал бы то же самое. Они вышагивали, точно хозяева улицы. Все они так ходили. Маршировали и выступали, как будто это геройство — сколотить миллионную банду, которая изводила запуганных людей. Больше всего меня бесило, что они мнили свою так называемую «революцию» каким-то подвигом. Будто вели долгую и славную борьбу. Господи, я же ровесник нацистской партии. Мы родились в один день. Какой подвиг? Не нашли себе иного мученика, кроме сутенера Хорста Весселя, которого за три года до воцарения Гитлера зарезали из-за девки. Все эти их еженедельные празднества, увековеченные «мученики», «годы борьбы»! Размахивали «окровавленными знаменами» и разглагольствовали о сражениях во спасение Германии. Боже мой, все их потери — десяток подонков, убитых в кабацких драках. Всякий нацист строил из себя спартамца, отстоявшего мост, хотя все геройство его в том, что спихивал еврейских старух с тротуара.

— Значит, тех вы урили? — спросила Билли.

— Именно урили. Впятером загнали в проулок и вышибли из них дерьмо. И ты бы так сделала, если б твой отец из концлагеря вышел калекой.

— Э, не заливай! Ты это сделаешь не ради отца, ради девюшки.

Стоун усмехнулся:

— Ладно. Скажем так: по разным причинам.

— Но ты их не убил?

— Нет. В тот раз — нет. Но до этого я убил человека.

— Что? — ужаснулась Билли. — Тебе ж и пятнадцати не было.

— Мы с братом это сделали. В нашей квартире. Я мужика оглушил, а Пауль удавил. Я ударил статуэткой, которая стоит у меня дома. Маминым изображением.

Представив жуткую картину, Билли сморщилась, но что-то в рассказе Стоуна ее насторожило.

— Пауль? — недоуменно взглянула она. — Твой брят?

— Да.

— И тебя зовут Поль.

— Да, — усмехнулся Стоун.

— Значит, ты — Поль, а брят — Пауль?

— Выходит, так.

— Странный ваша мама. Другой имя не знает?

Стоун неопределенно пожал плечами и прихлебнул пиво.

— Сказать, почему мы его убили?

— Наверное, биль веский причина.

— Он хотел изнасиловать нашу мать.

— Куда уж веский.

Стоун все рассказал. Странно, но ему было приятно выкладывать то, о чем никто не спрашивал. Ему, кто двадцать лет следовал правилу без крайней нужды не откровенничать. Он рассказал об убийстве Карлсруэна и пуговицах с рубашки штурмовика. О радости Дагмар, поцелуе и позволении ее потрогать.

— Я бы сказала, такую девюшку любить опасно, — заметила Билли.

— Она ликовала, — заступился Стоун. — Мы пролили кровь. Распрямились и дали сдачи. Не осуждай — они заставили ее лизать тротуар и убили ее отца.

— Все не осуждаю, Поль, — ответила Билли. — Никого и никогда.

Стоун рассказал о той ночи все.

Как вернулся домой и узнал о своем усыновлении.

— Мне было ужасно одиноко. Словно меня бросили. Вся моя жизнь была в семье, и вдруг я на отшибе, а им грозит смертельная опасность. Я оказался один. Так странно. Ведь я был абсолютно уверен, что я еврей.

— И вдруг — нет?

— Ну да.

— Но ты говорил, ты еврей.

— Да, я всем так говорил, когда сюда перебрался. Но я не еврей. Извини.

— Мне все рывно, — пожала плечами Билли. — Еврей, не еврей — по моему, никакая рязница.

Стоун допил пиво и собрался повторить заказ. Билли ладонью накрыла его руку:

— Как тебя зовут по правде? Чтоб я знала.

— Отто, — улыбнулся Стоун. — Мое настоящее имя — Отто.



## В ссылку

### Берлин, 1935 г.

Муниципальная чиновница и полицейский, забиравшие Отто, сообщили, что его, «расово ценную особь», определят в достойную немецкую семью. Не мешкая.

— Деньги и вещи не брать, — сказала чиновница. — Ты возвращаешься домой, и рейх всем тебя обеспечит. От этих евреев тебе ничего не нужно.

— Это моя семья, — ответил Отто.

— Тебя обманули. Еврей заботится лишь о еврее. Все прочее ложь.

Отто был покорен. Он чмокнул мать в щеку, не обращая внимания на скривившуюся чиновницу, пожал руку отцу и брату.

— Прошу вас, госпожа, — взмолилась Фрида, — хотя бы скажите, где он будет жить.

— Не ваше дело, — отрезала чиновница. — Ваше родительство незаконно, судьба мальчика вас не касается. Отныне и вовеки вас ничто не связывает. Идем, Отто.

— Он наш сын! — не сдержавшись, крикнула Фрида. — Все свои пятнадцать лет он прожил вот в этой квартире!

— Это его беда, но еврейский кошмар закончился. Теперь он немец.

Не оглядываясь, Отто вышел. С Паулем они договорились: чтобы не провоцировать гестапо, никаких нежностей и грусти.

Когда за Отто закрылась дверь, Фрида буквально рухнула на пол. Горе исказило ее лицо. Все еще красивое лицо, которое заботы поместили своей печатью.

Нечто подобное уже было, подумала Фрида. Всепоглощающая печаль опустошила душу, и до конца дней уже ничто ее не заполнит.

Когда же это было?

Вспомнила. В двадцатом году, в роддоме, когда старая нянька унесла серый сморщенный сверточек. Все как тогда.

И вот опять. Она снова потеряла сына, а Пауль — брата-близнеца.

На площадке Отто молча вошел в знакомый лязгающий лифт и вместе с конвоирами поехал вниз. Потом все так же молча вышел в колодезь двора.

— А как с моим великом? — впервые обратился он к чиновнице.

— Не знаю, — ответила та. — Может, кого-нибудь за ним пришлют.

Отто сел в полицейскую машину и дал себя увезти.

Он молча ехал по знакомым улицам, на которых Субботный клуб провел столько счастливых дней.

— Гляди веселей, парень, — сказал полицейский. — Через год ты об этих евреях и не вспомнишь.

Отто дождался, когда машина покинет Фридрихсхайн, и действовал решительно. На светофоре открыл дверцу и выпрыгнул на улицу.

— Пошли вы на хер, до свиданья, — сказал он и рванул прочь.

Отто не знал, куда бежать, и не надеялся далеко уйти. Принципиально другое. Неподчинение. С первого дня они должны понять, что совершили ошибку. Не на того нарвались, и, если б не трогали, им бы легче жилось.

Сзади послышалась трель свистка. Полицейский выскочил из машины и заорал: «Держи пацана!» Тотчас нашлись доброты. Ударом кулака Отто сбил наземь здоровяка, вставшего на его пути, после чего ботинком заехал незадачливому гражданину в пах. Подоспевший полицейский тоже угадал под кулак.

— Пошел на хер! — вновь напутствовал его Отто.

Ловчие добровольцы попятись. Только явный псих мог среди бела дня угостить полицейского по харе, и никто не желал быть следующим на линии огня. Пусть он всего лишь подросток, но очень крепкий и опытный боец. Дураку видно, что им движет слепая ярость. Народ расступился.

Расталкивая прохожих, Отто бежал по оживленным улицам и наобум сворачивал то вправо, то влево. Конечно, долго так продолжаться не могло. Вскоре к погоне присоединились постовые, откликнувшиеся на свистки и вопли, и окруженный Отто сдался.

Его крепко отлупили в участке, но в суде ему лишь попеняли. Муниципальная чиновница разъяснила ситуацию, и суд решил, что подросток, воспитанный паразитами, не может в одночасье стать цивилизованным человеком.

Однако теперь и речи не было о приемной семье. Ни одно нормальное семейство не справится с дикарем, выпестованным евреями. Но партия сумеет и этим займется, а посему решением суда, районного совета и отдела СС Отто отправили в Национал-политическую академию, сокращенно «Напола», — сеть элитных школ-интернатов для подготовки будущих нацистских чиновников и руководителей.

Школы эти, учрежденные вскоре после прихода нацистов к власти, мгновенно прославились своим жестким порядком. Суд счел, что именно такая школа дисциплинирует, воспитает и превратит Отто в доброго немца.

— Он из чистейшего рода саксонских крестьян, — на слушании заявил эсэсовец. — Весьма ценный германский тип. Такими нельзя

разбрасываться.

Выслушав решение суда, Отто испугался, что его ушлют в дальние края, но ему повезло: год назад школу «Напола» открыли в берлинском районе Шпандау. Директора уже оповестили, и он заверил, что «с удовольствием возьмется за нелегкую задачу» воспитания элитного немца из еврейского выкормыша.

— Твой случай и впрямь любопытен, — сказал эсэсовец, заглянувший в камеру Отто. — Порой так бывает с волчатами. Диких зверенышей, вскормленных другим животным, надо вернуть в родное племя. Прекрасная возможность, парень, — я уверен, когда-нибудь ты будешь нам искренне благодарен.

Отправка в школу предстояла утром, ночь Отто провел в участке. Невероятно одинокую ночь, к которой жизненный опыт его не подготовил. Чуть ли не впервые в жизни рядом не было брата, сопевшего в своей кровати. В камерах орали, за окном то и дело фырчали машины, но долгие ночные часы показались мучительно тихими и пустыми.

Отто не плакал. Некий защитный инстинкт подсказывал ему, что он погибнет, если предастся отчаянию. Хоть совсем мальчишка, Отто вполне понимал, что это лишь начало кошмара и надо рачительно сберечь душевные силы.

Опорой ему станет ненависть.

И потому он не лил слезы, но занялся гимнастикой. Отжимался и качал пресс, пока не сморила усталость. Он знал, что должен быть в форме, ибо очень скоро предстоят новые схватки. Драться он будет бесконечно. Враги решили, что в интернате подчинят его своей воле. Что ж, кулаки его докажут обратное.

В Шпандау интернат располагался в здании бывшего физкультурно-педагогического института. Пока ехали по городу, эсэсовец информировал своего хмурого подопечного:

— Условия великолепные. Уйма спортивных занятий. Как неустанно повторяет фюрер, прежде всего следует натренировать тело. Первым делом ему нужны крепкие парни! Науки не так важны. Мы не особо доверяем «умникам». Не они ли угробили Германию?

Отто смолчал, но усмехнулся — впервые после разлуки с домом. Как же он мечтал о школе, где не надо корпеть над учебниками. И вот такая нашлась, но в ней заправляют нацисты.

В новой школе его первым делом подвергли медицинскому осмотру, дабы точно определить истоки его «расы». Оказалось, даже среди носителей «чистой немецкой крови» существует многоступенчатая «шкала

ценности» и строгая иерархия расового господства.

Два мальчика, тринадцатилетний и одиннадцатилетний, которых тоже направили на осмотр, надеялись, что обладают черепом правильной формы и носом нужной длины, позволявшими получить элитарное образование.

— Чего тебя сюда занесло? — спросил Отто мальчика постарше, когда в раздевалке они разоблачились до трусов.

— А че, плохо, что ли? — ответил парень. — Самое то! Элита. Видал форму? Парадка — черная. Красота! Как отучимся, станем начальниками. Мы будущие гауляйтеры. Мой командир в гитлерюгенде говорил, что мы будем править Германией, а когда она покорит мир, то и всем миром.

Другой парнишка держался храбро, но, похоже, его не особо привлекала идея мирового господства.

— В прежней школе мне нравилось, — сказал он. — Но мама с папой совсем небогатые, а здесь обучение бесплатное. Мой папа горняк. Не хочет, чтобы я тоже лез в шахту. А тут отличное образование за государственный счет. Родители ужасно хотят, чтоб я сюда поступил. Буду стараться.

— С выпендрежем покончено! — самоуверенно заявил первый мальчишка. — Теперь без разницы, помещик ты или крестьянин. Фюреру все одно. Дело не в сословиях, важна кровь. Все вместе мы — немцы.

«Был бы ты постарше, я б тебе врезал», — подумал Отто.

Всех троих позвали в спортзал и велели сесть на скамью перед столом, где лежали странные, устрашающего вида предметы: большой кронциркуль, смахивавший на усики насекомого, и еще какие-то инструменты, похожие на струбцины, какими Отто пользовался на уроках труда. Еще был набор палочек с волосяными прядями разнообразных оттенков и текстуры. Чрезвычайно зловеще выглядела коробка с тридцатью-сорока аккуратными ячейками, откуда тупо пялились стеклянные глаза всевозможных цветов.

— Ух ты, жуть! — хихикнул мальчишка постарше. — Прямо как в морге после вскрытия.

— Это не морг, мальчик! — рявкнул чей-то голос, и в зал вошел человек в белом. — Это лаборатория для научного выявления расовой истины. Встать!

Мальчишки вскочили. Отто нехотя поднялся. Для максимального эффекта очередную выходку надо приберечь, решил он. Пока не время. Здесь единственные свидетели — белоснежная фигура и два малолетки.

— Здравствуйте, — сказал человек в белом халате. — Я — доктор Губер из главного отдела СС по вопросам расы и поселений. Вы все из хороших германских родов, иначе не оказались бы здесь. Однако для

«Напола» этого мало. Тут могут учиться лишь представители лучшей, благороднейшей крови, и я решу, течет ли она в ваших жилах. Существует пять германских типов. Разумеется, первый из первых — нордический тип. Далее следуют фальский, динарский, западногерманский и, наконец, балто-славянский. Лишь первым двум типам гарантировано место в «Напола». Не расстраивайтесь, если в вашу родословную закралась польская прабабушка. Большинство юношей, которые сюда приходят, представляют собой смесь всех пяти типов, однако нам требуются лишь кандидаты преимущественно нордического типа. Шаг вперед, Штенгель!

Отто шагнул к столу.

Его взвесили, а потом всесторонне обмерили. Размер ушей и черепа определили кронциркулем, расстояние от подбородка до переносицы измерили штуковиной, похожей на струбцину. К густой рыжеватой шевелюре приложили образцы волос, а светло-серые глаза сопоставили со стекляшками из коробки. Потом велели спустить трусы и внимательно исследовали пенис, раз-другой залупили головку — оттянули крайнюю плоть, которую из-за путча двадцатого года Фрида не позволила отсечь.

После каждого обмера доктор Губер отрывисто произносил загадочные цифры и литеры, и санитар прилежно заносил их в карточку.

По завершении осмотра Отто отправили на место, а доктор Губер изучил колонки цифр, сравнивая их с разными таблицами.

— Поздравляю, мальчуган, — наконец торжественно провозгласил он. — Ты — беспримесный фальский тип.

Отто слыхом не слыхивал об этом типе.

— Ты весьма редкий и ценный экземпляр, — продолжил врач. — В великой семье германской расы ты уступаешь лишь нордическому и смешанному нордическо-фальскому типам. Как истинный сын немецкой земли нынче же будешь зачислен в школу.

Отто никак не откликнулся на известие, лишь досадливо сморщился, получив от других соискателей поздравительные хлопки по спине.

Затем настала очередь двух других мальчиков. Сначала той же загадочной серии измерений, сравнений и цифровых диагнозов подвергли младшего паренька, в результате оказавшегося приемлемой смесью фальского и динарского типов. Отто заметил, что почетное зачисление в школу вызвало в пареньке смешанные чувства. А вот тринадцатилетний кандидат, жаждавший поступить в «Напола», был отвергнут. «Закругленный» череп свидетельствовал о «бесспорной принадлежности к балто-славянскому типу», что препятствовало совместному обучению с чистокровными особями.

— Не горюй, парень. — Врач видел, что мальчишка вот-вот расплачется. — Никаких сомнений, ты добрый немец. Просто не лучший, вот и все. Подрастешь, и вермахт будет рад принять тебя в свои ряды. Послужишь фюреру солдатом.

В раздевалке Отто и его новый однокашник не нашли своей одежды — им уже приготовили школьную форму.

Точно во сне, Отто застегнул коричневую рубашку, повязал коричневый галстук, натянул черные брюки и сапоги на шнуровке. На рукаве черного кителя с погончиками красовался шеврон со свастикой, только не круглый, а ромбовидный. К форме прилагались сияющие черной кожей ремень и портупея, а также белые перчатки и пилотка с орлом и свастикой на кокарде.

Кроме сапог и пилотки — копия формы эсэсовцев, забравших отца в концлагерь. В тот день Отто и Пауль убили насильника, посягнувшего на их мать.

Отто глянул на соседа. Шнурованные сапоги доходили пареньку до колен, причиняя большие неудобства.

Он выглядел куклой, нелепо обряженной в нацистскую форму.

Неудачник уже ушел. Школьные служители выпроводили его, не дав застегнуть рубашку. Он был дурным запахом, от которого без разговоров следовало поскорее избавиться. Одиннадцатилетнего мальчика отправили в его возрастную группу, а Отто повели к директору.

Начальник школы, добродушный здоровяк, одобрительно кивнул, оглядев Отто, и даже поправил ему галстук.

— Форма тебе к лицу, — сказал он. — Ты невысок, но крепок. Боец, я слышан. Для схватки лучшего наряда не сыщешь.

— Где моя одежда? — спросил Отто.

От столь неучитивого обращения директор поморщился, но тотчас снисходительно улыбнулся:

— Цивильная одежда, юноша, тебе больше не понадобится. Отныне ты носишь только форму. Начнешь со школьной, а там — кто знает? Форма гауляйтера важного округа. Или эсэсовца — члена ордена черных рыцарей. А может, форма офицера вермахта, если предпочтешь военную карьеру. Но думаю, к твоему совершеннолетию отряды СС уже спровадят старых армейских служаков. Ты всегда будешь облачен в форму, партийную или военную, ибо теперь, мой мальчик, ты слуга государства. Возблагодари судьбу, юноша, возблагодари! Отныне ты принадлежишь фюреру. Он все знает, все видит и всех любит. Всех немцев.

Если директор рассчитывал своей короткой речью вдохновить

воспитанника, его ждало разочарование, поскольку Отто решил, что настал момент себя показать.

— Кстати, о фюрере... — начал он.

— Я не разрешал тебе говорить, парень, — жестко оборвал директор. — На первый раз прощаю, но только на первый. Молчи.

— Я вот думаю, какие расы намешаны в *нем*? — Отто как будто не слышал приказа. — Кое-кто говорит, он смахивает на еврея, но нам такой даром не нужен. Я бы сказал, он наполовину хер моржовый, а наполовину засранец. Как вы считаете, господин?

Отто прекрасно знал, что делает.

Он ничуть не боялся, что его убьют. Жизнь его была кончена.

Он лишился всего, что любил. Дома. Семьи. И возлюбленной Дагмар.

Они были его жизнью, но их отняли. А взамен дали нацистскую форму. Во всем эсэсовскую, кроме названия. Возможна ли столь злая насмешка судьбы? Столь презренная доля? Быть признанным своим среди дьяволов, которые распахнули объятия блудному сыну.

Отто с радостью покончил бы с собой, но не хотел, чтобы враги говорили, будто евреи превратили его в труса. И потому решил переложить задачу на их плечи.

— Наполовину хер с бугра, наполовину сраная нелюдь — вот что такое ваш фюрер, герр начальник.

Вопреки ожиданиям, директор не взбеленился. Не набросился с кулаками, на месте не пристрелил. Наоборот, крупное добродушное лицо его расплылось в улыбке.

— Надо признать, малец, — благодушно прогудел он, — жидам не удалось сломить твой дух. Ты смельчак, мой милый. Настоящий германский жеребец.

— Идите в жопу вместе с вашим Гитлером, — ответил Отто.

— Хорошо. Выпусти пар. Сказываются пятнадцать лет еврейства, да? Но мы это исправим. Видишь ли, юный Отто, ты — мой *лабораторный опыт*. Эксперимент, если угодно. Я хочу доказать, что кровь сильнее всякой еврейской лжи. Я верну тебя в лоно нации, сынок. Восстановлю в рядах господствующей расы, откуда ты выпал по недосмотру коммунистического лекаришки, принявшего тебя на свет. Однако к делу. Мы знаем, храбрости тебе не занимать. А как насчет бокса?

Отто не хотел отвечать, но не сдержался:

— Если что, нациста уделаю.

— Отлично. У нас их пруд пруди. Как раз старшеклассники на тренировке. Идем.

Отто привели в ту же раздевалку и выдали спортивную форму, тоже с ромбовидным шевроном со свастикой. Из зала, где недавно проходил медосмотр, доносился шум — там тренировались боксеры. В зале Отто увидел ринг и парней лет семнадцати-восемнадцати. Спортсмены работали в спарринге.

— Парни! — крикнул директор, и все спортсмены тотчас вытянулись по стойке «смирно». — Познакомьтесь с новеньким. Его зовут Отто. Он поносил фюрера. Кто преподаст ему урок?

Парни негодуя зароптали, и моментально нашелся кандидат — мощный парень, года на три старше и сантиметров на двадцать выше Отто.

— Если этот салага оскорбил нашего вождя, — пробасил он, поигрывая устрашающими мышцами, — я сочту за честь его наказать.

Отто пожал плечами и взобрался на ринг.

Придержав его, директор шепнул на ухо:

— Спорим, ты и минуты не продержишься, жидок.

Отто, совсем не дурак, смекнул, что его заводят. Но этого и не требовалось. Он был рад противнику, вполне способному его убить. И лишь надеялся хоть пару раз ему врезать, доказав этим нацистам, что еврей умеет умереть. Когда ему завязали перчатки и вставили капу в рот, Отто решил, что покинет ринг бесчувственным либо мертвым.

Бой остановили в конце третьего раунда, когда Отто еще был в сознании, хоть и не полном. Он превратился в заплывший, кровоточащий, спотыкающийся, рыгающий, оглушенный мешок костей, который раз за разом валился на помост, но каким-то чудом умудрялся встать.

Почти весь первый раунд Отто нырками уходил от ударов противника и даже угостил его парой крепких хуков по корпусу. Но затем опытный боец приноровился и Отто досталась роль упрямой боксерской груши с окровавленной мордой и кровавой пеленой перед глазами, которую под градом мощных ударов мотало по рингу.

После очередного нокаутирующего удара он через канаты вылетел к зрителям, и директор остановил бой. Отто услышал его голос:

— Вот какого дикаря взрастили евреи! Но в нем кровь и сердце Тора! [63] Бой это доказал! Если нужно доказывать, что кровь всего главнее. Отведите его в лазарет.

Когда Отто вздернули на ноги, он хотел пренебрежительно рыкнуть, но из разбитого рта ни звука не донеслось. Глаза его совершенно заплыли. Вырываясь из рук ухмылявшихся парней, он бессильно сучил кулаками в перчатках, а потом споткнулся и вновь грохнулся на пол. Вот тогда-то свет в глазах померк.



## Налаживаем связь

### Берлин, 1936 г.

Первые четыре месяца за Отто строго следили. Контакты с внешним миром не допускались.

— Тело и кровь твои принадлежат фюреру, но душой ты еще со своими еврейскими захватчиками, — твердил директор. — Посему, юноша, посиди-ка на коротком поводке.

В спартанских условиях этого самоуверенного и самодовольного узилища вскоре стало ясно, что протестовать будет отнюдь не легко. У Отто имелся план: по любому поводу драться со всеми, пока его не убьют или не вышвырнут вон. Однако возникла проблема: чем больше он дрался, тем увереннее росла его репутация «горячего немца». Каждый нанесенный или полученный удар укреплял всеобщую веру в его редкостную «кровь»: никакой еврей не способен на такие мужество и преданность. Отто обладал этими качествами вопреки тлетворному влиянию, и это лишний раз доказывало нацистскую расовую теорию. Почетная задача, считал директор, заключается в том, чтобы направить отменный бойцовский дух воспитанника в нужное русло. Сложность ее только подтверждала, сколь злонамеренно манипулировали своим выкормышем коварные евреи. Бесконечные драки, повторял директор, говорят лишь о породистости Отто и злобной хитрости его приемных родителей.

Отто пользовался недоуменным уважением однокашников, что еще больше его бесило. Уже после первого боксерского поединка, в котором он выстоял три раунда против чемпиона школы, его признали бойцом — единственная добродетель, почитавшаяся в сем учебном заведении. Свирепая драчливость Отто, его готовность в любой момент сцепиться с кем угодно изумляли и даже подкупали. На окружающих всегда действовало обаяние его открытого симпатичного лица (когда оно не было до неузнаваемости обезображено фингалами), и то же самое случилось в «Напола» — очень скоро Отто превратился в такого школьного любимца, дорогого пса с инстинктом убийцы и отменно злым нравом. Если его приручить, он станет гордостью своей породы.

От досады Отто буквально сатанел. Враги не отвечали ему лютой ненавистью. И даже, как вскоре он понял, его жалели. Дескать, славный парень, загубленный евреями. Антисемитизм был главным учебным предметом, независимо от темы предварявшим каждый урок, и Отто стал

живым символом школьного кредо. Отважен, агрессивен и упорен по крови, но изуродован воспитанием.

Тихо лежа в спальне среди одноклассников, с которыми не разговаривал, но ежедневно дрался, Отто понял, что надо менять стратегию. Одними драками ничего не добьешься.

Он чуть усмехнулся, представив, как это признание развеселило бы Пауля.

Отто ужасно скучал по брату.

Пауль — умник, мыслитель, стратег. Он бы знал, как себя вести. Разработал бы план. Как всегда.

Воспоминания о брате лишь обостряли беспросветное одиночество. Настолько отчаянное, что иногда Отто подмывало сдружиться с кем-нибудь из одноклассников. Не такие уж они злыдни, эти сынки помещиков и партийцев. Всех учеников объединяло противостояние жесточайшей школьной дисциплине, считавшейся единственным средством воспитания будущих лидеров. Юношей, как их здесь называли, беспрестанно изводили садисты-старосты, которые и сами-то были чуть старше. Общие тяготы сплывали учеников, и в команде было бы легче. Но Отто не мог себе этого позволить. Ни за что. Те же самые ребята, что играли в расшибалочку, ржали над пердунами, обменивались неприличными открытками и сравнивали следы от регулярных порок, считали паразитами его мать и любимую девушку.

Невозможно об этом забыть ради облегчения жизни в застенке. Невозможно.

Однако спустя некоторое время Отто поймал себя на том, что понемногу идет на уступки тюремщикам. Злоба его не стихала, но теперь он пытался ею управлять. Стало ясно, что открытой агрессией он только себе вредит.

Кроме того, он так сильно скучал по родителям и брату, что решил попробовать сносным поведением заслужить увольнение в город. Конечно, родных не повидать, но, может, удастся хотя бы о них разузнать.

Изведенный сверлящим одиночеством, Отто томился по другу. И оттого поставил себе задачу заслужить увольнительную. Конечно, драки он не прекратил, но теперь дрался лишь в рамках правил — на занятиях боксом и военным делом. Он стал отдавать гитлеровский салют, но при этом незаметно скрещивал пальцы и тем самым как будто приближался к брату. Усердствовал на стадионе, поскольку педагогический состав интересовался лишь успехами в спорте, рукопашном бое и муштре. И даже перебарывался парой слов с добродушными барчуками, которые иногда

пытались втянуть его в разговор.

В середине весны тридцать шестого года Отто наконец продержался неделю без взысканий за непокорство и решил, что пора подъехать к директору с просьбой о выходе в город.

Разумеется, начальник был рад переменам в поведении воспитанника и похлопал его по плечу. Отто стоял по стойке «смирно».

— Что ж, юноша, я бы охотно каждую неделю отпускал тебя в увольнение, как всех ребят, — покровительственно сказал директор. — Но кто поручится, что ты не кинешься к евреям, которых некогда считал своей семьей?

— Ручательство в том, господин начальник, что они — евреи, а на мне форма ученика «Напола», — ответил Отто.

Директор улыбнулся, но ответ его не убедил.

— Хочешь сказать, с ними покончено? Больше никаких родственных чувств?

До умного Пауля Отто было далеко, но он все же смекнул, что нельзя переигрывать.

— Никак нет. Я по-прежнему люблю своих бывших родителей, они были добры ко мне. Но теперь я воспитанник «Напола» и принадлежу фюреру. И потому не могу навещать свою бывшую семью. Что бы я к ним ни чувствовал, они — евреи.

— Тогда кого ты хочешь навестить? — спросил директор.

— Девушку, господин начальник.

— Ага! — рассмеялся здоровяк. — Вот этому я верю. Что за девушка?

— Хорошая немка, господин начальник. Дочь бывшей служанки моей бывшей матери. Она член ЛНД, ее отчим — штурмовик.

— Недурно, — сказал директор. — Вот что мы сделаем. Для начала пригласи ее сюда. Воскресенье — день посещений, и старшеклассникам разрешено приглашать на чай родных и друзей. Пригласи эту девушку. Давай садись и пиши приглашение. Я прослежу, чтобы его отправили.

И вот в следующее воскресенье пришла Зильке.

Она еле успела подтвердить свой визит. В кои-то веки подсуетился отчим, которого сильно впечатлило послание из столь престижного партийного заведения.

Увидев Зильке, Отто едва не разрыдался. От близких так давно не было вестей, что улыбка старого друга, топтавшегося за оградой, его чуть не срубила. Когда огромные железные ворота распахнулись, Зильке и Отто кинулись друг к другу и от радости едва не задушили в объятиях. Наконец Отто заметил ухмыляющиеся физиономии однокашников и выпустил

Зильке.

— Вы осторожнее, девушка! — крикнул один парень. — Обычно он сначала бьет, а уж потом разговаривает.

— Ну хоть узнали, что он умеет улыбаться! — подхватил другой.

Подначки были дружеские. Всем было приятно видеть, что их бешеный кого-то обнимает. Да еще этакую симпатягу в форме ЛНД. На шпильки Отто не ответил — он утопал в счастье, соприкоснувшись с частицей прежней жизни, любимой и утраченной.

Вдвоем они прошли на школьный двор, где проговорили все два часа, отведенные на посещение, даже не заметив, что пропустили чаепитие. Накануне Зильке заскочила к Штенгелям и теперь сообщала последние семейные новости.

— У твоих все хорошо, — говорила она. — Жизнь стала маленько легче. Перед Олимпиадой сняли кое-какие запреты для евреев. Даже убрали таблички с парковых скамеек, и теперь в погожие дни твой отец сидит в Народном парке.

— Как он? — спросил Отто.

— Хорошо, просто замечательно. — Голос Зильке чуть дрогнул, выдав ложь.

— Зилк, теперь ты мой единственный друг. Ты уж мне не ври.

— Ладно. С ним неважно, — призналась Зильке. — Похоже, он потерял надежду. Наверное, хуже всего, что ему нечем заняться. Целыми днями просто сидит, и мама твоя очень переживает. Ей больно видеть его *опустошенность*. Конечно, она ничего не говорит, но и без того ясно. Был такой весельчак, а теперь просто *сидит*. Пьет, когда есть что, и курит, что, конечно же, зря, потому что потом кашляет аж до рвоты. Ну а мать-то почти все время дома и все это видит.

— Почему дома? — удивился Отто.

— Ах да, ты же не знаешь. — Зильке сникла. — Врачей-евреев все-таки изгнали из общественных медучреждений. Фрида уже не работает в больнице.

Отто сжал кулаки.

— Твою мать! — прошипел он. — Угомонятся они когда-нибудь? Больше делать нечего, что ли? Она же никогда ничего плохого... Совсем на хер спятили!

Оба понимали, как сильно ударило по Фриде отлучение от клиники. Шестнадцать лет больница была ей вторым домом.

— Теперь она практикует на дому, — поспешно сказала Зильке. Отто побагровел, и она боялась, что счастливый день будет загублен избиением

какого-нибудь нациста. — Конечно, пациенты — только евреи, но их прилично. Платят, кто сколько может, так что на еду хватает. Знаешь, она ужасно по тебе тоскует. Поседела, а ей всего-то тридцать шесть. Но теперь, когда связь наладилась, будет полегче. Понимаешь, неизвестность ее убивала. А сейчас хоть весточку получит. Ты не представляешь, что с ней было, когда я сказала, что иду к тебе. Схватила в охапку меня и Паули, и мы втроем прямо заплясали. А Вольфганг даже чего-то сбацал на пианино. Сто лет уже не играл. Пыль столбом! Конечно, отсюда я напрямиком к твоим, и ты уж постарайся, чтобы отчет мой был хорошим!

— Старина Зилк! — усмехнулся Отто.

— Не называй меня так, Оттси. — Зильке чуть нахмурилась и будто в шутку добавила: — Собачья кличка какая-то.

Отто лишь засмеялся.

— Расскажи о Паули. Я по нему ужасно скучаю.

— Да ну? — поддразнила Зильке. — По Паулищу? Так и передать?

— Еще чего! — Отто ее сграбастал. — Только попробуй — пожалеешь!

Он принялся ее щекотать, как в детстве, когда он изображал рычащего медведя, а Зильке от смеха взвизгивала.

Но детство кончилось. Зильке вырывалась из медвежьей хватки, а Отто смотрел на ее лицо, такое близкое. На белые зубы. Алые губы.

— Давай, расскажи про гада Паули, — сказал он, выпустив Зильке. — Хотя не очень-то интересно.

— Какие вы, мальчишки, дураки! Конечно, тебе интересно. И ты будешь рад узнать, что он жив и здоров. Теперь он ведает семейным бюджетом и вместо Фриды ходит по магазинам. Умудряется купить хорошие продукты, хотя денег стало меньше и все меньше магазинов, куда пускают евреев. Похоже, он сменил отца на посту главы дома. Учится, каждый день ходит в школу. Другие евреи учебу все-таки бросили, а Пауль держится. Сидит в своем уголке, готовится к экзаменам. Его, наверное, и не замечают. Говорит, после тебя — никаких драк.

— Во рохля! — засмеялся Отто.

— А по-моему, умница. Хочет и дальше учиться.

— Дурак он хренов! — буркнул Отто. — Какой смысл быть образованным евреем в Германии? Не умник он, а последний тупица.

— Он хочет уехать. — Зильке огляделась — нет ли рядом чужих ушей. — Ты же знаешь, Отт. Он надеется, что когда-нибудь станет юристом, в Англии или Америке. Говорит, будет защищать угнетенных.

— Он сам угнетенный.

— В том-то и дело, — мягко сказала Зильке. — Он хочет извлечь из этого хоть какую-то пользу. Как и ты. Вы оба не сдаетесь. Только разными способами, вот и все.

— Я дерусь, он учится — так, что ли?

— Нет, не совсем, — проворчала Зильке. — Ты не только дерешься. Не забывай, в тебе много всякого. Ты же любил столярничать, любил музыку.

— Нынче я только дерусь, Зилк.

Отто помолчал. Представил, что они уедут. Брат и родители.

— Знаешь, хорошо, что здесь оказался я, а не Пауль, — наконец сказал Отто. — Он бы взбесился, так и передай. Тут все жутко тупые. И учителя тоже! Кроме шуток, в их элитарной школе даже я себя чувствую отличником. Уроки — просто смехота. Вместо нормальной истории проходим немецкий фольклор и языческие легенды. Знай себе талдычат: кровь и земля, земля и кровь. При чем тут это, хотел бы я знать. И конечно, бесконечная туфта о евреях. Во всем виноваты мы и прочая нелюдь — негры, славяне, китайцы, цыгане. Потому-то Германия и завоюет мир, ибо немцы — боги, а все прочие — дрянь. Вот так запросто. Тут этому *учат*. В классе собираем-разбираем пулемет, в остальное время — спорт и жесткая натаска. Набить ранец камнями и вперед на косогор. Разуться и бегом по битым камням. За минуту одеться по полной форме. Пауль бы сбрендил.

— Рассказывай, рассказывай! — засмеялась Зильке. — Хочу все про тебя знать.

— Тебе интересно, как разобрать, смазать и собрать автомат?

— Да!

Драгоценные минуты встречи истаяли так быстро, что «пятиминутный звонок» грянул совсем неожиданно. У Отто оборвалось сердце. На два часа он окунулся в свою прежнюю, *настоящую* жизнь, и возвращение к фальши было невыносимо жестоким.

— Приходи в следующее воскресенье, ладно? — взмолился он. — Меня-то вряд ли когда-нибудь выпустят. Скажи, что придешь.

— Приду, если обещаешь не добавлять себе ссадин и фингалов. — Зильке улыбнулась и погладила его по щеке. Теперь Отто дрался реже, однако боевых следов на его лице хватало. Зильке осторожно потрогала шрамы: — Ты такой симпатичный.

— Я должен драться, — сказал Отто. — Хоть изредка. Чтоб показать, что я еврей.

— Потерпи, — прошептала Зильке. — Есть другие способы. Ну вот я — тоже воюю, но все равно миленькая, правда?

Отто лишь осклабился, и надежды Зильке на комплимент не

оправдались.

— Ну да, твоей мордахе ничего не делается, — рассмеялся Отто и шепотом добавил: — Ты говоришь о «Красной помощи»? Это не для меня.

— Почему?

— Дагмар не одобрит. Она не любит коммуняк.

Радостная улыбка Зильке пригасла.

— Угу. Как все детки миллионеров.

— Дагмар уже не из них, — насупился Отто. — Ее отца убили, забыла?

— Да, ей крепко досталось. Но коль была принцессой...

Вновь грянул звонок.

— Мне пора, — сказал Отто. — Опоздавших ждет десятикилометровый кросс в полной выкладке. Поторопись, иначе тебя здесь запрут.

— Я бы не возражала! — с излишней горячностью ответила Зильке, схватив его руку.

— Еще как возражала бы. Здесь ад. Обещай, что в воскресенье придешь.

— Если ты обещаешь не драться!

— Не могу! — на бегу крикнул Отто. — Не хочу тебе врать!

— Нет, обещай! — повторила Зильке, но Отто уже скрылся.

Она пошла к воротам, зная, что ничто на свете не удержит ее от следующего воскресного свидания.

## Еженедельные свидания

### Берлин, 1936 г.

Драться Отто не перестал, но дрался реже.

Связь с семьей была слишком драгоценна, чтобы ею рисковать. Ради нее он был готов даже прогнуться под школьный режим.

— Конечно, он бесится, но держит себя в узде, — отчитывалась Зильке перед Фридой после третьего свидания. — Честно говоря, мне показалось, что в глубине души ему уже нравится вся эта дурь. Спорт, физподготовка, оружие и никакой «зубрежки». Только винегрет из истории и легенд, в которых немецкие герои сражаются со злобными карликами и троллями, словно все это было взаправду.

— А уж мы-то знаем, кто подразумевается под троллями, да? — вставил Пауль.

Фрида улыбнулась:

— Я рада, что в этом кошмаре у него есть хоть какая-то отдушина. И еще очень обнадеживает так называемое элитарное образование. Судя по всему, надо подождать лет двадцать, и полное невежество обрушит проклятую систему.

— Как я понимаю, берлинская «Напола» определенно не выпестует нового Эйнштейна, — засмеялась Зильке.

— Только евреи способны произвести на свет Эйнштейна, — со своего обычного места у онемевшего пианино подал голос Вольфганг. Нынче он заработал пару монет, у входа в бар играя на аккордеоне, и был слегка пьян.

— Что за глупость, пап! — осерчал Пауль. — Ньютон же не еврей! И Фарадей! И Аристофан! Нас за то и гнобят, что якобы мы иные. А мы вовсе не иные! Ты не встречал тупых евреев, что ли? Я — сколько угодно.

Вольфганг стушевался.

— Ты прав, Паули, — промямлил он. — Я глупость сморозил.

Повисло молчание. Все понимали, что Вольфганг не только растерял власть над сыном, но и лишается его уважения. Зильке помнила его талантливым, забавным и жизнерадостным; сейчас она смущенно отвернулась.

— Ты нам приносишь весточку от Отто, и теперь у нас воскресный вечер — апофеоз недели, — сказала Фрида. — Правда-правда. Мы ужасно тебе благодарны, Зильке. Ты это знаешь, милая, да?

— Конечно, знаю, но и вы знайте, что мне это в радость. И для меня



воскресенье — лучший день. Повидать Отто... и вас, конечно.

Зильке сконфуженно улыбнулась, под весенним загаром чуть покраснев.

— Ну да, Оттси и нас, — улыбкой ответила Фрида.

Даже менее проницательный человек заметил бы, как счастлива Зильке своей особой ролью в жизни близнецов и персонально Отто. Впервые с того далекого дня в двадцать шестом году, когда герр Фишер привел свою маленькую принцессу на музыкальный урок, Зильке вновь стала главной героиней возлюбленных братьев. Их единственным связующим звеном. Клеем, скрепляющим их общность.

Давным-давно она поняла, что братья влюблены в Дагмар. Зильке прекрасно сознавала, что она всего лишь «приятель», тогда как Дагмар — любовь, ради которой братья охотно рискнут чем угодно. Поначалу она ревновала — как девчонка, понимающая свое место в иерархии детской дружбы. Но в последние два-три года ревность эта стала мучительной и всепоглощающей.

И еще сместились акценты. Все было не так, как в детские годы.

Да, Пауль предпочитал общество Дагмар, и это вызывало лишь завистливую досаду, но безразличие Отто порождало затаенные муки, на какие способна только неразделенная любовь.

Теперь Зильке знала, что влюблена в Отто. А еще прекрасно сознавала, что Отто, влюбленный в Дагмар, больше не может встречаться со своей пассией.

Он мог видеться только с Зильке.

Только с ней он мог разговаривать. Поверять свои тайны и планы. Даже Пауль, неизменный жизненный спутник, был недосыгаем, и общение с ним могло происходить только через нее.

Возникла новая восхитительная близость, какой Зильке не знала в своей трудной и грубой жизни. В семье были холод, враждебность, порою жестокость. Подруги по школе и ЛНД не вызывали доверия, ибо в отличие от них она не сходила с ума по Гитлеру. Но теперь у нее был Отто.

Каждую неделю они встречались, он ужасно ей радовался и об этом говорил, чего прежде никогда не случалось.

Вдвоем они гуляли по территории школы, и Отто с ней *разговаривал*, а она по-девчачьи ахала над его победами на беговой дорожке и меткостью в стрельбе, доказывавшими нацистским засранцам, на что способен еврей. Она цокала языком и выговаривала ему за новые ссадины и синяки. Смешила рассказами о дурацких упражнениях и танцах с шарфами, процветавших в ЛНД.

— В раздевалку шастают кураторы-извращенцы — мол, все ли в порядке с формой? Блузки беленькие, юбочки коротенькие? А то мы не знаем, чего им надо!

Потом в рощице они находили безлюдный уголок и садились под деревом. Затаив дыхание, Отто слушал новости о семье.

Иногда Зильке его приобнимала. Чаще всего, когда речь заходила о Фриде и Отто захлебывался своим невыносимым одиночеством. Бывало, он плакал, не стесняясь Зильке. Прежде он бы скорее умер, чем это допустил.

Но слезы высыхали, накатывал гнев, и Отто клялся отомстить всей нацистской машине.

— Когда-нибудь я сожгу на хер школу, — говорил он. — Иногда перед сном представляю, как сопру бензин и подожгу. Выберу время, когда ребята на стадионе. Кое-кто не такие уж сволочи, хоть все и собираются править миром. Но сука директор с его снисходительной улыбочкой и вся эта господствующая раса учителей свое получают. Поглядим, какие они сверхчеловеки. Вот запру двери и подпалю.

Подобные разговоры ее пугали. Лицо Отто злобно кривилось, голос дрожал от ненависти. Зильке крепче его обнимала и шептала: «Не уподобляйся им, Оттси». Отто вновь захлебывался слезами и ронял голову ей на плечо, а она держала его в объятиях, приговаривая, что в конце концов все образуется.

В такие минуты у Зильке появлялась надежда. Вдвоем они сидели под любимым деревом на травянистом взгорке, с которого просматривалось футбольное поле, и Зильке мечтала о том, как станет для Отто больше чем другом. Его девушкой. Может, нынче, или в следующий раз, или еще через неделю он повернется к ней, заглянет ей в глаза и поцелует.

Сейчас это не казалось безумной мечтой.

Зильке знала, что она весьма хорошенькая. Внешность ее отвечала духу времени: юная голубоглазая блондинка, стройная и загорелая. Зильке смахивала на девушек с нацистских плакатов, призывавших к взносам на нужды партии. Однокашники Отто, встречавшиеся на прогулке, всегда одобрительно ухмылялись и друг друга подталкивали. Некоторые даже восхищенно присвистывали.

— Может, познакомишь со своей девушкой, Штенгель? — как-то раз крикнул один парень, и Зильке запунцовела, что последнее время бывало частенько.

Однако было очень приятно.

Зильке себя *чувствовала* девушкой Отто. Они встречались каждую неделю, и она участвовала в официальных чаепитиях, куда все прочие

воспитанники приводили разве что матушек.

Зильке подмечала завистливые взгляды, когда Отто сопровождал ее к столу. Многие симпатичные парни в безупречно отутюженной форме слали ей улыбки, но она высокомерно отворачивалась, давая понять, что ей интересен лишь ее красавец-кавалер.

Ей нравилось сидеть с ним рядом за красиво сервированным столом. Нравилась брутальная мужская атмосфера. Нравилось, как все парни синхронно вскакивали и по сигналу директора рявкали: «Рады гостям!»

Она тоже была гостьей.

Гостьей *Отто*, чем очень гордилась.

Как и все здесь, Отто был подтянут и дисциплинирован. Как и все, он вскидывал руку в гитлеровском салюте и, маршируя на месте, рьяно горланил «Хорста Весселя». Все это было ему ненавистно, но он это делал, дабы не лишиться единственной возможности видеть *ее*.

После приветствия Отто вновь садился за стол, и Зильке подталкивала его локтем — мол, я заметила твои скрещенные пальцы. Она угадывала его скрытую улыбку, а он под столом толкал ее коленкой и для *нее* хватал самый большой кусок торта.

Такие мелочи пьянили Зильке.

Девушку, у которой мать уборщица, а отчим — штурмовик на подхвате.

Девушку, которая всегда считала себя второсортной. Особенно по сравнению с Дагмар.

Девушку, без памяти влюбленную в Отто.

## Расовая непригодность

Лондон, 1956 г.

В четвертый раз сходяв к бару за выпивкой, Стоун без понуканий продолжил рассказ.

Он так давно не говорил о себе, что, начав, не мог остановиться.

— Наконец меня выпустили в город, — сказал он. — Директор вызвал в кабинет и объявил, что с пяти до девяти вечера я могу идти в увольнение. То, к чему я стремился. Ради чего перестал драться и поносить фюрера.

— Спёрим, я знаю, что ты сделаешь, когда вирвалься на воля, — улыбнулась Билли. Красиво очерченные алые губы ее всегда выглядели подкрашенными, независимо от того, сколько помады осталось на краю стакана.

— И что же?

— Прямымком рвануль к своей Дагмар. Не чуя ногу.

— Верно, — тихо сказал Стоун. Взгляд его затуманился.

— И разбил сердце малишки Зильке.

— Думаешь? Вряд ли она меня любила. В этом смысле. Мы дружили. Вечные приятели.

— Мюжчины *никёгда* не замечают. Особенно если не хётят. Хюже нет мюжчины в шестнадцать лет. *Знаёмо*. Они *тюпые*!

Стоун усмехнулся и вытряхнул очередную сигарету из пачки «Лаки Страйк».

— Что ж, если я ранил Зильке, мне тотчас отплатили.

— Дагмар тебя бросила?

— Можно и так сказать. В общем-то я был ее парнем всего один вечер. Да, она меня прогнала. Поначалу мать ее не хотела меня впускать, потом все же впустила, но дальше vestibюля я не добрался. Я же был в кошмарной черной форме со свастикой. А куда деваться, другой-то одежды не было. Представь, что подумала фрау Фишер. Молодец в эсэсовской форме. Она страшно побледнела. Не сразу меня узнала. Наверное, решила, я пришел ее арестовать. Потом велела убираться. Ты не еврей, сказала, ты немец. Я не ожидал такого приема, но, конечно, ее можно понять. Я подвергал их опасности. Если б меня застукали, наказали бы их, не меня. Прекрасный повод прищучить Фишеров.

— Да уж, понять мёжно, — сказала Билли.

— Конечно. Но я был совершенно раздавлен. Умолял. Клялся, что

обратно прошмыгну мышкой и никто ничего не узнает. А она спросила, был ли я у своих. Конечно, я не был. «Что ж ты — о них печешься, а о нас нет?» — сказала она.

Билли молча потягивала портвейн.

— Поразительнѐ, — наконец проговорила она. — Наверное, в Холѐкосте полно таких запутанных историй.

— Я никогда об этом не рассказывал.

— Я знаю. — Билли досадливо поморщилась. — Не надо без конца повторять. Уже сказал. Ты недоверчивый, излѐманный, наглухо закрытый, духовно выжатый парень, который любит умершую девюшку и не заслуживает счастья. Правила мне понятны, о'кей?

— Извини, — улыбнулся Стоун.

— Задольбал, — пробурчала Билли. — Ладно, ты никогда об этом не говорил и все это секреты, но что было потом? Что Дагмар? Изумительный, манящий, знойный, длинноногий Дагмар, о ком с двенадцать лет ты и брят еженощно мокро грезил? Ты с ней увиделься?

— Да, на минуту. — Стоун печально уставился на промокшие картонки под пинты. — Она сошла по лестнице и спряталась за спину матери. Я пытался что-то объяснить, но она лишь качала головой.

— Даже ничего не сказала? — спросила Билли.

— К сожалению, сказала. Такое, что хуже не придумаешь. Ты больше не еврей, сказала она. Было так больно. Именно этого я боялся. А слышать такое от Дагмар было просто убийственно.

— Если хѐчешь знать мой мнений, малиш... — Билли прикурила сигарету «Житан», щелкнув изящной зажигалкой «Данхилл». — Твоя Дагмар тот еще сучка.

— Нет, — отрезал Стоун. — Не надо так, Билли. Пожалуйста. Не смей так говорить.

— Ты все любишь ее, что ли? До сих дней защищаешь.

— Да, защищаю. Поверь, она не сучка. Она была чудесная. Забавная, красивая, гордая и умная. Пока не разразилось безумие. Нет, не ангел, но хороший человек. Славный человек. Только представь, через что она прошла, что пережила. У нее украли жизнь. Ее волшебный мир превратился в кошмарную жестокую пытку.

— Да, конечно, — уступила Билли. — Я сказала, что никого не осуждаю, и сраз осюдила. Хотя не впряме.

— Понимаешь, ей казалось, что ее предали, — сказал Стоун.

— Ты?

— Да. Я прочел это в ее глазах, там, на лестнице. Несправедливо, и

она, конечно, это знала. Но все равно вообразила предательство. И я ее понимал. Теперь мы обитали на разных планетах. Передо мной было будущее, перед ней — нет. Она так и стоит перед глазами. Похудевшая, издерганная и все-таки прекрасная. Потом она велела мне уйти. Сказала, дело не в риске, просто не хочет меня видеть. Не желает быть с тем, кто живет, тогда как она медленно... медленно умирает.

Впервые с начала рассказа Стоун запнулся.

Билли легонько сжала его колено.

К столику подошел бармен.

— Прошу прощения, — сказал он, — пожалуйста, допивайте и уходите.

Стоун, только что отхлебнувший пива, оставил пинту и посмотрел на бармена.

— Что? — спокойно спросил он, но пальцы сжались в кулак.

— Извините, — повторил бармен. — Мне-то все равно, я вам слова не сказал, но вот вернулся хозяин и заметил вашу подругу. Понимаете, он не пускает черных в свое заведение. Такое вот правило, вам придется уйти.

Стоун взял пинту и сделал нарочито затяжной глоток. Билли уже убрала сигареты и зажигалку в сумочку.

— Передай хозяину... — медленно сказал Стоун.

— Поль, не надо, — сердито перебила Билли. — Пошли. Я не хёчу оставаться в этот гядюшник. Такой общество? Нет уже, спасибо. Противно.

Стоун ее придержал.

— Передай хозяину, — повторил он, — что он нацист и пиздюк. Понял? Кстати, и ты пиздюк, а вдобавок трус.

— Позвольте! — оскорбился бармен. — Я ни при чем, я тут работаю...

— И просто выполняешь приказ? — усмехнулся Стоун. — Где-то я уже это слышал.

— Поль... Отто... не надо. Я хёчу идти, — сказала Билли.

Появился хозяин. Надменный здоровяк с напомаженными волосами и щеткой усов. Нагрудный карман его кителя, залоснившегося на локтях, украшал полковой значок.

— Это мой паб, и я решаю, кому здесь пить, — заявил он. — Так что вали отсюда со своей черной потаскухой.

Билли стряхнула руку Стоуна и вскочила.

— Мы уйдем, но вы жалькая и мерзкая личность. — Она говорила словно королева с мужланом. — Что-то здесь завоняло. Может, забило трубу, но, похоже, несет от хозяина.

Однако Стоун не двинулся с места.

— Я сосчитаю до пяти, и ты извинишься перед дамой, — угрожающе сказал он. — Один... два...

Билли вновь попыталась вмешаться — безуспешно. Стоун закончил отсчет и, привстав, разящим апперкотом сбил хозяина с ног. Тошнотворный хруст, сопроводивший встречу кулака с подбородком, уверенно диагностировал перелом челюсти. Стоун развернулся, готовый заняться барменом, но перепуганный халдей попятился и врезался задом в чей-то столик, опрокинув стаканы. Никто из посетителей вмешаться не пожелал.

— Теперь можем идти. — Стоун осушил пинту и встал.

— Да уж, лючше пойдём. — Билли поспешила к выходу. — Между прочим, никто не взиваль к драка.

— Слова Чемберлена, — ответил Стоун, следуя за ней.

Они вышли из паба и тормознули такси.

## Личные жертвы

### Берлин, 1936 г.

Дагмар вернулась в спальню. Лицо ее окаменело.

— Спасибо, что не вышел, — сказала она.

Пауль стоял у окна.

— Ужасно хотелось, — ответил он, глядя на улицу. — Невероятно.

Фигура в черном ушла через калитку.

Дагмар не удержала маску безразличия. Голос ее надтреснул.

— Мне пришлось его выгнать. — В глазах ее закипали слезы. — Было бы еще хуже, если б он увидел тебя. Я его прогнала. Нашего Отто.

— Нельзя ему приходить. — Ради Дагмар Пауль старался быть благоразумным. — Но я знал, что при первой возможности он явится. И не виню его. Я бы сделал то же самое.

— Видел бы ты его! — Дагмар расплакалась. — Он в форме! Ужас. Выглядит как... как *они!*

— В душе он все тот же Отто. Это просто форма. Ты же понимаешь.

— Нет! — всхлипнула Дагмар. — Такая форма не бывает *просто* формой.

По вечерам Пауль часто приходил к Дагмар. В ее спальне они пили желудевый кофе и курили. Он навещал ее три-четыре раза в неделю. Дагмар всегда была дома. Она упрямо отгораживалась от прежней жизни и жизни вообще.

«Если нам все запрещено, какой смысл выходить из дома?» — стенала она.

Пауль бесстыдно признавался себе, что эгоистически счастлив быть ее единственным другом. Любовь его ничуть не угасла, и мысль, что в нем нуждаются, а визиты его желанны, радовала безмерно. На него полагались. Все больше он был необходим.

От фрау Фишер помощи ждать не приходилось. Она жила прошлым. В гостиной, не открывая ставень, читала старые письма и клеивала фото в альбомы.

— Это страшно угнетает, — часто жаловалась Дагмар. — Иногда я будто схожу с ума.

Об этом она причитала и в вечер нежданного прихода Отто. Как обычно, Дагмар лежала на кровати. Пауль сидел на ковре, поглядывая на пустой пуфик перед туалетным столиком. Они с Отто так долго занимали



«свои» места в этой спальне, что даже теперь, через много месяцев, отсутствие брата казалось странным.

— Я просто физически загнусь от тоски, правда, — говорила Дагмар. — Так хочется поплавать. Все на свете отдала бы за бассейн.

Нежданный визит перебил ее раздумья. После ухода Отто разговор не клеился.

Увидеть его и прогнать. Душа разрывалась.

— Я оборвала священные узы Субботного клуба, — горестно усмехнулась Дагмар, утирая слезы.

— Законы его были рассчитаны на цивилизованную жизнь, — ответил Пауль. — Кто же знал, что возникнет такой выбор? Это несправедливо.

Он предложил сварить еще эрзац-кофе, но Дагмар отказалась.

— Жутко противный, — сказала она. — Сама не знаю, зачем его пью. Опять же от тоски. Хоть какое-то занятие.

Говорили через силу.

Оба думали об Отто.

Сославшись на усталость, Дагмар сказала, что хочет спать.

Пожалуй, впервые за все время Пауль был рад уйти. Сердце ныло. Брат был рядом, а он лишь проводил взглядом его одинокую фигуру, скрывающуюся в ночи. Ради любимой Пауль крепился, но ему тоже хотелось побыть одному.

Когда он спустился, фрау Фишер выглянула из гостиной и попросила на минутку зайти.

Хочет поговорить об Отто, подумал Пауль. Попросит повлиять, чтобы он к ним не приходил. Но фрау Фишер ни словом не обмолвилась об Отто. Ее беспокоила Дагмар.

— Ты единственный, кто ее навещает, — сказала она. — Кое-кто из ее старых друзей пытался зайти, но она не хочет их видеть. Гордая. Привыкла быть золотой девочкой, центром внимания, сочувствие ей невыносимо. К сожалению, у нее не было настоящих друзей-евреев, кроме тебя и... кхм. Кроме тебя. Она училась в лучшей школе, и мы не задумывались о своей национальности.

— В смысле, ей одиноко? — спросил Пауль. — Конечно, я знаю.

— По-моему, ее губит не столько одиночество, сколько бездействие. Я-то ладно. Я прожила жизнь, но ей всего шестнадцать, и она сходит с ума. Ведь она так любила чаепития, вечеринки, танцы и все такое. Да еще спортсменка. Пловчиха, гимнастка. А теперь у нее все отняли, и я вижу... вижу, как она *угасает*.

Пауль смотрел в пол, не зная, что сказать. Фрау Фишер была не из тех,

кто разговорами облегчает душу. Даже когда еще не замкнулась в себе.

— Не знаю, зачем об этом говорю, Паули. Ты сам еврей, все запреты касаются и тебя. Конечно, чем ты можешь помочь? Просто хочется... чтобы она *выходила из дома*.

— Перед Олимпиадой некоторые запреты сняли. — Пауль изобразил оптимизм, которого вовсе не было. — Кажется, в бассейн нам по-прежнему нельзя, а вот в парк вроде бы можно.

От упоминания Олимпиады лицо фрау Фишер мучительно скривилось.

— Эти игры ее доконают. Помню, как объявили, что Берлин завоевал право на Олимпиаду. Еще до Гитлера. Дагмар аж плясала и велела отцу записать ее на дополнительные тренировки по плаванию. Знаешь, она могла бы попасть в команду. Даже в шестнадцать вполне прошла бы отбор. Если не для берлинской Олимпиады, то для следующей токийской в сороковом году. Теперь это лишь фантазии. Два года без тренировок, да и ни один отборочный комитет не пропустит еврейку. После Нюрнберга мы уже не немцы. Нет, эти проклятые Игры ее вконец изведут. Она же хотела смотреть все соревнования.

Пауль молчал. Сказать было нечего.

— Прости, Пауль, — вздохнула фрау Фишер. — Уже поздно, я тебя задерживаю, а на улицах небезопасно. Беги, милый. Ты ничего не можешь сделать. Никто из нас не может.

С тяжелым сердцем Пауль ушел. Конечно, фрау Фишер права. Дагмар менялась. Была вялая и подавленная. Как выразилась ее мать, *угасала*. Это ужасно, думал Пауль, но точнее не скажешь. Как же хотелось ей помочь! Как-нибудь вернуть ее к жизни. Чтобы на щеках ее вновь заиграл румянец. Но это не в его силах. Он тоже еврей, а в Германии евреи беспомощны.

Дома Пауль не сказал, что Отто приходил к Фишерам. Однако в воскресенье, слушая еженедельный отчет Зильке, ничуть не удивился, что поведение брата изменилось.

— Я за него боюсь, — сказала Зильке. — Сегодня он был совсем другой. Я уж думала, он успокоился, а он опять как с цепи сорвался.

— Снова дерется? — встревожилась Фрида. — У него неприятности?

— Пока нет, но будут. Таким озлобленным я его не видела. Почти не разговаривал и не повел меня на чай. Сказал, противно есть со сволочами. Раньше он так не заводился. Обычно мы посмеивались над его однокашниками, а сегодня он был готов кого-нибудь убить. Да еще этот гитлерюгенд.

— А что случилось? — озабоченно спросила Фрида.

— Вы, наверное, слышали, теперь это обязательство. Все газеты трубили.

— Мы не читаем немецкие газеты, — тихо сказала Фрида. — Для нас там ничего хорошего. Иногда проглядываем еврейский листок.

— Так вот, все немецкие дети принадлежат Гитлеру, и он хочет наглядно показать, что он им роднее семьи.

— Какой ужас! — покачала головой Фрида. — Может, хоть теперь люди поймут, во что вляпались?

— Думаю, уже поздно, — ответила Зильке. — Главное, Отто сказал, что не вступит в гитлерюгенд.

— Но почему? — удивилась Фрида. — Какая разница, если он уже в «Напола»?

— Вот и я так сказала, но отчего-то он уперся. Говорит, не наденет еще одну нацистскую форму. Я-то ношу, говорю, хоть я коммунистка, а он говорит, для еврея это совсем другое.

— Он так и считает себя евреем? — усмехнулась Фрида.

— Конечно, вы же его знаете. Я-то думала, это я упрямая. Ужасно обидно, потому что все складывалось очень хорошо, как он ни упирался. Отто стал чемпионом по боксу, там это ценится, и потом, все от меня балдели. — Зильке зарозовела — как всякий раз, когда она говорила о себе и Отто. — Я прихожу в форме ЛНД, и все считают меня его девушкой.

Фрида улыбнулась:

— А ты его девушка?

Зильке еще больше покраснела.

— Нет! — чуть громче, чем требовалось, возразила она. — Вы же знаете, о ком он мечтает. На пару с Паулем. Конечно, о Дагмар.

— Но вы так часто видите, — не уступала Фрида.

— Да, и я хочу и дальше с ним видеться, но из-за обязательств с гитлерюгендом все может пойти прахом. Он не подчинится, и учителя не смогут ему помочь, даже если захотят. Его арестуют, а там одна дорога — в концлагерь.

Вольфганг, как обычно, безмолвствовал, но сейчас грохнул стаканом по крышке пианино, расплескав вонючую выпивку.

— Нельзя! — прокаркал он. — Туда ему нельзя. Я знаю, что там творится.

Все посмотрели на него. Он никогда не рассказывал о лагере. А последнее время вообще больше молчал, особенно если удавалось раздобыть спиртное. Но сейчас от волнения его колотило.

— Моему Оттси туда нельзя, просто нельзя, — повторил он. — Там единственный способ выжить — просить и кланяться. С его характером он

и недели не проживет.

— Яснее ясного, — сказала Зильке. — Но что делать-то? Вы ж его знаете — кровь в голову ударила, и теперь он ни за что не наденет эту форму. Говорит, он расслабился, но пора показать, что он еврей. Я этого не понимаю. Все было так хорошо, и вдруг он опять взбеленился. Наверное, что-то произошло, только он не говорит что.

— Я знаю, что его взбесило, — вмешался Пауль и, помолчав, добавил: — И знаю, как его образумить.

— Ну так говори! — вскинулась Зильке.

— Боюсь, тебе не понравится. По правде сказать, мне тоже.

— Если это уберезет его от лагеря, понравится, — твердо сказала Зильке.

— Почему Отто вдруг опять разъярился? — спросила Фрида. — Что ты знаешь? Говори.

— Ну ладно. Вчера он приходил к Дагмар.

— Ты его видел? — задохнулась Фрида. — Вы разговаривали?

— Нет. Фрау Фишер дальше порога его не пустила. А Дагмар велела мне остаться в ее комнате. Мол, если он меня увидит, будет еще тяжелее его прогнать.

— Она с ним говорила?

— Недолго. Прогнала. Сказала, он больше не еврей. И она не хочет его видеть, потому что у него есть жизнь, а у нее нет.

— Вот сука! — вскрикнула Зильке.

— Прекрати! — прикрикнула Фрида. — Ненавижу это слово.

— Ладно, извините. Но Отто же не виноват.

— Послушайте, может, я не точно передаю ее слова, но суть понятна, и в основном с ним говорила фрау Фишер. Конечно, его приход для них опасен. Мог бы сообразить. Наверное, все понимал, но не совладал с собою... Вы же знаете, что такое для него Дагмар.

Зильке отвернулась. Фрида взяла ее за руку.

— Вот поэтому он и завелся, — сказал Пауль. — Дагмар его прогнала, и он спятил. Хочет доказать, что все равно он еврей. Знаю я его. Ему легче умереть и вернуть ее уважение, чем жить с ее презрением.

От страха Фриду буквально затрясло.

— Ты сказал, что знаешь способ. Какой?

— Я говорил, Дагмар в депрессии... — угрюмо начал Пауль.

— При чем тут она? — перебила Зильке. — Мы говорим об Оттси.

— Я знаю, Зилк, — терпеливо продолжил Пауль. — Но и ты прекрасно знаешь, что она — ключ к Отто. Дагмар уходит в себя, она сдается, ну вот

как...

Пауль осекся, однако невольно взглянул на отца.

— Как я? — горько усмехнулся Вольфганг. — Надеюсь, у нее все не так паршиво. Но если так, пусть избегает древесного спирта. С непривычки можно ослепнуть.

— Перестань, Вольф. — Фрида попыталась скрыть гадливость. — Мы же говорим об Отто. Дальше, Пауль.

— Фрау Фишер очень обеспокоена. Дагмар любила всюду бывать. Она *деятельная*. Не то что я. Я могу засесть с книгой, а ей требуется *движение*, и теперь она вроде как *угасает*. Ей нужно плавать, ходить в кафе. Пусть это дико звучит, ей нужно посмотреть Олимпиаду.

Зильке чуть не лопалась от возмущения.

— Ни фига себе! Кто ее пустит? — рявкнула она. — При чем тут...

— Пустят. Всего-то нужно — хорошее прикрытие. Всего-навсего... кавалер-нацист.

— В смысле... Оттси? — задохнулась Фрида.

Зильке обомлела.

— Именно, — кивнул Пауль. — Девушку, которая под ручку разгуливает с парнем в форме элитарной школы, без вопросов пустят куда угодно. Даже в бассейн. Я уверен.

— Да, — тихо сказала Зильке, мгновенно поняв, что ее роль лучшего и единственного друга сыграна. — Пожалуй.

— Тем самым мы уберем Отто от беды. Зилк, надо ему сказать, что он поможет Дагмар, если прикинется ярим нацистом. И наверняка он одумается.

— Боже мой! — просияла Фрида. — Замечательный план!

— Нет слов, — мрачно пробормотала Зильке.

Они с Паулем переглянулись. Оба понимали, чем жертвуют.

В следующее воскресенье Зильке исполнила свой долг, посвятив Отто в дерзкий план Пауля.

— Ты нужен Дагмар, — сказала она. — Паули и фрау Фишер очень встревожены. Она стала затворницей, сходит с ума и теряет надежду. Ей надо выходить на люди. Как-то отвлечься. Ты единственный, кто может ей помочь. Поэтому возьми себя в руки, тебе должны доверять. Тогда ты сможешь выходить в город и постепенно оживишь Дагмар.

Дважды повторять не пришлось. В мгновение ока Отто переменялся.

— Порядок, Зилк! — Он расплылся в широченной улыбке. — Можете на меня положиться.

— Здорово. — Улыбка Зильке была гораздо скупее.

В то же воскресенье Пауль ознакомил Дагмар со своим планом.

— Как же я раньше-то не сообразил, — сказал он. — Оттси будет идеальным прикрытием. С ним ты опять будешь немкой, которой все двери открыты!

Поначалу перспектива общения с нацистами повергла Дагмар в ужас. Но вскоре авантюрная жилка пересилила страхи, и затворница воспрянула духом.

— Да, Отто будет красивым кавалером! — сказала Дагмар.

— Не сыпь мне соль на рану, — угрюмо попросил Пауль.

— Глупости! — В голосе Дагмар звенела радость, какой Пауль уже давно не слышал. — Я люблю вас обоих, ты же знаешь.

Было решено, что в следующее воскресенье Зильке поведет Дагмар на чаепитие. Отто легко выхлопотал пропуск еще для одной гостьи — на школьных мероприятиях всегда была нехватка девушек. Конечно, у Дагмар не было формы ЛНД, но статуса подружки Зильке вполне хватило, чтобы избежать вопросов.

Вдвоем девушки поехали на свидание.

Они уже давно не виделись и оттого мучительно искали тему для разговора. Пытались поболтать о былых деньках в Субботнем клубе, но кроме этих воспоминаний их ничто не связывало. Они и до нацистов не особо дружили, а сейчас их разделяла неодолимая пропасть.

От конечной остановки до интерната около километра предстояло пройти пешком. Дагмар была на высоких каблуках и решила взять такси.

— Не волнуйся, я заплачу, — сказала она, заметив смущение Зильке. — У нас с мамой еще остались деньги, хотя много забрали, когда... скажем так, взыскали издержки за убийство отца.

В такси Зильке взяла Дагмар за руку. Такое бывало лишь в детских играх.

— Не помню, говорила я или нет, — прошептала она, — но я тебе ужасно сочувствую... В смысле, из-за отца... и прочего.

Дагмар улыбнулась:

— Спасибо, Зильке. Ты не говорила, но я это знала. Может, иногда я бываю противной, но я не совсем бесчувственная. Вот и сегодня. Ведь я понимаю, как тебе тяжело...

— Все нормально, — перебила Зильке. — Абсолютно. Отличный план. Как все планы Пауля.

Вскоре они подъехали к величественным школьным воротам, увенчанным кованым орлом со свастикой.

— Господи, я ужасно волнуюсь, — сказала Дагмар. — Там же сплошь

нацисты.

— Все будет хорошо, — успокоила Зильке. — Не сомневайся.

— Откуда ты знаешь?

— Они, конечно, нацисты, но все равно *парни*.

Разумеется, Зильке оказалась права. Стоило Дагмар, изящной, утонченной, одетой как дама, пройти через ворота, и о ней заговорила вся школа. Похоже, воспитанник Штенгель одержал очередную победу, сменив миловидную девушку на сногшибательную красавицу. Естественно, никому и в голову не пришло интересоваться ее родословной. А вот очередь из желавших отдать за нее жизнь никого бы не удивила.

В следующее воскресенье Зильке вновь сопровождала Дагмар, после чего в школе больше не появлялась.

Свой долг она исполнила. Дагмар в ней больше не нуждалась. Школа приняла новую девушку Отто, а директор даже удостоил ее комплиментом, от которого хотелось спрятаться. Зильке понимала, что никто по ней не затоскует, и поспешила откланяться. Пусть от Дагмар столбенели все парни, но невыносимо было видеть, как перед ней суетится Отто, словно щенок, дико желающий угодить хозяйке.

Дагмар легко приняла эстафету. И даже больше того. Зильке только считалась девушкой Отто, Дагмар же мгновенно ею стала. Они с Отто сидели под дубом, откуда просматривалось футбольное поле, и целовались, о чем Зильке так страстно мечтала.

План Пауля сработал блистательно. Для Дагмар открылся путь к развлечениям, в которых было отказано другим молодым евреям. Старшеклассник Отто мог отлучаться из школы по вечерам и субботам. Он водил Дагмар в сады и зоопарк. Они сидели в кафе и даже выпивали в барах, где хозяйева закрывали глаза на молодость такой красивой пары.

У Отто не было денег, зато имелись сила, стать и полувоенная форма. У Дагмар деньги были, и она охотно тратила их на бесценную возможность снова чувствовать себя нормальным человеком.

Конечно, Отто водил Дагмар в бассейн — центр ее вселенной. Вскоре она уже не дергалась, покупая входные билеты. У красивой спутницы воспитанника «Напола» никто не спрашивал удостоверения личности. Естественно, Дагмар боялась, что кто-нибудь ее узнает, но наследница магазинного королевства уже давно не вращалась в обществе и в памяти многих осталась девочкой лет двенадцати-тринадцати.

Теперь Фрида узнавала о жизни Отто через Пауля, получавшего вести от Дагмар. По воскресеньям Зильке все так же приходила к Штенгелям и, через силу улыбаясь, слушала, как развлекается эта пара, а Пауль пытался

передать восторги Дагмар.

— Им и вправду хорошо, — говорил он.

— И слава богу, — подхватывала Зильке.

Фрида поглядывала на них, пряча печальную улыбку.



## На набережной Лондон, 1956 г.

Длинная белая полоса от зрелой луны пересекала иссиня-черную рябь Темзы. Мерцающая серебром тропинка тянулась от родоначальницы парламента до Ройял-Фестивал-Холл.

— По этой трёпке Питер Пэн пробежал бы из Нетинебудет в Кенсингтонские сады, — сказала Билли.

— Даже он вряд ли уцелел бы, макнув ноги в Темзу, — ответил Стоун.

Они стояли на Вестминстерском мосту. После спешной ретирады из паба расходиться по домам не хотелось. Билли отвергла предложение где-нибудь еще выпить; на Трафальгарской площади они взяли такси, проехали по Уайтхоллу и теперь из тени Биг-Бена смотрели на темную реку.

— Вижу Темзу в люнном свете — вспоминаю римлян, — сказала Билли.

— Почему? — удивился Стоун.

— Город стоит давним-давнѐ, — пояснила Билли. — Стрянно, две тысячи лет люди смотрят на ту же мютную реку под тем же чудный свет.

Они спустились с моста на набережную Виктории и медленно пошли вдоль парапета, выглядывая скамью, не занятую бродягой.

— Девочкой я жила в Тринидад, — рассказывала Билли, — и мама часто говорила, что когда-нибудь мы уедем в Англия, у нас бюджет мнѐго денег и всякой-всякой еды. Прокатимся по Темза и посмотрим дворец, где Генрих Восьмой убляжал своих жен, одна за дрюгой. Пойдем в Тауэр, где двух он казнил. Отрубил им голѐвы. В старой доброй Англия нам бюджет веселѐ. Мы так и сделяли. Мы с мамой. Как подкопили деньги, в воскресеньѐ поехали.

— Интересно, что сказал бы Генрих Восьмой об этом кошмарном Ройял-Фестивал-Холле? — Стоун смотрел на другой берег. Новый концертный зал вызывал неоднозначные оценки.

— Мне нрявится, — ответила Билли. — По-моему, очень крото. Хорѐшо, простѐр.

— На мой взгляд, слишком уж по-советски. Избыток бетона.

— Когда родился в хижине с земляной поль, не хаешь бетон. Чистѐ, дешево, в бурю не сдует. Чего лючше для постройка.

— Тебе виднее, ты у нас дизайнер, — согласился Стоун.

— Хорѐший вкус не научишь, малиш, — сказала Билли. — И здравый

смысль. У меня от прирёды излишек того и дрюгого.

Они отыскиали свободную скамью, и Билли, подсвечивая себе зажигалкой, придирчиво ее осмотрела, прежде чем рискнуть своим красивым шерстяным джемпером. Неподалеку виднелась закусовая таксистов, где Стоун купил чай и шоколадку «Кэдберри».

— Знаешь, римлян, которые с деревянного моста пилились на нашу луну, ждал неприятный сюрприз, — сказал он, вернувшись с двумя дымящимися кружками. — Вдруг откуда ни возьмись Боудикка с иценами, [64] и в бойне полегло тысяч семьдесят народу. Как раз где-то в этих местах.

— Что за мрячние мисли в романтическую ночь! — засмеялась Билли. — Ты неиспрявим.

— Есть и плюсы: это побоище стало самым крупным на Британских островах. Почти за две тысячи лет его не перецеголяла ни одна одуревшая от власти свинья. Просто удивительно. Сколько еще стран могут похвастать тем, что самая кровавая резня на их территории случилась девятнадцать веков назад? Ответ: ни одна. Везучая старушка Британия, да?

Билли улыбнулась и прихлебнула чай.

— Сахару три лёжки?

— Конечно.

— Значит, не размешаль.

— Ах ты.

Билли достала из сумочки карандаш и помешала чай.

— Ты впрямду любишь Англия, малиш? — спросила она.

— Не знаю, — задумчиво ответил Стоун. — Я не очень умею любить. Но уважаю, это уж точно. Глубоко уважаю. Страну и народ.

— Даже после драки с кябятчиком?

— Было противно. Очень противно. Но здесь такие люди — гнилые яблоки. На моей родине их была целая бочка.

— Наверьное, — пожала плечами Билли. — Но скажу тебе, я навидала этих яблёк. В метро на «Лэдброк-Гроув» банды хюлиганья с бритвами. Когда приехали, не могли снять жильё, потому что черние. С собаками зяпрещено. Черним зяпрещено. Ирляндцам зяпрещено.

— Я понимаю, Билл. Я же не говорю, что здесь рай и все такое. Однако это самая толерантная страна из всех, какие я знаю... Забавно, что сами они этого не понимают. Меня смешат разглагольствования красных — мол, Британия ничем не лучше фашистского государства. Пусть англичане себя мнят элитой, отвечаю я, пусть они снобы, недалекие и свихнувшиеся на сословиях, но в середине девятнадцатого века они избрали премьер-

министром еврея.<sup>[65]</sup> А мы в середине двадцатого всех своих евреев убили.

— Мы? — удивилась Билли. — Ты никогда не називал себя немец.

— Но я немец, Билл, — ответил Стоун. — И самое смешное, что всегда им буду. По крайней мере, часть меня. Я родом из Германии моих родителей и деда с бабушкой. Германии, которую они любили. И я любил. Но ее украли. И произошло это не здесь. Фашисты не прошли в Британию. Мы их не пустили.

— Мы? — рассмеялась Билли. — Ты еще и англичанин?

— Да, все вместе. Но скорее ни то ни другое. Когда ехали по Уайтхоллу, миновали Даунинг-стрит. Можно было остановить такси и подойти к резиденции премьер-министра. Там всего один полицейский у входа. Понимаешь? Один. И так было всегда, даже когда Британия владела четвертью мира. Разве не удивительно?

— Наверное, если вдумать.

Билли взяла его руку, осторожно потрогала сбитые костяшки и сочувственно охнула.

— Видимо, заехал по зубам, — сказал Стоун. — Странно. Думал, уделал чисто.

— Чисто, мой милый, чисто, не вольнуйся.

— Я должен был ему врезать.

— По-моему, зря. Из-за меня не стоилё. Не люблю насилие.

— А кто любит?

— Оно без тольку.

— У меня правило, Билл. В подобных ситуациях надо бить. Нельзя увилывать, кем бы ты ни был — черным, евреем или белым англосаксонским протестантом. Всякий раз надо принимать бой. Я так решил двадцать три года назад, когда охваченная ужасом девочка бежала по Курфюрстендамм, а ее маму с папой заставляли вылизывать тротуар.

— Значит, все из-за девочки? — усмехнулась Билли. — В *пятьдесят шестом* году в Сохо ты защищаешь честь негритянки-студентки, но делишь это ряди маленькой немки? Ты поквитался за нее, не за меня.

— Нет, Билли, — возразил Стоун. — За тебя. Правда. А еще за маму, отца, Паули и миллионы других.

— И Дагмар.

— Да, конечно. И Дагмар.

— Главный образ за нее.

Стоун рассмеялся:

— Нет. Главным образом за тебя.

— Лядно, дай шоколядку, тогда поверю.

Стоун достал из кармана плитку, сдернул пурпурную обертку и ногтем распорол фольгу.

— Эх, угостить бы тебя «Линдтом»! — сказал он. — Вот это шоколад!

— Я люблю «Кэдберри». — Билли забрала полплитки. — Ну их, деликатесы. Молёчный «Кэдберри» и чай. Самое это.

Они ели шоколад и прихлебывали чай, глядя на баржу с углем, в тишине пересекавшую серебристую лунную ленту.

— И вы с Дагмар стали вместе гулять? — вернулась к теме Билли.

— Да, именно. Она прикидывалась немкой, а я — доблестным нацистом.

— Ты с ней переспаль?

Стоун поперхнулся.

— Прямо так в лоб, да? — Он отер чай с подбородка.

— Да лядно тебе! — засмеялась Билли. — Нормальный вопрёс.

— Знаешь, нет, не переспал. Мы еще были подростки.

— Ха! Вам било *шестнадцать*! — насмешливо фыркнула Билли. —

Иные времена, малиш, иные времена.

— У нас и возможности-то особой не было. Время строго ограничено, да и негде. В ее доме я появляться не мог, слишком опасно.

— Няверняка вы искаль местечко.

— Ну да, наверное. Обжимались-целовались где только можно. В аллеях, на скамьях.

— Знаёмо. Мы это прёходили. Она вправду била твоя девюшка? По-настоящий? Не только из-за бюссейна?

— Я думал, да. Казалось, она меня любит. Сама говорила.

— Но не любила?

— Нет. — В голосе Стоуна прозвучала легкая горечь. — Я оказался удобным другом. А любила она моего брата.

# Олимпийский стадион, Грюневальд

## Берлин, 1 августа 1936 г.

Отто и Дагмар в жизни не слышали подобного рева.

Мощным ударом он атаковал все чувства. Оглушительный. Вулканический. Точно извержение звуковой лавы, он сгущал воздух. Был физически ощутим. Накатывал волна за волной. Штурмовал. *Валил с ног.*

Дагмар что-то кричала, но словно беззвучно раскрывала рот. Ничей голос не смог бы прорваться сквозь единодушный вопль ста десяти тысяч глоток.

Отто и Дагмар тонули в океане шума.

Он бил в лицо, точно прибой. Затекал в уши. Кружил и растворял в себе.

Казалось, шум достиг пика, и тогда вдруг бесформенная какофония обрела контуры.

*Sieg heil! Sieg heil! Sieg heil!*<sup>[66]</sup>

Каждый вскрик — как удар воздушного молота, от которого вибрировало в голове, а под ногами сотрясались бетонные трибуны, словно готовые вот-вот развалиться.

Дагмар прижалась к Отто. Он чувствовал ее дрожь и сам дрожал.

Не от страха — от возбуждения.

Зрелище завораживало. Самый большой в мире стадион. Огромный изящный овал трибун окаймлял самое зеленое на свете поле и самые прямые дорожки, где идеальными рядами выстроились атлеты со всех уголков земного шара. Под своими флагами лучшие представители планеты собрались вместе славить мастерство.

За колоннами спортсменов гигантский подиум. Величественнее и монументальнее, чем у любого Цезаря. На подиуме группка людей, один человек чуть впереди. Рядом с ним никого. Рука его вскинута.

Вождь. Застыл в знакомом салюте.

*Слава победе! Слава победе! Слава победе!*

Команда Германии вышла последней и встала ближе всех к подиуму. Самая многочисленная и во всем белом. Блистательный выбор. Идеальная постановка. Обдуманый, гениальный контраст. Германия выделялась среди многоцветья других команд — полосатых пиджаков, игривых канотье, ярких галстуков, пестрых тюрбанов и прочих удивительно

неуместных деталей национальных костюмов. Развевающиеся шарфы, ряды шляп, шейные платки любых оттенков. Нелепее всех итальянцы в некоем подобии черных мундиров и пилоток.

Только немцы использовали одну-единственную цветовую тему. Чистейшая белизна.

Белая команда — от фуражек до носков и туфель.

Точно ангельское воинство.

Единственный цветной мазок — кроваво-красный командный стяг.

Сто десять тысяч человек встали и вскинули руки в нацистском салюте. Включая Отто и Дагмар. Ради своей безопасности они бы в любом случае это сделали, но сейчас, заразившись безумием толпы, салютовали почти что от души.

Свободной рукой Дагмар обхватила Отто. Он чувствовал ее бедро.

По трибунам прокатилась новая звуковая волна, когда на дальнем краю огромного стадиона Гитлер подошел к микрофонам. С такого расстояния он казался лишь крохотной фигуркой, но его ни с кем не спутаешь. Самый известный в мире человек. Его узнаешь даже с другого конца континента, подумал Отто.

Ибо *так* он держался.

Эту особую *гитлеровскую* манеру уже лет десять высмеивали карикатуристы и комики в разных странах, но вопреки их стараниям она поражала воображение.

Решительный. Невозмутимый. Отстраненный. *Одинокий*.

Мало кто из тех, кто достиг заоблачных высот, смог бы в такую минуту держаться столь спокойно и уверенно. Стоять перед многотысячной толпой, встречавшей его как божество, и сохранять невозмутимость.

Никакой победоносности. Никакого ликования. Ликуют все вокруг, кроме него. Он держится так, словно все обычно и по-другому быть не может.

Над стадионом зазвучал голос вождя.

— Одиннадцатые современные Олимпийские игры в Берлине объявляю открытыми, — сказал он.

И вновь блистательный выбор. Просто, как белый цвет его команды. Ни тирад, ни словоблудия. Никакой истеричности, к которой привык весь мир. Лишь спокойствие человека, облеченного абсолютной властью.

За кратким обращением вождя вновь грянула канонада победных здравниц, оглушившая стадион. Зажгли олимпийский огонь, Игры начались.

После этого многие зрители, предпочитавшие политический театр спортивному, покинули трибуны, но Дагмар и Отто высидели все

соревнования, согласно купленным билетам.

— Вот бы мне так! — сказала Дагмар, когда наконец появилась возможность не орать. — Только представь! Быть в гуще событий. Выходить на старт. Представлять Германию. Во всем белом.

— Но тогда ты не смогла бы объедаться сосисками с пивом, которые я сейчас принесу, — парировал Отто.

Они посмотрели все дневные соревнования, ловя себя на том, что невольно болеют за германскую команду. Хотя перед стартом и на финише каждый немецкий спортсмен отдавал нацистский салют перед подиумом.

— А за кого ж еще нам болеть? — с полным ртом прошамкала Дагмар.

Пиво им отпускали беспрепятственно. Видимо, черную школьную форму Отто ларечники принимали за военную, а Дагмар выглядела совершеннолетней.

Стадион юная пара покинула крепко навеселе и оттого не разошлась по домам, а трамваем поехала пить кофе в Тиргартене.

Весь Берлин праздновал успешное открытие Игр и небывалые победы немецкой команды, и Дагмар с Отто, обо всем забыв, слились с ликующей толпой.

— Слушай, а тебе не пора возвращаться? — опомнилась Дагмар.

— Да хрен-то с ним!

— Так нельзя, Отто, — сникла Дагмар.

— Почему? Меня запихнули в эту школу. Я не просился.

— Но ты должен там остаться. Ради меня. Только примерный нацист сможет выводить меня в свет и развлекать, в этом же весь план Пауля.

— Ну да, конечно. Я знаю, — поспешно ответил Отто. — Не волнуйся, я влезу через окно, а если застукают, скажу, мол, трамвай застрял в толпе или еще чего-нибудь. Ну пускай выпорют. Зато еще немного побуду с тобой.

— Ой, так *романтично!* Я помню, как в детстве из-за меня вас высекли. На Ванзее. А бедный Пауль получил четыре лишних удара, чтоб не умничал.

Дагмар обняла и поцеловала Отто. В интимных парковых сумерках целовались многие парочки, и поцелуй Дагмар был долог и сладок.

— Так чудесно вновь бывать на людях, — прошептала она. — Я будто ожила.

Кавалер ее тоже будто ожил и прижался к ней еще теснее.

— Дагмар... — выдохнул он. — Может, мы... когда-нибудь...

— Да! — шепнула Дагмар. — Только не сейчас. Когда-нибудь... Я этого хочу. Правда. Но не сегодня...

— Можем пойти к тебе, — выпалил Отто. — Мать не заглядывает в твою комнату...

— Нет, Оттси. — Дагмар нехотя высвободилась. — Это опасно. Если тебя заметят, нас накажут. И потом, тебе пора. Нельзя лишаться поблажек. Ты в элите.

— Думаешь, мне это надо? — скривился Отто.

— Тебе, может, и не надо, милый. А мне надо. Приятно иметь элитного кавалера.

— Ты... ты назвала меня «милый»? — Отто расплылся в широченной идиотской улыбке.

— Да... милый. Потому что так оно и есть. Ты — мой милый. Весь мой. Теперь возвращайся в школу и не попадись. Если тебя запрут, мы не сможем вместе гулять. А это никуда не годится.



## Отпуск в Мюнхене 1937 г.

Фрида винила себя. Она сама уговорила Вольфганга впервые за месяц выйти из квартиры и прогуляться. В результате он напоролся на отряд гитлерюгенда. Казалось, Вольфганг чуть пошел на поправку, но теперь притащился домой напрочь больным и растерянным.

— Недоносок просто отшвырнул меня с дороги, — чуть не плача от гнева и отчаяния, рассказывал он. — На рынке. Они маршировали через павильон и горланили песню. Что они еще умеют, кроме как топтать и распевать? Я не успел посторониться. Уронил пару монеток, бросить было жалко, я за ними нагнулся. Эти могли бы меня обойти, но, конечно, не стали. Вожак врезал мне ногой, и я отлетел.

Фрида ощупала его грудь. Будто на обычном осмотре.

— Либо сильный ушиб, либо опять сломано ребро. — Она старалась не представлять, как юнцы сбивают наземь ее мужа.

На площадке послышалось дребезжание лифт. Пауль вернулся из школы.

— Письма! — сообщил он. — Из Австралии и Англии.

— Не забудь сохранить марки, — попросила Фрида. — Мальчик Лейбовицев на них помешан. Аккуратненько отпаривает — и в коллекцию. Ужасно ею гордится.

— Да уж, — усмехнулся Вольфганг, — у еврейских детей лучшие коллекции. Марки всех стран, где евреи нежелательны. А таких полно.

Пауль читал письма.

— Любопытно, — сказал он. — Письмо из резиденции губернатора австралийского Дарвина. Северному району определенно требуются врачи.

— Да, там люди нужны. Вдруг нас примут? — Фрида расстегнула рубашку Вольфганга и вытащила ее из брюк. — Слышал о Штейнберге?<sup>[67]</sup>

— Конечно, мам, — ответил Пауль. — «Фрайланд-лига».<sup>[68]</sup> Хочет выкупить часть Кимберли и устроить еврейское поселение. Нет такой крысиной норы, куда я не заглядываю.

— Не надо так, Паули.

Фрида осмотрела Вольфганга и озабоченно прицокнула языком. На бледном костлявом торсе расплылись черные кровоподтеки.

— Главное, там нужны не только специалисты, но и работяги, —

продолжал Пауль. — Может, все кончится тем, что я буду стричь овец, а по ночам готовиться к экзамену на австралийского адвоката.

Вольфганг охнул, когда Фрида наложила повязку. Чувствительная кожа его не позволяла туго перебинтовать исхудавшую впалую грудь.

— Письмо из Англии тоже любопытно, — сказал Пауль. — Пишут из Центрального британского фонда немецких евреев. Они будут рады помочь с оформлением визы, но сначала мы должны найти тех, кто даст нам приют. Мне нужен список, мам. Всех врачей из Великобритании, Штатов, Франции, Канады и так далее, с которыми ты общалась. Вспомни все годы работы. В двадцатых ты ездила на международные конференции. На съезды общественного здравоохранения. С кем ты встречалась? Пусть даже коротко. Припомни имена и хоть какие-нибудь координаты. Нужен человек, который обратит внимание именно на нас. Сейчас это единственный способ. Слишком многие рвутся уехать. Нужно отыскать того, кто займется нами. Пиши список, мам.

— Ладно, ладно, — ответила Фрида.

— Ты не отмахивайся, а сосредоточься. Мы не сможем обратиться за въездной визой, пока не подтвердим, что есть человек, готовый нас принять.

— Работы по горло, Паули. У меня же пациенты.

— Больных детей полно и в Англии, и в Австралии. Найдешь о ком тревожиться.

— Тех детей не исторгли из общества. У моих пациентов больше никого нет. Я им *нужна*.

— Ты нужна нам, мама. Надо отыскать того, кто поможет нам уехать. Много не просим. Отси будет здесь, пока мы не устроимся, дед с бабушкой не поедут, так что нас всего трое. Ты врач, мам. Это огромный плюс. Я молодой и здоровый, через год закончу школу — в лепешку расшибусь, чтоб закончить отличником. Мы ценные кандидаты...

Как всегда, в этом месте безысходной дискуссии Пауль угас. У них была обуза. Жалкая, искалеченная. Все трое понимали, что даже у здорового Вольфганга шансы убедить кого-либо в своей способности выполнять «полезную работу» были невелики, а сейчас зашкаливали за ноль.

Вольфганг рассмеялся, сглаживая неловкую ситуацию:

— Ничего, посуда для мытья всегда найдется. А что, многие музыканты так и зарабатывают на жизнь.

— Конечно, пап, правильно. Все будет хорошо.

— Ну, пока ты ищешь нам пристанище, а мама пытается единолично

оздоровить всех еврейских детей в Берлине, я отбываю в отпуск! — объявил Вольфганг, наигрывая веселость.

Вот этого Фрида уж никак не ожидала.

— В отпуск? Объясни, будь любезен.

— В короткий отпуск. На праздник души.

— Вольф, у меня нет времени на игры. — Фрида досадливо улыбнулась. — Какой еще праздник? Куда ты собрался?

— На край земли и за предел сознания.

— Вольф! Мне недосуг!

— В умы гениев и потаенные уголки собственной души. — Вольфганг уже смеялся.

— Все, хватит! — разозлилась Фрида. — Больше не слушаю. Извини, меня ждут рахит и детское недоедание.

— Ну хорошо, хорошо! — Вольфганг достал из кармана газету и подал Фриде: — Я еду в Мюнхен на выставку «Дегенеративное искусство». Там будут произведения, которые должны вызывать ненависть. Невероятно. Все мои любимые художники — Кирхнер, Бекман<sup>[69]</sup> и, конечно, Гросс. Какие имена: Матисс, Пикассо, даже Ван Гог! Уму непостижимо! Все на одной выставке! Бесплатной. Осталось найти деньги на проезд до Мюнхена.

Фрида прочла заметку.

— Я уж думала, им меня ничем не удивить.

— Но они все удивляют и удивляют, правда? — подхватил Вольфганг. — На сей раз — слава богу, черт бы их взял! Нет, просто не верится. В Германии они прошерстили каждый музей и каждую галерею. И так *несгибаемы* в своем мещанстве — выставляют лучшие на планете произведения искусства и рассчитывают, что их обсмеют.

— Поразительно. — Фрида просмотрела список экспонатов и покачала головой: — Всех скопом, без разбору. Тут сказано, все эти художники — еврейские большевики, но ведь многие вовсе не евреи и даже не коммунисты.

— Читай дальше. Оказывается, вождь решил, что даже нееврей может по-еврейски малевать. Стало быть, декадентское искусство родилось под нашим влиянием. Я бы сказал, этим стоит гордиться, да боюсь прогневить Паули. Пусть я жидовский коммунист, кубист или экспрессионист, но я хочу посмотреть эту выставку! Спасибо герру Геббельсу за возможность, как он выразился, «переполниться отвращением к тлетворному еврейскому духу, некогда проникшему в германскую культуру».

— Думаешь, это разумно, Вольф? — забеспокоилась Фрида. — А если они поймут, что ты приехал не поносить, а восхищаться, да еще узнают, что

ты еврей?

— Я ж там буду не один такой, — с непоколебимой уверенностью ответил Вольфганг.

И оказался прав.

На следующей неделе ночным поездом Вольфганг выехал в Мюнхен, втиснувшись в вагон третьего класса, набитый шумной солдатней, которую передислоцировали на австрийскую границу.

Подпрыгивая на жесткой лавке, где качка отзывалась острой болью в ребрах, он думал о Катарине. Когда-то этим же поездом она ехала из Берлина в Мюнхен на премьеру Брехта. Как и он сейчас, сквозь тьму устремилась за духовным бальзамом. Семнадцать лет назад, в другой стране.

Ранним утром прибыв на место, в вокзальном туалете Вольфганг ополоснулся, в кафе выпил чашку кофе и пошагал на выставку. Она размещалась в бывшем Институте археологии, закрытом нацистами. В нем не было нужды. Учредив собственную тысячелетнюю цивилизацию, они не видели смысла в изучении прежних.

Хорошо, что Вольфганг приехал рано, ибо выставка, как он и предвидел, вызвала ажиотаж. Тысячи людей ухватились за шанс хорошенько переполниться отвращением к декадентскому искусству — еще не было семи, а очередь уже обвивала здание. Невероятно, что нацисты как будто не понимали очевидного: почти все, томившиеся в очереди, приехали полюбоваться и не собираются негодовать. Ни одной коричневой рубашки, ни одного партийного значка. Не было полицейских. Ни единого. Вероятно, тем летом выставка «Дегенеративное искусство» оказалась единственным в Германии публичным мероприятием без единого человека в нацистской форме. Если б гестапо пожелало выудить остатки свободомыслия, подумал Вольфганг, понадобилось бы лишь арестовать всех посетителей мюнхенской выставки, разрекламированной самими нацистами.

Экспозиция размещалась на втором этаже, куда вела узкая черная лестница, позволявшая взбираться лишь гуськом. Вольфганг сделал вывод, что организаторы никак не ожидали наплыва посетителей. Цель была одна — создать повод для издевки над «дегенеративным искусством», инспирированным евреями. Дать возможность зажавшимся бюргерам поглумиться над экспонатом-другим, которые ежедневно осмеивали газеты.

Организаторы умышленно испохабили выставку: картины в несоразмерных рамах висели то слишком кучно, то криво, то в углах. В тесном помещении было душно, но Вольфганг твердо решил насладиться

каждым экспонатом. Мысленно отделившись от толпы, он подолгу замирал у каждой картины, не обращая внимания на толчею.

Повсюду висели таблички, в которых организаторы выставки расписывались перед начальством в своей неизменной ненависти к дегенератам.

*Безумие как художественный метод!*

*Немецкий крестьянин глазами еврея!*

*Кретины и шлюхи — идеал дегенератов.*

*Природа в восприятии воспаленного мозга!*

Вольфганг пиршествовал. Купался. На выставке пробыл до закрытия и ушел последним.

Это был его праздник. За один день он объехал весь мир и пересек вселенную фантазии.

Прежде чем уйти.

У него был план. О нем он поведал Фриде в своей последней записке. Вольфганг оставил ее на кухонном столе, за которым было столько совместных трапез.

Записку писал на обратном пути в Берлин.

*Моя самая дорогая, милая и любимая Фредди, начал он.*

*Пожалуйста, не сердись на меня. Ты ведь знаешь, что я поступаю правильно.*

*А еще знай, что свой последний день я провел в обществе величайших людей на этом свете. Конечно, лучше бы я провел его с тобой. Но я не смог. Ты бы, как всегда, догадалась и стала меня удерживать.*

*Фред. Ты знаешь, что я должен тебя покинуть.*

*Ты ВПРАВДУ знаешь.*

*Ни одна страна в мире не согласится принять такого беженца. Я безнадежно разрушен. Если ты будешь настаивать (а ты будешь, я знаю), чтобы я ехал с вами, ты никогда не вырвешься из этого ада, и тогда всех нас ждет скорый и ужасный конец.*

*Ты **должна** уехать вместе с Паулем. Всем сердцем надеюсь, что и Оттси вырвется. Но ничего не выйдет, если я буду с вами.*

*И оттого мне надо покинуть Германию другим путем.*

*Я ухожу без сожалений.*

*Пожалуйста, поверь!*

*Поверь всем сердцем, иначе душе моей не знать покоя.*

*О чем жалеть? Ведь жизнь моя прошла с тобой. Никто из живущих и ушедших не изведает земного времени прекраснее моего. Жизни с тобой.*

*И с нашими мальчиками.  
Но время это закончилось. Семнадцать лет любви.  
Пусть их было бы пять или пятьдесят — минута, час или  
полстолетия ничего бы не изменили.  
Одна и та же мера времени. Понимаешь?  
Потому что в этом времени, сколько бы оно ни длилось по земным  
меркам, заключена вся любовь, какая только есть на свете.  
Ха! Вот видишь? Я **могу** кое-что сказать, не пытаюсь сострить.  
Ну все, до свидания.  
Фредди.  
Повторяю.  
Ты знаешь, что я прав. **Знаешь**, что я должен так поступить.  
Еще надеюсь, что небесный хор (в который в эти последние минуты  
хочется верить) немного разбирается в джазе!  
Только твой  
Вольф.*

В Берлин ночной поезд прибыл еще затемно. Вольфганг взял такси. Роскошь была вынужденной — он хотел приехать домой, пока Фрида не проснулась.

Вольфганг попросил таксиста подождать и осторожно поднялся по лестнице. Лифт мог бы разбудить Фриду. Изо всех сил сдерживая хрип пораженных легких, он одолел лестничные пролеты и затаил дыхание перед своей квартирой. Потом прокрался внутрь и положил записку на кухонный стол, придавив ее ключом от входной двери. Взял трубу и на цыпочках пошел к выходу. Не останавливаясь, не оборачиваясь. Он знал, что иначе не совладает с искушением забраться в постель и поцеловать любимую.

А на улице его ждало такси.

Проснувшееся солнце неспешно подбирало краски утра. Вольфганг попросил отвезти его на старый мост Мольтке.

На середине моста вышел из машины и взглядом ее проводил.

Потом взял трубу и заиграл, прислонившись к каменному парапету над центральной аркой. Он играл «Мэкки-нож» — скорбный завораживающий хук Вайля, подхвативший зловещие брехтовские строки об акульих зубах и скрытом клинке.

Два-три раза остановился и перевел дух, чтобы доиграть короткую мелодию. Истлевшим легким не давались даже несколько нот.

Потом, не выпуская трубу, Вольфганг Штенгель перегнулся через

парапет и бросился в Шпрее.

Позже тело его выловили из реки и надлежащим образом засвидетельствовали самоубийство. Но Фрида знала, что муж ее не покончил с собой. Как и сотни других евреев, оборвавших свои жизни в тот год, когда весь мир еще считал Гитлера великим вдохновителем немецкого народа.

— Моего мужа убили, — сказала Фрида. — Их всех убили.

## Другие дети Фриды

### Берлин, 1938 г.

Весной 1938 года германское правительство лопалось от гордости. Была одержана очередная победа — общеизвестное поглощение Австрии.

На юге страны это событие породило разнузданную антисемитскую оргию невиданной злобы и жестокости.

Распаленные всеобщим аппетитом к безжалостному зверству, нацисты затеяли так называемую «ариизацию» имущества рейха.

— Я думаю, они хотят забрать наше жилье, — сказала Фрида, когда в воскресенье, как обычно, пришла проведать родителей.

— Глупости! — проворчал герр Таубер, посасывая пустую трубку, в которой нынче редко бывал табак. — Я в это не верю.

— Папа! Они собираются инвентаризировать имущество. Недвижимость, пожитки и прочее.

— Ну и что, обычная перепись, — не сдавался быстро старевший отец. — Только учет не людей, а собственности.

— Да, папа, нашей. И больше ничьей. Нацисты хотят точно знать, чем мы владеем. Я думаю, цель одна — рано или поздно украсть нашу собственность. Иначе зачем список еврейских пожитков озаглавливать «Имущество рейха»? У них же ни стыда ни совести.

Старики бурчали, угощаясь кофе и хлебом с маслом.

— Сама подумай, дорогая, — сказала фрау Таубер. — Если они заберут наше жилье, где нам жить? Нас тысячи, они же не могут оставить нас на улице. Нет, я в это не верю. Это неразумно.

Фрида не стала спорить. Она жалела, что затронула тему вообще. Зачем ее родителям быть реалистами? Добра это не принесет, ничего изменить они не могут. И уехать не смогут, даже если б захотели. Ни одна страна не выдаст им визу. Пусть уж лучше отрицают очевидное и живут в надежде, что когда-нибудь безумие закончится. Пусть считают, что немецкое государство не может окончательно превратиться в бандитскую группировку.

На этом хрупком оптимизме многие евреи пробирались сквозь жизнь, отказываясь принять, что дело плохо и наверняка станет еще хуже. Фридины родители, например, не желали говорить о самоубийстве Вольфганга. Для них всякий человек, потерявший надежду, пробивал очередную брешь в тонких доспехах тех, кто своей защитой избрал слепую



веру.

— Конечно, тебе есть смысл уехать, милая, — сказала фрау Таубер. — Но не нам. Все, что мы знаем и ценим, здесь, в Германии, и тут мы останемся.

Однако Фрида ошеломила родителей.

— Я тоже не уеду, мама, — сказала она. — Я так решила. Никакой эмиграции.

Родители обеспокоенно переглянулись. Фрида знала, о чем они думают. Старики верили в возрождение верховенства закона, лишь когда речь шла о них. Но когда дело касалось дочери и внуков, они реалистичнее смотрели на будущее евреев.

— Глупости, Фрида, — сурово сказал отец. — Тебе, конечно, надо жить за рубежом. Тебя и детей здесь ничего не ждет. Мы — другое дело, мы старые. А ты должна уехать. Короче, я запрещаю тебе оставаться.

Фриду слегка рассмешила его претензия на главенство, утраченное уже лет двадцать назад.

— Папа... — начала она, однако вмешалась мать. Фрау Таубер пыталась говорить веско, но то и дело сбивалась.

— Не нужно оставаться ради нас, дорогая. Ты врач, тебе стоит уехать и обжиться в другом месте. Вольфганга нет. Мы старые. Теперь лишь ты и твои дети...

— Вот именно, мама, — спокойно ответила Фрида. — Мои дети. Ради них я должна остаться.

— Но они же уедут с тобой! Оттси подъедет позже, — сказал отец. — Если вопрос в деньгах, мы поможем, продадим все, что имеем. Сама говоришь, скоро правительство украдет наше имущество...

— Папа, я говорю не о моих сыновьях, — мягко перебила Фрида. — Им восемнадцать, они уже мужчины. Я говорю о моих *детях*. О тех, кого лечу. И тех, кого принимаю на свет, ибо вопреки всем мечтам нашего вождя природа берет свое — рождаются новые евреи. Младенцы, не ведающие, что родились в аду. Им, этим деткам, нужен врач. Я их доктор. И буду с ними, сколько хватит сил.

Родители опешили. Им даже в голову не приходило, что Фрида так видит ситуацию. Ведь сколько было разговоров об эмиграции. Сколько писем она разослала.

— С Вольфгангом все было иначе. Я должна была о нем заботиться и знала, что увезу его, если получится. Но его нет. Он собой пожертвовал ради меня и...

— Вот именно! — воскликнула мать. — *Ради тебя* он совершил

ужасный поступок. В его записке ясно сказано, что он был обузой, мешал тебе уехать. Но теперь, когда...

— Теперь, когда он умер, я хочу почтить его память и нашу любовь тем, что останусь.

— Он бы этого не одобрил, Фрида! — возвысил голос отец.

— Какая, к черту, разница, одобрил бы он или нет, пап! Он мертвый! У него нет права голоса! — Фрида тоже повысила тон. — Он меня освободил. Вернул мне время, которое я потратила бы на заботу о нем и его защиту. Я хочу по-умному использовать его жертву. Как можно лучше. Уйма людей никогда не уедут, папа. Скажем, вы и еще по меньшей мере пара сотен тысяч других. Совсем юных, очень старых, без денег и связей. Всем им нужен врач. То есть я. Это моя работа.

— А как же мальчики? — робко спросила мать, не ожидавшая такой страстности.

— Пауль уедет, как только закончит школу. — Боевитость Фриды несколько угасла. — Его берут на гуманитарный факультет в Голдсмитс-колледж, в Лондонский университет, а Центральный британский фонд даст место в общежитии. У меня самой сердце разрывается, не думайте. Но все дети покидают родное гнездо, а со мной Отто. Пусть мы не видимся, я хоть знаю, что он рядом.

— Конечно, он ариец, — кивнул отец. — Раз ты остаешься, зачем ему уезжать.

— Он бы так и так не уехал, пап. Отто влюблен.

Старики заулыбались.

— В дочку Фишеров, — сказала фрау Таубер.

— Ну да, — вздохнула Фрида.

— Его можно понять, — заметил герр Таубер. — Девочка — персик.

— Да уж. Бедный Пауль, — сказала фрау Таубер.

Супруги обменялись сочувственными улыбками. Люди их поколения не совали нос в личные дела даже членов семьи, но они прекрасно знали, что оба внука давно влюблены в Дагмар Фишер.

— Вот так вот, — грустно улыбнулась Фрида, — Паули от нее без ума, он очень переживал. И сейчас переживает. Любовь юных бывает очень жестокой. Но, сказать по правде, хорошо, что так вышло. Представьте, если б Дагмар выбрала Паули, — он бы непременно остался с ней, я его знаю. Может, в чем-то он умный и рассудительный, но в том, что касается Дагмар, — чокнутый не хуже Оттси. Знаете, забавная штука: когда они маленькие, еще до всего этого, играли в свой Субботний клуб, мы с Вольфгангом посмеивались — дескать, когда-нибудь Дагмар влюбится в

Паули, а Зильке — в Оттси. Вот так нам виделось. Но с любовью поди угадай.

Герр Таубер нахмурился и задумчиво выколотил пустую трубку.

— Если Оттси остается, его призовут в армию. Надеюсь, ему это известно.

— Конечно. После окончания «Напола» он отбудет срочную службу.

— А потом? Их же там готовят в гауляйтеры и партийные начальники? — спросил отец.

— Насколько я знаю, он намерен прикидываться истинным нацистом, чтобы помогать Дагмар.

— Все это хорошо, пока речь о бассейнах и прочем, — нахмурилась фрау Таубер. — Но дальше-то что? Они же взрослеют.

Все трое переглянулись.

— Жениться на ней он не сможет, — сказал герр Таубер. — Это незаконно.

— Да знаю я, вот только не знаю, что они сделают, — ответила Фрида. — Ясно одно: он поклялся ее защищать. Быть ее рыцарем в сияющих доспехах. Думаю, в конце концов он тайком ее вывезет, используя свою форму или должность. А что — он смелый, может получиться. В общем, сейчас за Отто я не тревожусь. Он не еврей, опасность ему не грозит. А вот Пауль под угрозой, и его надо отправить.

— Так ты твердо решила остаться? — спросила фрау Таубер.

— Да, мам. Мальчики взрослые. Муж умер. Я же сказала. Теперь у меня другие дети.

— Кхм. — Герр Таубер сделал вид, что сморкается. — Мы всегда тобой очень гордились, милая. Всегда.

## Уроки английского Берлин, 1938 г.

Вдобавок ко всем своим трудам Фрида решила организовать кружок английского языка.

Еще до прихода Гитлера она упорно обучала близнецов разговорному английскому. А теперь надумала расширить круг учеников. Потенциальные эмигранты идею одобрили.

Для Фриды же это был способ чем-то заполнить одинокие вечера. Пауль жил дома, но, поглощенный учебой, безвылазно сидел в своей комнате. Фрида ужасно тосковала по Вольфгангу и Отто и всякую минуту старалась чем-нибудь себя занять, чтобы не думать о зияющей пустоте, оставшейся после них.

Кружок мгновенно завоевал успех. Помимо практической пользы для эмиграции, овладение языком избавляло от хандры, поголовно охватившей еврейскую общину. Ничего неделание сводило с ума отрезанных от жизни людей.

Собрать группу оказалось легко, труднее было найти темы бесед. Такие, чтоб не касались всеобщих горестей. Вскоре Фрида выработала правила, не позволявшие разговору бесконечно съезжать на одни и те же рельсы глубокого уныния.

— Опять та же история! — по несколько раз за вечер повторяла она. — Опять спорим, кто сильнее и незаслуженнее пострадал.

Почти всякий разговор неизбежно превращался в обмен горестями. Все захлеб говорили о собственном кошмаре, который, разумеется, превосходил чужие страдания.

Иногда возникали перепалки. Прежде спокойные и выдержанные люди орали друг на друга. Яростно спорили, что обиднее: отказ в магазине, где всю жизнь делал покупки, или плевков молокососа на улице.

— Мою дочь вышвырнули из вокзального туалета!

— У меня отняли зонтик. Просто вырвали из рук.

— Подумаешь, зонтик! У меня забрали велосипед!

— Ха! А у меня — машину!

— Я ветеран войны.

— Я всю жизнь платил налоги.

Под рукой Фрида держала колокольчик, которым подавала знак «Не стенать!».

— Давайте это прекратим! — говорила она. — А если не можем остановиться, хотя бы сохраним культурность. Иначе перегрыземся. Ничего удивительного, нас обложили, но тем более надо уважать друг друга.

Как ни старалась, Фрида не могла увести разговор от бесконечных обид — жизнь быстро ухудшалась.

По правде-то, больше было не о чем говорить.

Апрельская инвентаризация имущества евреев нанесла мощный психологический удар. Жестокость его не давала покоя и Фриде.

— Словно записка под дверью «Мы вас достанем», — говорила она. — Или как бандит, что через дорогу смотрит на тебя, ухмыляется и поигрывает свинчаткой. Просто гениально. Описать имущество и оставить в подвешенном состоянии. Если вдруг запугивание сделают олимпийским видом спорта, в сороковом году в Токио Германия выигрывает золото.

— *Ja, es ist absolute erschreckend...* — убито вздохнул бывший книготорговец Моргенштерн.

— Пожалуйста, на английском, мистер Моргенштерн, — велела Фрида. — У нас кружок *английского* языка.

— Да, сейчас, — промямлил старик, вспоминая английские слова. — Это просто ужасающий, *nicht wahr?* В смысле, не так ли?

— Ужасает, — поправила Фрида. — Вас *ужасает* нечто *ужасающее*.

В июне группа потеряла ученика: правительство издало указ, согласно которому всякий еврей, ранее совершивший любой проступок (скажем, неправильно перешел улицу), по усмотрению полиции мог быть арестован и отправлен в концлагерь.

Бывший страховщик Шмулевиц тотчас стал жертвой нового указа.

— В двадцать пятом году его наказали за пьяное вождение, — плакала жена Шмулевица, мужественно пытаюсь изложить страшную новость по-английски, как того требовали правила кружка. — Здешний полицейский, которого Ганс когда-то отказался страховать, теперь отомстил — отправил его в Равенсбрюк! Из-за стаканчика шнапса, за который уже штрафовали!

Июльская новость ударила по Фриде.

— Сообщаю, что отныне ко мне нельзя обращаться «доктор», по крайней мере, официально, — на превосходном английском сказала она ученикам. — Дипломы врачей-евреев недействительны. Я больше не врач. Нам разрешено работать няньками, но только с пациентами-евреями.

— *So haben sie endlich einen Weg gefunden...* — начала фрау Лейбовиц.

— Пожалуйста, по-английски, миссис Лейбовиц, — перебила Фрида. — Только по-английски.

— Я говорю, наконец-то они исправят этот их так называемый «еврейский дисбаланс». Они же переживали. Все твердили, что у нас переизбыток врачей, а теперь их нет вообще.

Август ошеломил новым указом, который обязывал всех евреев добавить к своим именам «Израиль» или «Сара» и предписывал проштемпелевать их паспорта большой буквой «Ю».<sup>[70]</sup>

— Нас метят, — сказал герр Кац. — Каждому ставят тавро, чтоб не скрылся. Зачем? Чего они хотят? Что еще можно с нами сделать?

Фрида чуть усмехнулась. *Что еще можно с нами сделать?* Все так говорили. Бесконечно повторяли себе и друг другу. Кто бы мог подумать, что в кружке английского языка фраза станет расхожей?

— Ай-ай-ай, мистер Кац, — попеняла Фрида. — Вы же знаете, я запретила использовать это предложение, им все злоупотребляют. Попробуйте сказать иначе.

— Ладно, миссис доктор. — Кац сосредоточенно нахмурился. — Может, так: конец, где он всему наступит?

— Недурно, — похвалила Фрида. — Но правильнее сказать — *чем же все это кончится?*

## Ночь битого стекла

**Берлин, ноябрь 1938 г.**

Привычно резкая команда разбудила Отто. Голос в рупоре был как собачий лай, злобный и противный.

— Подъем! Выходи строиться, сачки!

Отто глянул на часы. Без малого полночь.

Ну да, конечно.

Полночь. Любимое время нацистов.

В полночь все выглядит по-особому, исторически значимо. Присяги, клятвы на верность, целование знамени. Жестокие посвящения, изнуряющий тренаж. Зачем все это устраивать днем, когда можно середь ночи? Под всполохи костров и факелов, под барабанную дробь.

Отто вскочил с койки. Ему снилась Дагмар, а эти козлы разбудили!

— Шевелись, задрыги! — не унимался рупор. — Бегом на плац! Форма одежды гражданская!

Сердце екнуло. Похоже, старосты удумали любимое издевательство. Воспитанников выгоняли на плац поочередно во всех формах: летней, зимней, спортивной, парадной, рабочей и так далее. На каждую перемену отпускалось все меньше времени. После судорожных попыток уложиться в невыносимый срок, когда вся одежда вкупе со снаряжением сбрасывалась и надевалась иная, старосты объявляли проверку спальни и всех наказывали за беспорядок.

С гражданской одеждой Отто дела обстояли неважно. Он был безденежным сиротой на государственном обеспечении. Школа снабжала его всем необходимым, выдавала отличную форму, но этим и ограничивалась. Гражданских брюк не имелось, и потому на плац, подернутый ноябрьским ледком, Отто выскочил в шортах, чем вызвал неумные смешки младшего класса.

Запоминая юнцов, с которыми еще поквитается, он гадал, почему так долго нет команды на переодевание. И тут на плацу появился директор при всех партийных регалиях.

— Юноши! — обратился он к воспитанникам, синхронно принявшим стойку «смирно». Возбужденное лицо его сулило нечто большее, чем обыденные измывательства старост. — Нам выпала честь действовать бок о бок с партийными соратниками из СС!

Строй на плацу взбудоражился. Эсэсовцы — герои. Черные рыцари!

Дивизия «Мертвая голова»! Красотища, не чета вермахту. Отто ошпарило страхом. Пусть он приноровился к школе и даже получал удовольствие от безжалостной физической муштры, однако ни на секунду не забывал, кто его истинный враг. Он помнил о родных и любимых. И еще понимал, что рано или поздно его, воспитанника «Напола», принудят выступить против своих.

Он знал, что никогда этого не сделает.

Даже под страхом наказания или смерти.

— Что ж, сегодня и мы слегка позабавимся. — Директор лучился улыбкой. — Ибо настало время, мои отважные юные герои отечества, свести счеты с господами вредителями. Нынче, парни, мы повидаемся с расовым врагом! С германским бедствием! С евреями!

В строю ухмылялись, исподтишка друг друга подталкивали. Отто с трудом сглотнул, пытаясь сосредоточиться. Последние дни в городе было неспокойно. В Париже произошло убийство. Еврей застрелил немецкого дипломата. На улицах только о том и говорили, газеты вопили об отмщении. Неужто «рано или поздно» пришло?

Замерев в строю, Отто напряженно слушал, сквозь серебристый парок дыхания вглядываясь в лицо директора.

Потом кое-что заметил.

Небо окрасилось заревом.

Что это? Солнце ведь давно село.

Свело живот. Накатила тошнота. В холодном ночном воздухе пахло бедой.

— Конечно, вы знаете о подлости в Париже. — Голос директора скрежетал, точно железо по камню. — Еврей совершил гнусное убийство. За преступление против Германии поплатятся его здешние сородичи. Ныне по всему рейху проходят стихийные демонстрации, народ негодует и требует возмездия. Вы, юноши, удостоились чести выступить плечом к плечу с СС и СА! Вдумайтесь! Вы — их товарищи по оружию! Однако приказано действовать в гражданском облачении. Дабы никакой заграничный писака не оклеветал стихийную народность демонстраций. Не сомневайтесь, парни, эти выступления стихийны, но в национал-социалистическом понимании, когда стихийность надлежало организовать и поставлена на службу государству!

Отто уже не слушал. Он смотрел на небо. Зарево стало ярче.

Берлин горел.

По крайней мере, отдельные районы. Ясно какие.

Покинуть строй и мчаться к Дагмар? Сердце бухало. А мать? С ней



Пауль. Но Дагмар никто не защитит. Стоп. Паниковать нельзя, надо сосредоточиться. Вон на краю плаца фургоны. Значит, куда-то повезут. Наверняка в самое пекло «выступлений». Чтобы добраться к Дагмар, выгоднее остаться со школой.

— Изъявления народного гнева проходят во всем рейхе! — гремел директор. — В каждой деревне, каждом городе и поселке. Всякое еврейское гнездо должно быть уничтожено. Наша задача — навестить Курфюрстендамм! Мы покажем всему миру, как немецкая молодежь относится к коммунистическим капиталистам, то бишь еврейским паразитам — гнойнику, вызревшему в сердце нашей столицы! Отряд СС просил прикомандировать лишь старшеклассников, но своей властью я решил задействовать всю школу. Ибо Германия — это молодежь, и молодость — не помеха служить своей стране. Как не раз говорил наш фюрер, дорогу молодым!

Отто глянул на младший класс. Одиннадцатилетние пареньки, заматанные в шарфы. В брюках гольф. В струнку вытянулись на плацу, поблескивающим наледью. Из ртов вырываются облачка пара, под фонарями желтоватые. Над головами полощут знамена со свастикой.

Кое-кто из малышни смотрит беспокойно, даже испуганно. Другие широко ухмыляются. Не каждую ночь наставники будят и велят бить окна.

От нетерпения Отто колотило. Когда же погрузка? Когда же старый козел умолкнет и велит садиться по машинам?

— Приказы исходят от самого обергруппенфюрера СС Гейдриха, — разливался директор. — Исполнять их надлежит неукоснительно, как подобает воспитанникам «Напола». Громить всех евреев, их заведения, собственность и жилища. Сровнять с землей синагоги, все без исключения. Иностранцев не трогать, в том числе зарубежных евреев. При поджогах особо следить, чтобы не пострадала немецкая собственность. В сомнительных случаях громить, но не жечь. Все ясно? Господа! Хозчасть школы обеспечит вас всеми имеющимися молотками, кувалдами, ломami и лопатами. Получают только старшеклассники. Под расписку, потом вернуть!

По команде школьники наперегонки ринулись за орудиями, но Отто помешкал. Ни к чему связываться с казенным имуществом, за которое надо отвечать. И потом, на Курфюрстендамм ему делать нечего. Среди ночи там не будет Дагмар.

*Жилища*, сказал директор. Раз велено громить жилье, прикинул Отто, охотнее возьмутся за то, что побогаче. Всем известный дом Фишеров — отличная мишень.

Школьники расселись по машинам. Из фургонов, сквозь тьму двигавшихся в город, неслось разухабистое пение.

Любимый школьный репертуар.

*Обагрим ножи еврейской кровью, то-то уж веселье.*

Чтобы не вызывать подозрений, временами Отто подтягивал, но уличные сцены отвлекали от горлопанства. С каждой минутой зрелище становилось все безобразнее и кошмарнее.

Повсюду горели разгромленные магазины. Взбесившаяся толпа осаждала жилые дома.

Прижавшись лицом к оконцу, Отто смотрел на улицы. Избиения. Парней сшибали наземь и пинали. Девушек за волосы волокли к сточным канавам. Матери с плачущими младенцами на руках как могли отбивались, но их вышвыривали из домов.

На улице было холодно, но в фургоне надышали горластые певуны, и оконце запотевало. Отто беспрестанно протирал глазок, в котором открывались чудовищные картины.

Застрелили человека. Еще одного зарезали.

В гуще беспорядков полицейские в форме. Град ударов сыпался на охваченных ужасом людей, которых дубинками загоняли в автозаки.

В Берлине не имелось еврейского гетто, евреи жили во всех столичных районах, и потому весь город стал свидетелем дикой истерической бойни.

Казалось, наступил апокалипсис.

Шел погром, безудержный и жестокий.

По мосту Мольтке, откуда год назад бросился Вольфганг, школьные фургоны переехали через Шпрее. Лишь на миг Отто вспомнил о семейной трагедии. Образ отца, с трубой в руке перевалившегося через парапет, мелькнул и тотчас исчез. Кошмар настоящего затмил скорбь прошлого.

Миновали еще один мост, проехали сквозь Тиргартен, и фургоны встали, немного не добравшись до Курфюрстендамм. Улицы были усеяны битым стеклом, и водители боялись за покрышки. Воспитанникам, построившимся на тротуаре, приказали пешим порядком выдвинуться на знаменитую торговую улицу и далее произвольно крушить все еврейское.

Подходящий момент ускользнуть, смекнул Отто.

В неразберихе никто не заметит его отсутствия. В осатаневшей толпе многие отобьются от школьной стаи.

Да плевать сто раз, главное — пробраться к Дагмар.

Под ногами жутко хрустело битое стекло. Отто бежал, расталкивая регочущую толпу, самодовольную и качкую, хмельную от ворованной выпивки и власти.

Абсолютной власти.

Казалось, весь город вышел на улицы. Нет, конечно. Большинство берлинцев сидели по домам, прячась, точно страусы. Однако народу хватало, словно в диком шабаше участвовало все городское население вплоть до последнего бандита, вора, шпаны и недоумка, обиженного на весь свет.

Отто разрывался от желания помочь беззащитным жертвам озверевшей толпы. Банды, заходившейся в исступленной ненависти к «преступным» расовым врагам.

*По заслугам!*

*Уж вы-то над нами поизмывались!*

*Достали! Терпение лопнуло!*

В трепещущем свете факелов искаженные лица казались нелепыми масками праведной ненависти и безграничной жестокости.

Метались лучи фонариков, выискивая поживу и новые жертвы — в панике бегущих детей.

Чернь вламывалась в дома. Срывала одежду с девушек. «Шлюхи!» — скандировала толпа.

Рты детей, зашедшихся в крике, — будто черные провалы во все лицо. Иные малыши лишь дрожат и омертвело смотрят на маму с папой, которых на их глазах избивают. *До смерти.*

Отто не мог им помочь.

Он бежал, лишь краем сознания отмечая картины, сродни калейдоскопическим видениям кошмара.

Сон.

Всего два часа назад ему снилась Дагмар. Где она? В лапах толпы? С нее срывают одежду? Избивают? *Убили?*

Страх и отчаяние гнали кровь по жилам, еще никогда в жизни Отто так не бегал. Проскочил Мемориальную церковь кайзера Вильгельма и вылетел на Кантштрассе. Банды юнцов жгли еврейскую собственность, которую побрезговали украсть.

В огонь летело все содержимое магазинов. Одежда, скобяные изделия, канцтовары. Осатанелые тетки ножами кромсали манекены. Мужики кувалдами крушили пишущие машинки и арифмометры. Телефонный коммутатор вылетел из окна и вдребезги разбился о тротуар.

Вдогонку Отто неслись хриплые вопли.

«Синагоги горят!» — заорал кто-то. На улицах валялась ритуальная утварь. Растоптанная, обгоревшая. Древние талмуды в кожаных переплетах шелестели страницами, точно многокрылые бабочки, летевшие на огонь.

Картины, резные бимы и скамьи — все шло на корм пламени.

Какие-то юнцы отплясывали, завернувшись в талесы. Потом расстелили их на тротуаре и заставили стариков-евреев мочиться на вышитые платы. Седые старухи рыдали.

— Теперь пуцай напялят обоссанное тряпье! — завопила одна девчонка, и ее приятели подпихнули отбивавшуюся старуху к оскверненным талесам.

Отто не мог ей помочь.

Он все видел, но будто ничего не замечал. Если подобное творят со всяким евреем, что они сделали с Дагмар?

На улицах дорогого района Шарлоттенбург-Вильмерсдорф было чуть спокойнее. В Берлине проживало меньше богатых евреев, чем утверждали нацисты, и целые кварталы оставались нетронутыми.

Там и сям толпа осаждала дом и швыряла бутылки в окна, но престижный район не кишел очумелыми бандитами. В столь живописном предместье полиция сохраняла относительный порядок.

В душе Отто вспыхнула надежда. Может, сюда безумие еще не добралось, может, он успел?

Однако надежда прожила лишь мгновение. С проспекта в кайме деревьев Отто свернул на улицу, где жила Дагмар, и увидел пожар. Ошпарило страхом, мигом забылась боль в разрывавшихся легких. Значит, опоздал.

Горел дом Фишеров.

Перед особняком орала, пела и плясала толпа. Дом уже разграбили. Улицу усеивали вещи — Отто многие узнал. Картины, граммофон, красивые подушки, чашки и вазы, мебель. Все искорежено, разбито, разбросано.

Проталкиваясь сквозь толпу, он наступил на что-то мягкое.

Глянул под ноги — старая вязаная обезьянка. Тысячи раз он ее видел.

На подушке Дагмар. На туалетном столике возле банки с тальком. На коробке с салфетками.

Несмотря на всю свою взрослость, Дагмар по-прежнему засыпала с ней в обнимку. Теперь обезьянку вышвырнули.

Значит, побывали в спальне.

Обезьянка на улице. А где Дагмар?

Отто поднял игрушку и сунул в карман.

— Фишеров повязали? — окликнул он парней, кривлявшихся в идиотском танце. — Забрали в кутузку?

— Чего? Куда? — осклабились парни.

— Где Фишеры? — Отто отбросил наигранное дружелюбие и цапнул за шкуру одного плясуна. — Женщина и девушка. Где они?

— Отвали на хрен! Не знаю! — взвыл парень. — Наверное, в доме. Были там. Какая на хер разница? Пускай сгорят!

Отто посмотрел на пылавший дом. Первый этаж охвачен пламенем, второй пока цел. Ненадолго.

Отто попробовал подойти ближе. Парадная дверь превратилась в топку. Сквозь нее в дом не проникнуть даже на крыльях любви. К окнам тоже не подступишься — оттуда рвутся злобные огненные языки. Большой эркер гостиной распахнулся пылающим зевом.

Вперемешку с колокольным трезвонем заныли сирены. Скрипнув покрывками, у дома остановились две огромные пожарные машины.

Надежда ожила — может, все обойдется?

Пожарные выскочили из машин и принялись разматывать шланги. Сноровка их впечатляла.

Отто подбежал к командиру.

— Отто Штенгель, господин начальник! — рявкнул он, отдав нацистский салют. — Воспитанник «Напола».

Паникой делу не поможешь. Надо сохранять спокойствие и властность.

Так вел бы себя Пауль.

— Я занят, сынок, — буркнул командир.

— Наверное, Фишеры еще внутри, господин начальник. Я бывал в этом доме. Знаю планировку. Смогу помочь их вывести.

Пожарный лишь пожал плечами и отвернулся к подчиненным, уже приготовившим брандспойты.

— Давление постоянное! — выкрикнул он. — С обеих сторон!

Послышались шипение и рокот. Укрощенные рукава, смиренно лежавшие поперек улицы, взбухли и выплюнули две мощные водяные дуги. Теперь брандспойты извивались и подскакивали, словно рвущиеся на свободу змеи; на усмирение каждого требовались трое пожарных.

Отто облегченно вздохнул, но уже через секунду облечение сменилось беспросветным ужасом.

Пожарные направили струи на дома *по сторонам* от особняка Фишеров.

— Что вы делаете! — закричал Отто. — Там люди горят!

— Уймись, парень! — оборвал его командир. — Если ты из «Напола», должен знать директиву. Оберегать лишь немецкую собственность, еврейская пусть горит. Не понимаешь, что ли? Соседи трясутся за свои

дома.

Секунду-другую Отто завороченно смотрел на огнеборцев, которые во исполнение государственной директивы поливали близстоящие дома, не обращая внимания на полыхавший особняк.

Потом очнулся и кинулся к горящему дому. Под водяной дугой проскочил через палисадник и побежал по тропке, отделявшей дом Фишеров от соседей.

Его окатило водой, водопадом стекавшей с крыши соседнего особняка, что было на руку, ибо от пожара не несло нестерпимым жаром.

Сад за домом был безлюден. Когда пожар занялся всерьез, мародеры и вандалы слились с толпой уличных зевак.

Отто помнил, где хранится лестница. Мальчишкой он часто бывал в этом саду и не раз видел, как разнорабочий Фишер по длинной лестнице взбирается на крышу, чтобы прочистить водостоки или подлатать кровлю.

Лестница была на месте — за сараем, где держали рассаду. Поднатужившись, Отто выволок ее, поднял и привалил к стене. Под окном в спальню Дагмар.

Огонь еще не охватил второй этаж, однако всю хозяйничал на первом. Отто понимал, что надо спешить, но провозился с лестницей, в палящем жаре вытягивая ее верхнюю секцию.

Наконец он справился и вскарабкался к подоконнику, где воздух еще не обжигал лицо.

Сквозь стекло Отто заглянул в темную комнату, но ничего не увидел. Видимо, огонь уже уничтожил проводку, потому что свет не горел во всем доме. Отто заколотил в стекло, готовый, если что, вынести раму.

Но тут, к его радости, фрамуга открылась.

Медленно уползла вверх.

В окне стояла Дагмар.

Лицо — грязная заплаканная маска ужаса.

— Оттси... — выдохнула она.

— Где фрау Фишер? — крикнул Отто.

— Внизу, — просипела Дагмар.

Отто влез в комнату и опустил фрамугу.

— Сквозняк еще больше раздует пожар, — ответил он на немой вопрос Дагмар, потом ринулся к двери и выскочил на площадку.

Пекло. Горела лестница, полыхал весь первый этаж. Жар и чад невыносимые.

Отто машинально шагнул вперед. Нет, дальше никак. Хода нет. Наверняка фрау Фишер погибла.

Вернулся в спальню, захлопнул дверь. Кинулся к окну и выглянул наружу. Внизу огненные языки уже подбирались к лестнице.

Через считанные секунды и этот путь будет отрезан.

— Я первый, — сказал Отто. — Если что, подхватчу тебя.

Он уже спустился на пару перекладин, но поднял взгляд и перед носом увидел ступни в чулках.

— Обуйся, Даг! — крикнул он. — Нельзя босиком. На улицах полно битого стекла.

Несмотря ни на что, Дагмар держалась молодцом. Молчком вернулась в спальню, из-под кровати достала крепкие башмаки и, в последний раз усевшись на розовое покрывало, проворно обулась. Затем вновь выбралась на лестницу.

— Внизу шибко печет, — предупредил Отто. — Ну давай, резво.

Сорвавшись с нижних раскаленных перекладин, оба грохнулись на землю, но тотчас вскочили и кинулись прочь от огня.

Дагмар оглянулась на горящий дом.

— Мама... — прошептала она.

С улицы доносились крики, смех и пение. Толпа любовалась пожаром, уничтожавшим прекрасный дом.

— *Смерть жидам! Смерть жидам!* — скандировали зеваки.

И тут Дагмар прорвало.

— Вы своего добились! — в истерике завопила она. — Мама там! Она мертвая! И папа мертвый! Вы прикончили обоих! *Жиды сдохли!* Довольны?

Отто схватил Дагмар за руку. Вряд ли ее услышали, но в любой момент бандиты могли наведаться в сад.

А то и сама Дагмар рванет на улицу. В таком состоянии она непредсказуема.

Кто знает, как пережитое сказалось на ее рассудке. Только что она готовилась заживо сгореть.

Отто тянул ее прочь, но Дагмар уперлась. Стояла и смотрела на горящий дом.

— Они вышибли входную дверь. — Дагмар уже не кричала. Ее ужасно трясло. На лице плясали оранжевые отсветы пламени. — Прошли по всему дому. Били нас. Срывали картины со стен, мочились на ковры. Забрали деньги и драгоценности, все остальное разломали...

— Дагмар, надо уходить. — Отто осторожно потянул ее за руку.

Но она будто не слышала.

— Мама кричала. Рвала на себе волосы. Они смеялись. Я заперлась в уборной, туда они не сунулись. Блюли закон о расовой чистоте.

Дагмар улыбнулась. Безумно и страшно.

— Дагмар, пойдём...

— Потом они ушли. Мы думали, всё закончилось, вдвоем сидели в кавардаке...

— Дагмар...

— Мама стала собирать фотографии и альбомы. Когда я поняла, что дом подожгли, уже нельзя было выйти. Вестибюль горел, только наверху огня ещё не было. Я побежала к лестнице, а мама всё собирала фотографии. На площадке оглядываюсь — её нет. Она внизу, подбирает снимки, альбомы, памятки, а они вываливаются из рук. Я закричала, и лишь тогда она увидела, как близок огонь, но было поздно. Вокруг горели письма и фотографии. Потом вспыхнули те, что у неё в руках... Прошлая жизнь стала погребальным костром.

— Дагмар, идем, — твердо сказал Отто. — Они жаждут крови. Тебе надо спрятаться.

Дагмар не шелохнулась, скованная ужасом. Ей достало сил выбраться из горящего дома, а на бегство их уже не хватило. Пламя заворожило её.

Отто вдруг вспомнил про игрушку — вязаную обезьянку. Достал её из кармана и вложил в руку Дагмар.

— Откуда?.. — прошептала девушка.

— Валялась на дороге. Я подобрал.

Обезьянка помогла. Отчаянная попытка сработала — Дагмар очнулась.

— Куда пойдём? — ровным голосом спросила она.

Отто облегченно вздохнул и повел её к калитке, выведившей в проулок.

— Я знаю, как отсюда выбраться, — сказал он.

Влюбленные братья никому не рассказывали, что в детстве тайком бегали к дому Дагмар — посмотреть на её окно. Надеясь, что за шторами мелькнет её тень.

— Пойдем к моим, — сказал Отто. — В нашем квартале нет других евреев, вряд ли там поджигали. Строго приказано беречь немецкую собственность.

— Приказано? — чуть слышно переспросила Дагмар.

— Пошли, разговоры потом.

От дома Фишеров до квартиры Штенгелей было добрых восемь километров через центр города. Города, который с детства был знаком, но теперь стал опасными джунглями, где стаи диких безжалостных хищников охотились за евреями.

— Нужно обогнуть Курфюрстендамм, — на бегу сказал Отто. —



Сейчас там мои одноклассники. А я вроде как с ними.

— Что, все спланировано? — опешила Дагмар.

— Конечно. Нам зачитали эсэсовский приказ, подписанный лично Гейдрихом. Полиции велено не вмешиваться.

Улицы кишели народом. Казалось, в городе царит причудливый карнавал и праздные гуляки кочуют от одного кровавого увеселения к другому.

— Нас всех убьют, — мертвым голосом сказала Дагмар. — Сегодня нас всех убьют.

Отто упорно тянул ее за собой:

— Идем, идем. У зоопарка сядем в трамвай.

Разгул охватил весь центр, пожарные сбивались с ног. До Фридрихсхайна добирались почти три часа. Там было гораздо спокойнее. Кое-где слышались крики и грохот, сильно пахло дымом, однако на улице Штенгелей хулиганья не было.

Проскочив колодец двора, Отто и Дагмар влетели в лифт, который в кои-то веки оказался внизу и тяжело поехал на шестой этаж.

— Дагмар, я очень тебе сочувствую, — запинаясь, проговорил Отто. — Фрау Фишер... твоя мама...

Любые слова казались неуместными, и он пожалел, что заговорил.

— Я ей завидую, — глухо сказала Дагмар. Голос ее был пуст, как свежерытая могила. — Не тому, как она умерла. Тому, что умерла.

— Не надо, Дагмар! — вскинулся Отто.

— Она хотела умереть. Последнее время так часто об этом говорила, словно уже мертвая.

Лифт карабкался вверх. Отто попытался сменить тему:

— Знаешь, три года я не ездил в этом лифте.

— Может, ты зря рискуешь? — сказала Дагмар. — Тебе нельзя тут появляться.

— Да пошли они! Никто не знает, где я.

— А вдруг будут искать?

— Нам дали свободу действий. Скажу, что отбилась от своих. Мол, погнался за евреями. — Отто криво усмехнулся. — Что, в общем-то, правда. Наверняка я не один такой, кто предпочел слиться и где-нибудь развлечься.

Наконец лифт добрался на знакомую площадку.

В квартире свет не горел, ключа у Отто, конечно, не было.

— Черт! Не дай бог, все ушли.

Он постучал в дверь и шепотом окликнул:

— Пауль!.. Ты дома?

За дверью раздался голос Пауля:

— Кто там? Чего надо?

— Это я, Паули! Оттси! — прошипел Отто. — Со мной Дагмар.

Дверь распахнулась, и через секунду все трое тискали друг друга в объятиях, словно от этого зависела их жизнь.

— Не фига себе, Оттси! — наконец сказал Пауль. — Ну и бугай ты стал!

— Где мама? — спросил Отто.

— Всюду. Телефон звонил не умолкая. Очень много раненых. Похоже, нам и впрямь объявили войну.

— Так и есть. — Дагмар обхватила ладонями кружку с бульоном, который Пауль приготовил себе, но отдал ей.

— Все нуждаются в маме, а она, конечно, всем готова помочь, — сказал Пауль. — Ты ж ее знаешь. Постарается залатать все пробитые головы.

— Почему ты не с ней? — взъерился Отто. — Она одна, ты должен ее защищать.

— Какой из меня защитник? Хуже чем никакой. Гораздо хуже. Они выискивают молодых евреев и без разговоров швыряют в грузовик. Говорят, в нашей округе забрали человек двадцать. Сюда дважды приходили, но я затаился, а соседи сказали, что в квартире никого нет.

— Все равно, ты должен быть с мамой.

— Оттси, так еще опаснее.

— Все равно...

— Ничего не все равно! — рявкнул Пауль. — Я думал, ты поумнел. А ты, похоже, только мышцы накачал. Невелика слава быть мертвым героем. Шевели мозгами. Теперь нельзя не думать. Нужно решить, чем помочь Дагмар. Как я понимаю, домой она сегодня вернуться не сможет?

— И никогда, — глядя в пол, сказала Дагмар.

Пауль недоуменно взглянул на брата, и тот все рассказал, безуспешно пытаясь смягчить страшные вести.

Пауль лишь открыл рот, но ни звука не произнес.

— Не сокрушайся, Паули. — Голос Дагмар был мертвый. — В этом городе живым евреям ничуть не лучше, чем покойникам. И потом, всем нам недолго осталось, верно?

— Нет, не верно, — ответил Пауль. — Настанут другие времена, надо только дождаться.

Отто не выдержал.

— Дождаться? — взвился он. — Мы и так все ждем-пождем, а что толку? Надо что-то *делать*!

— Старая песня, да? — ответил Пауль. — Что ты сделаешь? Отметелишь еще одного штурмовика? По-моему, это пройденный этап.

— Не волнуйся, есть план получше, — огрызнулся Отто.

— Да ну? Какой?

Отто сидел на отцовском винтовом табурете, но теперь вскочил, взглядом сверля брата.

— Я убью Гиммлера, — сказал он.

— Что?!

— Что слышал.

Пауль оторопел.

— Из-за убийства нациста начался сегодняшний погром!

— Думаешь? — усмехнулся Отто. — Что-то я сомневаюсь. Просто они искали повод и легко нашли бы другой.

— Да, но...

— Никаких «но»! Пора дать сдачи, Паули. Иначе это навсегда. Я долго думал. В следующем месяце я заканчиваю школу. Знаешь, что я придумал? Будет шикарная церемония, потому что мы — первый выпуск. Гиммлер хочет приехать.

— Сам Гиммлер?

— Именно. Черный Генрих, глава СС. Школа — детище СС, и он толкнет речь. Если из оружейки стащить пистолет, на параде я смогу прикончить гада. Понял? Я убью Гиммлера!

— Что ты несешь! — рявкнул Пауль. — Это недопустимо!

— Назови хоть одну вескую причину.

— Я назову самую вескую: Дагмар.

— Дагмар?

Оба посмотрели на возлюбленную. Та сидела на полу, привалившись к кушетке. Вся в своих мыслях.

— Она самая, — прошипел Пауль. — Даже если ты исполнишь свой план, что вряд ли, тебя сразу схватят. И что будет с Дагмар?

Отто покачал головой и плюхнулся на табурет.

— Да, — сказал он. — Верно.

— Конечно, верно. Ты — ее единственный шанс, Отт. Другого не будет. Ситуация та же, что и два года назад, когда ты водил ее на Игры и все такое. Ты немец. Да еще воспитанник «Напола». Пойдешь в армию. Если станет совсем плохо и понадобится спрятать Дагмар, никакой еврей с этим не справится. Ты *немец*, Отт, у тебя документы, ты можешь делать что

угодно. Совершать покупки. Путешествовать. Дагмар в тебе нуждается. Тебе не спасти всех евреев, но, может быть, спасешь одного человека, который нам дороже всех на свете.

Отто взглянул на Дагмар. Та уставилась в кружку. Казалось, она даже не слушает.

— Конечно, ты прав, — покаянно сказал Отто. — Об этом я не подумал.

— Значит, теперь думай, — не унимался Пауль. — Возможно, придется выправить ей фальшивые документы на чужое имя и бог знает что еще. В армии надо быть абсолютно безупречным и усердно учиться...

— Учиться?

— Да, чтобы получить штабную должность, не попасть на передовую и иметь доступ ко всяким официальным печатям и пропускам...

— Ну ты даешь! — оторопел Отто. — Уже все спланировал!

— Приходится, Отт, приходится. Я должен быть уверен, что ты готов. И мыслишь правильно. — Пауль будто упрасивал брата. — Я хотел найти способ повидаться с тобой, чтобы обо всем поговорить. Понимаешь, я-то уезжаю, Отт. Уезжаю.

Оказалось, Дагмар все слышит.

— Уезжаешь? — подняла она голову. — Ой, Паули.

— Маме удалось пристроить меня в Англии. Там буду жить и учиться. Визу уже дали.

— Когда едешь?

— В начале будущего года. Конечно, хотелось бы закончить школу, но весной-то уж точно уеду.

Новость оглушила и Дагмар, и Отто.

— Мама тоже едет? — спросил Отто.

— Ты ж ее знаешь, она не бросит своих больных. Говорит, мы с тобой уже взрослые и больше в ней не нуждаемся, но каждый день рождается малыш, которому она нужна.

Дагмар вдруг заплакала. И никак не могла остановиться.

— Тебе очень повезло, Паули, — сквозь слезы выговорила она. — Из-за папы нам с мамой не дают визу. Следят за нами и предупреждают, чтоб даже не пытались...

Дагмар осеклась и зарыдала, посреди фразы вспомнив, что мамы больше нет.

Пауль был совершенно убит.

— Даг, ты же знаешь, если б была хоть какая-то возможность тебе помочь, я бы остался. Но я тоже еврей. Меня никуда не пускают. Ничего не

позволяют. Всякий еврей — обуза. Себе и тем, кто о нем печется. Без меня Оттси будет занят только тобой. Ничего другого мне не надо. Для нас ты — самое главное.

— Пауль прав, Даг, — сказал Отто. — Он дело говорит.

— Теперь все зависит от тебя, Отт. — Пауль смотрел на брата. — Прежде чем уеду, я хочу знать наверняка. Обещай, нет, *поклонись*, что будешь заботиться о Дагмар.

Отто мгновенно взъерепенился. Сжал кулаки.

— Слушай, ты! — разозлился он. — На кой еще клятвы? Ты прекрасно знаешь, что я готов за нее умереть.

Теперь разозлился Пауль:

— Господи боже мой! Ты что, вправду такой идиот?

— Что ты сказал? — Как в детстве, Отто набычился, изготовившись к драке. — Кто идиот? Ты же спросил, буду ли я о ней заботиться, и я ответил, что готов за нее умереть. И умру!

— Никто не просит тебя *умирать*. Умереть может всякий дурак. Чего легче — дай себя прихлопнуть. Я хочу, чтобы ради нее ты *жил*. Чтобы *берег* себя. Не подставлял свою глупую башку. Что бы ты ни делал, ты должен помнить о Дагмар. Не пытайся убить Гиммлера, а на войне, которая, судя по всему, неизбежна, не дай себя убить. Иначе Дагмар останется совсем одна. Одиношенька! Понимаешь, балда? Меньше всего ей надо, чтобы ты за нее *умер*.

Отто уже раскаялся в своей вспышке.

— Ладно, пусть так. Я понял. Конечно, ты прав. Абсолютно прав. Как всегда.

— Когда я уеду, представляй, что ты — это я, — серьезно сказал Пауль. — Понял? Прежде чем что-то решить или сделать, спроси себя: «Как поступил бы Пауль?» Будь спокоен. Расчетлив. *Осторожен*. Остайся в живых и сохрани жизнь Дагмар.

— Ну да, конечно. Я все понял! — просветлел Отто. — Раз я буду в форме, смогу переправить ее за границу...

— Опять ты за свое? — От досады Пауль побагровел. — Надо все *продумывать!*

— А что плохого в том...

— Помимо того, что кучу людей убили при попытке перейти границу, это бессмысленно. У Дагмар больше нет въездной визы. Пять лет назад была американская, а теперь никакой. Янки подняли мост. И все остальные тоже. Даже если переправишь Дагмар через границу, ее вышлют обратно.

— Ох ты, — только и сказал Отто.

— Надо защитить ее в Германии. И если что, здесь же спрятать. Понимаешь?

Дагмар рассеянно смотрела на братьев.

— Тебе пора, Отт, — наконец сказала она. — Уже светает. Возвращайся в Шпандау. Ночью отлучился — ладно, но если тебя и днем не будет...

— Да, верно. Словлю попутку... Ну, я пойду.

Дагмар отставила кружку и обняла его.

— Спасибо, Оттси, — прошептала она. — Сегодня ты меня спас.

— Для того и живу.

— Мы оба для этого живем, — вставил Пауль. — Даг, все устроится. Я обещаю. Видимо, тебе придется побыть у нас, пока не придумаем план. Занимай мою комнату, а я лягу на кушетке.

После ухода Отто Дагмар и Пауль безмолвно посидели в сумраке.

Потом Дагмар нарушила долгое молчание.

— Обними меня, Паули, — сказала она.

## Дождь на пляже

### Озеро Ванзее, ноябрь 1938 г.

Через несколько дней после кошмара ноябрьского погрома, тотчас прозванного Хрустальной ночью, правительство объявило о немедленном исключении из школ всех евреев. Накануне выпуска Пауля и еще тысячи растерянных учеников изгнали, не допустив к экзаменам и отказав даже в справке об образовании.

— Из-за аттестата не переживай, — сказала Фрида. — В Англии узнают о новом законе, а у тебя полно отличных табелей — сгодятся для любого колледжа.

В гостиную вошла Дагмар; после Хрустальной ночи она жила в комнате Пауля.

— Раз теперь не надо все время учиться, не мог бы ты сводить меня поплавать? — сказала Дагмар.

Пауль и Фрида тревожно переглянулись.

Они шептались всю последнюю неделю — беспокоились о хрупкой психике девушки. Почти все время Дагмар молчала, о смерти матери не обмолвилась ни разу. Газеты сообщили, что причиной пожара и «прискорбной» гибели вдовы герра Фишера стало короткое замыкание. Дагмар не упомянули. Заметку она прочла молча. Целыми днями Дагмар лежала в кровати либо калачиком сворачивалась на кушетке, прижав к груди обезьянку, спасенную Отто; ни Фрида, ни Пауль не могли пробиться сквозь эту глубокую обреченную печаль.

Фрида узнавала симптомы эмоционального отчуждения. В Берлине было полно людей, получивших глубокую душевную рану, и теперь они вот так же молчком сидели в холодных пустых квартирах, уходом в себя спасаясь от кошмарной реальности.

— Боюсь, милая, поплавать не получится, — ласково сказала Фрида. — Ты же помнишь, нам запрещено.

— Нас поведет Оттси, — ответила Дагмар. — Ему ничего не стоит.

— Он может повести *тебя*, дорогая. Для Паули это очень большой риск. Молодых евреев по-прежнему отлавливают.

— Можно поехать на Ванзее, — не унималась Дагмар. Голос ее стал чуть тверже. — На общественный пляж. Кроме нас там никого не будет. Сезон закончился, вся обслуга уехала.

— Не слишком прохладно, нет? — усмехнулся Пауль.

— И прекрасно. Холодрыга. Значит, там ни души. В кои-то веки будем в большинстве! Виза не требуется, ни въездная, ни выездная. Поедем электричкой, как раньше. Паули, я хочу поплавать. Мне это нужно. Но только чтобы и ты поехал. Чтоб два моих мальчика были со мной, чтоб все как прежде.

Фрида улыбнулась. За пять минут Дагмар наговорила больше, чем за пять последних дней.

— Дагмар, пожалуй, права, — согласилась Фрида. — Вам обоим надо выйти на воздух. Размяться. Наверное, если с Отто, особой опасности нет.

— Ладно. — Пауль ухмылялся, радуясь, что Дагмар чуть-чуть ожила. — Съездим.

— Я напишу Отто записку. — Глаза Дагмар загорелись, голос окреп. — Наверняка ему дадут увольнительную. Они же просто ждут выпуска. Отто школьный любимец, а я все еще его арийская подруга. Снова будем втроем. Вроде как прощальный пикник. Прощание с Паули. С мамой. И со всем вообще.

Радостная ухмылка Пауля угасла. Он разглядывал Дагмар и гадал, что породило ее план — оживавшая душа или бездонное отчаяние.

— Может, возьмем Зильке? — предложил он. — Чтоб Субботний клуб в полном составе выехал на природу.

— Вот еще! Делиться моими мальчиками? — Глаза Дагмар блеснули, а лицо на миг озарилось знакомой улыбкой.

— Ты прекрасно знаешь, что я жадина и не способна на такую щедрость.

Пауль был счастлив. Он видел прежнюю Дагмар.

Встретились на станции «Зоопарк».

Еще несколько дней после погрома улицы были усыпаны битым стеклом. Теперь их подмели, однако сгоревшие дома и магазины с провалами витрин напоминали о злобном бесчинстве. Евреев заставили собственноручно убирать обломки их жизней, но работа шла медленно и тяжело, ибо, ликовали газеты, за две ночи беспорядков тридцать тысяч еврейских юношей были арестованы и отправлены в концлагеря.

Газеты умолчали о том, что Фрида узнала от пациентов: еще девяносто одного человека просто забили насмерть.

Однако сейчас вроде бы наступил покой. Евреи сидели взаперти, остальной народ занимался своими делами, будто ничего не произошло.

В дорогу Отто купил орешки и яблоки, и трое молодых людей городской электричкой отправились на Ванзее. Братья старались развеять



печаль подруги.

— Помнишь водный праздник? — сказал Отто. — Когда ты грохнула кубок, а мы взяли вино на себя?

— И мне всыпали четыре лишние розги, потому что своей дурью ты угробил мою отговорку, — добавил Пауль. — Кстати, я с тобой еще не поквитался.

— В любое время. — Отто поиграл мускулами. — Желаешь попробовать?

Усердная веселость братьев и знакомые станции, мелькавшие за окном, вроде как возымели эффект. Дагмар чуть улыбалась, когда вспоминали музыкальные уроки, Субботний клуб и ярость Зильке от появления незнакомки.

— Бедняжка, я ее понимаю, — сказала Дагмар. — Я бы тоже ревновала, если б в Народном парке вы гонялись за ней. Помните, как вы пытались меня поцеловать между Рапунцель и Красной Шапочкой?

Они болтали и даже посмеивались, возвращаясь в счастливую страну детства и не замечая дождя, хлеставшего по вагонным окнам.

Однако потом приятные воспоминания иссякли.

Улыбки троицы погасли, ибо ко всякому счастливому воспоминанию позже тридцать третьего года настырно примешивалась память о несчастьях, боли, утратах и унижении.

— У нас отняли юность, правда? — тихо сказала Дагмар. — Украли.

Когда почтенных лет электричка судорожно подползла к станции «Ванзее», в небе грохотал гром, лило как из ведра. Как и предрекала Дагмар, кроме них троих на платформу никто не вышел.

— Отважные вы ребята, я бы не решился, — сказал контролер, пропуская их в здание маленького вокзала. — Вот уже столетия, как берлинцы облюбовали эти места и всегда с сожалением их покидали.

Пауль выдавил ответную улыбку и глянул на первую из бесчисленных табличек, извещавших, что евреям запрещено пользоваться пляжем и удобствами.

Мокрая, продуваемая ветром привокзальная площадь не могла похвалиться праздничным нарядом, сохранившимся в памяти. Конец ноября. Никто не торгует цветами, воздушными шариками и мороженым. Ларек с брецелями заколочен и под замком. Не видно аккордеониста в баварском костюме, в чью шляпу с пером кидают монетки.

Однако временами, исполняя обязанности курортного светила, сквозь тучи проглядывало солнце, и тогда, прикрыв глаза, можно было представить, что стоит лето тридцатого года и мокрые стяги со свастикой,

обвисшие на фонарных столбах, — всего лишь кумачовые полотнища, праздничное убранство новехонького курорта Ванзее. Разумеется, Фишеры прибыли первым классом, а Штенгели третьим, но те и другие семят в многотысячной толпе отдыхающих, которым не терпится взглянуть на дар берлинцам от муниципалитета. Новый ресторан и раздевалки, удобный доступ к самому длинному в Европе островному пляжу и, что всего важнее для культурных жителей немецкой столицы, превосходные общественные туалеты.

По мостику над путями троика вышла к истертым каменным ступеням променада, уводившего к озеру.

Разумеется, через каждые два шага встречались таблички, запрещающие вход евреям, но с Отто было относительно безопасно. Все трое молодые, ладные, красивые, полные жизни и энергии. Лишь при очень богатом воображении вездесущие шпики, даже в непогоду шнырявшие в парках и увеселительных заведениях, приняли бы это симпатичное трио за нелепых уродов, что красовались на страницах «Дер Штюрмера» и «Фёлькишер Беобахтер».

Карикатуры изображали крючконосого пучеглазого толстяка в цилиндре: он алчно ухмылялся, сидя на мешках с долларами. Либо мертвеца с серпом и молотом во лбу: одна рука вцепилась в волосы беспомощной девушки, в другой окровавленный нож, за спиной горит оскверненная церковь.

— Больше смахивает на Штрайхера и Геббельса, — съязвила Дагмар, минуя один такой плакат.

— Откуда что берется? — сказал Пауль. — Что за бред? В жизни не видел ничего похожего. Даже в клоунаде. Неужели кто-то верит, что такие типы существуют? Все бы ничего, но у самой-то банды Адольфа рожа просит кирпича.

Следующий плакат представлял гитлерюгенд и ЛНД: юноша и девушка, оба идеал нацистской красоты, вдохновенно смотрят вдаль. Самое смешное, что Пауль и Дагмар, будь они блондинами, вполне могли бы позировать художнику. Молодые, красивые и стройные, они годились на роль образчика немецкой молодежи, и проезжай мимо Гитлер в открытом «мерседесе», он бы непременно одобрительно кивнул и одарил их крепким рукопожатием. Вероятно, Геббельс рукопожатием не ограничился бы. Он уже снискал славу полового разбойника, падкого на изящных девиц с внешностью кинозвезды, и определенно положил бы глаз на Дагмар.

Мужики всегда на нее пялились. Буквально сворачивали шеи, глядя вслед элегантной длинноногой красавице, что шествовала под руку с

симпатичным воспитанником «Напола». Ни один из тех, кто ухмылялся, подталкивал приятеля и присвистывал, любуясь ее аппетитной попкой, не мог помыслить, что эта очаровательная берлинская штучка и есть тот самый избалованный и жестокий персонаж истерических передовиц — изгой и наследница еврейского капиталиста Исаака Фишера.

В тринадцать лет эту девочку изгнали из жизни. Девушка, за которой ухаживал чистокровный ариец Отто, была уже совсем другим человеком.

Но в тот дождливый день на Ванзее никто не присвистывал и не глазел ей вслед, когда тройца, миновав увеселительные заведения, шагала к пляжу.

— Где расположимся? — спросила Дагмар.

Братья ухмыльнулись друг другу.

Ну да, так она и позволит им сделать выбор! Еще со времен Субботнего клуба Дагмар Фишер всегда сама решала, где будет привал.

— Места полно, — сказал Отто.

На пляже, вытянувшемся на километр с лишним, не было ни души.

— Пожалуй, можно еще чуток пройти до Глиникского моста, — добавил Отто.

Невзирая на пасмурное настроение, Дагмар игриво ткнула его в бок:

— С тобой все ясно! Нет, туда мы не пойдем.

Все трое рассмеялись. Отто намекал на пресловутый нудистский пляж, который при нацистах, помешанных на здоровой красоте, стал еще популярнее.

— В такую холодрыгу я не буду разгуливать голышом, — заявил Пауль. — Елдак съезжится.

— Было бы чему съезживаться! — Отто кинул в брата песком.

— Лучше заткнись, а то съезжу по кумполу! Елдаком.

Братья затеяли потасовку, валяя друг друга в мокром песке. Дагмар хохотала. Казалось, влажный ветерок ненадолго выдул накопившийся ужас прошлой недели и прежних лет.

— Сейчас же прекратите! — прикрикнула Дагмар. Но не всерьез. Ей нравилось, когда близнецы перед ней выпендривались. — Давайте здесь устроимся. — Дагмар поставила сумку у маленькой дюны. — Тут и вода не заиленная. Гляньте, вон пляжное кресло. Притащили и бросили.

Она плюхнулась в двухместное плетеное кресло с подушкой.

— Тень нам вряд ли понадобится. — Дагмар собралась откинуть навес.

— В дождь тент пригодится, — остановил ее Отто.

Дагмар выжала насквозь мокрую подушку.

— М-да. Пожалуй, поздно. Задница уже намочила больше некуда. — Она раскинула руки. — Господа, не желаете ко мне подсесть? Или девушка должна прозябать без свиты? Какие вы негалантные!

Дважды просить не пришлось. Братья втиснулись по бокам. Пошли хихиканье и флирт, близнецы поносили друг друга и заверяли даму в личной преданности, а она смеялась, бранила их и награждала поцелуями в щеку.

— Я иду плавать! — Дагмар вскочила и скрылась в кабинке для переодевания. — Только не смейтесь! Ваша мама дала мне свой купальник, которому в обед сто лет. Маловат, но шерстяной, так что, думаю, налезет. У меня был очень откровенный раздельный купальник, французский, из бледно-розового атласа, но он сгорел, когда...

Она осеклась. Братья понимали, что под тонкой пленкой ее наносной жизнерадостности скрыт неизбывный ужас пережитого на прошлой неделе. Иначе и быть не могло.

— Когда плыву, я чувствую рядом папу. — Дагмар появилась в дурно сидевшем темно-синем купальнике. — А теперь и маму, хотя она всегда лишь смотрела с берега. Но сидела и не уходила. Может, и сейчас сидит вон там на травке. И вместе с папой смотрит на меня. — Дагмар отвернулась, громко шмыгнула носом, но взяла себя в руки. — Единственный способ войти в жутко холодную воду — войти сразу, — сказала она и с разбегу бросилась в озеро.

Братья замешкались, скидывая ботинки и брюки.

Догнать классную пловчиху они, конечно, не могли. Тем более что нынче Дагмар так плыла, словно бешеным темпом вымывала из себя муку. Чередуя брасс и кроль, переворачиваясь на спину, она отплыла на сотню метров от берега. При такой форе братья, хоть сами недурные пловцы, не могли с ней тягаться и потому плескались на мелководье, нетерпеливо ожидая ее возвращения.

Вновь полил дождь, и они выбрались на берег, чтобы соорудить укрытие для пикника: один край клеенки примотали к спинке кресла, другой закрепили на суках, добытых в чахлам леске, окаймлявшем озеро. В результате вышел сносный навес, из-под которого братья следили за Дагмар, торпедой рассекавшей разволновавшуюся водную гладь.

Небо еще больше помрачнело, где-то над Потсдамом гроыхал гром.

— Скоро вылезет, — сказал Отто. — Как только молния жахнет.

— Не уверен. Похоже, ей плевать.

Отто кивнул — он понял. Всего год назад отец бросился с моста Мольтке. В Германии не было еврея, который хотя бы однажды не

задумался о самоубийстве. Уж у Дагмар-то был весомый повод.

— Наверное, она была бы не прочь, чтобы все закончилось вот так. — Пауль смотрел, как Дагмар разрезает буруны, словно наконец-то дорвавшись до состязаний, в которых ей было отказано. Кроль. Вдох, выброс руки, гребок. — Была бы только рада. Буря, плывешь и вдруг мгновенно уходишь в небытие. Я бы и сам не возражал против такого конца.

Братья смотрели на далекий силуэт. Мельканье белых рук. Вдох после каждого третьего гребка.

— Нет, ты не прав, — наконец сказал Отто. — Такая не пожелает уйти. Она хочет быть вечной. Что-то в ней стремится жить.

— Очень надеюсь. И наша задача ей помочь. Твоя задача, Оттси. Она твоя девушка.

Наконец Дагмар устала и поплыла к берегу.

— Ладно, закончили, — сказал Пауль. — Как-никак мы на отдыхе.

Последние двадцать метров Дагмар проплыла брассом, кивая в отточенном ритме вдоха-выдоха. Она хорошо знала здешнее дно — метров за пять до берега встала на ноги и вышла из воды. Растянувшийся мокрый купальник облепил великолепную спортивную фигуру. Братья пожирали ее ненасытными взглядами.

— Перестаньте, мальчики. Нехорошо так нагло пялиться на даму. — Дагмар взяла насквозь мокрое полотенце. — Вы будто из голодного края.

Стоя под дождем, она медленно перевела взгляд с одного на другого и промокнулась полотенцем.

— Кстати, где обед? Почему еще не накрыто? — Дагмар бросила полотенце в кресло и нырнула под навес. — Чур, мне самое вкусное!

— Напоминание излишне. — Отто стал выкладывать еду.

— Будь здесь Зильке, пришлось бы напомнить! — засмеялась Дагмар.

Нынче в Берлине было туго с вкусами, но путешественники исхитрились собрать достойный стол, сохранив его сухим в банках из-под печеня: сыр, маринованные корнишоны и даже свежие булочки. Сливочного масла, конечно, не имелось (оно шло на военные нужды), но Дагмар прихватила бутылочку оливкового масла и соль. Еще были две бутылки пива, две пачки сигарет и плитка молочного шоколада «Сухард». Братья настаивали, чтобы Дагмар съела его одна, но та великодушно удовольствовалась половиной плитки, по четвертинке оставив им.

Под проливным дождем, от которого не особо спасал рукотворный навес, все было съедено.

И чувства их полыхали, точно молнии, расщеплявшие небо над

головой.

На мокром песке три страстные юные души сгрудились под клеенкой, истекающей каплей. Преломляют хлеб. Делятся сыром. Три жизни, неразрывно связанные друг с другом. Сперва очень счастливые. Потом жестоко изломанные.

Юноши, безоглядно влюбленные в одну девушку. Украдкой бросают взгляды на ее длинные голые ноги. Она сидит по-турецки. Дует промозглый ветер. Ее изящная рука в дождевых каплях тянется за шоколадной долькой. Блестящая белая кожа в пупырышках.

— Мальчики, я хочу вам кое-что сказать. — Дагмар обнесла друзей сигаретами и сама закурила, прикрываясь от стонущего ветра, задувавшего спичку. — Что-то важное.

— Погоди! — Отто дожевал хлеб. — Извини, надо отлить. Терпел-терпел, но больше не могу...

— Как романтично и возвышенно! — ухмыльнулся Пауль вслед брату, побежавшему за дюну.

— Только подальше отойди! — крикнула Дагмар. — Терпеть не могу, когда кто-то журчит. На музыкальных уроках меня бесило, что вы оба не закрываете дверь в туалет.

Она рассмеялась, но веселью недоставало искренности. Повисло неловкое молчание. Дагмар взглянула на Пауля:

— Утром ты вынул почту. Пришел твой билет?

Пауль нахмурился и молча отвел взгляд.

— Значит, билет. То-то мне показалось, что ты глаза прятал.

— Вовсе нет. Просто... печально и немного страшно... Давай об этом не будем.

— Надо, Паули. Когда едешь?

— В феврале. Все говорю себе — может, удастся отложить? Поменять билет, уехать позже. Но мама злится, а ты ее знаешь — по пустякам она не заводится.

— Злится?

— После Хрустальной ночи все только и думают, как уехать. Все, кто так долго верил, что все образуется. Вот как дед с бабушкой. Теперь-то они все поняли. Но опоздали. На Вильгельмштрассе и в бюро путешествий безумные очереди. Если не уехать сейчас...

— Я понимаю, — тихо сказала Дагмар и отвернулась. — Понимаю.

— Я не хочу покидать тебя, Даг! — взмолился Пауль. — Я этого не вынесу. Даже подумать не могу. Я хотел и хочу быть рядом с тобой.

Дагмар стиснула ему руку, посмотрела в глаза:

— Мне тоже невыносимо думать, что мы расстанемся.

— Если б я мог хоть что-то сделать... — начал Пауль, но не договорил, потому что Дагмар его поцеловала. Перегнулась через скатерку с остатками трапезы и прильнула к его губам.

Руки ее обвили его шею, Пауль обнял ее за плечи.

Все было так неожиданно, что он напрочь смешался.

Как и Отто, появившийся на дюне.

— Эй! — крикнул он. — Чего это вы?

От злости красный, Отто съехал с песчаного бугра.

Вот уже больше трех лет, с той ночи, как уделал штурмовика, он ни капли не сомневался в расположении Дагмар.

Да, она любила Пауля. Как брата. Но была девушкой Отто.

Вне всяких сомнений. Ведь сколько было совместных прогулок, с тех пор как Пауль придумал свой план. Сколько поцелуев, объятий, держанья за ручки и обоюдной досады от невозможности сделать следующий шаг, которого оба желали.

Но вот стоило на пару минут отлучиться, и она уже в объятиях Пауля.

— Присядь, Оттси, — позвала Дагмар. — Я хочу кое-что сказать. Тебе и Паули.

Обескураженный Отто подчинился.

Пауль тоже был растерян.

— Мальчики... — Дагмар глубоко вдохнула.

— Начало угрожающее. — Пауль старался осмыслить произошедшее. Заставить мозг возобладать над бешено колотившимся сердцем.

— Да уж! — буркнул Отто. — Кстати, это был дружеский поцелуй? Со стороны так вовсе не дружеский.

— Хорош, Оттси! — рассердился Пауль. — Мы говорили о моем отъезде. Может, ты удивишься, но Даг огорчена. Что, следовало спросить твоего позволения?

— Ага. Значит, это был *прощальный* поцелуй?

— Послушай, я не обязан...

— Мальчики! — оборвала Дагмар. — Перестаньте. Выслушайте меня.

Братья умолкли.

— Мы дружим с детства, — сказала Дагмар. — И вы знаете, что вас обоих я люблю больше всего на свете. Вы — моя жизнь. Особенно теперь, когда нет мамы.

Дождь усилился. Капли стекали по ее щекам и бесчисленными крохотными озерцами блестели на обнаженных плечах. Пауль и Отто молча слушали.

— Но мы выросли. Мы уже не дети, и дружба совсем иная, когда ты взрослый, верно? Между парнем и девушкой.

Братья не ответили, но напряженные лица ясно дали понять, что рассуждения эти излишни.

— Вы всегда говорили, что настанет день, когда мне придется выбрать одного из вас.

Дагмар печально смотрела на братьев.

Первым заговорил Пауль, но вышло что-то вроде карканья:

— Я думал, ты уже выбрала.

— Да, — просипел Отто. — Я тоже.

— Я выбрала, но не так, как ты думал. — Дагмар взглянула на Отто: — Вернее, как я заставила тебя думать... Прости.

Дождь полил стеной; с навеса, провисшего под тяжестью воды, на остатки пиршества сбегали ручьи.

— Я люблю Пауля, — выпалила Дагмар.

Братья застыли, в немом изумлении разинув рты.

— Поняла это год назад. Или два. Не знаю. Может, раньше. Я не хотела говорить. Никогда. И сейчас зря сказала.

Голос ее дрожал. Наверное, она плакала, но в дождь не скажешь.

Казалось, сейчас и Отто расплачется.

— Зачем же ты меня целовала, когда я принес тебе пуговицы?

— Мне было четырнадцать, Отт.

— А потом? Сколько раз.

— Я *хотела* тебя полюбить, Отто. Старалась в тебя влюбиться, потому что знала — рано или поздно Пауль уедет. И его любить мне *нельзя*. Потому что я останусь одна, а жизнь моя и без разбитого сердца — кошмар и ад.

Отто сердито отер глаза.

Дагмар хотела коснуться его ладони, но он отдернул руку.

— Ты хороший, Отт. Я тебя *люблю*, — ласково сказала Дагмар. — Правда. Ты же знаешь. Но Пауля люблю иначе...

Голос ее угас. Она взглянула на Пауля, будто ждала его слов.

— Но почему ты... молчала? — проговорил Пауль.

— А как ты думаешь? Потому что у тебя есть шанс, которого у меня нет! Я молчала, чтобы тебе не мешать. Я знала, что ты меня любишь. Если б год или два назад я призналась, стала твоей девушкой, писал бы ты все эти запросы на визу? Рвался уехать? Добивался билета, который получил утром? Если б я была твоей девушкой?

Пауль закусил губу.



— Конечно, нет. Я ж тебя знаю. Вы, братья Штенгель, одинаковые. Верные, смелые, лучшие на свете мальчики, я вас не стою. И теперь вас обоих у меня *не будет*, потому что все устроилось, все хорошо, все как надо. Тебе нашлось место, у тебя есть билет, ты будешь *жить*, и ничего другого мне не нужно. Оттси пойдет в армию, а у меня своя судьба, вот и все. И прекрасно — чему быть, того не миновать. Я молчала, Паули, потому что лучше умру, чем встану на твоём пути. Но сейчас все решено, дорожки наши разошлись, и я не могла допустить, чтобы ты уехал, ничего не узнав. Вот. Где бы ты ни был, кого бы ни встретил, знай, что в Германии есть... вернее, была... девушка, которая всем сердцем тебя любила.

Отто вскочил.

— Я уйду. — Он отчаянно пытался справиться с голосом. Совладать с чувствами. Безуспешно. — Надеюсь, еще увидимся.

— Оттси! — взмолилась Дагмар. — Пожалуйста, останься.

— Не могу, — прохрипел Отто, отвернувшись. — Надо идти.

Он взбежал на дюну, чувствуя, что если еще на секунду задержится, то разревется. Но он не из тех, кто плачет на людях. Особенно на глазах брата и девушки, разбившей ему сердце.

Под навесом повисло долгое молчание.

Пауль глянул в небо, потом на озеро. Казалось, он хочет что-то сказать, но не может найти слов.

И тогда он просто поцеловал Дагмар. Как она целовала его. Прижал к себе и утонул в страстном поцелуе.

Заговорили не скоро. Первой — Дагмар, которая, похоже, не потеряла голову.

— Я жалею, что сказала, Паули. Не хотела говорить. Но потом передумала. Вдруг это тебе поможет... поддержит, что ли. Впереди долгая дорога.

Наконец и Пауль нарушил молчание:

— Дагмар... Твое признание — лучшее, что было в моей жизни.

Послышались шаги. Оба решили, что вернулся Отто.

Нет, не он. Кто-то другой. Парень лет шестнадцати.

— Ребята, сюда! — крикнул он и кому-то помахал.

Пауль сглотнул. Черт, он потерял осторожность. Ведь знал, что за городом полно лагерей гитлерюгенда и ЛНД, где молодчики ходят строем, горланят песни.

И шпионят.

С Отто он расслабился. Но теперь Отто нет.

Ну вот, притопали десять человек. Черные шорты, коричневые

рубашки, шевроны со свастикой, скрипучие портупей. У двух командиров на ремнях ножи.

— Хайль Гитлер, парни! — Пауль приветливо ухмыльнулся, встал и отдал нацистский салют. — Нынче холодновато купаться, а?

— Хайль Гитлер! — ответил вожак. — Ваши документы, пожалуйста.

Пауль знал, что этим кончится. Содействие полиции — одна из главных функций гитлерюгенда. Эти молодчики шпионили повсюду, даже в собственных семьях. Евреи уже научились остерегаться коричневорубашечных фанатиков, лопавшихся от своей значимости. Поймают в запрещенном месте — живым не выберешься.

— Облом, ребята, — сказал Пауль. — Бумаги оставил со шмотьем. Чтоб не намокли или не выронить. Не переться ж за ними в такую даль.

Конечно, попытка жалкая, но куда деваться? Они в ловушке. Малолетние нацисты жаждали поймать дезертира, уклониста от трудовой повинности, а еще лучше — еврея, нарушившего запрет. За такой улов их ждет горсть лычек.

— Отведите нас туда, где оставили документы, — сказал командир. Пауль хотел возразить, но парень его оборвал: — Или пойдете с нами! Лучше давайте по-хорошему, иначе будет по-плохому.

— Понимаете, мужики, я слинял с мочалкой приятеля. — Пауль как мог изображал рубаху-парня. — Если он увидит нас вдвоем...

— Раз не можете предъявить документы, следуйте за нами! — пролаял вожак.

— Ага! И девка тоже, — ухмыльнулся второй парень с ножом. — Коль пошла с этим, пойдет со всяким.

Пауль глянул на Дагмар. Она страшно побледнела.

Юнцы их окружили. Дагмар встала и обмоталась мокрым полотенцем. В мешковатом купальнике она себя чувствовала совершенно беззащитной.

— Слушайте, парни... — Пауль пытался унять дрожь в голосе.

— Молчать! — оборвал вожак. — В третий и последний раз предлагаю показать документы.

Пауль смолк, лихорадочно соображая. Он видел, как дрожит Дагмар.

Вперед шагнул второй вожак. Опасаться надо его, понял Пауль. Мерзкая хитрая рожа. Первый хмырь еще соблюдает какую-то корректность, но этот хочет лишь позабавиться. Прямо здесь готов избить или чего хуже.

— Вы, часом, не жида? — ухмыльнулся шестнадцатилетний ублюдок. — Что-то уж больно похожи.

Он вплотную подошел к Дагмар и втянул носом:

— Точно. Воняет жидовкой.

Парень смотрел в упор.

И все остальные уставились на Дагмар.

— Отведем их в полицию, — сказал первый вожак. — По инструкции.

— По-твоему, я жид? — выкрикнул Пауль. — Ну ты козел! Может, тебе хер показать, а?

Вдруг старый трюк сработает? Противно, но это лучше, чем арест.

— Прекратить! — рявкнул первый вожак. — Не паясничать! Я требую показать лишь документы.

— А вот девка пусть еще кой-чего покажет! — заржал второй.

— Нет! Хватит, Алекс! — разозлился первый. — Отведем их в полицию.

Пауль судорожно соображал, как использовать разногласие двух командиров.

— Ладно, — сказал он. — Пошли в полицию. Я сделаю пару звонков, и тогда вам мало не покажется.

— Молчать, я сказал! — гаркнул первый.

— Не ори на меня, пацан! — взвился Пауль. — Я мужик! Скоро стану солдатом! Уже повестку получил. Решил испоганить мне настроение? Ладно. Давай, идем в полицию. Только запомни, сынок: мы еще встретимся, но уже без твоей коды, один на один, и ты горько пожалеешь.

Финт прошел. Парень слегка оробел. И похоже, был готов отвязаться.

Но второй вожак был непрост. Смекалист и хитер.

— В какие войска тебя призывают? Ну? Давай, скажи номер части.

Пауль старался не выказать растерянность, хотя понял, что влип. Пусть он прочел кучу книжек, однако ни черта не знает о вермахте.

— Я не обязан...

— Какие войска? — наседал второй вожак. — Ну, говори!

— Стрелковые... — буркнул Пауль. — Пехота.

— В вермахте больше сотни пехотных дивизий. В каждой по несколько полков. Какой номер в повестке? Давай, давай! Ни один солдат, кому выпала честь служить фюреру, не забудет номер полка.

Все повисло на волоске.

— Всякий сосунок еще будет орать на меня! — набычился Пауль. — Раз вы такие упертые, я требую, чтобы нас отвели в полицию.

При таком раскладе, подумал он, полиция — меньшее из зол. Свора пялилась на Дагмар. Если юнцы решат, что поймали евреев, на безлюдном пляже учинят что угодно. Затащат за дюны...

— Значит, вы жидки? — возликовал вожак погнуснее. — Так я и

думал!

— Давай заберем их, — талдычил первый.

— Куда спешить? — ухмыльнулся его напарник. Свора явно была с ним согласна. — Ну что, сучка? — Второй вожак сунулся лицом к лицу Дагмар. — Ты еврейка?

Игра окончена, понял Пауль. Тянул резину, сколько мог, теперь только один путь. Всех ближе вожак, остальные топчутся поодаль. Конечно, они ж еще пацаны, а перед ними взрослая девушка.

Мощным ударом в челюсть Пауль сбил жоака наземь. Затем в молниеносном броске, ставшем продолжением удара, оседлал поверженного врага, сорвал с его ремня нож и приставил к горлу.

— Назад! — рявкнул Пауль. — Или ему конец! Зарежу, честно! Отпущу, когда свалите, не раньше. Пошли на хер!

Непривычные к столь яростному отпору, юнцы попятились. Но в дело вступил первый вожак. Оказалось, Пауль его недооценил.

— Всем стоять! — крикнул он. — Стоять, я сказал! Эта свинья похитила нож гитлерюгенда. Оружие — наша жизнь! А жизнь наша принадлежит фюреру! Он украл нож фюрера! Замарал нашу честь!

Парень под ножом поскуливал, но приятели его потихоньку обретали решимость.

— Не бойся, камрад! — успокоил командир. — Если жидовская свинья хотя бы ранит тебя, она знает, что ее ждет.

Из ситуации было только два выхода, один хуже другого.

Пауль отбросил нож.

И тут на сцену вышел новый персонаж.

— Что за херню вы затеяли, хмыри болотные?

От облегчения Пауль и Дагмар едва не расплакались. Отто.

Он стоял на гребне дюны. Сильный. Властный. На два года старше вожаков.

В такой же форме.

— Что, говнюки, решили залупнуться на отряд Шпандау? — продолжил Отто.

Пауль настоял, чтобы брат ехал в форме. Отто предпочел коричневый наряд гитлерюгенда, дабы на загородной прогулке не изгваздать черную школьную форму.

Выбор оказался весьма удачным. Уже потому, что знаки различия Отто говорили о чине старше, чем у обоих вожаков.

Пауль отпустил пленника. От злости багровый, тот подобрал нож, но что делать дальше, не знал.

Первый вожак вмиг сориентировался и встал навтыяжку:

— Этот человек отказался предъявить документы...

— Еще бы, когда он дрючит бабу своего оберротенфюрера! Ты бы представился?

Юнцы захихикали.

— Я хотел лишь выяснить... — оправдывался вожак.

— Сынок, тебе следует знать одно: ты всего-навсего паршивый штамфюрер, а я — оберкамерадафштсфюрер. — Отто ткнул пальцем в нарукавную нашивку над шевроном со свастикой. — Мало того, оберкамерадафштсфюрер из подразделения Шпандау, где, как ты, надеюсь, знаешь, самые крутые ублюдки во всем гитлерюгенде. Даже девчонки из нашей ЛНД надают вам пинков под жопу. Повторить: что сделают наши девчонки?

Строй безошибочно распознал жесткий приказ и хором ответил:

— Надают нам пинков под жопу, герр оберкамерадафштсфюрер!

— Вот и славно! — гаркнул Отто. — А теперь пшли вон, потому как к этой крошке очередь, но вам не обломится. Скажите «Хайль Гитлер» и пиздуйте отсюда!

Он щелкнул каблуками, вскинув руку в нацистском салюте.

— Хайль Гитлер! — рявкнули десять глоток.

После чего отряд под водительством двух юных командиров спешно отбыл.

Троица воссоединилась.

— Черт! — Пауль присвистнул. — Хорошо, что ты вернулся, Отт.

Дагмар рухнула на песок:

— Я думала... они...

— Ничего не случилось, — перебил Пауль. — Это самое главное.

— Простите, что я убежал, — сказал Отто. — Если б не моя дурость, вам не пришлось бы это пережить.

— Ты ж не знал, — ответила Дагмар.

— Должен был знать! Опасность всюду. Всем это известно, и я не имел права уходить. Вот что я хочу сказать, Даг. Я тебя не брошу, ладно? Мне нет дела до твоих чувств к Паулю. Все равно я тебя люблю и буду оберегать. Все по плану. Обещаю.

— Нет, Оттси, — сказал Пауль. — Наверное, план изменится.

## Последний сбор Субботного клуба Берлин, февраль 1939 г.

Члены Субботного клуба встретились под часами на вокзале Лертер. Вернее, под огромными малиновыми полотнищами, украшавшими часы.

Пещерное нутро вокзала пестрело гирляндами со свастиками. Страна готовилась отметить пятидесятилетие Гитлера, и вокзальное начальство расстаралось — стяги висели где только можно.

— Куда ни плюнь, попадешь в знамя, — буркнул Отто.

— Знамена и парады, парады и знамена! — Дагмар даже не приглушила голос. — Как им самим-то не надоест?

— Дагмарище! — досадливо прошипела Зильке. — Сколько можно? Брюзжи потише!

— Никто ж не слышит.

— Они *все* слышат.

— Девочки, не ссорьтесь, — вмешался Пауль. — Мы последний раз вместе. Отт, иди за билетами. Я займу столик в кафе. До поезда еще целый час, успеем выпить кофе. Пойдем, Дагмар.

Он повел Дагмар в вокзальный ресторан, Отто и Зильке встали в очередь к одной из бесчисленных касс.

Когда они подошли к окошку, кассирша отдала им нацистский салют. Зрелище было забавное. Тесная кабинка не позволяла вытянуть руку, и тетка лишь вскинула кисть перед грудью. Вот так же салютовал сам Гитлер, на парадах минуя лес рук, — вяло вскидывал ладонь к плечу. Обремененный абсолютной властью и судьбоносными заботами, в ответ на рьяное идолопоклонство он снисходил лишь до небрежной пародии на приветствие.

Отто тоже отсалютовал. Иначе нельзя.

Так называемый германский салют был не обязателен, но фанатичная кассирша приветствовала им каждого клиента. Не ответить было чрезвычайно опасно. Случалось, за подобное оскорбление людей зверски избивали. Отто сам такое видел на автобусных остановках.

Его салют вышел не менее комичным. Вокруг толкался народ, Отто стоял близко к окошку и потому согнутую в локте руку вскинул наискосок, опасаясь сбить чью-нибудь шляпу в соседней очереди.

— Хайль Гитлер, — сказал он. — Пожалуйста, два билета до

Роттердама.

Полная дурь. Всего-навсего покупаешь железнодорожный билет, но при этом поминаешь главу государства и отдаешь бойскаутский салют. Наверное, даже тираны Древнего Рима, объевшиеся властью, в столь житейских ситуациях обходились без верноподданнических чувств.

— Паспорта и туристические визы, — потребовала кассирша.

Отто просунул документы в щель.

— Первый класс, — громко сказал. — Спальный вагон.

На подобной расточительности настоял Пауль. Дорога дальняя, не дай бог что-нибудь ляпнешь. Именно поэтому Зильке одернула Дагмар — никогда не знаешь, где подслушивает гестапо или кто-то из миллионов его добровольных осведомителей. Были случаи, когда дети доносили на собственных родителей, разговаривавших во сне.

Кассирша подозрительно оглядела Отто и Зильке. Ему всего девятнадцать, ей восемнадцать. По документам у них разные фамилии.

— Все в порядке, — из-за плеча Отто сказала Зильке. — В поездке хотим заготовить подарочек Генриху, которым он пополнит «Источник жизни». <sup>[71]</sup> Пожелайте нам удачи.

Кассирша хмуро выдала билеты, и Отто с Зильке отошли от окошка, стараясь не рассмеяться.

Маленькая шалость в тяжелом, ужасно безрадостном дне.

— «Источник жизни»! — фыркнул Отто. — Сама ж говорила, что нельзя привлекать внимание.

— Я изображаю добропорядочную нацистку.

Они прошли в ресторан, где Дагмар и Пауль уже заказали кофе с бутербродами.

— Ну вот. — Отто положил билеты на стол. — Как говорит мама, все ждут Моисея, и сейчас он принял обличье билета до Роттердама.

— Первый класс, а, Зильке? — сказала Дагмар. — Везет же некоторым.

— Мы же сами так решили, — напомнил Пауль. — И это разумно. Вовсе ни к чему, чтобы на обратном пути у Зильке нашли мои документы. Все гестапо набрано из заносчивой деревенщины. Они обшарят девицу, которая едет третьим классом, но расшаркаются перед пассажиркой из первого. Кроме того, это мамин подарок, так что можем себе позволить.

— Здорово, что ваша матушка сообразила переписать деньги и имущество на Отто, — сказала Дагмар. — Каждой еврейской семье следовало взять в приемыши арийца, чтоб уберечь их собственность. Жаль, мои родители не смекнули кого-нибудь усыновить. Глядишь, я бы и сейчас

была миллионершей.

— Никто не должен быть миллионером, — ответила Зильке. — Когда-нибудь их не будет вообще.

— Интересно, что бы ты запела, если б миллионером был *твой* отец, — парировала Дагмар.

— Как приятно, девочки, что вы по-прежнему добрые подруги, — сказал Отто.

Всем было неуютно — наступало время прощаться.

— Ну что, последний сбор Субботного клуба? — помолчав, сказала Дагмар.

— Надеюсь, нет, — возразил Пауль. — Просто пауза на какое-то время.

— Лучше себе не врать, — сказала Дагмар. — Будет война. Думаете, мы все уцелеем?

Никто ей не ответил.

— Мать не проводит сына в скитания? — наконец спросила Зильке.

— Мы решили, не стоит, — ответил Пауль.

— В данном случае чем меньше евреев, тем лучше, — добавил Отто.

— Ну хоть на пару дней я вырвалась из рабства, — с деланной веселостью сказала Зильке.

Уже несколько месяцев она отбывала «год домашней службы», обязательный для всех незамужних молодых женщин, и открыто ненавидела свою неволю.

— Как тебе удалось получить два выходных? — спросил Отто. — У вас же там как на плантации.

— Именно. Но когда ты бесплатная служанка в чужом доме, кое-что слышишь. И кое-что видишь. И фрау Нойбауэр не хочет, чтобы я просветила герра Нойбауэра.

— Ай да Зильке! — сказала Дагмар. — Всегда своего добьется.

— Неправда, — отрубила Зильке. — Не всегда. А вот ты добьешься.

Опять повисло молчание, все жевали бутерброды.

— Ну, за Субботный клуб! — Отто поднял чашку с кофе. — Вечная верность клубу и друг другу.

Все подняли чашки и повторили детскую клятву из тех счастливых беззаботных дней, когда вместе слонялись по улицам Фридрихсхайна, замышляя очередное озорство.

— Кроме Дагмар, — хихикнула Зильке.

— Не считая Зильке, — усмехнулась Дагмар.

Обе показали скрещенные пальцы и рассмеялись.



— Шутка! — сказала Зильке. — За тебя!

— За тебя! — ответила Дагмар.

Девушки вновь подняли чашки, показав растопыренные пальцы.

Громкоговоритель объявил платформу, к которой подали голландский поезд.

Зильке допила кофе. До отправления еще полчаса, но уже не было сил сидеть и друг на друга пялиться.

— Пошли, *мистер* Штенгель, — сказала Зильке. — Отчаливаем.

— Привет Англии, — сказала Дагмар.

Все встали.

Отто обнял брата.

— Когда-нибудь свидимся, старик. — Он выдавил улыбку.

— Да, — кивнул Пауль. — Когда-нибудь.

Отто повернулся к Дагмар.

— До свиданья, — сказал он.

Зильке деликатно отошла к выходу на перрон. Пауль шагнул к газетной витрине.

Дали проститься.

Дагмар крепко обняла Отто.

— До свиданья, милый Оттси, — сказала она. Он чувствовал ее аромат. Прядь ее волос щекотала лицо. — И спасибо тебе, от всего сердца спасибо.

— Не могу сказать «мне это в радость», — попытался отшутиться Отто. Потом прошептал: — Я тебя люблю, Дагмар. Я знаю, что больше не имею права это говорить, ты любишь Пауля, но все равно я люблю тебя. И всегда буду любить. Я рад, что теперь Пауль станет твоим защитником, он гораздо умнее меня. Но если я тебе понадобится, я приду. Ты ведь это знаешь, правда? Потому что я люблю тебя. И всегда буду любить.

Дагмар мягко отстранилась.

— Я знаю, Оттси, — улыбнулась она. — Только ты сам *не смей* об этом забывать!

Отто взял чемодан и поспешил к выходу.

— Вы еще увидите, — сказала Зильке, когда он с ней поравнялся.

— Может быть.

Они прошли через турникет и зашагали по платформе, выглядывая свой вагон. Зильке взяла Отто за руку.

Удивленный Отто хотел высвободиться, но Зильке крепко стиснула его пальцы. Они уже давно не ходили за ручку — разве что в детстве, да еще в «Напола», когда Зильке числилась его подружкой.

— Ты не против? — спросила она. — Мы же друзья. И так спокойнее.

— Не против, — искренне ответил Отто.

И впрямь спокойнее. Старина Зильке.

Они шли вдоль шумно пыхтевшего состава.

— Спасибо, что едешь со мной, Зилк. Ты для нас столько сделала.

— Брось. Мы же одна банда. — Зильке чуть пожала его руку.

Пауль и Дагмар тоже держались за руки, через зал ожидания шагая к платформе городской электрички. Оба знали: не хочешь неприятностей — держись уверенно. Иначе остановят, обыщут, унизят, а то еще выкинут из вагона, отнимут бумажник и часы. Нельзя выказывать страх, нацисты его чувят, как собаки.

Надо идти в их манере.

Вальяжно. Вразвалку. Нагло.

— Как говорит Геббельс, если уж врать, то по-крупному. — Пауль выпятил грудь, лицо его застыло в надменной ухмылке. — Внаглую. Если ты еврей, веди себя как немец. Не волнуйся, Даг. Когда Зильке вернется из Голландии, я стану немцем и ты будешь в безопасности.

— Не понимаю, отчего ты еще им не стал. У тебя же была выездная виза. Раз теперь ты — Отто, а Отто — ты, почему он не поехал по твоей визе?

— Нужно действовать наверняка, — сказал Пауль. — Плевать они хотели на еврейскую выездную визу. Надвигается война, и на границе многих евреев заворачивают. Иногда просто по злобе, но еще и потому, что сильно испортились отношения с Англией. Арийцу Отто неприятности не грозят, а завтра Зильке привезет его паспорт.

Дагмар взяла его под руку.

— Ты такой умный! Все до мелочи спланировал. Я бесспорно сделала правильный выбор.

## Наутро

### Германо-голландская граница, 1939 г.

Состав медленно перебирался на запасные пути — пограничный контроль. Лязг и толчки разбудили Отто.

А ведь думал, что не уснет. Он долго лежал без сна, глядя на секундную стрелку часов, временами появлявшуюся в желтоватых всполохах станционных огней.

И вот снова явь.

Зильке уже встала и умывалась над маленькой раковиной.

Купе — просто загляденье. Воплощенная греза. Уютно, удобно. Все продумано. Пластмассовые стаканы в гнездах туалетной полочки прихвачены ремешками, светильники и зеркала утоплены в стенки; пепельница, подстаканники, возле каждой полки складной столик, аккуратная ниша для обуви. Сплошь медь, дерево и кожа. Славно проснуться в этакой красоте.

Конечно, если она не уносит прочь от всего, что ты знал и любил.

Зильке согнулась над раковиной. Она в юбке, но без блузки. Крепкие, загорелые и слегка веснушчатые плечи перечеркнуты белыми бретельками лифчика. Светлые волосы рассыпались по спине.

Как странно. Невероятно.

Он и Зильке...

— Не переживай и проклинать меня не надо, — намыливая лицо, сказала Зильке. Спокойно. Буднично. Даже весело. Однако в каждом слове натянутой струной звенела память о том, что произошло.

«Как она узнала, что я не сплю? — подумал Отто. — Ведь стоит ко мне спиной, а я не шелохнулся». Но он и раньше подмечал: каким-то образом женщины узнают о том, что им вовсе не предназначалось знать.

Зильке ополоснула лицо и потянулась за накрахмаленным полотенцем, перекинутым через блестящее медное кольцо.

— Было и было. — Зильке насухо вытерлась и раскрыла несессер. — Говорила же, с коньяком перебор.

Она так и стояла спиной к Отто, лежавшему на верхней полке. Ее светлые кудри всего в полуметре от его лица. Сквозь зазор в оконных шторах на плечи ее падал яркий золотистый луч.

Зильке достала тюбик зубной пасты и выдавила полоску на щетку.

— Сколько же мы вчера выпили? — весело спросила она.

Отто и сам не помнил. Раза четыре-пять заказывали «Хеннеси», да еще за ужином приговорили бутылку вина. Из вагона-ресторана ушли последними.

— Изрядно, — ответил он. — Кстати, с добрым утром.

А как еще приветствовать давнюю подругу, с которой ночью вдруг взял и переспал?

— Не переживай, это ровным счетом ничего не значит, — с полным ртом пены поспешно сказала Зильке и развернулась к Отто. В такт движениям ее руки в чашках лифчика подрагивали груди. Из-под мышки выглядывал пучок рыжеватых волос.

Зильке вновь отвернулась, сплюнула пасту и прополоскала рот.

— Меня ты не любишь, я знаю. Ты любишь Дагмар. — Утренний туалет помогал ей скрыть смущение. — Как же мне не знать. Бог свидетель, столько раз ты об этом говорил, а вчера за ужином просто все уши прожужжал, что, по правде, было слегка утомительно. И *маленько* невежливо. Да, она тебе *не досталась*. Ничего не попишешь. Не получилось, но все равно ты ее любишь. Не переживай. В прошлой ночи виноват коньяк.

Зильке нагнулась над раковиной. Сквозь золотистую кожу проступили ребра и позвонки. Очень стройная девушка.

— Это было в утешение. Только и всего, правда? — Зильке надела блузку.

— Да, — тихо ответил Отто. — В утешение. Однако приятное.

— Верно! Очень приятное! — излишне громко откликнулась Зильке и, залившись румянцем, добавила: — Забавно, что это первый раз. В смысле, для нас обоих.

— Ага. Невероятно. Сохранили себя для одноклубника.

— Честно говоря, я думала, что вы с Дагмар как кролики...

— Нет.

— Разумная девушка. Приберегла про запас. — Зильке смутилась и поспешно добавила: — Ужас, что я говорю. Извини, я не хотела. Сама не знаю, зачем ляпнула.

В конце состава захлопали двери.

— *Raus! Raus! Ausweis!*<sup>[72]</sup>

Как и предсказывал Пауль, гестапо не церемонилось с пассажирами третьего класса, проверяя их право пересечь границу и покинуть славный Фатерлянд.

— Ты бы оделся. — Зильке заправила блузку в юбку. — Сейчас и к нам нагрянут.

Под одеялом Отто натянул брюки.

— Момент истины, да? Но риска никакого. Просто в последний раз побуду собой.

— С ними всегда есть риск.

За окном слышались жалобные крики, отрывистые команды.

Гестапо уводило тех, у кого в документах не хватало какой-нибудь бумажки или просто не понравилось лицо.

— Отпустите нас! — кричала пожилая женщина. — Мы вам не нужны! Вы нас ненавидите! Господи, почему не выпустить?

В тот день, как, впрочем, и во все последние годы, на границе то и дело разыгрывались мучительные сцены. Кое-кто из старых пограничников грустил по былым счастливым временам: всей работы — пожелать счастливого пути отпускникам. Благословен был мир, где путешествующие пересекали границы играючи.

Постучали в дверь. Вернее, грохнули, будто собирались выбить филенки.

— Неужели обязательно всякий чих превращать в остервенелый штурм? — прошептала Зильке, махнув щеткой по волосам. — Наверное, в гестапо даже чаю толком не выпьют. Непременно битая посуда и расплесканное молоко. А если б затеяли ставить балет, танцевали бы в сапогах.

— Я же три года провел в «Напола»! — засмеялся Отто. — Там и срень-то по стойке «смирно».

— По-моему, это физически невозможно.

— Для немецкого солдата нет невозможного!

Вновь забарабанили в дверь.

— *Einen moment, bitte!*<sup>[73]</sup> — откликнулась Зильке.

Она влезла в туфли и открыла дверь купе. В коридоре стояли трое. Гестаповец в штатском и два солдата в стальных касках. Всего-то проверка документов — но в касках! Даже после трех лет жизни в особой школе и шести под нацистами Отто не привык к их физиологической потребности милитаризировать *абсолютно все*.

— Документы, — потребовал гестаповец. Разумеется, он был в обычном гангстерском наряде: черное кожаное пальто, хомбург. Еще под мышку «томпсон» в скрипичном футляре — и прямо американское кино.

Зильке подала паспорт и визу; Отто сел на полке и полез в карман пиджака, висевшего в ногах.

— Цель поездки? — отрывисто спросил гестаповец, листая документы, что в кожаных перчатках было совсем не просто.

— Короткий голландский отпуск, прежде чем мой Отто уйдет в армию, — ответила Зильке. — Через пару дней вернемся.

— На чужбине нам дольше не выдержать, — добавил Отто. — Да еще боимся пропустить очередной парад.

Гестаповцу явно не понравилась его реплика, как и то, что столь юная парочка путешествует первым классом. Однако документы были в порядке, и, бросив их на полку, он отбыл с миром. Конечно, с тем миром, какой возможен для гестаповца и двух солдат, что топают по коридору и ломятся в купе.

— Ну, кажется, все. Получилось. Ты выехал.

— Да, — ответил Отто. — Выехал.

Они глянули в окно: по платформе под конвоем провели тех, кого сняли с поезда.

Потом вместе навели порядок в купе. Верхнюю полку подняли, нижнюю сложили, превратив ее в диван. Смущенно вздрагивали, задевая друг друга рукой или бедром.

— Чего уж теперь-то стесняться... — пробурчал Отто.

— Мы были пьяные, а сейчас трезвые, — поспешно сказала Зильке. — И было темно. Большая разница.

— Вообще-то здесь убрался бы проводник, пока мы обедаем завтраком.

— Нет, лучше я сама. — Зильке покраснела и, скомкав простыню, убрала ее с глаз долой.

Потом сели на диван и Отто вручил Зильке свои документы, проверенные гестаповцем.

— Значит, это отвезешь обратно.

— Да, и отдам Паулю. — Зильке спрятала документы в сумочку. — У него есть человек, который переклеит фотографию.

Из чемодана Отто достал другие документы.

— Так, паспорт Пауля уже с моей фотографией. Братец лихо все спроворил, а?.. Пауль *Израиль Штенгель*. Сволочи. Пырнут ножом, да еще провернут!

Поезд тронулся. За окном проплыли фигуры несостоявшихся эмигрантов. Никто уже не кричал. Окаменевшие лица. Полные муки взгляды провожали последнюю надежду на свободу.

Отто глянул на свой новый паспорт с крупным штемпелем «Ю» — приговором для тех, кто остался на платформе.

— Ладно, идем завтракать, — сказал он. — Раз уплачено, надо съесть.

Они вышли в коридор, которым недавно качко возвращались из

вагона-ресторана.

— Наверное, первый и последний раз в жизни я еду первым классом, — сказала Зильке.

Отто промолчал. Оплаченная уединенность обернулась черт-те чем.

Отчего кажется, что он предал Дагмар?

Что за дурь! Ведь она сама его отвергла, и, скорее всего, они больше не увидятся. Он не собирался до конца жизни оставаться монахом. Та к какая разница, с кем он переспал?

Пусть даже с Зильке. Что очень неожиданно. Ведь она друг. Старый верный друг.

Однако на душе скверно. Даже погано. Словно изгадил нечто прекрасное и благородное.

Потому что любит он Дагмар. Она его первая и единственная любовь. Об этом он сказал ей на вокзале.

Но вечером улегся в койку с другой. Что же это, если не предательство?

У двери вагона-ресторана Зильке остановилась и взглянула на Отто.

— Не мучайся, — сказала она.

Отто оторопел. Читает мысли, что ли?

Опять эти бабские штучки — все-то женщины знают.

— Ничего я не мучаюсь... — начал он.

— Мучаешься, и не спорь, — перебила Зильке. — Переживаешь из-за того, что было ночью. Не надо. Пожалуйста, ради меня. Иначе мне будет ужасно паршиво. Я сама этого хотела... Понимаешь... Дагмар сказала, что я всегда своего добьюсь, а я вовсе не добиваюсь... Но этой ночью хоть на миг добилась. — Она обняла Отто. — Может быть, мы больше не увидимся, мир вот-вот полетит к чертям и...

— Не надо, Зилк. — Отто мягко высвободился.

— Знаю, знаю — ты любишь Дагмар, — поспешно сказала Зильке. — Как не знать. Но ведь ночью это был не ты, понимаешь? Вот в чем вся штука. Не ты.

— А кто? — удивился Отто.

— Кто, кто — этот новый парень. — Зильке широко улыбнулась, но в глазах ее стояли слезы. — Мистер Штенгель, кто еще? Новенький, очень красивый, свежее испеченный англичанин. Это был он.

— Верно, — тихо сказал Отто. — Это был просто мистер Штенгель.

— Значит, все хорошо. Зачем из-за него переживать?

Секунду они смотрели друг на друга. В голубых глазах Зильке плескалось желание.

— Пошли, — сказал Отто. — Нас ждут яйца и свежие рогалики.  
Зильке его удержала.

— Мы с мистером Штенгелем могли бы пропустить завтрак и вернуться в купе, — настойчивой скороговоркой сказала она. — Не с тобой, а со свежеиспеченным англичанином, который был прошлой ночью...

Отто колебался. Вспомнились золотистые веснушчатые плечи и светлые кудри, перечеркнутые солнечным лучом. Грудь, подрагивающая в такт движению руки с зубной щеткой. Рыжеватые волосы под мышкой.

И прошлая ночь. Нежданная вспышка хмельной страсти.

Зильке чертовски мила.

Но он любит Дагмар и обещал, что будет любить всегда. Герр или мистер, англичанин или немец, Пауль или Отто — под любым именем, вчера, сегодня или когда угодно он сдержит обещание.



## Ранний завтрак

Лондон, 1956 г.

— В Роттердаме мы расстались. Зильке поездом вернулась в Берлин, а я на пароме отправился в Англию. Больше мы не виделись. — Стоун разглядывал темные воды Темзы в лунном свете. — Ни с ней, ни с остальными. Континент скрылся за горизонтом, а вместе с ним и вся моя жизнь.

Билли прихлебнула чай. Четвертая кружка за ночь. Они сидели и разговаривали. Появилась утренняя смена таксистов. По реке поползли баржи, ежедневно куда-то увозившие тонны лондонского мусора. Край неба налился бледно-серым светом.

— По визе Пауля я приехал в Англию и под его именем занял место в университете, которое ему выхлопотала мама. На гуманитарном факультете.

— И как там тебе?

— Не особо.

— Потому чтё не шибкий умник?

— Мучился месяца три. Я старался, правда. Ни черта не вышло. Благотворители ждали умного Пауля. Мальчика, из которого выйдет толк, который чем-нибудь оплатит за свое везенье. Подсобит в устройстве нового мира и все такое. А получили меня. Я считал себя виноватым.

Билли обхватила его за талию.

— Так вёт почему у тебя юридические учебники собирают пыль. Ты питаешься стать твоим брятом. До сих пор питаешься.

Стоун не ответил. Лишь теснее прижался к ней. Погрузился в эту душевность. Товарищество.

— Как же теперь тебя называть? — спросила Билли. — Ты Поль? Или Отто?

С минуту, а то и больше Стоун молчал.

— Наверное, я бы хотел зваться Отто, — наконец выговорил он.

— Ну вёт! — Билли чмокнула его в щеку. — Неужель так слёжно?

— Вообще-то сложно.

— Тогда скажи, Отто... — начала Билли.

Стоун вздрогнул.

— Извини, — сказал он. — Впервые за семнадцать лет.

— Скажи, Отто, почему ты виноватый? — Билли положила голову ему

на плечо. — Все придумаль Пауль.

— Да, конечно. Но все равно казалось, что я недостойн этой жизни. Судьба уготовила мне погибнуть солдатом, но Паули ее обхитрил. Обманул ее и умер сам. Мама, папа, Пауль. Все умерли. Лучшие Штенгели. И только приемыш выжил.

— Дюмаешь, они би с тобой согласились?

— Нет. Конечно, нет.

— Тогда уважай их память, — сказала Билли. — Знаешь, что еще я дюмаю?

— Что?

— Неплёхо бы найти сортир.

Под руку они пошли к мосту, где был общественный туалет.

— Как рёмантично, да? — засмеялась Билли. — Чаем обпилясь.

Всерьез занимался рассвет, темное небо стремительно светлело. Однако спать не хотелось.

— Бессонный ночь мне нипочем, — сказала Билли. — В колледж я лючшая, даже когда сплю, и все это зняют.

— Ни капли не сомневаюсь, — ответил Стоун.

— Тогда давай слегка позавтрак.

Найти кафе было нетрудно. Работяги утренней смены, ранние пташки, шли вперемешку с припозднившимися ночными гуляками. За пластиковыми столиками мужчины в комбинезонах и спецовках соседствовали с денди в смокингах и девицами в жемчугах. И те и другие уминали яичницу.

В забегаловке у моста Ватерлоо нашелся свободный уголок; Стоун и Билли взяли яйца, фасоль, тосты и еще чаю.

— Такая ночь по мне. — Билли радостно оглядела пиршество. — Не считая дряки.

— Если что, я снова врежу, — пожал плечами Стоун. — Такое у меня правило.

— Да, ты говорил. Ну лядно, ты в Англий, учишься. Что потом?

— Да в общем-то, и все.

— Нет, рассказивай.

— Ну, значит, какое-то время проваландался в универе. Мне делали кучу поблажек — мол, иностранец, надо обвыкнуться и все такое. Потом уже стали недоумевать, но тут началась война, и меня как враждебного чужака интернировали.

— Да? — удивилась Билли. — Еврея?

— Поди разберись, кто есть кто. Интернировали всех. Я не роптал.

Англичан можно понять. В конце концов, я же не еврей. Я немец, прикативший под чужим именем. И я ни капли не сочувствовал всяким нытикам — ах, нас интернировали! Англичан-то и самих приперли к стенке.

— Но зато удалёсь слинять из университет?

— Нечаянная удача, — усмехнулся Стоун. — Но скоро нас выпустили, и я прямиком пошел в армию. Вот так получил британское гражданство. После Дюнкерка англичане были рады любой подмоге.

Билли вытряхнула бурый кетчуп на яйцо.

— Наверное, тебе било одинок.

— Не то слово. Шибко одиноко. Но я не хотел заводить друзей... я вроде как...

— Упивался этим?

Стоун рассмеялся, намазывая тост джемом «Голден Шред».

— Наверное, можно и так сказать.

— Да, у тебя бил веський повод, малиш. Не срявнить с другие. Из дома вести не получаль?

— Нет. Наверное, в начале войны можно было бы связаться через Швейцарию, но Пауль решил, что мы столько наврали — безопаснее держаться врозь. К тому же гестапо просматривало всю зарубежную корреспонденцию.

— А брят с тех пор стал ты? Отто Штенгель, выпускник «Наполя»?

— Точно. Зильке привезла ему мои документы. Пауль отыскал умельца, заменившего фото. Ты не представляешь, сколько тогда ходило фальшивок. Многие хотели избавиться от клейма «Ю». В общем, все было просто. Все координаты и семейная история остались прежними. Я закончил «Напола», но еще не вступил в вермахт. Брат пошел вместо меня.

— А если б он встретил твой знакомый?

— Пауль считал, это маловероятно. Я же три года жил в интернате. Многие мои однокашники были иногородние. Их призывали по месту жительства, почти все стали офицерами. В вермахте уже было свыше миллиона солдат, добавлялись миллионы новых. Брат решил, что его не засекут.

— Нью и ню! — Билли тихонько присвистнула. — Лихой парень, а?

— Да уж. Лихой.

— Его ждала учеба в Англия, а он бабах — и в верьмахт! — поразилась Билли. — Все бросиль и пошель в немецкая армия. Еврей! Вы оба всем пожертвоваль. Господи, ваша Дагмар, наверное, и впрямь била нечто!

— Да, Билл. Она была нечто.

— Либо вы — два полёумных влюбленных дюрака.

Какое-то время оба молча ели. Хлебной корочкой Билли ловко подтерла желток — хоть не мой тарелку.

— И теперь ты ее находить? — спросила Билли, проглотив последний кусок.

— Что?

— Дагмар. Брось, По... Отто. Я поняла, зачем ты в Берлин.

Взгляд Стоуна затуманился. Он чуть сморщился, словно от боли, и печально улыбнулся:

— Дагмар умерла, Билл. В войну погибла. В Берлине я с ней не увижусь.

## Из нелюди в сверхчеловеки

### Берлин, 1940 г.

— Штенгель! Шаг вперед!

Дюжина солдат в мышастой форме сидела на лавке. Капрал Штенгель встал и шагнул вперед.

— Родословную! — гавкнул штурмшарфюрер СС.

Пауль, ныне в форме армейского обер-ефрейтора, подал документ. Жизненно важный, подтверждавший арийскую чистоту трех поколений предков.

Фельдфебель изучил бумагу.

— Тебя зовут Отто Штенгель?

— Так точно, господин штурмшарфюрер!

— Был усыновлен?

— Так точно, господин штурмшарфюрер!

— Евреями?

— Так точно, господин штурмшарфюрер!

Ответ четкий и громкий. Никакой слабости. После года в немецкой армии понимаешь, что здесь уважают только силу.

— А что кровная родня?

— Родители умерли. Дед с бабкой от меня отказались. Моей семьей были евреи, господин штурмшарфюрер!

Пауль спиной чувствовал удивленные взгляды прочих соискателей. В Главном управлении безопасности на Принц-Альбрехт-штрассе побывало много выходцев из еврейских семей, но еще никто из них не заявлял о желании вступить в войска СС.

— Эсэсовец, воспитанный евреями. — Фельдфебель подозрительно сощурился. — По-моему, такого еще не случалось.

— Мне было менее часа от роду, господин штурмшарфюрер! — отчеканил Пауль. — Я не виноват. В моих бумагах сказано, что потом я закончил «Напола».

Фельдфебель усмехнулся — забавная ситуация.

— Евреи тебя эксплуатировали? Пахал на них, как Золушка?

— Никак нет. И кровь мою никто не пил. По правде говоря, ко мне хорошо относились.

— Защищаешь? Обеляешь расовых врагов? Тех, кто тебя украл?

— Никак нет.

— А почему, собственно? Они же твоя семья. Сам говоришь — добрые.

— Потому что они — вонючие жидаы и кровные враги отечества, господин штурмшарфюрер! Младенцем я этого не знал, но теперь знаю, ибо так говорит наш фюрер.

Эсэсовец вновь глянул бумаги:

— Ты служил в Польше?

— Так точно, господин штурмшарфюрер!

— Поразвлекся?

— Так точно, господин штурмшарфюрер!

Видимо, фельдфебеля развлекали зверства. Как и многих однополчан, с которыми прошлым сентябрем Пауль участвовал в Восточной операции. Парни «развлекались».

Внутренним взором Пауль вновь увидел восемь трупов на спешно возведенных виселицах. К ногам привязаны камни. Сине-зеленые лица. Распухшие языки — точно огромные багровые слизи, вылезшие из темных пещерок.

Казненные умирали около часа — чтобы палачи успели натешиться.

Как назывался поселок? Райгрод? Витослав? Бяловице? Продвигались так быстро, что названия не запоминались. Блицкриг, писали газеты. Молниеносная война.

Если не считать часа на умирание.

На пыльном пятакке, служившем поселковой площадью, играл эсэсовский оркестр. Попытки и хладнокровные убийства совершались под музыку. Гремели военные марши. Словно победоносная армия поднимала над деревней свой флаг, а не вздергивала корчившееся гражданское население. Гром музыки и рев грузовика, в котором ехал Пауль, заглушали отчаянные вопли изувеченных селян.

Но он все *видел*.

Рты женщин и детей распахнуты в беззвучном крике.

Точно немое кино, снятое в аду.

— Нет ничего слаще победы, а? — сказал эсэсовец.

— Так точно, господин штурмшарфюрер!

Да уж. Невообразимая сладость победы, которая страшнее поражения. В точку.

— Разденься, — приказал фельдфебель.

Пауль снял сапоги, ремень с подсумком, китель, брюки, исподнее и голый встал навтыжку. Врач-эсэсовец выискивал подозрительные расовые признаки.

— Значит, евреи тебя не обрезали? — Подхватив ладонью член Пауля, врач его оглядел, точно фермер, оценивающий быка.

— Нет. Они современные люди, вовсе не религиозные.

— Что ж, очень мило с их стороны, — сказал лекарь и, от души рассмеявшись, добавил: — Иначе нелегко бы тебе пришлось в банные дни.

Врач взял кронциркуль. Пауль решил, что предстоит измерение члена, но лекаря интересовала его голова.

— Что ж, отличный череп, — одобрительно кивнул врач. — Тевтонская форма, истинно арийские лобные доли.

— Благодарю, герр доктор!

На стене висел плакат с изображением типично еврейского черепа. Главная особенность — скошенный лоб. Разумеется, обладатель такого черепа выглядел подлым пройдохой.

Пауль вспомнил симпатичного отца. Красавицу мать.

Нет, нацисты и впрямь безумны. Неужто они всерьез верят в эту муру?

Пауль знал, что при поступлении в «Напола» Отто прошел такой же осмотр. Один еврей, другой немец, и никакой разницы. Но якобы самая передовая армия полагала, что линейкой измерит «ценность» крови.

Удовольствовавшись доказательствами расовой чистоты, врач занялся состоянием здоровья Пауля.

— Зубы.

Пауль открыл рот. У него было пять пломб — на одну меньше допустимого максимума. Поначалу Гиммлер поставил условие: в СС отбирать лишь тех, у кого пломб нет вовсе, кто не носит очки и не имеет прочих изъянов. Для многих, в том числе нацистов, было непостижимо, как такая инструкция могла выйти из-под пера сутулого близорукого мозгляка с крысиными зубами и срезанным подбородком.

К огорчению рейхсфюрера, аукнулись лишения последних двадцати лет: почти ни один молодой немец не соответствовал идеалу господствующей расы, а потому требования к кандидатам в сверхчеловеки были снижены. Если руки-ноги на месте и ты не еврей — годен.

Пауль оделся, и собеседование продолжилось.

— Зачем тебе в СС? — спросил штурмшарфюрер.

Ответ был прост.

Потому что влюблен в красавицу-еврейку. Вскоре придется ее прятать. И чем глубже внедришься в банду убийц, тем легче быть вне подозрений.

План созрел в Польше, где Пауль впервые увидел, что уготовано так называемым *недочеловекам*.

До тех пор он, как всякий относительно цивилизованный немецкий

гражданин, еврей и нееврей, надеялся, что рано или поздно наступит предел и лютая ненависть к «расовым врагам» иссякнет. Евреев лишили прав, собственности, достоинства, безопасности. Ладно.

Но убийства? Массовые убийства? Конечно, нет. Невозможно.

Никто на это не способен. Никто.

И уж всех меньше потомки Баха, Бетховена, Гете, Шиллера, Моцарта, Бисмарка, Гутенберга и Лютера.

Уничтожить всех евреев. *Всех?*

Невозможно.

И тем не менее...

Может быть, это не планировалось. Может быть, нацисты сами не понимали, к чему все идет. Но в Польше Пауль своими глазами увидел, куда дует дьявольский ветер. Он увидел, что делает внезапная абсолютная власть с людьми в черном — да и в мышастом. Сверхчеловеки творили что хотели.

А хотели они, похоже, убивать беззащитных.

Поляков и цыган, немощных и больных. Но прежде всего — евреев.

Казалось, все происходит спонтанно, почти наугад — без всякой системы и особых приказов. Но в этой молниеносной войне повсюду были мертвые евреи.

Или евреи без малейшего шанса выжить.

Их сгоняли в кучу. Перевозили с места на место.

Куда?

Грузовик, в котором с однополчанами ездил Пауль, эсэсовцы трижды забирали для перевозки человеческой массы, оторванной от родных корней.

— Не увозите! — жалобно плакали дети. — Нас убьют.

— Никто вас не убьет, — отвечали солдаты.

На деревенских площадях они видели виселицы, где болтались все мужчины поселка, но все еще не верили.

— Их не убьют. Все это еврейское вранье. Поклеп на Германию. Их просто отселяют, чтобы освободить место для достойных немцев.

Однако напрашивался вопрос.

Куда отселяют-то?

Спецотряды СС вышвыривают всех евреев из их домов, но куда их деть? Их свозят в городские гетто, которые им не разрешено покидать, объясняли знающие люди.

А что потом?

На месте Гитлера Пауль бы их убил. Они паразиты, и оставлять их на голодное прозябание хлопотно и опасно. Источник заразы. Сопротивления.



Свидетели.

Неизбежный вывод: германский путь приведет лишь во мрак и кошмар.

А мать и возлюбленная Дагмар заточены в Берлине.

И вот в грузовике, по тряской дороге пылившем к склепу, в который превратится древняя Варшава, родился план.

— Я хочу вступить в СС, чтобы лучше служить моему фюреру, чтобы раз и навсегда смыть свой семейный позор, господин штурмшарфюрер!

— Молодец, парень, — сказал фельдфебель. — Пожалуй, ты нам подходишь.

## Разговор о женитьбе

### Берлин, 1940 г.

Новобранец СС обер-ефрейтор Штенгель свернул на Принц-Альбрехтштрассе и зашагал вдоль Управления государственной безопасности. Стуча коваными сапогами, он шел мимо горемык, ради какой-нибудь печати томившихся в бесконечных очередях. Бесправные просители умоляли о дозволении выжить.

Пауль свернул на Саарландштрассе — кроваво-красную артерию, выведившую на Потсдамерплац. Два луча и островок в центре площади. Всюду стяги. Красно-черные. Красно-черные. Красно-черные. До самого «Хаус Фатерлянда».

Он первый увидел Дагмар.

И выгадал секунду, чтобы упиться ею. Вкусить. Насладиться. Сквозь грохочущий поток машин полюбоваться оазисом покоя и красоты.

Она стояла возле знаменитой Регулировочной башни.

Башня им нравилась. Как всем берлинцам. В 1924 году оба были на ее открытии. Она, маленькая избалованная принцесса, сидела на специальной трибуне, отведенной для городской знати и коммерческих шишек. Он и брат восседали на плечах родителей, стоявших в толпе, что криками приветствовала регулировщика в стеклянной кабинке. На семь метров вознесенный над землей, полицейский управлял светофором, который наконец-то упорядочил хаотическое движение на Потсдамерплац.

Башня стала символом наметившегося экономического возрождения страны. Чудо современной технологии, первое в Европе.

Разумеется, сейчас башню украшали свастики. За семь долгих лет они расползлись по всему городу, который Пауль больше не считал Берлином. Просто нацистский город, столица нацистского края — враждебная чужбина, где сам он был узником.

Пауль вновь взглянул на Дагмар.

Какая элегантная! От модной широкополой шляпы до шнурованных ботинок. Конечно, без чулок, исчезнувших из Берлина, но даже носочки ее выглядят верхом изящества.

На оживленном перекрестке, где туда-сюда шныряли прохожие, Дагмар смотрелась весьма органично. Точно манекенщица, на фоне дорогих магазинов в торговом сердце столицы позирующая для журнала мод. Или персонаж популярных фотоисторий в «Сигнале», — фотоисторий,

извещавших фронтовиков, что в Берлине все нормально, столица процветает, а немецкие девушки по-прежнему неотразимы.

Голос за спиной Пауля прервал его грезы.

— Пошли, у меня всего час, — сказала Зильке.

Вечно она спешит.

Однако пришла, как обещала. Никогда не подведет.

Старина Зильке.

Золотистые волосы упрятаны под платок, на лацкане халата следы отрыжки подопечного младенца. Как всегда, одета не по погоде и зябко дрожит. Но улыбается. Лицо, даже к концу зимы сохранившее загар, расплылось в широкой ухмылке.

Зильке взяла Пауля под руку; по автоматическому сигналу Регулировочной башни (уже без дружелюбного полицейского в семи метрах над землей) они пересекли улицу и подошли к Дагмар.

Троица решила отобедать в величественном «Хаус Фатерлянде». Стилизованные под разные страны, залы самого большого в мире знаменитого ресторана «Отчий дом» вмещали восемь тысяч человек. К услугам клиентов — американский бар «Дикий Запад», испанский винный погребок, японская чайная комната. Имелись варианты турецкого, венгерского и венского кафе. Как ни смешно, в заведении никогда не было английского и французского ресторанов, ибо ультрапатриот герр Кемпински, еврей-ресторатор, основавший «Хаус Фатерлянд», так и не простил бывшим противникам Германии Версальский договор.

В былые счастливые времена семейство Штенгель всегда выбирало американский бар. Заказывали стейк, кукурузный хлеб и причудливо цветной коктейль для Фриды. Но сейчас Пауль, истинный немецкий солдат аж с двумя девушками под руку, увлек своих спутниц к баварской пивной «Левенброй».

Там стоял невообразимый шум — динамики извергали марши, соперничавшие с грохотом пивных кружек. Публика буйная, ликующая, малоприятная. И даже опасная. Но все вместе — великолепное прикрытие для тайной встречи расовых врагов и прокоммунистических предателей рейха.

Под рев динамиков, исторгавших неизбежного «Хорста Весселя», сели за столик.

— Не корчи рожи, Дагмар. — Зильке лучезарно улыбалась.

— Не могу. Мерзкая песня. Как им-то не надоест?

— Зато никто не подслушает.

После того как Пауль вернулся из Польши и приступил к своему

плану, они впервые собрались втроем.

Дагмар по-прежнему жила у Штенгелей; вместе с ней в квартире теснились еще три обездоленных еврея, в том числе Фридины родители, чье жилье недавно захапала какая-то мелкая партийная сошка.

Зильке все еще отбывала трудовую повинность и обитала у своих работодателей, а Пауль, вернувшись с фронта, проходил подготовку к службе в СС.

Но вот наконец они свиделись.

Заказали сосиски с квашеной капустой, которые в ресторанах еще подавали, Паулю — пиво, девушкам — яблочный сок. Дагмар набросилась на еду. Больше года назад в стране ввели карточки, но евреи получали минимум продуктов и, конечно, не допускались к такой роскоши, как сосиски и фруктовый сок.

— Скажу коротко, поскольку время поджимает, — заговорил Пауль. — Значит, дела стали хуже. Гораздо хуже. Невозможно описать, что я видел на Востоке, и, думаю, то же самое будет здесь. Это лишь вопрос времени.

— Что еще можно с нами сделать? — сердито спросила Дагмар. — И так живем как нищие, униженные и забитые. На папином магазине свастики от...

— Нет папиного магазина, Дагмар, — перебила Зильке. — И папы твоего нет. Все кончено, нельзя жить прошлым.

— Легко тебе...

— Погоди, Дагмар, — вмешался Пауль. — Зильке права. Что было, то было, но это *ничто* по сравнению с тем, что будет. Он об этом говорит. Без умолку. В рейхстаге, по радио. Нынешняя война закончится уничтожением — либо Германии, либо евреев.

— Да, но...

— Он не шутит, Дагмар. Массовые убийства начались, я это видел. И обратной дороги нет. Через пять-десять лет в Берлине не останется ни одного живого еврея. Бежать нельзя, этот вариант прикрыли. Значит, надо прятаться.

Пауля перебили. К их столику подошли армейский фельдфебель и два капрала.

— Ничего себе! — сказал фельдфебель, здоровенный мордovorot. — Камрад захапал себе всех девок. Нечестно. Две — одному. Мы хотим в долю.

Он грохнул свою кружку на стол и втиснул стул между Зильке и Дагмар.

— Извините, вы нам мешаете, — поспешно сказал Пауль. — Ведь есть

же свободные столики.

— Мешаем? Ну да, с двумя бабами хлопотно. А как же армейское братство? Ты из СС, но мы же едины.

Капралы шагнули ближе, обдав девушек пивным перегаром.

— Дамы — мои сестра и кузина, — сказал Пауль. — У нас семейное дело...

— Свезло нам, ребята! — заржал фельдфебель. — Малый не пялит этих телок. Две на троих — недурственный расклад. Девочки, приве-е-ет!

— Отвалите, парни, — сказала Зильке. — У нас разговор.

— Давай поговорим! — Фельдфебель ее облапил.

Пауль растерялся. Всякий скандал грозил разбирательством, а у Дагмар нет документов. И бугай старше чином.

— Эй, вы, фельдфебель! — раздался властный окрик. Дагмар вскочила на ноги, взгляд ее пылал. — Назовите свое имя и номер части! — громко приказала она.

Начальственный тон удивил фельдфебеля.

— Осади назад, милашка, — ответил он. — С какого ляду мне представляться?

— С такого, что вы и ваши приятели оскорбили немецких женщин. Сестру и кузину военнослужащего. Вы об этом очень пожалеете, потому что я не шлюха, к которой можно запросто подвалить. Назовите свое имя, я сообщу его своему жениху.

— Какому еще жениху? — Фельдфебель явно встревожился и убрал руку с плеча Зильке.

— Моему жениху Хайнцу Франку, старшему инспектору гестапо. Ему будет очень интересно узнать, как военнослужащие вермахта ведут себя в увольнении. Вы позорите фюрера.

Солдаты струхнули. В Берлине никто все не поминал могущественное гестапо. Имя этой организации произносили шепотом, его не выкрикивали в переполненном ресторане. Фельдфебель вскочил и промямлил извинение за неудачную шутку. Он и капралы невнятно представились, после чего всех троих будто сдуло ветром.

— Ну ты даешь! — выдохнул Пауль. — Рехнуться можно.

— Зато от них избавились.

— Ты привлекла внимание, — проворчала Зильке. — Ведь знаешь — нельзя.

— А что было делать? Сидеть и хныкать, как вы?

— Видали — хныкать!

— Конечно, мы бы строили планы, а солдатня нас лапала. Так, что ли?

— Какие планы? — рявкнула Зильке. — Пока что планы строили только *мы*. Или у тебя *свой* план спасения?

— Мне бы не пришлось спасаться, если б такие, как твоя мамаша, не записали меня в нелюди.

Повисло сердитое молчание.

— Ничего не меняется, — усмехнулся Пауль. — С двадцать шестого года так и грызетесь.

Девушки ожгли друг друга взглядами.

— Все, закончили! — сказал Пауль. — Надо научиться ладить, раз уж мы собираемся жить вместе.

— Вместе? — изумилась Дагмар. — То есть втроем?

— Да, в этом мой план.

— Но... я думала, что... буду с тобой... — В огромных карих глазах плескалось недоумение. — Что ты обо мне позаботишься.

— Я и хочу о тебе заботиться. Но в одиночку не сумею. Зильке согласилась участвовать.

— В чем?

— Ты должна исчезнуть, Дагмар. И поскорее. В Берлине тысячи евреев. Уверяю тебя, когда припечет, все кинутся искать укрытие.

— Думаешь? — горько усмехнулась Дагмар. — Скорее уж вскинут лапки кверху и подчинятся приказу. Как паршивые трусы, какими все они оказались. До сих пор все так себя вели. Кроме моего отца.

— И кроме нас, Дагмар. Кроме нас, — мягко сказал Пауль. — Медлить нельзя. Действовать надо сейчас. Исчезнуть. Дагмар Фишер должна умереть. Превратиться в другого человека. Тебе нужна новая личность.

— Как это?

— Личность уважаемого члена семейства Штенгель. Великолепный арийский череп обеспечил меня службой в СС, и теперь я должен обзавестись приличной семьей. Мне нужна супруга...

Впервые за день Дагмар просветлела:

— Супруга! Боже, что за чудной способ сделать предложение!

— Дагмар... — начал Пауль.

— Великолепный план! Жена эсэсовца — куда уж лучше прикрытие. Правда, обстановка совсем не романтическая, мне всегда виделись Париж и Эйфелева башня, но я согласна.

Чем-то явно смущенная, Зильке пальцем рисовала круги на мокрой столешнице.

Пауль взял Дагмар за руку:

— Ты знаешь, я бы все за это отдал. Ты знаешь, что ты для меня.

Зильке отвернулась, разглядывая официанток в баварских костюмах, что сновали с подносами, тяжелыми от пенных глиняных кружек.

— Но ведь ты сказал... — растерялась Дагмар.

— И ты знаешь, что немец не может жениться на еврейке.

— Ты говорил о моей новой личности.

— Я имел в виду личность, которой не нужна тщательная проверка, неизбежная при заключении брака. Тебе хорошо известно, что всякая немка, особенно невеста эсэсовца, обязана представить свою родословную с восемнадцатого века. Все церковные и гражданские метрики проверяют.

— Тогда о чем разговор?

— Женатый военнослужащий имеет право обзавестись домом, а жена его вправе нанять служанку.

— Служанку?

— Да. В Берлине десятки тысяч чешек и полек, угнанных в услужение.

— Я стану... служанкой-полькой? — У Дагмар отвисла челюсть.

— Для всех — да! — Пауль расплылся в улыбке. — Нескромно так говорить, однако план блестящий. Один фальшивый документ, крестьянская стрижка — и готово. Больше ничего — ни метрик, ни родни, ни прошлого. Даже никаких бесед, поскольку ты не говоришь по-немецки. Тебя схватили в родной деревне, в трехстах километрах от границы, и силком привезли в Германию. Все твоё имущество — приказ на перевозку. Я видел этих девушек — их жизнь начинается на вокзале. Жизнь Дагмар Фишер закончилась. Как многие евреи, она оставила предсмертную записку и бросилась в Шпрее, тело не нашли. А молодая чешка или полька вполне законно служит у герра и фрау Штенгель.

— И кто же станет фрау Штенгель? — спросила Дагмар.

Тут до нее дошло. Она взглянула на Зильке.

— Кто бы мог подумать? — сказала та. — Я выхожу за Пауля.

— Выходишь за Пауля... — прошептала Дагмар.

— Да, — усмехнулась Зильке. — Жизнь — забавная штука, а? Помню, девчонкой я мечтала, что выйду за Отто Штенгеля, и вот пожалуйста. Правда, он не тот Отто, но ведь поправки неизбежны, да? Ну что, Паули, все сделаем как положено и дадим объявление в газете? Отто Штенгель помолвлен с Зильке, единственной дочерью Эдельтрауд Краузе.

## Последний инструктаж

Лондон, 1956 г.

— Вы были правы, — сказал коротышка, похожий на Питера Лорре. — Зильке Штенгель, в девичестве Краузе, служит в министерстве государственной безопасности. Так сказать, в его святая святых на Рушештрассе, округ Берлин-Лихтенберг.

— Штаб-квартира Штази.

— Именно так. Фрау Штенгель поступила на службу вскоре после войны. Говорите, вы были друзьями?

— Да. Хорошими друзьями.

Стоун прикрыл глаза.

И вновь увидел золотистые веснушчатые плечи. По ним скачет солнечный зайчик, пробившийся сквозь оконные шторы поезда, что мчится в Роттердам.

Замелькали воспоминания.

Зильке три-четыре года. Она самозабвенно рушит крепости, из кубиков возведенные близнецами.

Субботний музыкальный урок. Зильке поет и стучит в бубен.

Бегает, прыгает. Пляшет. Дерется.

Помогает тащить к лифту закатанный в ковер труп.

Загорелые ноги крутят педали. Красивые ножки, на удивление красивые.

Вдвоем они лежат под звездами, Зильке рассказывает о «Красной помощи».

Собачится с Дагмар, дочкой миллионера.

— Уже тогда она была коммунисткой, — сказал Стоун. — Видимо, ею и осталась.

— Ну что ж, вот ваш паспорт, все оформлено, все готово. — Богарт чуть улыбнулся. — Езжайте.



## Смешанный брак

### Берлин, 1940 г.

На свадьбе не было родителей жениха и невесты.

Отца Зильке никто не видел с тех пор, как в двадцатом году он смылся из меблированных комнат, а с матерью невеста не разговаривала с середины тридцатых годов.

Вольфганг умер, из близких осталась лишь Фрида.

Она вежливо не пришла. Расовый враг на свадьбе эсэсовца выглядел бы странно.

Пауль понимал, что с домашним обустройством надо спешить. Германия победоносно шествовала на восток, но состояние войны с Англией и Францией не оставляло сомнений в том, что вскоре немецкий курс ляжет на запад. Солдата СС отправят на фронт, где он вполне может погибнуть, так что нельзя терять время.

Молодые выбрали обставленную квартиру в районе Моабит, где прошло детство Фриды. Пауля и Зильке там не знали, к тому же далеко от утопавшего в зелени Шарлоттенбурга, где выросла Дагмар.

Не было и речи о том, чтобы холостой солдат в одиночестве наслаждался обществом чужеземной служанки, а посему Дагмар в своем новом облике могла укрыться в новом доме лишь после бракосочетания нареченных. Согласно плану.

Утром в день свадьбы Пауль и Зильке встретились в квартире, которая отныне станет их общим домом.

— Прекрасно выглядишь, Зилк, — сказал Пауль.

Невеста была в бледно-зеленом костюме и кремовой шляпке с пером. Густые светлые волосы уложены в прическу, а губы тронуты помадой (невиданная редкость).

И впрямь, Зильке выглядела прелестно.

— Спасибо, — сказала она. — Я старалась найти сочетание строгого благородства и женственной податливости. Привет фюреру.

— Ты вполне преуспела. Геббельс поместил бы тебя на плакат.

Зильке улыбнулась и оглядела Пауля:

— Не скажу, что ты *прекрасно* выглядишь. Повязка со свастикой все портит. Но красиво. Очень красиво. Надо отдать должное нацистам, форма у них хороша. В метро кто-то оставил «Сигнал», там фото английских солдат — ну просто водопроводчики в спецовках.

— Что ж, давай посмотрим апартаменты будущей фрау Штенгель. — Пауль взял Зильке за руку и провел по квартире: — Пожалуй, здесь будет твоя спальня. Конечно, если тебе нравится. А мы с Дагмар заняли бы ту комнату. Но решать тебе. В смысле, сама выбирай.

— Да все равно, — беспечно сказала Зильке. — Меня же целыми днями не будет дома.

Они постояли перед комнатой, которую Пауль определил для себя и Дагмар.

— Странно, как все обернулось, да? — сказал он.

— А как ты думаешь... — начала Зильке, но смолкла.

— Что?

— Ничего. Ерунда.

— Я знаю, о чем ты хотела спросить. Стала бы Дагмар моей женой, если б не нацисты? Если б она по-прежнему была принцессой с Курфюрстендамм, а я — сыном трубача.

— И доктора.

— Ладно, с мамой я чуть выше в сословии. Но вопрос об этом, да?

В гостиной Зильке уселась в кресло и пару раз подпрыгнула — мягко ли.

— В общем, да. Мысль приходила.

Пауль сел в кресло напротив Зильке и чуть сморщился, угодив на пружину под обивкой.

— Думаю, вряд ли. Никто не знает, как сложилась бы жизнь, если б Германия осталась нормальной страной, но, скорее всего, Дагмар уехала бы в швейцарский пансион благородных девиц, а потом вышла замуж за мультимиллионера.

— Пожалуй, — согласилась Зильке.

— Но Германия — не нормальная страна. Здесь сумасшедший дом. Гитлер победил, и нате вам. Каждый выкручивается как может. Дагмар тоже. Я ее не виню. Пойдем глянем кухню.

В просторной, выстланной блестящим желтым линолеумом кухне стояла современная газовая плита. Зильке открыла шкафы и пальцем провела по полкам. Год дармового услужения приучил ее следить за пылью.

— Хочется думать, что она вправду меня любит. Бескорыстно и беспричинно, — сказал Пауль. — Она говорит, что любит. В жизни всякое бывает. Пансион не состоялся, а вышло так.

— И ты завладел тем, о чем мечтал с двенадцати лет. Самое смешное, что если б не Гитлер, ничего бы не вышло. Благодаря ему ты получил

Дагмар.

— Знаю, — ответил Пауль. — Как говорится, ирония судьбы.

Зильке привалилась к стенному шкафу и скрестила ноги.

— Знаешь, я была влюблена в Отто, — сказала она.

Пауль вывинчивал перегоревшую лампочку.

— Правда? — без выражения спросил он, глянув на Зильке.

— Только не говори, что не догадывался. Отто слепец, но ты-то прозорлив.

Пауль смутился.

— Наверное, что-то замечал. А мама была уверена.

— Но теперь Отто нет. Ты уговорил его махнутья личностями.

— Зилк, я не замышлял украсть Дагмар и лишить тебя Отто, — серьезно ответил Пауль. — Я думал, как спасти ей жизнь.

— Жизнь той, в кого ты к тому же влюблен.

— Ты меня обвиняешь? И злишься? Я думал, ты все понимаешь.

— Я понимаю, Пауль. Наверное, ты не мог поступить иначе... Просто хотела, чтобы ты знал. Надоело страдать молча.

— Ты сказала Отто?

— Вроде как. Обиняком. В поезде. Но без толку. Он любит Дагмар. Как и ты. Так что мне никогда ничего не светило. Ладно, хрен с ним! — Зильке рассмеялась. — Не волнуйся, я сыграю свою роль. Я же коммунистка. Должна помочь соратнику... и соратнице.

Пауль улыбнулся, Зильке его обняла.

— Славная квартира, правда? — сказала она. — Нам повезло.

— Пожалуй.

— Как думаешь, ее отобрали у евреев? Как жильё твоих деда с бабушкой?

— Не знаю. Я спрашивал в агентстве, но такую информацию они не дают.

Оба помолчали. Может, совсем недавно отсюда прикладами и дубинками выгоняли детей?

— В Польше я такого насмотрелся, — сказал Пауль. — Принудительное выселение. Жуть. Тысячи поляков, не только евреев, в секунду вышвыривали из домов. Говорит радио, еще скворчит готовка на плите, а хозяев уже нет.

— Ладно, пошли. Мы же не хотим опоздать на собственную свадьбу?

Пауль отнес чемоданы Зильке в ее комнату и со столика в прихожей взял новенькую эсэсовскую пилотку.

— Зилк, ты невероятный человек, — запинаясь, сказал он. — Ей-богу.

Такой благородный поступок ради Дагмар...

— Я это делаю не ради нее, дурень! — засмеялась Зильке. — А ради тебя. И Отто. Ради близнецов Штенгелей! Ради вас обоих. Потому что *вы* этого хотите для нее. Потому что втрескались в невиданно красивую еврейку, и теперь всю войну нам всем придется ее оберегать.

— А как же ты? — спросил Пауль. — Выходит, ты осталась ни с чем. Замужем, но без мужа. Значит, не устроишь свою жизнь.

— Поздновато меня отговаривать.

— Да нет, я просто...

— Слушать меня, эсэсовец Штенгель! — Зильке отложила букетик примулы и взяла Пауля за руки. — Я хочу это сделать. По разным причинам. И дело не только в Субботнем клубе и в том, что вы с Отто для меня — все. Меня ждет хорошая жизнь. Во-первых, я смогу бросить трудовую повинность, что уже немало. Брак с военным, тем более эсэсовцем, дает кучу плюсов. Хорошая еда, мягкая постель. Но самое главное — все это прекрасная ширма не только для Дагмар. Для меня тоже.

Пауль понял, о чем речь, и вовсе не обрадовался.

— В смысле, что ты коммунистка?

— Именно.

— А я думал, ваша братия в дружбе с Гитлером.

Зильке болезненно сморщилась.

Советско-германский пакт 1939 года разметал остатки немецкого коммунистического подполья.

— Сталин сделал тактический ход, — набычилась Зильке. — Я уверена, он хочет выиграть время. В один прекрасный день Соппротивление воспрянет, и я буду в его рядах.

Пауль не ответил. Сказать тут нечего. Он использовал Зильке и не мог жаловаться, что она использует его. Все они друг с другом повязаны.

На такси пара отправилась в районную ратушу.

— Нельзя заставлять герра Рихтера ждать.

— Заарканил гестаповца! — Зильке даже присвистнула. — Ну ты нахал!

— В известной мере, — согласился Пауль.

Неделю назад в эсэсовской форме он пришел в местный отдел гестапо и спросил начальника.

А затем, набравшись наглости, пригласил на свадьбу шефа гестапо, которого в жизни не видел.

— Я чистокровный ариец, был усыновлен евреями, — поведал Пауль. — Из родных никого, я совсем один. Жизнь моя и супружество

принадлежат фюреру. Я бы хотел, чтобы бракосочетание состоялось в присутствии влиятельного лица. Покорнейше прошу вас быть моим свидетелем.

Смелый, блестящий ход — привлечь гестапо. Установить личные отношения с начальником.

Как всегда, Пауль проявил себя незаурядным тактиком.

Под портретом фюрера Рихтер выпевал торжественные обеты отечеству и вождю, как того требовал нацистский свадебный обряд. Даже в самом страшном сне гестаповцу не привиделось бы, что через пару часов красавец-солдат, повторявший клятвы, на счастье разобьет бокал и снова женится, свидетелями чего станут его мать, дед и бабушка. На сей раз он женится на той, кого любил, в чьих жилах, как и в его, текла еврейская кровь.

## Старые друзья Берлин, 1956 г.

Отто смотрел в иллюминатор самолета «Люфтганзы». Поразительно — с воздуха планировка Хитроу выглядела идеальной звездой Давида.

Ирония? Британцы славились своей иронией, однако никто из знакомых англичан не мог внятно объяснить, что значит это слово. Многие полагали его синонимом «неудачи».

Пусть будет ирония, решил Отто. Знак, о котором до тринадцати лет он не думал вообще и который позже стал символом насилия, жестокости и смерти, был последним английским приветом, перед тем как самолет ушел в облака.

Отто летел в Берлин. Туда, где некогда этот знак был нашит на одежду его матери и стареньких деда с бабкой, помеченных для убийства.

Задумчивость его нарушил суровый стюард, который вручил ему формуляр прибытия в Германскую Демократическую Республику, состоявший из множества замысловатых пунктов.

Восточная Германия.

Отто откинул столик на спинке следующего кресла и достал паспорт. Помедлил, разглядывая. Он всегда чуть медлил, держа в руках свой паспорт.

Бесценный документ. Такой внушительный в своей твердой царственно-синей обложке. Текст, оттиснутый на внутренней стороне, архаически строг. «Ее величество Королева Британии настоятельно требует...» Даже вопреки недавнему фиаско в Суэцком конфликте. И вопреки газетным передовицам, вопившим, что ее величество королева Британии вправе что-либо настоятельно требовать только с одобрения американцев.

Британия накрылась, говорили многие.

Отто считал их идиотами. Британское подданство — по-прежнему неизмеримое богатство. Чтобы его оценить, надо родиться в другой стране.

Отто заполнил формуляр. За семнадцать лет первый немецкий документ вообще и первый на его памяти немецкий опросник, в котором не было пункта о еврействе. Отто убрал паспорт и хлебнул скотча из фляжки. Он не рассчитывал, что социалистическая авиакомпания<sup>[74]</sup> расщедрится на

спиртное, и потому запасся своим.

Потом закурил «Лаки Страйк», прихлебнул еще и постарался расслабиться.

По трансляции командир объявил, что самолет пересек Ла-Манш и летит над Голландией.

Отто невольно улыбнулся.

Голландия. Он был там лишь раз проездом. Но именно там, на скорости сто километров в час, расстался с невинностью и потому навеки проникся к этой стране.

Он был с девушкой, которую вскоре увидит.

Интересно, какой она стала?

Зильке Краузе.

Волосы и кожа по-прежнему золотистые? Или за десять лет службы кремлевским кукловодам она увяла и поседела? Ей всего тридцать пять, на год моложе Отто. В Англии он видел сотрудников Штази, изображавших гидов восточногерманских делегаций. Неужто и Зильке стала такой же — хмурой не улыбочивой теткой, чьи волосы собраны в строгий пучок?

Скоро узнаем.

В берлинском аэропорту Шенефельд пассажиры гурьбой двинулись к таможенному и паспортному контролю. Билли одобрила бы здание аэровокзала, подумал Отто. Сплошь бетон. Надо же, в Англии семнадцать лет жил мыслями о Дагмар, а теперь в Германии думает о Билли.

Надо же, он в Германии.

Все точно во сне. Вокруг снова немецкая речь. Он вернулся. В Берлин. Но как будто оказался еще дальше от дома.

Процедура контроля не затянулась. Быстрота всех формальностей лишь укрепила подозрение, что мистер Стоун весьма интересен министерству безопасности. Видимо, его ждали, ибо без задержки пропускали от барьера к барьеру. В то время как прочие пассажиры томились в очереди на дотошный допрос, у каждой стойки Отто получал приветственный кивок пограничника и штемпель в паспорт.

Но даже если нечто добавило газу хорошо смазанной государственной машине, ничто не могло ускорить неповоротливый бюрократический механизм аэропорта. В рекордно короткий срок пограничные шестерни выплюнули Отто в зал выдачи багажа, однако там он маялся, пока не подтянулись почти все пассажиры его рейса.

Наконец багаж прибыл — не транспортером, как в западных аэропортах, а в битком набитой клетке, которую приволок тягач. Пассажирам предлагалось самим отыскать свои вещи в гряде чужих.

В конце концов Отто углядел свой потрепанный чемодан (его отшвырнул какой-то взмокший путешественник) и зашагал в зал прилета. Семнадцать лет назад с этим же чемоданчиком он покинул Германию. Вещь была в приличном состоянии, поскольку с тех пор Отто не путешествовал, а в армии пользовался ранцем.

В купе спального вагона чемодан стоял под полкой, на которой ему отдалась Зильке. Интересно, она узнает чемодан?

Отто заторопился — вдруг захотелось поскорее разделаться с минутой встречи. Хмель от виски почти выветрился, но, пожалуй, добавлять сейчас не стоит.

В блокноте под кожаной обложкой он посмотрел адрес из письма, беспрепятственно миновал последнюю линию таможенников и взглядом поискал указатель к стоянке такси.

Наверное, поэтому он ее и не заметил.

Смотрел вверх. На указатели.

И не ожидал, что она его встретит.

— Оттси.

Он услышал голос, который произнес два знакомых слога.

Замер и огляделся.

Ошеломленный. Смятенный. Взглядом шарил по унылой, дурно одетой серой толпе. Дешевые поношенные костюмы. Землистые лица. Пара отважных улыбок. Пара усталых.

— Я здесь, Оттси. Вот она я.

Голос. Тот самый голос. Перепрыгнувший через семнадцать долгих лет.

Он обернулся и увидел ее.

Но не узнал.

Перед ним была копия. Советский вариант той, чей голос он слышал. Словно кто-то старался, но не сумел сделать похоже. Как было сдохлыми автомобилями и протекающими кургузыми холодильниками. С виду такие же, как их красивые и стильные американские и европейские собратья, а на деле — дешевая безвкусная имитация.

Блеклая кожа. Тусклые волосы. Губы еще пухлые, хотя от постоянного курения уже слегка сморщились.

Но глаза прежние. Огромные, темные, глубокие.

И печальные. Неизменно печальные. Какими стали утром первого апреля 1933 года.

— Дагмар? — Отто услышал свой голос. — Это ты?

Она чуть вздрогнула. Наверное, догадалась, какие мысли пронеслись у



него в голове. Вероятно, сама она думала о том же, когда в своей сталинской квартире размером с курятник устало переглядывалась с зеркалом, гадая, дадут ли нынче горячую воду.

— Да, Оттси, — сказала она. — Конечно, я.

Их разделяло метра три. Между ними сновали люди. Отто шагнул к ней и тотчас с кем-то столкнулся.

— *Entschuldigen Sie mich, bitte.*<sup>[75]</sup> — Он вновь услышал свой голос, заговоривший на некогда родном языке.

Человек что-то буркнул и исчез. Теперь их разделяло меньше двух метров, но Отто словно не знал, как их преодолеть.

— Ты не умерла? — прохрипел он. Язык не слушался, во рту вдруг пересохло. В дурмане Отто даже не заметил, что машинально спросил по-английски.

— Нет, не умерла, — на английском ответила она.

Заминка. Крохотная пауза. По лицу ее скользнула тень сродни подозрению.

— Но ты же это знал. Ты ответил на мое письмо.

— Да... да, конечно, — пробормотал он.

Значит, первоначально интуиция его не обманула. Она жива! Оба дышат одним воздухом. Семнадцать лет боли, тоски и печали вдруг разом закончились.

Он был абсолютно уверен, что она погибла. Нисколько не сомневался, что увидит Зильке.

Дагмар подошла к нему, ловко разминувшись со снующими пассажирами. С каждым ее шагом он все отчетливее ее узнавал. Та же изящная походка. И даже неказистый костюм на ней выглядел почти стильным.

— Не хочешь обняться, Оттси? — спросила она, приблизившись. — Или тебе уже все равно? — Дагмар улыбнулась. Он узнал ее улыбку. Губы очерчены резче, и кожа вокруг них будто истончилась, но улыбка по-прежнему очаровательна. — Неужели теперь я слишком страшна для поцелуя?

— Страшная, ты? — прошептал Отто. — Это невозможно.

Он шагнул вперед и обнял ее.

В ту же секунду все изменилось. Она вновь стала его Дагмар, самой прекрасной девушкой в Берлине. Стоило лишь сдуть семнадцатилетнюю пыль, и она вернулась. Дагмар Фишер. Принцесса. Женщина, которая всегда владела его сердцем.

Героиня снов. И сказок.

Отто и Дагмар крепко обнялись. Словно боялись, что какие-нибудь невидимые руки их растащат.

Впервые в жизни Отто почувствовал, что вот-вот грохнется в обморок. Казалось, он вознесся. Парил. И с высоты видел себя и Дагмар. Голова кружилась. Точно во хмелю.

Она *вновь в его объятиях*.

Волосы ее опять щекочут лицо.

Ухо ее рядом с его губами.

Все *в точности* как в их последнюю встречу. На вокзале. Тогда тоже вокруг суетились люди, динамики по-немецки объявляли прибытия и отправления. Кафе, торговые автоматы. Словно для них двоих время остановилось. На семнадцать лет они замерли в объятиях посреди суеты и толчеи жизни. Разразилась и закончилась самая страшная война. Рушились и возникали империи. Произошло чудовищное историческое преступление, теперь места убийств стали музеями. Ученые готовились к запуску космических спутников, джаз-банды уступали дорогу молодым гитаристам с немытыми волосами.

Во всей этой кутерьме Отто Штенгель сберегал Дагмар Фишер в своем сердце. А теперь вновь держал в объятиях. Воистину время остановилось.

А ведь он был абсолютно *уверен*, что она умерла.

## Еще уроки английского Берлин, 1940 г.

Весь день Фрида принимала пациентов в маленькой «смотровой», которую обустроила в собственной спальне. Прежде для этой цели использовалась крохотная гостевая комната, но теперь ее заняли аптекари герр и фрау Кац со взрослой дочерью. Бывшая детская отошла Фридиным родителям. В гостиной на кушетке обитала пожилая вековуха Биссингер, а на диванных подушках, уложенных на пол, — вдовец Минковски.

После правительственного постановления, сколь жестокого, столь и неясного, проблема жилья для евреев с каждым днем усугублялась. Теперь жильцы могли сами решать, как долго они готовы «мириться» с еврейским соседством. Это означало, что в любую секунду евреев могли вышвырнуть из собственного дома — иногда просто по злобе, а иногда потому, что их жилье приглянулось кому-то из партийных чиновников.

Фрида уже боялась за свою квартиру. Нынешнее столпотворение квартирантов и нескончаемый поток пациентов вызывали нарекания. До сих пор все было спокойно; что ни говори, Штенгели прожили в доме двадцать лет, и почти всем его обитателям Фрида оказывала любезность, а Вольфганг музицировал на детских днях рождения.

Однако теперь напряженность росла. Соседи бурчали, что квартира Штенгелей превратилась в еврейское гетто. Боялись заразиться от больных, беспрестанно шаставших в дом. Не желали, чтобы чужаки пользовались лифтом. Вечно кабина на шестом этаже, брюзжали они, а когда наконец ее дождешься, к тебе тут же поналезут хворые, испуганные и жалкие евреи.

В результате соседи, жившие под Фридой, повесили объявление — мол, лифт предназначен только для жильцов дома. Однако это не решило проблему, ибо прочие соседи возражали против того, чтобы их гости пешком перли по лестнице. Новое короткое объявление «Еврейам запрещено» тоже не сгодилось, поскольку Фрида была законной жилицей и аккуратно вносила коммунальные платежи. Третий вариант гласил, что лифт не предназначен для пользования евреями, за исключением тех, кто в *данный момент* проживает в доме.

Оговорку «в данный момент» Фрида сочла зловещей.

Пока на этом остановились, но все равно соседи роптали. Никому не хотелось видеть немощных больных стариков и рахитичных детей, пешком карабкавшихся на шестой этаж, и Фрида понимала, что следующий шаг —

запрет на домашний прием. Она пыталась оттянуть катастрофу и по возможности сама навещала больных, что выливалось в изматывающую беготню по Фридрихсхайну.

Нынче она провела очередной тяжелый день и надеялась хоть на секунду забыть о своих бедах. Мечтала о ванне в тишине и покое. К несчастью, Фрида запомнила, что вечером назначено занятие английской группы, в нарушение всех правил говорившей только о собственных несчастьях.

Еда превращалась в проблему не менее серьезную, чем кров. Надвигалась война, пайки существенно урезали.

— А по нашим карточкам дают еще меньше, — стенала фрау Лейбовиц. — Ужасная подлость давать нам столько еды, чтобы только не сдохли. Мы таем и угасаем.

— Говорят, в конце концов всех нас расстреляют, — сказал герр Таубер. — Ха! Куда стрелять-то? Все так исхудали, что не попадешь.

Он говорил по-немецки, но Фрида его не одернула. На занятиях родители сидели просто за компанию (не уходить же из дома), и потом, кружок английского утратил смысл. Германия захватила почти всю Европу, бежать стало некуда.

— Вообразите, в случае налетов нас не пустят в убежища, — причитала фрау Лейбовиц. — Видимо, хотят оставить всю грязную работу англичанам.

— С англичанами покончено, — сказал ее муж. — Французы предрекали, что британцам свернут шеи точно цыплятам.

Фрида прихлебнула желудевый кофе. Господи, как же все перемешалось!

Англия. Там Отто. Под именем Пауль.

А Пауль под именем Отто во Франции.

В войсках СС.

— Через месяц нацисты будут по другую сторону Ла-Манша, — продолжил герр Лейбовиц. — Англичан сметут, как было с чехами, поляками, норвежцами, бельгийцами и французами.

— Ну хватит, хватит! — рявкнул герр Таубер. — Мы знаем, кого они захватили, не надо перечислять всех.

— Он дьявол, — сказал герр Кац. — Ей-богу. Сам Сатана или его подручный. Как еще объяснить? Мы с вами, герр Таубер, и вся кайзеровская армия четыре года топтались во Франции. Мы там застряли. Шагу не могли ступить. По пояс в грязи. А он управился за две недели. Дьявольщина, никак иначе. Он не человек.

Герр Таубер не ответил.

Возможно, Кац был прав. Поразительный успех гитлеровских армий не имел исторических аналогов. Никто так быстро не подминал под себя Европу. Ни Ганнибал, ни Цезарь, ни Наполеон. Вся западная часть континента была оккупирована или присоединена к Третьему рейху.

— Конечно, подлец Муссолини на стороне победителей, — говорил Кац. — Теперь итальянских евреев ждет та же участь. Газеты писали, что в Пиренеях Гитлер встречался с Франко. Осталось сокрушить британцев, и цитадель будет готова.

— Может, хватит уже о Гитлере, ети вашу мать?! — не сдержалась Фрида.

Хотелось заорать. Сказались тяжелый день и бесконечные тревоги. Гитлер сокрушит британцев? Это коснется Пауля. Зильке держала ее в курсе. Пауль во Франции. В армии, окружившей Дюнкерк. Газеты пишут, там группируют силы для вторжения в Англию. Паулю выдали пробковый спасательный жилет. Как только люфтваффе возьмет под контроль воздушное пространство над Ла-Маншем, заходились газеты, с бандой Черчилля будет покончено.

Через месяц Пауль может оказаться в Англии.

Не студентом-беженцем, как планировали два года назад, а *немецким солдатом*.

А Отто? Где он? Надел форму британских томми? Солдат, о которых некогда отец ее отзывался с сердитым уважением. Наверное. Уже почти полтора года Отто в Англии. Несомненно, островитяне готовятся к обороне.

Все эти мысли роились в голове. Фрида оглядела евреев, ошарашенных ее вспышкой. Она никогда не срывалась. Несдержанность ее всех ошеломила, но больше расстроила. Люди полагались на ее силу.

— Извините за грубость, — сказала Фрида. — Просто иногда немного устаю.

Она глянула на пианино.

На винтовой табурет.

Невольно. Она часто себя на этом ловила. Даже теперь, три года спустя.

Конечно, его не было. На табурете вдвоем уюстились Шмулевицы.

Господи, как же она скучает по Вольфгангу! В квартире не протолкнуться, а ей так одиноко. Днем еще как-то отвлекаешься заботами, но дома, в окружении усталых запуганных стариков, наваливается тоска. Семьи больше нет. Нет Пауля. Нет Отто.

И Вольфганга.

Любимый спутник, родная душа, он сгинул в темных холодных водах Шпрее.

— Надо приспособиться. — Как всегда, Фрида пряталась в образе врача. Спокойного, уверенного. Главное — деловитого. — Я уже давно об этом думаю. Конечно, под запретами жить очень тяжело, но, если сплотимся, мы выдержим. Да, комендантский час и время, отпущенное на магазины, все осложняют...

— С четырех до пяти! — вскинулся герр Кац. — Почему? Почему нам дали всего час на покупки? Какой смысл?

— Чтобы *достойные немцы* знали, когда избегать заразы, — проворчал герр Таубер.

— Да уж, с нашими карточками и деньгами пятьдесят девять минут из этого часа лишние, — встряла фрау Кац.

— Хватит! — опять прикрикнула Фрида, но взяла себя в руки. — Сколько можно плакаться! Я хотела сказать, что мы должны организовать.

— А что нам организовывать? — спросила фрау Кац.

— Как — что? — рассердилась Фрида. — Все! Молодежь наша сгинула, но мы-то еще не развалины и способны помочь слабым. Старикам, больным, детям и матерям с новорожденными. Как женщине, у которой муж гниет в лагере, а дети хворают, с четырех до пяти поспеть в булочную? Никак. Но мы-то можем. *Вы* можете. Из-за комендантского часа некоторые старики вообще не выходят из дома. Надо их разыскать и выводить на прогулку. Хоть на пять минут, на улицы-то нас пока пускают.

— Не на все, — перебил герр Лейбовиц.

— Сколько места вам нужно для прогулки? У вас же две ноги, верно? Надо составить список всех знакомых беспомощных людей. И знакомых наших знакомых. Нужно создать такую скорую помощь, куда каждый сможет позвонить, если вдруг некому сходить в магазин или просто не с кем поговорить...

В подъезде загрохотал лифт.

Лязг стих на шестом этаже.

Все замерли. Может, поздний пациент? Больная женщина, у которой не осталось сил подчиниться запрету на подъемник? Или, может, ухажер фройляйн Белцфройнд?

Нынче пугал всякий стук в дверь.

Позже Фрида удивлялась совпадению. Стоило лишь обмолвиться о телефонной скорой помощи. Будто подслушали.

Похоже, они и впрямь дьяволы.

— Наверное, припозднившийся пациент, — сказала Фрида. — Ведь говорила же — лифтом не пользоваться.

Грохот сапог по площадке уведомил, что это не пациент. Пришли *они*.

Все в страхе застыли. Даже герр Таубер. Он, впрочем, спохватился и напустил воинственный вид.

В дверь забарабанили. Как обычно, дубасили кулаками.

Фрида глубоко вдохнула и пошла открывать. Грохот повторился. Заявляясь к евреям, нацисты не терпели промедления. Еще секунда — и выломают дверь.

Их было всего двое. Полицейский и эсэсовец.

— Фрау Штенгель, бывший врач? — спросил полицейский.

— Да, — ответила Фрида. — Что вам угодно?

— Ваш телефон.

— Телефон? Зачем?

— Сдайте. Согласно правительственному указу, с июля нынешнего года евреям запрещено иметь телефон. Аппараты всех еврейских абонентов подлежат немедленному изъятию.

Фрида почувствовала, как кровь отхлынула от лица. «Наверное, я побледнела», — подумала она, вспомнив, сколько за день делала звонков. Используя старые связи, где только можно добывала лекарства, бинты, шприцы. Часами пыталась найти пристанище для несчастных семейств, которых бесчеловечно вышвырнули на улицу. Вот и сегодня обратилась с дюжиной просьб и ждала ответов, от которых зависела жизнь ее пациентов.

Теперь уже никто не перезвонит.

Только что она говорила о единственном способе выжить — действовать сплоченно, организованно.

Видимо, и нацисты это понимали.

Фрида молча кивнула на тумбочку, где стоял драгоценный аппарат.

Эсэсовец безмолвно его забрал, вырвав шнур из розетки.

Полицейский расписался в стопке формуляров, оторвал верхний листок и протянул Фриде.

— Что это? — спросила она.

— Квитанция.

Фрида взгляделась в эсэсовца, под мышкой державшего украденный телефон.

— Ваша фамилия Ренке? Томас Ренке?

Солдат не ответил, но по глазам его было видно, что Фрида не обозналась.

— Мальчиком вы с мамой часто приходили ко мне на прием. Коклюш, розеола, краснуха, корь. Господи, весь букет. Вижу, вы оправились. Кланяйтесь от меня фрау Ренке.

Фигура в черном молчала.

— Пошли, — сказал полицейский.

Они отбыли, эсэсовец Ренке унес Фридин телефон.

Фрида рухнула в кресло.

— Кап-кап-кап, — проговорила она.

— Что с тобой, милая? — Отец положил руку на ее плечо.

— Вот так они действуют, папа. — Фрида отерла глаза. — Не сразу, по капле. Как пытка. Это запретим, то отберем. Даже ты долго верил, что слишком далеко дело не пойдет. Но по капле они продвигались все дальше. И зашли так далеко, что нам и не снилось. Теперь нам запрещено общаться даже друг с другом. Интересно, что дальше? Чем это кончится?



## Узнали

### Кале, 1940 г.

Пауль этого ждал.

Со дня призыва все время был начеку. Да, он глубоко закопался, нацистская военная машина огромна, в ней миллионы солдат в форме, и кому придет в голову, что форму эту наденет человек, прежде известный как Пауль Штенгель? Однако среди этих миллионов были и те, кто его узнает, во что бы он ни вырядился. Те, кому известно, кто он на самом деле.

С того дня, когда они с братом поменялись личностями, Пауль был готов к роковой встрече. И вот она случилась.

Вечернее увольнение он проводил в маленьком деревенском бистро километрах в пяти от Кале, куда добрался на мотоцикле. За столом Пауль писал письмо Дагмар и вдруг почувствовал чей-то взгляд.

Никто его не окликнул, не попытался заговорить, но чутье подсказало, что его разглядывают. И о нем говорят. Кроме Пауля и тех, кто сидел за соседним столиком, в бистро никого не было. Может, ухо уловило легкую перемену в их тоне. Или сработало, что называется, шестое чувство.

Во всяком случае, Пауль все понял.

Вначале он не обратил внимания на новых посетителей, ибо сосредоточился на письме, в котором пытался завуалированно поведать любимой о кошмаре солдатчины в гитлеровской армии.

О кошмаре службы в СС. В части, носившей имя фюрера, — дивизии «Лейбштандарт Адольф Гитлер».<sup>[76]</sup>

Долгожданный штурм разразился десятого мая, когда немецкая военная машина за час смела хилую оборону голландской границы. Продвижение войск было стремительным, и Пауль уже надеялся, что ему вообще не придется стрелять.

Через два дня дивизия «Лейбштандарт Адольф Гитлер» вошла в Роттердам, через четыре — в Гаагу, после чего Голландия капитулировала и вместе со своими евреями очутилась в нацистских тисках. Не дав отдышаться, дивизию перебросили во Францию.

В письме Пауль признавался, что наступление его взбудоражило. Залитые солнцем окрестности, стремительный натиск и преследование отступающего противника — от всего этого кружилась голова.

Британцев гнали до самого Дюнкерка, и весь экспедиционный корпус

взяли бы в плен, если бы не приказ остановиться. Так считали все солдаты дивизии, но мнение свое высказывали с оглядкой, ибо неизбежно напрашивался вывод, что величайший в истории полководец совершил глупую ошибку.

На подходе к Дюнкерку Пауль стал очевидцем события, которое накрепко засело в голове, но писать о нем было нельзя. Только что дивизия заняла Ворму — городок милях в десяти от побережья. В бою взяли много пленных. На глазах Пауля группу в сотню английских солдат загнали в амбар. Невзирая на Женевскую конвенцию, наделявшую их статусом военнопленных, хлипкое сооружение забросали гранатами. Искалеченных недобитков, сумевших выбраться наружу, пристрелили, иных закололи штыками.

Вот об этом Пауль и хотел написать, а заодно поделиться страхом, что когда-нибудь ему придется участвовать в подобной бойне. Волею судьбы поставленный в безвыходное положение, он был готов сражаться за Германию. Но знал, что никогда не совершит хладнокровное убийство.

Сейчас он мучительно соображал, как обо все рассказать, не насторожив цензора. И вдруг почувствовал, что за ним наблюдают.

Вермахт. Не поднимая головы от листка, Пауль видел их сапоги под столиком. Кованые сапоги в засохшей грязи. Сразу видно — армейцы. Ни один эсэсовец из дивизии «Лейбштандарт» не пойдет в увольнение, предварительно не надраив обувь.

Пауль подавил желание взглянуть на соседей. Пока что у них нет возможности хорошенько его рассмотреть. Когда они вошли в бистро, он сидел, склонившись над письмом.

Чтобы добраться до выхода, надо миновать их столик, и вот тогда-то они вдосталь им налюбуются. Значит, два варианта. Первый: сидеть, уткнувшись в письмо, и ждать, когда подозрения развеются и компания свалит. Второй: встать и нагло пройти мимо.

Под столиком три пары сапог. Расклад невыигрышный.

Шепчутся.

Зашаркали сапогами.

Если отдать инициативу, соображал Пауль, соглядатаи получат огромное преимущество. Надо первым сделать ход. Времени почти не осталось. Одна пара сапог вместе со стулом отъехала от стола. Кто-то решил действовать. Сейчас подойдет и привяжется. Через секунды ситуация выйдет из-под контроля. Окажешься один против троих.

Пауль резко сложил письмо, бросил мелочь на стол и поднялся. Шагая к выходу, скосил глаза на опасных соседей.

Хватило одного взгляда.

Прошлое вернулось.

Эмиль Брас. Тот, кто в раздевалке науськивал футбольную команду. В день последней игры.

«Жи-ды! Жи-ды!» Ударами шлагбольной биты по стене раздевалки он задавал ритм скандированию.

Через неделю после прихода Гитлера к власти завистник Эмиль Брас решил поквитаться с близнецами. Тогда Пауль помахал членом и выставил зачинщика дураком. Нынче фокус не пройдет. В тридцатых они мельком встречались на улицах Фридрихсхайна, когда все уже знали, что Штенгели — евреи, пусть и не обрезанные.

Эмиль тоже его узнал — никаких сомнений. Конечно, оба сильно изменились, безусые юнцы превратились в заматеревших солдат. Но глаза не обманывали.

Игра окончена.

Конечно, Брас опешил. Как не опешить? Вдруг в оккупированной Франции видит Пауля Штенгеля — еврея, одетого в немецкую форму с двойными молниями в петлицах. Тут кто хочешь опешит.

Несмотря на численное превосходство противника, Пауль рассчитал, что еще пару секунд будет владеть инициативой. Брас растерян. Он — нет. Это солидное преимущество, если действовать решительно. Он не опрометчив, но смекалки ему не занимать.

— Привет, Эмиль! — широко ухмыльнулся Пауль. — В чем дело? Никогда не видел эсэсовца-еврея?

И тотчас вышел из бистро.

Он понимал, что должен убить Браса и его спутников. Причем немедля, пока те никому не разболтали о встрече и не вздумали донести в военную полицию.

К счастью, пыльный проселок был почти пуст. Бистро стояло на отшибе, потому-то Пауль его и выбрал. Военных не видно, лишь вдалеке старый крестьянин гнал маленькое козье стадо.

Пауль сунулся в ранец.

Как нижний чин, он был вооружен винтовкой, которая сейчас осталась в лагере. Францию поставили на колени, маршал Петэн<sup>[77]</sup> призвал к сотрудничеству с Гитлером, и немецкие военнослужащие в увольнение отправлялись безоружными. Но, как многие однополчане, в недавних боях Пауль разжился трофеем. Английским офицерским револьвером «энфилд». Смазанный и заряженный револьвер Пауль носил с собой. На всякий случай, вроде нынешнего.

Выхватив «энфилд», Пауль отбежал от бистро и оглянулся именно в ту секунду, когда компания кучно вывалилась из дверей.

Если б, не дай бог, барабан заело, песня Пауля была бы спета, но английские конструкторы его не подвели. Он мгновенно открыл огонь. Перед каждым выстрелом требовалось взводить курок, но Пауль уже приладился к этой особенности своего трофея и левой ладонью откидывал курок не хуже заправского ковбоя из американского вестерна. Револьвер трижды гавкнул — и три тела с пулей в груди поочередно рухнули наземь. Следующие три выстрела в головы агонизирующих солдат опустошили барабан, сохранив тайну Пауля.

Краем кителя обтерев рукоятку, он бросил револьвер на трупы, оседлал мотоцикл и был таков.

## Народный парк Берлин, 1956 г.

Из здания аэровокзала они направились к автостоянке, где Дагмар подвела его к слегка проржавевшей неухоженной машине. Мощная и добротная «IFA F-9» — значит, хозяйка ее (чем бы ни зарабатывала на жизнь) пользуется привилегиями, каких не имеет подавляющее большинство граждан ГДР.

На секунду Дагмар приложила палец к губам, дав понять, что автомобиль нашпигован «жучками». Агенты МИ-6 предупреждали, что в Восточном Берлине разговоры наверняка прослушиваются.

По правде, Отто обрадовался возможности помолчать и подумать. Все это невероятно.

И чудесно.

Дагмар жива, значит, письмо от нее было подлинным. Она молила о свободе, в чем семье ее отказали в тридцать третьем, а потом долгие годы отказывали ей самой.

Неужели ему выпал шанс стать ее Моисеем?

По дороге Дагмар говорила о каких-то пустяках.

За окном Берлин, родной город. И все же неузнаваемый. Союзнические бомбежки превратили дома в груды развалин, в Восточном секторе так и не разобранные. Жилые новостройки — безликие бетонные коробки. Впрочем, подумал Отто, немногим уродливее тех, что нынче разбросаны по всему Лондону.

Ехали быстро. На улицах велосипедистов больше, чем машин. Вскоре впереди замаячило нечто очень знакомое.

— Ты же помнишь этот парк, — сказала Дагмар. Конечно, он помнил и недавно во сне вместе с братом гонялся за Дагмар меж сказочных персонажей, желая урвать поцелуй. — Видишь, он уцелел.

— Да, я слышал и порадовался, — ответил Отто.

Дагмар нашла место для парковки.

— Пойдем прогуляемся, — предложила она. — Сегодня обещаю не убегать.

Вошли в парк.

— Теперь можно говорить? — через пару шагов спросил Отто.

— Да, теперь можно.

С чего начать? Что сказать? Столько вопросов. На целую жизнь.

Но есть один насущный.

— Зачем я здесь? — спросил он.

Похоже, этого вопроса она не ожидала. И несколько растерялась.

— Я хотела увидеть тебя, Оттси.

Оттси. Как он любил, когда она так его называла. Оттси. Будто ему вновь пятнадцать.

— Хотела увидеть, — горячо повторил он и, глядя в сторону, тише добавил: — Мечтаешь слинять?

Дагмар как будто изумилась:

— Слинять? Господи! Думаешь, я поэтому написала?

Настала его очередь удивиться.

— Конечно. Ты повторила мамину фразу. *Все ждут Моисея.*

— Чтобы ты приехал. Чтобы понял, что письмо от меня.

— Но ты же ищешь выход из Египта, да? — тихо спросил Отто.

На губах ее играла улыбка. Правда, печальная.

— Беспрестанно, Оттси. Беспрестанно.

В голове сумбур. Так много всего, о чем надо спросить. О маме и брате... о ней. Что *было* за годы его отсутствия? Но сперва надо разобраться с настоящим.

— Мне сказали, ты служишь в Штази. — Отто тщательно подбирал слова. — Это правда?

Улыбка ее потихоньку угасла.

— Я все думала, знаешь ли ты, — помолчав, сказала Дагмар. — Да уж, англичан нельзя недооценивать.

— Так это правда?

— Да, Оттси. Правда.

— Господи. Штази. Ни в жизнь не поверил бы.

— Вот как? Так мы и не виделись целую жизнь. Если не больше.

Сели на скамейку. Отто предложил сигарету.

— С Ванзее вместе не курили, — сказала Дагмар и положила руку ему на колено. — Помнишь?

Помнит ли он? Еще бы. Тот день на озере — самое яркое воспоминание. Снится многие годы. И Дагмар выбирает его.

Прошлое манило, однако настоящее не отпускало.

— Как же так? — спросил он.

— Люди меняются. Я вот тоже не могла представить, что ты окажешься чиновником министерства иностранных дел ее величества.

Отто понимающе кивнул.

— В конце войны я стал военным переводчиком. Допрашивал пленных

немцев, выполнял кое-какие поручения службы безопасности. После демобилизации предложили место переводчика в министерстве. Я согласился. Иной работы не светило.

Он щелкнул зажигалкой «Зиппо», Дагмар прикурила и глубоко затянулась.

— «Лаки Страйк». Любимые твоего отца. С начала тридцатых не видела этих сигарет. Знаешь, я часто вспоминаю Вольфганга.

— Я тоже.

— Он был такой потешный. Фигура. Даже сейчас меня смешит, хотя скоро уж двадцать лет, как его нет. — Дагмар помолчала и грустно добавила: — Я таких больше не встречала.

Молча курили. Отто все пытался осознать сногшибательное событие. После стольких лет она рядом. Они вместе курят, как бывало в розовой спальне дома, сожженного нацистами.

— И что теперь? — услышал он свой вопрос.

— В смысле?

— Я здесь, чтобы тебя вытащить? Если так, я сделаю что угодно. Ты знаешь. Они тоже помогут. Англичане. Готовы тебя переправить.

— Еще бы. Особенно если я разговариваю. Пообещаю выдать все секреты Штази.

— Плевать на них. Не хочешь — не рассказывай. Пусть только помогут тебя вытащить, а потом идут к черту.

— Оттси, я *не пытаюсь* слинять. — Дагмар печально улыбнулась. — Я работаю на восточногерманскую тайную полицию. Поверь, контора эта безжалостна, как гестапо, но гораздо ловчее. Слиняю — меня отыщут и убьют. Мне не выбраться.

Отто совсем растерялся.

— Тогда зачем я приехал?

— Ты не рад?

— Ведь знаешь, что рад.

— Точно?

— Точнее некуда. Чего спрашивать-то? — И вдруг его прорвало. — Я по-прежнему люблю тебя. Я сдержал обещание. И хочу, чтобы ты об этом знала. Каждый божий день я тебя любил. На пароме в Англию. В общаге и лагере для интернированных. Всю войну. Когда воевал в Северной Африке и Италии, когда в оккупационной армии корпел над бумагами. Потом опять в Лондоне. Все эти долгие тоскливые годы я любил тебя каждое мгновение каждого дня. Моя любовь никогда не кончалась и не кончится.

Он сам не ожидал, что скажет это, хотя очень хотел сказать. Она

должна знать: он сдержал обещание, которое в тридцать девятом году на берлинском вокзале прошептал ей на ухо.

— А в поезде? — Лукавая усмешка тронула ее губы.

— Где?

— В поезде в Роттердам. Когда ты переспал с Зильке.

Отто онемел. Вот уж чего никак не ожидал. Кинуло в жар. Он себя чувствовал *преступником*. Нет, так нечестно! Семнадцать лет держал сердце под замком, и нате вам — огорошили.

— Значит, она рассказала, — пробормотал Отто.

— Конечно! — засмеялась Дагмар. — Столько лет мы с ней торчали в одной квартире. Девичья болтовня. Чего ты всполошился? Я просто пошутила. Ты так пафосно говорил о любви. Прости, не удержалась. Зильке сказала, это вышло ненароком, а утром ты страшно казнил. Все мямлил, что мысли твои лишь обо мне.

— В общем-то, так и было, — стусевался Отто. — Понимаешь, мы напились... непривычная обстановка...

Просто невысказано, о чем они говорят.

— А Зильке была хорошенькой, правда? Кто бы подумал, что она так расцветет! — Дагмар опять рассмеялась. — Да не переживай ты, Отт. Ты обещал меня любить, но не давал обет безбрачия. Вряд ли все эти годы ты жил монахом.

Дагмар затоптала окурки и взяла новую сигарету. Как Билли, подумал Отто. На набережной Темзы. Всего несколько дней назад и в другой галактике. Промелькнула сумасшедшая мысль: о Билли она тоже знает? Как-никак сотрудница Штази.

— Но я по-прежнему твоя самая большая любовь. Что ж, это мило, Оттси. Очень мило.

— Я хотел, чтобы ты знала. Про мое обещание. Больше я об этом не заговорю.

— Почему? Мне приятно.

— Все равно без толку.

— Вот как?

— Ничего же не изменилось. Ты выбрала Пауля. Он — твоя любовь.

Отто сообразил, что только сейчас вспомнил о брате. Ничего себе, как же так?

— Пауль? — невесело усмехнулась Дагмар.

Запрокинув голову, она смотрела в небо, затянутое серыми облаками в голубых оспинах. В полном безветрии сигаретный дым столбиком поднимался вверх. Дагмар перевела взгляд на Отто. Глаза ее влажно



блеснули.

Она хотела что-то сказать, но лишь вздохнула и снова затянулась сигаретой. Потом, словно собравшись с духом, выговорила:

— Ох, Отто... Я никогда не любила Пауля.

По щеке ее скатилась слеза.

Отто решил, что ослышался, но слезы ее, хлынувшие ручьем, отмели все сомнения.

— То есть как? — опешил Отто. — Что значит — не любила? Ты же сама сказала... на Ванзее... на берегу. Ты выбрала Пауля.

— Все верно. — Дагмар отвернулась. — Я его *выбрала*.

— Тогда о чем речь?

— Отто, Отто! Ты славный, ты честный. — Дагмар будто укоряла. — Как твой брат. Ох уж эти близнецы Штенгели! Я вас не заслужила. И всегда это знала. Но ведь я не заставляла вас влюбляться в меня.

— Дагмар, я не понимаю...

— Из вас двоих *умным* был Пауль. — Дагмар загасила окурок и взяла новую сигарету из пачки Отто. Руки их соприкоснулись. — Непонятно? Я выбрала *много* брата. Теперь понимаешь?

— Нет, — ответил Отто, хотя в голове что-то забрезжило.

— О любви я не думала. Для еврейки, заточенной в нацистском Берлине, любовь — непозволительная роскошь. *Мою мать сожгли живьем*. Я думала о том, как *выжить*. — Дагмар прикурила, собираясь с мыслями. — И придумала в ту ночь, когда ты меня спас. В Хрустальную ночь. Помнишь, что ты сказал, когда мы добрались до вашей квартиры? Я сидела на полу, прижав к себе обезьянку. Знаешь, она и сейчас цела. Ты сказал, что убьешь Гимmlера. В ответ на Ночь битого стекла. Ты всегда был такой. Мальчишкой принес мне пуговицы штурмовика. Пауль никогда такого не делал. Он был слишком умен, слишком расчетлив. Всегда все планировал. И в ту ночь он разработал план. Запретил идиотские мысли об убийствах. Тебе предстояло стать истинным нацистом и меня оберегать. План был хорош. Но я молчала, слушала и понимала, что исполнителем назначен не тот близнец. Здесь требовался расчетливый умник, а не безумец, который хочет убить Гимmlера. С тобой я бы вряд ли уцелела.

Отто выронил сигаретную пачку и нагнулся ее поднять. Мимо пробежали какие-то дети. Перед глазами мелькнули их ноги.

Мальчик гнался за девочкой.

Где-то вдали играл оркестр.

— Значит, ты еще тогда выбрала? В Хрустальную ночь? — Отто не узнал собственный голос. — И решила сказать Паулю, что любишь его?

— Не осуждай меня, Отто.

— И тогда же сказала? После моего ухода?

— Нет. — Голос Дагмар был напряжен, но ровен, будто с каждым словом правды ей становилось легче. — Пауль уже твердо определился: бежать в Англию, стать юристом, устроить будущее. Я понимала, что если хочу его заполучить, то действовать надо исподволь. Столько всего предстояло сделать, а времени оставалось всего ничего. Но бедняга догадывался, что я люблю тебя.

Далекий оркестр смолк. Послышались жидкие аплодисменты. Потом вновь грянула музыка. Марш. Как же им не надоест?

— А ты любила? — Отто сам удивился своей горячности. Значит, все же он победил? Маятник, к которому еще в детстве они с братом пригвоздили сердца, вновь качнулся в его сторону? — Ты любила меня?

— Ох, Отто, Отто... — устало выдохнула Дагмар. — Ты ведь уже не мальчик, ты мужчина. Как же ты не понимаешь? Никого из вас я не любила.

Отто дернулся как от удара. Похоже, и Дагмар оторопела от собственной искренности. От того, какую боль причиняет.

— Я понимаю, как это чудовищно звучит, — поспешно сказала она. — Я вас *обожала*. Уж это бесспорно. Чокнутых Штенгелей, влюбленных в меня. Но даже тогда мы все понимали: если б не Гитлер, не было бы и речи о взаимности. Мы жили в субботнем мире. Раз в неделю. Но в один прекрасный выходной я бы уехала. Далеко. За границу. И вышла бы за миллионера. Вроде папы.

Отто уставился себе под ноги.

— Вот и Зильке всегда так говорила.

— Не сомневаюсь, — усмехнулась Дагмар. — Но возник Гитлер, и я всего лишилась. Всего, кроме двух милых защитников. И безмерного желания *выжить*. Оно возникло в тридцать третьем. На тротуаре перед папиным магазином. И с тех пор не покидало меня.

— Ты украла у Пауля жизнь.

— Он меня хотел. И получил. Всю. Я не просила его любить меня.

— Но ты же сказала ему, что *любишь* его.

— Ну и что? — Голос Дагмар стал резким и пронзительным. — В глобальном масштабе не такая уж большая ложь. Чтобы выжить, я бы еще не то сделала. Пошла бы на *что угодно*. Изобразить влюбленность было несложно. Пауль — чудесный, красивый и добрый парень, которого я не стоила. Впрочем, если бы понадобилось, я бы его убила. Нацисты уже забрали маму и отца. Я была последней Фишер и черта с два бы им далась!

— Ты его и убила, Дагмар. Из-за тебя он не уехал в Англию, а погиб

под Москвой.

— Ну если тебе так нравится, я убила его и спасла тебя. Выходит — так на так.

— Я не просил меня спасать.

— Это уж твоё дело, Оттси. Вот почему ты был мне без надобности. Потому что вечно что-нибудь этакое ляпнешь. И ещё потому, что семнадцать лет вымучивал любовь к той, которая тебя отвергла. Мне был нужен... прагматик.

Отто встал и прошелся вокруг скамейки, пытаясь унять сумбур в мыслях и душе.

— В тот день на Ванзее... когда я убежал, а подонки из гитлерюгенда ещё не объявились... ты попросила его остаться? Уговорила махнутья со мной именами?

— Не валяй дурака, Оттси. Наверное, ты бы так и сделал, но я-то не глупее Пауля. Ты знаешь, как все было. Под дождем я его поцеловала и сказала, что люблю его, а не тебя. Люблю, но понимаю, что он должен уехать. И хочу, чтобы он уехал. Пусть он живет, а я медленно умру. Я знала, что этого хватит. Все остальное он сделает сам. Понимаешь, такой характер. Надо лишь подтолкнуть, и он все придумает. Так и вышло.

Опять мимо промчались дети. «Поймаешь меня — поцелуешь!» — хохотала девчушка. Будем надеяться, ты этого стоишь, подумал Отто.

— Ты рассказала ему? — спросил он. — Позже, когда вы вместе жили.

— Нет, конечно. Я не хотела причинять ему боль. Да и зачем? Он прекрасный человек. Говорю же, я его обожала. И потом, мне была нужна его преданность. Чтобы он как одержимый меня защищал. Зильке-то догадывалась. Наверное, с самого начала все поняла, потому и возненавидела меня. Знаешь, она тебя любила. Я забрала себе Пауля, а у нее украли тебя.

В голове Отто словно вспыхнула лампочка.

Зильке! Где она?

Зильке Краузе. По сведениям МИ-6, после войны она работала в Штази.

Зачем Дагмар вызвала его в Берлин? Ведь она его не любит. И никогда не любила. И сбегать, как выяснилось, не собирается.

— Зачем я здесь, Дагмар? — Голос его стал жестким.

— Не презирай меня, Отто. — Дагмар, похоже, удивилась перемене его тона. — Я этого не вынесу. Ну да, теперь ты меня разлюбишь. Мне очень жаль, потому что не всякой женщине выпадает столь долгая любовь такого хорошего человека. Пожалуйста, не надо меня ненавидеть.

Постарайся понять и сохрани ко мне добрые чувства. Люби меня хоть немного.

— Зачем? Что я должен понять? Зачем тебе моя любовь?

— Тебя не заставляли лизать тротуар и смотреть, как твоя мать давится грязью. — Дагмар будто умоляла. — Мне было всего *тринадцать*, Оттси.

— Весь мир корчился от боли, Дагмар. Каждый получил свою порцию.

Казалось, угроза потерять любовь Отто на миг изменила Дагмар, но теперь взгляд ее вновь стал жестким.

— О да, сейчас ты прав, — кивнула она. — Весь мир корчился от боли.

— Зачем я здесь?

— Ты сам знаешь, — холодно сказала Дагмар. — Пусть ты не такой умный, как Пауль, но все же не дурак. Тебя заманили. Я нужна вашим, а ты нужен нашим. Тебя хотят завербовать.

— И как же, Даг?

— Даг? — Она улыбнулась. — Давно меня так не называли.

— Шантаж, наверное. Обычные грязные штуки.

— Предполагалось, что я затащу тебя в постель. Вряд ли твоему начальству понравятся фотографии, на которых сотрудник министерства иностранных дел кувиркается с агентом Штази.

Отто чуть не рассмеялся. Всю жизнь он мечтал переспать с Дагмар. И вот до мечты рукой подать.

— Я отказалась, Оттси.

— Что ж, это утешает.

— Сказала, что выманю тебя, но грязную работу пусть делают сами. Им не привыкать.

— Меня опоят? Уложат в постель с парой голых кремлевских педиков? Соглашайся шпионить — или пошлем фото начальникам и в газеты?

— Да. Вроде того.

— Знаешь, мне больше нравится первый вариант, где грязную работу делаешь ты.

— Тебе так легче? Хочешь, чтобы я с тобой переспала? Изволь. Уж в такой-то малости не откажу.

Чистая любовь и беззаветная преданность разжалованы в утешительное соитие, которую восточногерманская секретная служба зафиксировала для последующего шантажа. Обхохочешься.

— Не презирай меня, Оттси, — повторила Дагмар.

— Расскажи, что было. В войну. С мамой. Паулем. Где Зильке?

## Немецкий герой

### Берлин и Россия, декабрь 1941 и январь 1942 г.

Опираясь на костыли, увечный солдат, лишившийся обмороженной ступни, вскарабкался на крыльцо и позвонил в квартиру Пауля Штенгеля. За подкладкой его фуражки хранилось письмо погибшего товарища, которое он жизнью своей поклялся доставить или уничтожить.

— Пауль был прекрасный человек, — сказал он, передав письмо Зильке. — И честный солдат.

Был конец января. Похоронка на Пауля пришла сразу после Рождества. Последнее письмо было написано шестого декабря 1941 года.

*Дорогая мама, любимая Дагмар,*

*Мороз минус сорок, мы застряли на подступах к Москве. Иван нас все же остановил, и теперь германская армия просто борется за выживание.*

*Нас призывают проявить выдержку, обещая, что в будущем году мы снова начнем наступление. Может быть. Но уже без меня.*

*Два последних года я строил из себя рьяного гитлеровца, чтобы служить опорой вам.*

*Но сейчас я вынужден изменить свой план. Зло, которому я стал свидетелем за полгода русской кампании, не оставляет мне выбора. Лишь Сатана мог замыслить то, что творится здесь во имя Германии.*

*И все же я считаю за благо гнить в окопах на передовой. Пусть здесь крошечный ад и бездонный ужас, но это лучше, нежели видеть то, что происходит в нашем тылу.*

*Дорогие мои, вам не представить этот кошмар. Слово «опустошение» не вмещает в себя убийства, разор и безграничную жестокость на захваченных нами землях.*

*Но даже этого мало прожорливой твари, в которую превратилась Германия. Я не преувеличиваю,*

говоря, что каратели СС озабочены одним — умерщвление людей идет слишком медленно. Они ищут способы поставить убийство на поток.

Слаб язык человеческий. Сам Гете не нашел бы слов, чтобы описать эту беспримерную, извращенную бойню.

А потому я решил, что больше не могу служить в этой армии. Даже любовь к вам не может оправдать дальнейшее мое пребывание в дьявольской орде, развязавшей такую войну.

С убогими и беззащитными. Со старыми и немощными. С младенцами и малолетними детьми. С человечеством.

План мой меняется. Я пойду к командиру и вызовусь на разведку советских позиций. На гиблое дело.

И постараюсь, чтобы осечки не произошло.

В глазах страны я приму почетную и даже героическую смерть, которая обеспечит Зильке правами, пенсией и почтением к вдове военного. Надеюсь, тогда наша моабитская квартира и дальше будет служить убежищем для Дагмар, моей единственной в жизни любви, а потом и для мамы, когда настанет время спрятать и ее.

На прощанье скажу: вопреки ужасному мраку, в котором все мы живем, я умираю счастливым. Потому что был хорошим сыном своим родителям и хоть в малой мере заслужил любовь Дагмар.

Эта любовь — высшее достижение в моей жизни.

До свиданья, мама. Твой сын.

До свиданья, Дагмар. Твой верный и любящий муж.

## Парковая скамья

### Берлин, 1956 г.

— Фрида к нам так и не переехала, — сказала Дагмар. — Мол, подполье не для нее, она умрет со своими пациентами.

— Да, узнаю маму, — глухо откликнулся Отто.

Он думал о смерти, что выпала брату. На фронте и ему доводилось вжиматься в землю, выглядывая вражеские тени. Но то была другая война... Сорокаградусный мороз. Ничейная земля на позициях двух самых беспощадных армий, какие только являлись на свет. Желание жить растоптано, и ты встаешь навстречу избавительной пуле.

Убили одним выстрелом? Срезали силуэт на фоне морозного ночного неба?

Или долго истязали плененного приспешника сатаны?

Знать не дано. Крохотное утешение — брат сам выбрал, когда покинуть этот мир.

Умер, как и жил, по плану.

Они так и сидели на парковой скамье. Странно, думал Отто. Он ждал, что вот-вот появятся агенты Штази и запихнут его в полицейскую машину.

Но никого не было. Лишь по дорожкам бегали дети, вдалеке наяривал оркестр.

Кучка окурков росла.

Из чемоданчика Отто достал новую пачку сигарет. В Хитроу он купил два блока.

Может и не хватить, подумал он.

— Когда начались последние облавы, а Фрида отказалась уходить в подполье, Зильке решила спрятать в нашей квартире других евреев, — рассказывала Дагмар. — Дескать, ради несчастных бедолаг можно и потесниться. Из-за этого мы жутко ссорились.

— Ты была против?

— А чему ты удивляешься? Нет, скажи, с чего вдруг мне тесниться? Всякая «субмарина» — прокаженная, кошмарная опасность для себя и других. Вечная угроза ареста. И предательства. Да, уж поверь, предательства. Голодные собаки рвут друг друга. Если б Зильке привела хоть одну «субмарины», риск попасться удвоился бы, а провиант уполовинился. Пойми, наступал финал. Для немцев и евреев. Нацисты не могли одолеть Ивана и искали, на ком отыграться. Конечно, на евреях.

Вынесли Окончательное Решение. После введения «желтой звезды» спрятаться было негде, если не имел такого ангела-хранителя, как у меня. Гестапо приступило к систематической очистке Германии от евреев. Рассылались повестки с приказом явиться на вокзал. Иногда без всяких повесток людей просто выдергивали из постели. Твоих деда с бабкой увезли в ноябре сорок второго. Пришла повестка: в такое-то время быть на вокзале, каждому разрешено взять маленький чемодан. Конечно, они подчинились. Все подчинялись. Им говорили, что на Востоке их ждут новые дома, целые города. Люди верили, хотели верить. Даже после всего, что с ними сотворили, они не могли воспринять немислимое. Осознать, что в конце пути им уготованы не новые дома, а газовые камеры. Товарные вагоны набивали битком, и люди испражнялись друг на друга. В железнодорожных тупиках они умирали от удушья и обезвоживания. Сквозь решетки выбрасывали на рельсы трупы умерших младенцев. И все равно не верили, что нацисты намерены убить всех. Вот почему я могу понять тех немцев, которые говорят, что ничего об этом не знали. Если уж сами евреи не верили в то, что с ними происходит, как могли поверить те, кому и без евреев забот хватало?

Отто не интересовало, знали немцы или нет.

— Что было с мамой? Когда ее увезли?

— Она еще продержалась несколько месяцев. Вскоре после гибели Пауля у нее отобрали квартиру. Накрылся дурацкий языковой кружок, где старые евреи по-английски стенали, что им не продают мыло и запрещают звонить из телефонных будок.

— Мама организовала кружок? — улыбнулся Отто.

— И еще кучу всякого. Носилась по всему городу. Пешком, потому как в трамваи евреев не пускали, а велосипеды у них забрали. Будто лично хотела помочь каждому бедолаге. Наверное, этим так долго и спасалась. Нацисты кое-что соображали. Паника и бунты им были вовсе ни к чему. Они до последнего поощряли инициативность евреев. Фрида получила место в так называемой Еврейской больнице, которую гестапо еще не прикрыло. Понимаешь, они делали все, чтобы евреи сами себя уколошили: лгали, запутывали, сбивали с толку. Больница — часть этого плана. Люди спокойнее воспринимали повестки на отъезд. Раз уж в Берлине существует Еврейская больница, значит, и на Востоке приготовлены новые дома.

Отто кое-что знал о тактике нацистов.

— Мама работала в Еврейской больнице?

— Говорю же, больница — одно название. Скорее уж склеп. Ни оборудования, ни денег. Только для метисов и евреек, чьи мужья-немцы



были на фронте. Если те погибали, их вдовы теряли свой особый статус и прямым отправлялись в лагерь смерти. Похоронка и приговор на одном бланке. Вот такой вот мрачный юмор.

История придавила тяжким гнетом. И Дагмар будто хотела поделиться неподъемной ношей. Но Отто вернул ее к теме:

— Что стало с мамой?

## Еврейская больница

### Берлин, 1943 г.

В январе 1943 года вермахт проиграл Сталинградскую битву, что определило судьбу Третьего рейха. В ответ на катастрофу Йозеф Геббельс пообещал ко дню рождения Гитлера полностью очистить Берлин от евреев.

Союзнические бомбежки весьма напрягали, но полицейские власти твердо решили исполнить обещание рейхсминистра.

В феврале 1943 года гестапо приступило к последней массовой акции против берлинских евреев. Полицейские отряды, усиленные СС, рассыпались по всему городу. Вдребезги разносили окна, кувалдами крушили стены, ломami сбивали замки. Врывались в дома и конторы. Обыскивали бомбоубежища, канализацию, коллекторы. Работая по поименным спискам и доносам кучки евреев-осведомителей, вылавливали последние шесть-семь тысяч иудеев, еще обитавших в городе. Улов тотчас отправляли в «пересылочный пункт» на Леветцовштрассе. В давке люди томились без воды и туалета. На сей раз нацисты обошлись без официальных повесток. Хватали всех, кто попадался под руку, разлучая детей с родителями, мужей с женами. Утешительная липа, предписывавшая с собой взять «рабочую обувь, две пары носков, две пары исподнего и пр.», канула в прошлое. Теперь в Берлине применялась тактика, наработанная в Польше и Украине.

Метисов и горстку привилегированных сотрудников так называемой Еврейской больницы пока не тронули. Фрида была в их числе, но вопреки своему особому статусу в тот февральский день решила, что настало время воссоединиться с любимыми мужем и сыном.

Все вышло случайно. Фрида надумала пройтись по обледенелым улицам, чтобы чуть-чуть передохнуть от нескончаемой работы.

Нагрудная желтая звезда тотчас привлекла к ней внимание. Полицейский с дубинкой в запекшейся крови, ошметках кожи и волос приказал ей залезть в фургон.

Фрида показала свои особые документы. Бумаги были в полном порядке, ее отпустили. Поняв, что идет беспорядочная облава, она бегом кинулась обратно в больницу.

Однако вновь встретила полицейскую машину, на сей раз открытый грузовик. Он стоял перед еврейским детсадом. Солдаты выволокли десятка два детей от трех до восьми лет и принялись забрасывать их в грузовик.

Пожилая женщина — вероятно, воспитательница — пыталась их остановить. Дети цеплялись за нее, плакали. Некоторые со страху описались.

Солдат подтолкнул женщину к грузовику, но та развернулась и вlepила ему пощечину. На миг оба обомлели. Но лишь на миг. Солдат выхватил пистолет и выстрелил в старуху. Затем вместе с напарником забросил труп в кузов к плачущим детям.

Фрида стояла на тротуаре. Она поняла, что теперь дети остаток своей недолгой жизни проведут в бездонном кошмаре. Никто их не утешит, не защитит.

— Мама! Мамочка! Мама! — Разверстые рты превратили детские лица в гротескные маски ужаса.

Взревевший двигатель почти заглушил плач. Два солдата сели в кабину, один вскочил на подножку.

Малыш, привстав в кузове, потянулся к нему ручонками. Он по-детски верил, что все большие — хорошие. Заплаканный, обсопливленный малыш. Солдат брезгливо сморщился и отпихнул ребенка. Мальчик упал на мертвую воспитательницу.

Дети зашлись плачем.

— Мама! Мамочка! Мама!

— Заткнитесь, жидовские гаденыши! — орали солдаты. — Мозги вышибем!

Жестокость была их панцирем. Безусые юнцы толстой стеной отгородились от своей прогнившей совести. Стеной, которую их вожди называли «силой».

Но дети еще не умели заткнуться. Еще не научились рабской покорности.

И оттого звали маму.

Фрида их слышала.

Мама? Ведь это она. С двадцатого года так звали ее.

Она — мать.

И теперь — мать разом двадцати приемшей.

— Стойте! — крикнула она солдату, закрывавшему кузов. — Видите, у меня звезда! Я еврейка. Заберите меня! Я успокою детей.

## Продолжение разговора в парке Берлин, 1956 г.

— Зильке потом от кого-то узнала, как все было, — сказала Дагмар. — Фрида забралась в грузовик. Не могла смириться с тем, что в последние часы своих коротких жизней дети останутся без утешения и любви. И на прощанье отдала им свою нежность. В кузове Фрида обняла малышей. Дети облепили ее, словно пчелы цветов. Грузовик тронулся. Твоя мама стала напевать «Коник скок-скок».

По щекам Отто катились слезы.

— Так она пела нам с Паулем, — выговорил он. — Прямо слышу ее голос.

— Фрида, как всегда, сотворила чудо. Говорят, когда грузовик подъехал к станции, дети ей подпевали. Вместе с сотней других обреченных их загнали в вагон для скота, а они все пели — коник скок-скок, коник скок-скок... В тот же день их отправили в Дахау. Наверное, и в газовую камеру они шли с песенкой.

Отто безудержно плакал. Любимая мама. До конца отважная.

Жила и умерла маяком доброты в больном и страшном мире.

— И остались только мы, — сказала Дагмар. — Я и Зильке.

Голос ее казался далеким. Отто чувствовал, что ей нужно выговориться.

— Жили в квартире Пауля и, конечно, беспрестанно собачились. Два таких разных человека, мы никогда не смогли бы ужиться. Зильке пыталась наладить связи с подпольем. Представляешь? Мол, статус военной вдовы — отличное прикрытие для сотрудничества с коммунистами. Вошла в «Красную капеллу». Слышал про нее, наверное?

— Да, слышал. — Отто высморкался и взял себя в руки. — Коммунистическое Сопротивление.

— Я предупредила: если из-за нее меня схватят, я выдам к чертовой матери ее саму и ее идиотских дружков. Квартира — моя крепость, мне ее выстроил Пауль. Потому что любил. Меня. А не каких-то краснопузых лицемеров.

Голос ее резал слух.

Невероятно.

Тот самый голос, что раньше звучал музыкой. Тот голос, ради которого Отто рвал из рук брата телефонную трубку, дождавшись по часам

отмеренной очереди и боясь пропустить хоть единый звук.

А сейчас этот голос скрежетал.

— Пауль любил тебя, но лишь потому, что ты его обманула. — Отто сам не ожидал, что выйдет так грубо.

— Чушь собачья! Он любил меня, потому что любил. Точка. Как, кстати, и ты. Я вам не навязывалась, нечего изображать из себя жертву. Чокнутые братья Штенгель отдали мне свои жизни, потому что сами так захотели. И потом, свою часть сделки я выполнила. Недолгое время, что было отпущено Паулю, мы жили как муж и жена. Он получил то, о чем мечтал.

— Ну трахалась ты с ним, и что?

— Я принадлежала ему, и не смей говорить, что это было без любви! Пауль умер с верой в мою любовь, как и хотел.

— Он вообще не хотел умирать!

— Да? Он всегда говорил, что ему легче умереть с моей любовью, чем жить без нее. А ты-то сам, а? Как тебе дались последние семнадцать лет? Кто бы мог подумать, что ты превратишься в конторскую крысу? Ты же мечтал быть рыцарем в доспехах! Что, не хочешь быть рыцарем? Думаю, хочешь.

Отто оторопел. Дагмар всегда умела взять верх. *Конторская крыса.*

Она видела его насквозь.

— Прости, — тихо сказал он. — Наверное, я не вправе тебя осуждать.

— Никто не вправе меня осуждать за что бы то ни было. После того, что Гитлер со мной сотворил.

Дагмар встала. Закурила уже бесчисленную сигарету. Руки ее дрожали.

Слова ее и запальчивость вернули Отто к действительности.

— А где Зильке? — спросил он.

Дагмар на него взглянула. С силой выдохнула дым.

— Господи боже мой! Ты не понял, что ли? Паули догадался бы еще в аэропорту. Я и есть Зильке.

## Охотница на евреев

Берлин, 1945 г.

Всякий раз, когда ожидался приход друзей Зильке, коммунистов-нелегалов, атмосфера в квартире накалялась.

Дагмар их ненавидела со всем пылом истинного консерватора. Не только потому, что визиты коммунистов были опасны, но и по идеологическим мотивам. Она ненавидела их в память об отце. А еще потому, что считала их лицемерными болванами, скопищем эгоистов и фантазеров, которые выставляют себя на посмешище: за голым кухонным столом с единственной свечой заводят теоретические дебаты и строят грандиозные планы будущего правительства, торжественно салютуя сжатым кулаком.

Зильке же свято верила, что вместе с кучкой небритых заговорщиков вносит свой вклад в разгром нацизма. Мол, наступающая Красная армия получает от них информацию о действиях гестапо и вермахта.

Но Дагмар ни секунды не верила, что жалкие усилия коммунистов хоть как-то повлияют на исход войны. Наоборот, она была убеждена, что все эти ячейки возникли исключительно в шкурных интересах.

— Ясно, чем ты занята, — сказала Дагмар, когда Зильке известила ее об очередном собрании «Капеллы». — Обустройстваешь свое послевоенное гнездышко. Зарабатываешь очки. Нацисты сгинут, и вы с дружками тотчас рванете во власть, — после отречения кайзера было то же самое. Побежите встречать Красную армию. Будете размахивать шифровками и партбилетами: «Товарищи! Мы — хорошие немцы! Это мы слали вам сообщения!» И получите тепленькие местечки. Знаю я вас, коммуняк. Не зря папа вас взашей гнал.

— Можешь не верить, но не у всех одни шкурные интересы.

— Ха! Таких шкурников еще поискать! Всех учите, как им угробить свою жизнь, а кто не слушает — того к стенке.

Приближался час собрания, и Дагмар, как всегда, ушла в свою комнату. Но вдруг почувствовала, что больше не может сидеть в четырех стенах, где безвылазно торчала уже два года. После смерти мужа Зильке утратила право иметь служанку. Власти потребовали, чтобы украинка Богуслава, на которую Штенгели получали карточки, вернулась на рабочую биржу. Зильке пришлось заявить, что служанка сбежала, и Дагмар взаправду стала безликой «субмариной», в сумраке прозябавшей на крохи,

которыми в память о Пауле делилась с ней соседка.

— Не вздумай уйти! — сказала Зильке. — Рехнулась, что ли? А если остановят!

— Нет уж, уйду, а то и впрямь свихнусь. Та к и так скоро конец войне. Твоя героическая Красная армия уже в Восточной Пруссии, и через месяц все мы станем коммунистами.

— Очень надеюсь, — огрызнулась Зильке.

— Ну и прекрасно. Мне уже не терпится надеть телогрейку и вкалывать в колхозе. Однако напоследок обуржуазюсь. Причешусь, подмажусь и в туфельках прошвырнусь по улицам.

— Господи, дома-то безопасно! Зачем рисковать?

— Затем, что хочу почувствовать себя человеком!

— Не ори! — прошипела Зильке. — Не забывай, тебя здесь нет.

— Тебе-то хорошо! — лишь чуть-чуть тише сказала Дагмар. — У тебя есть твоя дурацкая политика. А у меня что? Ничего! Двенадцать сраных лет — ничего!

— У тебя были Пауль и Отто! — закричала Зильке, забыв о собственном предупреждении.

— Да отстань ты со своими близнецами! — раздраженно отмахнулась Дагмар. — Да, да, они меня любили. И что теперь — сомлеть от благодарности? Они любили *меня*. Не тебя. Извини. Конечно, при коммунистах ты бы заставила их в тебя влюбиться, но твоя долбаная революция маленько припоздала. Пауль погиб, Отто уехал!

— Ну ты и сука! — Глаза Зильке налились слезами. — Прямо сволочная сука!

— Очнись, Зилк. Я иду гулять. Если ты не полная дура, пошли вместе. Здесь мы обе сбрендим. Надеюсь, в Тиргартене еще остались кафе. Выпью чашечку какого-нибудь дерьма и хоть на часок вообразу себя человеком, а не жертвой нацизма. Ты идешь?

— Нет, конечно. У меня собрание.

— Ну пока.

Вот прическа-то с макияжем ее и сгубили. Останься она служанкой Богуславой в балахоне, косынке и фартуке, никто бы ее не заметил. Но Дагмар Фишер привыкла, чтобы ей смотрели вслед, даже нынешней — бледной и исхудавшей. Ей это нравилось. Она нежилась под оценивающими взглядами изможденных солдат, следуя давнему совету Пауля: держись нагло, и никто не полезет с вопросами. Хватают тех, кто жметя к стене.

Дагмар чувствовала себя в безопасности. Ну какой ариец узнает в ней

наследницу еврейских капиталов, якобы покончившую с собой еще в тридцать девятом?

Но красавицу, которая, притягивая восхищенные взгляды, на мощеной аллее Тиргартена угощалась скверным желудевым кофе, узнал не ариец.

Ее узнала еврейка.

— Привет, Дагмар, — сказал чей-то голос. — Надеюсь, ты меня помнишь?

Дагмар обернулась и похолодела. Ей улыбалась красивая молодая женщина. Ее ровесница. Еще одна еврейская принцесса, исчезнувшая в тридцатых. Блондинистая версия самой Дагмар. Но имя ее наводило ужас на всех берлинских «субмарин». Стелла Кюблер, <sup>[78]</sup> охотница на евреев.

Изящная соломенная блондинка с арийской внешностью, она покупала себе каждый день жизни доносами и предательством.

В гестапо ее прозвали «белокурой отравой».

— Я вас не знаю, — на ломаном немецком проямлила Дагмар. — Моя венгерский. Служанка.

— Да ладно тебе, — усмехнулась охотница. — Игра окончена. На скольких вечеринках мы с тобой побывали. Потом нас вместе поперли из бассейна. Я даже была на вашем прощальном ужине в «Кемпински». Все гадала, где ты объявишься. Уж я-то не поверила в байку о самоубийстве. Только не Дагмар Фишер. Классно выглядишь, ей-богу. Как тебе удастся?

За спиной зловецей красавицы маячили двое в плащах и хомбургах. Они шагнули вперед и скрутили Дагмар.

Прятки закончились. И вот она пленница гестапо.



## Меж Рапунцель и Красной Шапочкой Берлин, 1956 г.

— Да, я слышал о Стелле Кюблер, — сказал Отто. — Кажется, ей дали десять лет?

— Верно, но она уже отсидела и дернула на Запад, — ответила Дагмар. — Надеюсь, кто-нибудь перережет ей глотку. Хотя не мне говорить. Пусть я не выдала две тысячи евреев, но...

— Ты выдала Зильке, — за нее договорил Отто.

Они бродили по парку, и ноги сами привели их в «Волшебную страну» со ста шестью сказочными персонажами. От воспоминаний о красивой беспечной девчужке, носившейся меж скульптур, щемило сердце. Она околдовывала сильнее любого сказочного существа. Хохотунья нарочно давала себя поймать меж Рапунцель и Красной Шапочкой.

Теперь это другой человек. Лишь оболочка прежняя.

— Да, выдала, — холодно сказала Дагмар, уставившись в каменное изваяние Златовласки. — Либо я, либо она — вот и весь выбор. Уже никто не строил иллюзий о том, куда везут нацистские эшелоны. Би-би-си два года об этом твердило. Арест означал смерть. Меня арестовали.

Она присела на постамент Рапунцель и усмехнулась:

— Помнишь догонялки за поцелуй?

— Конечно, помню. Ты, я и Пауль. И Зильке. Она была с нами.

— Да уж куда она денется, — с наигранным равнодушием буркнула Дагмар. — Все, бывало, куксилась. Бешено завидовала, что ловят меня.

— Что было потом?

— Неизбежное. Меня арестовали, и я предложила сделку. Многие на это шли. Пытались выторговать жизнь за чужой счет. Нет, встречались и герои, только их было гораздо меньше тех, кто сейчас бьет себя в грудь.

— Расскажи, что произошло.

— В отличие от многих у меня было что предложить. Если отпустите, сказала я, выдам ячейку «Красной капеллы». От радости они прямо ошалели. Чего им нейметса? — думала я. Русские у ворот, война вот-вот кончится, а они все гоняются за коммунистами и евреями. Точно курица, которой отрубили голову, а она еще бежит по двору. Меня отвезли в управление, задали кучу вопросов и заполнили кучу бумаг. Бумаги! Берлин горит, а они пишут бумаги — в трех экземплярах с двумя печатями. Я обещала указать коммунистов, у которых пряталась. И опознать других,

если меня отпустят. Хоть на поводке. Они согласились, и я привела их к нашей квартире. Из-за угла смотрела, как выволакивают Зильке и трех ее дружков. Помню, Зильке кричала: «Вся власть Советам!» Представляешь? Прямо как в русской киноагитке. Потеха. Арестованных увезли, я осталась с одним полицейским. Уже приготовилась его соблазнить, но тут начался налет. Точнее, возобновился. Бомбили беспрестанно: американцы — днем, англичане — ночью. Легавый рванул в убежище, я вроде как следом. Но потихоньку отстала. В городе бедлам — сыплются бомбы, летят русские снаряды. Ну вот, а после налета я оказалась одна. Вернулась в квартиру. Просто чудо, что она уцелела во всех бомбежках. Идти мне было некуда, а там оставалась кое-какая еда. В последние дни войны ради еды ты бы даже в пекло полез. Переночевала. Впервые одна во всей квартире. Мне было хорошо. Пусто. Никого. Только я и обезьянка, которую ты тогда спас. Пожалуйста, сядь со мной, Отт. Тяжело говорить.

Отто подсел на постамент Рапунцель. Через тропу им улыбалась Белоснежка.

## Вдвоем

### Берлин, 1945 г.

Дагмар хорошо выпалась. Потянулась, зевнула, помечтала о ванне, но драгоценной воды хватало лишь на питье.

На дождевой воде, собранной в жестяную банку, заварила травяной чай. Как ни странно, газовая плита работала. Кое-какие ошметки городского хозяйства функционировали до самого конца. Но поди угадай, какие именно. Дагмар залила чайник кипятком, и тут хлопнула входная дверь.

Дагмар в ужасе замерла. Ну вот, все кончено. Гестапо. Ее расстреляют или превратят в Стеллу Кюблер. «Отраву», что живет предательством и убийством.

Но то была не полиция.

Зильке.

Дагмар вновь окатило страхом. Наверняка Зильке знает о предательстве. Следом заявятся ее дружки с ножами и дубинками. Коммунисты не ведают жалости.

Но Зильке бросилась обниматься.

— Нас взяли, — бормотала она. — Слава богу, что ты ушла! А я-то тебя отговаривала!

— Что случилось? Я гуляла, потом торчала в убежище. Вернулась — тебя нет.

— О нас как-то пронюхали. Я знала, что этим кончится. За все годы взяли столько наших.

— Но ты опять на свободе?

С волос Зильке сыпалась труха, одежда ее была в известке. Дагмар догадывалась, что произошло, но решила дождаться рассказа.

— Англичане выручили. — Зильке усмехнулась и сплюнула песок, хрустевший на зубах. — Королевские военно-воздушные силы.

«Конечно, ты бы хотела, чтоб это были русские», — про себя съязвила Дагмар.

— Полицейский участок разбомбило, за меня даже не успели взяться. Спасло, что посадили в отдельную камеру. Всех мужиков убило, а меня нет. Не знаю, что стало с гестаповцами. Может, их тоже накрыло, может, сиганули в убежище, не знаю. Меня оглушило, а когда очнулась — я одна, вокруг куча трупов. Никаких спасателей. Может, позже подъехали, но вряд

ли. Короче, я не стала никого дожидаться. Выбралась из развалин и бегом домой. Тут у меня кое-что припрятано. Скоро понадобится.

— Наверняка квартиру обшарили, когда вас брали, — сказала Дагмар. — Думаешь, что-то осталось?

Зильке прошла в кухоньку, выключила газ и отодвинула плиту от стены. Из неоштукатуренной стены вынула кирпич, за которым открылся тайник с какими-то бумагами и книжицей.

— Документы «Капеллы», — объяснила она. — Надо куда-нибудь перепрятать.

— Погоди, Зилк. Выпей чаю.

— Гестапо может нагряться.

Дагмар глянула на часы. Время шло к полудню.

— Вряд ли. Наверное, их убило. Или угомонились наконец.

Зильке села к столу. Выпили чаю, перекусили, поговорили.

Гестапо не появилось.

Зильке решила вздремнуть.

— А то голова кружится, — сказала она и ушла к себе.

Дагмар осталась в кухне. Задумалась.

Зильке забрали в тот же полицейский участок? Вполне вероятно. Если так, то налет, возможно, уничтожил и протокол допроса, в котором она, Дагмар, выдала «Красную капеллу».

Возможно. Но не точно.

Она не знает, в каком участке ее держали. Туда и обратно везли в глухом фургоне. Значит, есть немалая вероятность, что где-то существует полицейский протокол, в котором четко зафиксировано: в конце войны Дагмар Фишер была арестована и выдала коммунистическую ячейку.

А русские на подходе.

Что делать? — думала Дагмар.

Время перевалило за полдень.

Тень ее переползла с пола на стену.

Вошла Зильке. Недоуменно огляделась.

Наверное, ее разбудил странный шум. Не похожий на все иные шумы, каких за последние годы наслушался город. Басовитый лязгающий рокот.

Девушки выглянули в окно и увидели нечто новое, вполне под стать новому шуму. Русский танк.

От радости Зильке истошно завопила.

— Они пришли! — Она сграбастала Дагмар и закружила ее по комнате. — Конец! Мы свободны!

## В саду невинности

### Берлин, 1956 г.

— Бедная Зильке. — Голос Дагмар был безжизненно тускл, взгляд потух. — Она так обрадовалась этому танку. От счастья плясала. Вместо флага в окно вывесила красное одеяло и кричала солдатам. С этого чертова флага все и началось. Женщины, кому хватило мозгов, схоронились в подвалах, забаррикадировались на чердаках, а дура Зильке сама зазывала этих тварей. Милости просим, ребята. Тут две молодые бабы.

Дагмар подошла к питьевому фонтанчику и припала к струе. От долгого рассказа пересохло в горле.

Отто вспомнил о своей фляжке. Оба сделали по глотку. Дагмар передернуло — то ли от спиртного, то ли от воспоминаний.

— Все рассказы о том, что в Берлине сорок пятого творили с немками, — чистая правда. И даже не вся правда. — Дагмар осипла. — Насиловали всех. Русские солдаты охотились за женщинами, как нацисты — за евреями. Вышибали двери, ослепляли фонариками, рыскали по укромным уголкам. Если не находили девушек, насиловали их матерей. Мы с Зильке были среди первых жертв. Вместе через это прошли. Сестры по несчастью. Солдаты, которым она махала, ошалели от своей удачи. Сразу две девицы, отличная квартира с кроватями и все такое. Готовый гарем — одна блондинка, другая брюнетка. Как сказали бы ваши американские друзья, мы закрыли все бейсбольные базы.

Она безуспешно попыталась усмехнуться. Снова глотнула из фляжки. Закашлялась, но решимость вернулась. Дагмар продолжила рассказ:

— В чудесной квартире, купленной Паулем, мы стали наложницами. С нами делали что хотели, а когда надоедало, за водку и табак сдавали в пользование другим солдатам. Русские устроились по-домашнему. Повоюют — и обратно к своим рабыням. Драли обеих. Иногда прямо в одной комнате, иногда в разных. Наверное, в чем-то Зильке было хуже, чем мне. Она распрощалась с иллюзией. Для нее-то эти солдаты были светлой надеждой. Будущей жизнью. Она распахнула им двери, а они ввалились и стали срывать с нее одежду. С меня тоже. С ходу. Зильке пыталась показать им свой партбилет. Но они не понимали немецкого, и потом, им было плевать. И на шифровки и справки о членстве в «Красной капелле», что хранились за газовой плитой, — тоже. Оголодавшие мужики хотели бабьего мяса и больше ничего. Если б ей удалось вырваться из квартиры,

отыскать офицера или кого-нибудь, кто понимал по-немецки, может, и обошлось бы. Говорят, среди них встречались приличные люди. Но ловушка захлопнулась.

— Ты сказала, что ты еврейка?

— Попыталась, но либо им было все равно, либо не поверили. Все евреи, которых они видели, смахивали на скелеты.

Отто открыл чемоданчик и достал третью пачку сигарет. Неужели они выкурили каждый по пачке?

— Чем все кончилось? — спросил он.

— Потом они обленились и перестали нас связывать. Мы стали им вроде как жены. Военно-полевые, конечно, но все-таки жены. Они приносили нам шоколад, один даже поставил в вазу бумажные цветы — сам смастерил. Однако потом отложил цветную бумагу и ножницы и завалил меня в койку — подошла его очередь. Понимаешь, они считали нас своим трофеем. Мол, после всего, что немцы натворили в России, мы не вправе жаловаться. Однажды Зильке не выдержала. Пьяный солдат уснул прямо на ней и храпел ей в лицо. От них всегда жутко воняло. Луком и гнилыми зубами. Зильке вылезла из-под него, подкралась к стулу, на который он бросил ремень, и взяла его пистолет. Другой отрубившийся русский лежал рядом со мной. Зильке оделась. Так и стоит перед глазами: лунный свет, белое тело в черных синяках — был там один любитель тискать грудь. Я не знала, что она задумала, а Зильке глядела на меня, приложив палец к губам. Но так ничего и не вышло. Ввалились еще двое русских, совсем мальчишки, которым не терпелось получить свое. Дуреха наставила на них пистолет, но не смогла спустить курок. Она всегда была доброй девочкой. И те ее пристрелили. На месте. Не знаю, что они сделали с трупом. Наверное, просто выкинули. Весь Берлин был завален мертвецами. Вот так нашла свой конец Зильке Краузе, благородный член-основатель Субботнего клуба.

Отто хотел что-нибудь сказать, но не нашел подходящих слов. В утешение предложил очередную сигарету.

— Ей бы чуть-чуть потерпеть, — вздохнула Дагмар. — Через пару дней все закончилось. Правда, мне было тяжело: отработывала за двоих. А потом солдаты исчезли. Просто ушли и не вернулись. Видимо, Москва решила, что хорошего помаленьку, и прислала НКВД восстанавливать дисциплину. Ты не поверишь, но солдаты оставили мне продуктовый паек и бутылку водки. Вознаграждение, так сказать. Видно, решили, этого хватит немке, которую две недели насиловали скопом. Да, и еще триппер. Спасибо Господу за пенициллин. Вообще-то я их понимаю. Мужланы.

После того, что нацисты вытворяли на Востоке, кто осудит мужиков за желание отыграться на немках?

— Ты осталась одна?

— Да, совсем одна. Знаешь, о чем я думала?

— Нет.

— Я себя спрашивала: как поступил бы Пауль?

Отто рассмеялся. Дагмар тоже, но их смех был печальнее плача.

— Он бы разработал план, — сказал Отто.

— Именно. Требовался план. Весь Берлин под русскими. Союзники еще не подоспели. Германия еще не капитулировала. Я совсем одна, голодная. И я боялась.

— Солдат?

— Нет, это был пройденный этап. Боялась, что выплывет, как я предала Зильке и ее товарищей. Я же не знала, кто из них выжил, кто нет. Вдруг кто-нибудь видел меня в участке? А там протокол допроса. Он сгорел? Или нет? Наверняка-то я не знала. Ни помощи, ни защиты. Русские не жаловали евреев и дочек миллионеров. Я одна, очумелая от голода и многодневного изнасилования. Нужно раздобыть еду и какую-нибудь защиту. Дагмар Фишер от Советов ничего не получит, а вот Зильке Штенгель — может. Кроме того, в гестаповских бумагах она числится не предателем, но героем «Красной капеллы». Значит, те два красноармейца застрелили другую девушку.

— Ну ты даешь! — изумился Отто. — Это ж надо!

— Зато живая. В квартире я отыскала бумаги, которые бедняга Зильке пыталась показать солдатам. Собрала раскиданные шифровки «Красной капеллы». Нашла даже ее довоенный партбилет. Все необходимое, чтобы стать героиней-коммунисткой. Я понимала, что не сильно рискую. Отчим Зильке наверняка погиб, мать, если и жива, уехала в родную деревню. Зильке рассказывала, что в «Капелле» действовала система ячеек. В лицо ее знали только товарищи по группе, а их убила английская бомба. Ну вот, прихорошилась я и двинула к красноармейскому начальству. Потребовала одежду, паек и статус, достойный ветерана Германской компартии. То есть по правилу Пауля — держись нагло. Как я и думала, немецкие красные были в цене. Меня сразу направили к члену КПГ, только что прилетевшему из Москвы. Прибыла целая команда, которой надлежало возродить немецкую компартию и посадить своих людей на ключевые посты, пока Запад не прочухался. Удивительно, но мужик этот знал Зильке. Он был ее московским куратором, когда девчонкой она отправляла сообщения, спрятанные в женские журналы.

Отто прикрыл глаза. Вспомнил долгую поездку на велосипедах. И радостную золотоволосую девочку, с которой под ночным небом лежал на берегу ручья. Она рассказывала о «Красной помощи». Двадцать один год назад.

Старина Зильке.

Бедная Зильке.

— Конечно, он никогда ее не видел, — продолжала Дагмар, — но мужик — он и есть мужик, воображал ее таким персиком и жутко обрадовался, не обманувшись в ожиданиях. В тот же вечер я с ним переспала, и он озаботился, чтобы я получила новый партбилет и чин, соответствующий моему давнему героическому служению коммунизму.

Отто глянул в темневшее небо.

Смеркалось. От виски побаливала голова. Та к много всего. Да еще перекурил. Но история не закончена, иначе его бы не выманили в Берлин.

— Значит, все эти годы ты была Зильке? — сказал Отто. — Невероятно.

— Ничего особенного. Ты хоть представляешь, сколько судеб перекроил или уничтожил Нулевой год? Всему континенту было что скрывать. Я не одна такая, Оттси. Когда Большая четверка разделила Берлин, я поняла, что мне лучше не дергаться. Единственное мое достояние, квартира, которой я как Зильке Штенгель законно владела, оказалась в русской зоне. На Западе меня ничего не ждало. О компенсациях евреям тогда никто не говорил. Компенсировать было нечем. Это был конец, не начало. На Западе я бы стала одной из миллиона бездомных нищих беженцев. Вдобавок тот гестаповский протокол. Если б он всплыл, меня бы судили. Я выжидала, и тут замаячила работа в новой германской, то бишь советской, полиции. Я была идеальным кандидатом. Зильке Краузе, красный шпион с тридцать пятого года. Конечно, я ухватилась за возможность впервые в жизни выйти в начальники. В одночасье получила безопасность, положение и власть. Вообрази, каково это для еврейки в Берлине сорок пятого. После всего, через что ей пришлось пройти.

— Ты — в полиции? Просто немыслимо, — перебил Отто, словно в розовой спальне они спорили о будущем, а не копались в прошлом. — Я к тому, что ты должна бы ненавидеть эту контору.

— Да? — Глаза Дагмар блеснули. — А я была в полном восторге. Офигенная контора. Работа-мечта. Теперь я стала охотником. Теперь я стала сволочью. И не упускала случая пнуть людишек, которые прежде потешались над моей украденной жизнью. Я надела форму, забрала волосы в пучок и вышла на берлинские улицы, чтобы превратить жизнь в ад кому



только можно. Я быстро сообразила, что в этом *предназначение* Штази. Превращать жизнь немцев в ад. Здорово! Ирония, мать ее, судьбы! Обалденный кайф!

— Значит, тем и занималась? — От ее внезапной злобы Отто оторопел. — Портила жизнь берлинцам?

— Именно так. Обратной дороги не было, даже если б я захотела уйти. Когда Запад пошел в гору, я уже слишком глубоко увязла и слишком много знала. Сама виновата. Из Штази не отпускают. Рыпнешься — убьют.

— Значит, ты в западне.

— Вроде как. Только не жалея меня, Отто. Жизнь-то моя получше твоей, английской. Сотрудница Штази вкусно ест и сладко пьет. Хочешь икры — изволь. Мы, партийная номенклатура, приберегаем роскошь для себя. Живу все в той же квартире, в моем распоряжении модные журналы, любые книги и западная музыка. Все, в чем ограничиваем других, мы забираем себе. Я вот думаю, а что сказала бы Зильке? Об этом сраном продажном мирке, который создал ее любимый Сталин. Но самое главное — я гноблю добропорядочных граждан Восточного Берлина. Тех, кто позволил Гитлеру украсть мою жизнь. Кто отворачивался. Кто в толпе зевая кричал, чтобы меня и родителей заставили вылизать тротуар.

— Нельзя вечно ненавидеть, Дагмар.

— Разве? Попробуй меня обуздать. Я проживу в ненависти каждую свою секунду на этом свете. А когда умру и обращусь в прах, всякая крупинка его будет источать ненависть.

Стемнело. На дорожках влюбленные парочки сменили детей.

История почти закончилась.

Отто получил ответ на все, кроме одного.

— А как я возник на вашем полотне?

— На тебя давно положили глаз. Еще в сорок шестом.

— Да ну? — искренне удивился Отто.

— Не льсти себе. Следили за всеми немцами, работавшими на Союзников. Шишками и сошками. Рылись в их прошлом, искали способы заставить работать на нас. Через брак Зильке и Пауля всплыло наше знакомство. Не забывай, я ведь Зильке, по мужу Штенгель. Переводчика британского министерства иностранных дел, еврея Стоуна, который некогда носил фамилию Штенгель и состоит в родстве с сотрудницей Штази, заметили быстро.

Отто чуть не рассмеялся.

— Ты перечислила весь Субботный клуб. Пауль, Зильке, ты и я. По-прежнему вместе, по-прежнему банда. Кто бы мог подумать, что все так

обернется?

— В тридцать третьем все жизни свернули не туда. Мы не исключение, Отт.

— Наверное. Так Штази до сих пор не знает, кто ты на самом деле?

— Думаю, нет. Наверняка не скажешь. Там обожают секреты и ждут своего часа. Вот как с тобой. Меня поставили в известность, что в свое время надо будет вызвать тебя в Германию. Видимо, они ждали, когда ты поднимешься по службе.

— Боюсь, тут неудача. Карьеры я не сделал. И вообще не преуспел. Где был, там и остался.

— Мы знаем, — сухо сказала Дагмар. — Однако недавно мои шефы решили, что настало время использовать Стоуна, и приказали тебя выманить. Ну я-то знала, как это сделать.

— Да уж, — хмыкнул Отто.

— Всего вернее, сказала я, притвориться погибшей еврейкой, в которую ты был влюблен.

— Выходит, ты выдаешь себя за Зильке, которая притворяется тобой. Лихо.

— Так работает Штази. Тень на плетень, побольше вранья. Стало быть, Дагмар официально ожила — на случай интереса МИ-6.

— Кстати, они проверяли.

— И вот ты здесь. По правде сказать, все не так уж сложно.

— Для тебя — возможно. А для меня весьма заковыристо. Не забывай, я — глупый близнец Штенгель.

Взгляд Дагмар потеплел.

— В тридцать восьмом тебе хватило ума спасти мне жизнь. Я бы заживо сгорела. — Она легонько сжала его ладонь.

Отто убрал руку.

— Но ты охотно расставила силочек.

— Это моя работа. У меня нет выбора. Откажись, все было бы сделано от моего имени.

— Они бы притворились Дагмар, которая притворилась Зильке, которой притворяешься ты, — уточнил Отто.

— Именно. И потом... — Дагмар чуть улыбнулась, на миг став девочкой в розовой спальне. — Я хотела тебя увидеть. Думала, и ты захочешь повидаться.

— Конечно, я хотел. Ты прекрасно это знаешь. Вопрос в том, что теперь-то?

— Тебя постараются завербовать, чтобы шпионил в своем

министерстве. Вон они, поджидают. — Дагмар кивнула на скамейку за Белоснежкой. Минуту назад скамья была пуста, а сейчас там сидели два крепыша в хомбургах.

— Похоже, форма не меняется. — Отто разглядывал незнакомцев. — Другая идеология, но шляпы те же.

— Абсолютно.

Отто вздохнул. Достал сигарету.

— Курнем напоследок? Понимаешь, Даг, я не сгожусь.

— Они умеют убеждать.

— Да нет, я в прямом смысле. Им нужен шпион в министерстве иностранных дел, а я не собираюсь туда возвращаться.

— Вот как? Когда решил?

— Сегодня. Здесь, в Народном парке. Я уволюсь. И не буду сдавать адвокатский экзамен, на который у меня не хватает мозгов.

— Ты хотел стать адвокатом? — изумилась Дагмар.

— Пытался. С сорок седьмого года. Пробовал жить за Пауля. Глупо, да? Из-за тебя он отдал мне свое имя и будущее, и с тех пор я чувствовал себя в ответе. Хотел быть им. Ради него. И ради мамы, которая так на него надеялась. Но теперь — баста. Все это хрень собачья. Вот так, раз — и понял. Я не могу стать им, и ему это вовсе не нужно. Семнадцать лет я был Полом Стоуном, но вернусь Отто Штенгелем. Не знаю, как я это сделаю и чем займусь. Может, пойду в дворники. Кем бы я ни стал, жить своей жизнью будет веселее — это уж наверняка. Но, боюсь, Штази ничего не обломится. Разве что им нужен шпион в столярном кружке и любительском джаз-банде, куда я непременно запишусь.

Дагмар улыбнулась.

— Есть девушка?

Отто помешкал. Кое о чем вспомнил. Из нагрудного кармашка пиджака достал салфетку с отпечатком губной помады. Билли оставила его в тот день, когда Стоун впервые встретился с МИ-6. Чтоб ее вспоминать, сказала она.

— Пожалуй, — произнес Отто. — Пожалуй, девушка есть.

— Ага! — Дагмар глянула на яркий отпечаток. — Значит, ты все же в кого-то влюбился.

— Я думал, я не вправе, — ответил Отто. — Но теперь знаю, что можно.

## Барышня на тротуаре

### *Лондон и Берлин, 1989 и 2003 г.*

О падении Берлинской стены Отто оповестило Би-би-си — в кухне дома на севере Лондона, где обитали супруги Отто и Билли Штенгель, он слушал «Радио-4».

Последний из четырех детей уже давно выпорхнул из родного гнезда. Нынче Билли умчалась на службу в универмаг «Маркс и Спенсер», где ведала закупкой модных товаров, а посему Отто, почти удалившийся от дел столяр-краснодеревщик, был предоставлен самому себе. Этот день он провел в своей мастерской, слушая эпическую сагу о революционных событиях на его родине. Время от времени Отто откладывал в сторону пилу или рубанок, причащался скотчем и выкуривал «Лаки Страйк», раздумывая, как эти события скажутся на одной восточногерманской чиновнице, которую он последний раз видел тридцать три года назад в «Волшебной стране».

В тот же день 1989 года в Берлине исчезла отставная сотрудница Штази, известная как Зильке Штенгель. В квартире, где она проживала со Второй мировой войны, не было ни единого намека на то, куда подевалась хозяйка.

Вскоре в Западном Берлине объявилась Дагмар Фишер — еврейка, которая уже почти полвека считалась умершей. Рассказ о ее жизни в Восточном секторе был туманен и сбивчив, но личность ее, подтвержденная документами и немногими уцелевшими личными вещами из архива Штази и последующим тестом ДНК, не вызывала сомнений.

Обосновавшись, фройляйн Фишер начала судебную тяжбу за возмещение имущественного ущерба от нацистов и, главное, возвращение в собственность универмага на Курфюрстендамм, некогда принадлежавшего ее отцу, а в советскую эпоху ставшего государственной точкой розничной торговли.

Она преуспела, и в 1992 году магазин, обретший былое великолепие, вновь распахнул свои двери. В отпущенные ей одиннадцать лет жизни фройляйн Фишер каждое утро на лимузине подъезжала к универмагу и ровно в половине девятого лично открывала его величественные парадные двери.

Исполняя эту добровольную миссию, она и умерла. Однажды утром, когда фройляйн Фишер шагнула из машины, у нее случился инфаркт.

Колени ее подломились, она ничком повалилась на тротуарные плиты, раззявив рот и вывалив язык. Тотчас собралась сердобольная толпа, какой-то молодой человек присел на корточки и спросил, чем ей помочь.

— Ты опоздал, — успела прошептать фройляйн Фишер. — Опоздал на семьдесят лет.

## Послесловие

### *Биографические отблески*

В целом роман — художественный вымысел, но отчасти построен на истории моей семьи.

Отец мой бежал из гитлеровской Германии. Урожденный Людвиг Эренберг, он появился на свет в семье светских евреев. В 1939 году вместе с родителями, Евой и Виктором, и старшим братом Готфридом отец через Чехословакию приехал в Англию. Сердечность отдельных людей и содействие маленького благотворительного общества, в 1933 году учрежденного британскими учеными, помогли его семье выжить. Это общество существует поныне и называется Совет помощи ученым-беженцам.

В 1943 году Готфрид вступил в Британскую армию. Как и Отто Штенгелю, ему рекомендовали англоязычить свое имя — на случай немецкого плена. Он стал Джеффри Элтоном, а мой отец, последовав его примеру, превратился в Льюиса Элтона. Мои дед и бабушка, в семидесятых годах почившие в Лондоне, до самой смерти оставались Эренбергами.

У Готфрида и Людвига был кузен Хайнц. Как одного из братьев в моем романе, Хайнца, в терминологии нацистов «чистокровного арийца», усыновили Пауль и Клара Эренберги. Они бежали из Германии, но Хайнц решил остаться и хозяйствовать на ферме, купленной ему приемными родителями.

Вскоре его, как и близнеца Штенгеля в романе, призвали в вермахт, и в 1940 году он оказался на берегу Ла-Манша — в частях, готовившихся к вторжению на Британские острова. Позже Хайнц воевал в Италии; после войны выяснилось, что он и Джеффри были совсем рядом, только по разные стороны линии фронта.

Подобно персонажам романа, отец мой и дядя на себе испытали школьную сегрегацию. Их тоже оскорбляли учителя-нацисты, они тоже видели растерянность так называемых метисов. Лучший друг отца, сам наполовину еврей, отважно предпочел сидеть вместе с евреями.

В романе дед Пауля и Отто на Первой мировой войне заслужил Железный крест. Мой дед Виктор тоже служил в кайзеровской армии и в 1914 году удостоился Железного креста. Всю войну он провел в окопах; мои дети хранят осколки шрапнели, которые в 1917-м вынули из дедовой ноги. Как и вымышленные Тауберы, дед с бабушкой очень любили свою

родину и считали себя и немцами, и евреями. Когда семья эмигрировала в Англию, дед тайком провез свой Железный крест. В сороковом году бабушка обнаружила его и закопала на задворках пансиона, где они жили. По всей видимости, там награда благополучно сгнила.

Как и Отто Штенгель, дядя Джеффри закончил войну переводчиком армейской разведки. Он дослужился до чина сержанта и на всю жизнь сохранил большую симпатию к Британской армии. В семье говорили, что армия сделала из него истинного англичанина. В 1989 году дядя Джеффри увидел мой телевизионный ситком «Черная Гадюка идет вперед» и сперва очень расстроился, посчитав его насмешкой над армией, но позже решил, что сатира зиждется на глубоком почтении к военным.

Отцовой семье повезло: многим родичам удалось избежать Холокоста. Однако не всем. Например, Лисбет, любимая бабушкина сестра, погибла, как и литературный персонаж Фрида. В 1941-м она добровольно вызвалась сопровождать еврейских детей, которых вывозили на Восток. В Литве Лисбет и ее маленьких подопечных тотчас расстреляли.

К сожалению, в романе не нашлось места для одного жизненного эпизода с участием дяди Хайнца и моей умиравшей прабабушки. В октябре сорок первого она еще жила в своем родном Касселе, где местные власти затеяли финальную облаву на евреев.

В военной форме Хайнец явился в отделение гестапо и потребовал, чтобы старухе дали умереть в своей постели. «*Lassen Die mir die alte Judin in Ruhe*, — сказал он. — Оставьте в покое старую еврейку». Видимо, к его словам прислушались, поскольку Эмилия Эренберг вскоре умерла в своей постели. Прабабушка избежала кошмара транспортировки в лагерь смерти, куда евреев доставляли в вагонах для скота, однако увидела, как страна, где в 1859 году она появилась на свет, погружается в невиданное безумие и дикость.

Как и Вольфганг Штенгель, кое-кто из нашей родни еще до Холокоста изведal концлагерь тридцатых годов. Другой брат моего деда, Ганс, в студенчестве сменил веру и стал христианским пастором. Его отправили в лагерь Заксенхаузен, где также сидел его добрый друг преподобный Мартин Нимёллер,<sup>[79]</sup> известный антифашист, автор стихотворения «Когда они пришли...». В конце концов Ганса выпустили, чему в немалой степени способствовал епископ Чичестерский.

В Англии Ганса поместили в лагерь для интернированных, но он, как и близнец в романе, не роптал. После войны дядя Ганс вернулся в Германию, намереваясь продолжить служение Господу, а отец и его семья остались в Англии, благодарные этой великой стране за приют и открытые

возможности. Приехав нищими беженцами, они в конечном счете преуспели и сделали карьеру. Отец и дядя женились на англичанках, оба стали университетскими преподавателями. Отец возглавлял кафедры, в 2005 году был удостоен награды за профессиональные достижения.

Дядя стал профессором-историком, в Кембридже вел курс английской конституционной истории. В 1986 году за научный вклад ему было пожаловано рыцарское звание.

В 1994 году Джеффри умер, а отец мой и дядя Хайнц еще живы; они переписываются и как раз недавно встречались. С моей женой-австралийкой Софи дядя Хайнц познакомился на похоронах Джеффри. Подобные связи преодолевают время, расстояния и историю. Я много раз бывал в Германии, где время от времени идут мои пьесы, и сам я поставил мюзикл «We Will Rock You». Там я обрел верных друзей. С родиной отца меня связывают только счастливые воспоминания.

*Бен Элтон, май 2012 г.*



TWO BROTHERS by Ben Elton  
Copyright © 2012 by Ben Elton  
First published as Two Brothers by Transworld Publishers, a division of  
The Random House Group

Книга издана с любезного согласия автора и литературного агентства  
Синописис

- © Stephen Mulcahey / T W, дизайн обложки
- © А. Сафронов, перевод, 2014
- © «Фантом Пресс», оформление, издание, 2014

*Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.*

© Электронная версия книги подготовлена компанией ЛитРес ([www.litres.ru](http://www.litres.ru))

---

**notes**

## **Примечания**

# 1

Фрайкор (нем. *Freikorps* — свободный корпус, добровольческий корпус) — полувойенные патриотические формирования в Германии и Австрии XVIII–XX вв. — *Здесь и далее примеч. перев.*

## 2

Дарить сигару в честь рождения младенца — традиция, насчитывающая столетия. Историки полагают, что она исходит от индейских племен, населявших доколумбову Америку.

## 3

Питер Лорре (Ласло Левенштайн, 1904–1964) — австро-американский киноактер, режиссер и сценарист; Хамфри Дефорест Богарт (1899–1957) — американский киноактер. Вместе снимались в фильмах «Мальтийский сокол» (*The Maltese Falcon*, 1941), «Касабланка» (*Casablanca*, 1942) и других.

## 4

«Субмарина» — прозвище немецких евреев, прятавшихся в подполье.

## 5

МИ-6 (Military Intelligence, MI6) — государственный орган внешней разведки Великобритании. До принятия парламентом в 1994 г. Закона о разведывательной службе не имела никакой правовой базы, и ее существование не подтверждалось правительством Соединенного Королевства.

**6**

До свидания (*нем.*).



# 7

Прощай и здравствуй. Здравствуй и прощай (*нем.*).

## 8

Вольфганг Капп (1858–1922) — немецкий политик, государственный служащий, в 1920 г. был организатором путча, после провала которого бежал в Швецию.

## 9

Фридрих Вильгельм II (1744–1797) — король Пруссии с 1786 г., сын Августа Вильгельма и Луизы Амалии Брауншвейг-Вольфенбюттельской, племянник Фридриха II Великого. Бранденбургские ворота в 1788–1791 гг. по его заказу возводил архитектор Карл Готтгард Лангганс (1732–1808).

## 10

Джон Бойнтон Пристли (1894–1984) — английский романист, эссеист, драматург и театральный режиссер. Во время Второй мировой войны работал на Би-би-си. Его воскресная вечерняя программа «Постскриптум» (1940–1941) собирала около 16 миллионов слушателей.

## 11

«Штаьхельм» (нем. «Стальной шлем») — монархическая организация немецких фронтовиков Первой мировой войны.

## 12

Асгард — в скандинавской мифологии небесный город, обитель богов-асов.

## 13

Брунгильда — супруга Гунтера, короля Бургундии, героиня германоскандинавской мифологии и эпоса; персонаж оперы Вагнера «Валькирия» из тетралогии «Кольцо нибелунга».

Жорж Гросс (Георг Эренфрид Гросс, 1893–1959) — немецкий живописец, график и карикатурист, один из основателей берлинской группы дадаистов. Вильгельм Генрих Отто Дикс (1891–1969) — немецкий художник-экспрессионист.



Вальтер Ратенау (1867–1922) — германский промышленник еврейского происхождения, сторонник плановой экономики военного типа, в 1922 г. полгода пробыл на посту министра иностранных дел Германии.

Воглинда, Вельгунда и Флосхильда — русалки из оперы Рихарда Вагнера «Золото Рейна» из цикла «Кольцо нибелунга».

Суэцкий кризис (Вторая арабо-израильская война, 1956–1957) — международный конфликт, связанный с определением статуса Администрации Суэцкого канала; Великобритания, Франция и Израиль вели военные действия против Египта. Конфликт был закончен при содействии СССР, США и ООН, границы сторон не изменились. Дуайт Дэвид Эйзенхауэр (1890–1969) — американский государственный и военный деятель, 34-й президент США (1953–1961). Гамаль Абдель Насер (1918–1970) — второй президент Египта (1956–1970), полковник, деятель панарабского движения, Герой Советского Союза.

Лонни Донеган (1931–2002) — британский музыкант, «король скиффла» 1950 — начала 1960-х.

Имеется в виду песня Марти Блума, Эрнеста Бройера и Билли Роуза *Does Your Chewing Gum Lose Its Flavour (On the Bedpost Overnight?)*, которую Лонни Донеган записал лишь в 1959 г.; изначально песня называлась *Does The Spearmint Lose Its Flavor on the Bedpost Overnight?* и впервые была записана вокальным дуэтом *The Happiness Boys* (Билли Джоунз и Эрни Хэр) в 1924 г.

«Да, бананы не завезли» (*Yes! We Have No Bananas*, 1922) — песня Фрэнка Силвера и Ирвинга Кона о торговце-греке, который никогда не говорит покупателям «нет»; впервые прозвучала в бродвейском эстрадном ревю в исполнении Эдди Кантора, а затем вошла в репертуар джазового оркестра Бенни Гудмена.

Нувориши и спекулянты (*искаж. нем.*).

Дуглас Элтон Томас Ульман Фэрбенкс (1883–1939) — американский актер, звезда немого кино.



Рудольф Валентино (1895–1926) — американский киноактер итальянского происхождения, секс-символ эпохи немого кино.

«Аравийский шейх» (*The Sheik of Araby*, 1921) — джазовый стандарт американского композитора Теда Снайдера на стихи Гарри Б. Смита и Фрэнсиса Уилера.

В честь американского композитора и пианиста, автора регтаймов Скотта Джоплина (1868–1917).

«Александровский регтайм-бэнд» (*Alexander's Ragtime Band*, 1911) — первый хит американского композитора Ирвинга Берлина; существует мнение, что мелодия этой песни заимствована из черновика *A Real Slow Drag* Скотта Джоплина. «Парень на Янки Дудл» (*The Yankee Doodle Boy*, 1904) — песня из бродвейского мюзикла Джорджа М. Коэна «Маленький Джонни Джонс» (*Little Johnny Jones*).

Эрвин Пискатор (1893–1966) — один из крупнейших немецких театральных режиссеров XX столетия, теоретик театра, коммунист.

«Фольксбюне» (нем. *Volksbühne* — народная сцена) — немецкое театральное общество, основанное в 1890 г. в Берлине; под лозунгом «Искусство для народа» сочетало практику рабочих театров и народных университетов.

Герварт Вальден (Георг Левин, 1878–1941) — немецкий писатель, музыкант, художественный критик, меценат и композитор еврейского происхождения, коммунист; один из крупнейших пропагандистов немецкого авангардного искусства начала XX столетия — экспрессионизма, дадаизма, «новой вещественности».

«Штурм» (*Der Sturm*, 1910–1932) — немецкий литературный журнал Герварта Вальдена, одно из главных изданий немецких и австрийских экспрессионистов.



Вальдорфский салат — классический американский салат из кисло-сладких яблок, сельдерея и грецких орехов под майонезом или лимонным соком с кайенским перцем.

Оскар Кокошка (1886–1980) — австрийский художник и писатель чешского происхождения, крупнейшая фигура австрийского экспрессионизма.

Баухаус (1919–1933) — немецкая Высшая школа строительства и художественного конструирования, а также архитектурный стиль, который ею пропагандировался; сильно повлияла на европейский и американский дизайн.

Джеймс Прайс Джонсон (1891–1955) — американский джазовый пианист, композитор, основоположник джазового стиля страйд; «Чарльстон» (*Charleston*, 1923) был написан на стихи Сесила Мэка.

Георг Кайзер (1878–1945) — немецкий драматург-экспрессионист, поэт и прозаик.

Эдвард Брайан «Табби» Хейс (1935–1973) — британский джазовый музыкант, саксофонист, флейтист и вибрафонист.

Бетти Буп — персонаж короткометражных мультфильмов американского аниматора и кинорежиссера Макса Флайшера, секс-символ 1920—1930-х гг., кокетливая дамочка с огромными удивленными глазами.

«О, елочка!» (*нем.*) — старинная рождественская песня на стихи Эрнста Аншульца (1824).



Густав Штресман (1878–1929) — немецкий политик и государственный деятель, рейхсканцлер (1923) и министр иностранных дел (1923–1929) Веймарской республики.

Легенда об ударе ножом в спину (нем. *Dolchstoßlegende*) — теория высшего военного командования Германии, возлагавшего на социал-демократов вину за поражение в Первой мировой войне. Германская армия якобы одержала победу на полях сражений, но получила «удар в спину» от «безродных» оппозиционеров на родине.

Пауль Людвиг Ганс Антон фон Бенекендорф унд фон Гинденбург (1847–1934) — немецкий военный и политический деятель, с 1925 г. и до конца жизни — рейхспрезидент, в январе 1933 г. назначил Адольфа Гитлера рейхсканцлером.

Франц Йозеф Герман Михаэль Мария фон Папен (1879–1969) — немецкий политический деятель и дипломат, в 1932 г. возглавлял правительство, в январе 1933 г. с разрешения Гинденбурга провел переговоры с Гитлером и вошел в его кабинет вице-канцлером.

Курт фон Шлейхер (1882–1934) — рейхсканцлер Германии с декабря 1932 г. по январь 1933 г., предшественник Гитлера на этом посту, последний глава правительства Веймарской республики.

«Вновь вернулись счастливые дни» (*Happy Days Are Here Again*, 1929) — шлягер Милтона Аджера на слова Джека Йеллена.

Альберт Шпеер (1905–1981) — личный архитектор Гитлера, рейхсминистр вооружений и военной промышленности (1942–1945). На международном военном трибунале в Нюрнберге был одним из немногих обвиняемых, кто признал свою вину.

Юлиус Штрайхер (1885–1946) — гауляйтер Франконии, главный редактор антисемитской и антикоммунистической газеты «Штурмовик», идеолог расизма.



Августа Виктория Фредерика Луиза Феодора Дженни (1858–1921) — принцесса из рода Августенбургов, в браке — германская императрица и королева Пруссии. В 1881 г. вышла замуж за принца Вильгельма Прусского, впоследствии императора Вильгельма II. После его отречения в 1918 г. переехала с ним в Нидерланды, где и умерла. Могила Августы Виктории находится в усыпальнице Гогенцоллернов в Античном храме в парке Сан-Суси в Потсдаме. В браке с Вильгельмом II у Августы Виктории родилось семеро детей, шесть сыновей и одна дочь. Только последняя, Виктория Луиза (1892–1980), принцесса Прусская, после замужества герцогиня Брауншвейгская, могла бы прийти за перчатками.

Курт Юлиан Вайль (1900–1950) — немецкий композитор, автор музыки к «Трехгрошовой опере» (*Die Dreigroschenoper*, 1928) Бертольда Брехта, где в сцене свадьбы Полли исполняет зонг «Пиратка Дженни».

Ганс Хорст Вессель (1907–1930) — штурмовик, в 1928 г. на мотив старой матросской песни сочинивший новый текст в духе национал-социализма. После его смерти песня стала гимном нацистов.

Лига (Союз) немецких девушек — женская молодежная организация в нацистской Германии, куда входили немецкие девушки в возрасте от 10 до 18 лет. В 1936 г. было установлено обязательное членство в Лиге немецких девушек для всех, кроме евреек и представительниц других национальностей, исключенных по «расовым обстоятельствам». К 1944 г. Лига насчитывала 4,5 миллиона человек.

Уильям Кларк Гейбл (1901–1960) — американский актер, кинозвезда и секс-символ 1930—1940-х годов, лауреат премии «Оскар» (1934). «Красная пыль» (*Red Dust*, 1932) — мелодрама американского режиссера Виктора Флеминга по одноименной пьесе Уилсона Коллисона; Гейбл играет владельца каучуковой плантации в Индокитае, а его партнершами на экране выступают Джин Харлоу (1911–1937) и Мэри Астор (1906–1987).

«Да, сэр, вот моя малышка» (*Ye s Sir, That's My Baby*, 1925) — песня Уолтера Доналдсона на слова Гуса Кана, исполнялась, в числе прочих, Рики Нельсоном (1950) и Фрэнком Синатрой (1960).

Ли Морс (1897–1954) — американская джазовая певица, популярная в 1920—1930-х гг.

«Власть развращает, абсолютная власть развращает абсолютно» — афоризм Джона Дальберг-Актона (1834–1902), английского историка и политического деятеля.



Эрнст Юлиус Рём (1887–1934) — один из лидеров национал-социалистов и руководитель СА.

Ялмар Хорас Грили Шахт (1877–1970) — германский государственный и финансовый деятель, директор Национального банка Германии (1916–1923), президент Рейхсбанка (1923–1930, 1933–1939), рейхсминистр экономики (1936–1937), рейхсминистр без портфеля (1937–1942), один из главных организаторов военной экономики нацистской Германии; на международном военном трибунале в Нюрнберге был полностью оправдан.

«Авалон» (*Avalon*, 1920) — песня Эла Джолсона, Бади Де Силвы и Винсента Роуза, была в репертуаре многих джазовых исполнителей, в том числе Кэба Кэллоуэя (1934), Коулмена Хоукинса (1935) и Эдди Дарема (1936). Начало мелодии заимствовано из оперы Джакомо Пуччини «Тоска», из-за чего авторов обвинили в плагиате.

Арно Брекер (1900–1991) — немецкий скульптор, автор канонических портретов нацистских вождей и многочисленных скульптурных композиций, считавшихся эстетическими символами Третьего рейха.

На самом деле антисемитская детская книга Эрнста Химера с иллюстрациями Филиппа Руппрехта «Ядовитый гриб» (*Der Giftpilz*) вышла только в 1938 г., то есть спустя три года после описываемых в настоящей главе событий. Выпустил ее крупный деятель нацистского движения Юлиус Штрайхер (1885–1946), также издатель газеты *Der Sturmer* (1923–1945).

«Колодец одиночества» (*The Well of Loneliness*, 1928) — роман британской писательницы Рэдклифф Холл (Маргерит Рэдклифф-Холл, 1880–1943), одно из первых литературных произведений, посвященных лесбийской любви.

«Триумф воли» (*Triumph des Willens*, 1935) — пропагандистский фильм немецкого режиссера Лени Рифеншталь о Нюрнбергском съезде НСДАП 1934 г. Премьера состоялась 28 марта 1935 года в берлинском кинотеатре «УФА-Паласт ам Цоо».

Нюрнбергские расовые законы — два расистских законодательных акта, Закон о гражданстве рейха и Закон об охране германской крови и германской чести — были оглашены 15 сентября 1935 года на съезде Национал-социалистической партии в Нюрнберге.



Тор — в германо-скандинавской мифологии один из асов, бог грома и бури, защищающий от великанов и чудовищ.

Бодикка (ум. 61 г.) — жена Прасутага, правителя зависимого от Рима бриттского племени иценов, жившего в районе современного Норфолка. После смерти ее мужа римские войска заняли земли Бодикки, а император Нерон лишил ее титула, что побудило Бодикку возглавить антиримское восстание 61 г.

Имеется в виду Бенджамин Дизраэли (1804–1881) — английский государственный деятель Консервативной партии Великобритании, 40-й и 42-й премьер-министр Великобритании в 1868 и в 1874–1880 гг., член палаты лордов с 1876 г.

Слава победе! (нем.)

Исаак Захарович (Ицхок-Нахман) Штейнберг (1888–1957) — народный комиссар юстиции РСФСР с декабря 1917 по март 1918 г., член партии левых эсеров, идишский литератор. В 1923 г. выехал за границу для работы в Венском Интернационале, после чего ВЦИК лишил его советского гражданства. Жил в Берлине. В 1933 г., после прихода нацистов к власти в Германии, переехал в Лондон. В 1939–1943 гг. жил в Австралии, где безуспешно пытался организовать еврейское поселение.

«Фрайланд-лига» («Лига свободной земли») — еврейская общественная организация, основанная в Лондоне Штейнбергом и писателем Бен Адиром. В основе ее деятельности — идея создания еврейского государства на Австралийском континенте, утратившая актуальность с созданием в 1948 г. Государства Израиль.

Эрнст Людвиг Кирхнер (1880–1938) — немецкий художник, представитель немецкого экспрессионизма. Макс Бекман (1884–1950) — немецкий художник-портретист.

**70**

От юде — еврей (*искаж. нем.*).



«Источник жизни» (*Lebensborn*) — организация, в 1935 г. основанная под эгидой рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера для подготовки молодых расово чистых матерей и воспитания арийских младенцев (прежде всего, детей эсэсовцев).

Выйти! Выйти! Документы! (нем.)

**73**

Секунду, пожалуйста! (нем.)

Национальная авиакомпания ГДР называлась «Deutsche Lufthansa», но была и другая «Lufthansa» — авиакомпания ФРГ, которой и отошло название после судебного разбирательства. А компания ГДР стала называться «Interflug».

Извините, пожалуйста (нем.).

Дивизия «Лейбштандарт СС Адольф Гитлер» — элитное формирование войск СС, созданное на базе личной охраны Гитлера и позже преобразованное в танковый корпус. По числу кавалеров Рыцарского креста дивизия входила в число лидеров среди войсковых соединений Третьего рейха.

Анри Филипп Петэн (1856–1951) — французский военный и политический деятель, глава коллаборационистского правительства Виши.

Стелла Кюблер (в девичестве Гольдшлаг, 1922–1994) — еврейка, сотрудничавшая с гестапо, доказана ее вина в гибели не менее 600 евреев. В 72 года покончила с собой.



Мартин Фридрих Густав Эмиль Нимёллер (1892–1984) — протестантский богослов, пастор протестантской Евангелической церкви, один из самых известных в Германии противников нацизма, президент Всемирного совета церквей, лауреат Международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами» (1967). Широко известно его стихотворение «Когда они пришли...», переведенное на многие языки:

«Когда нацисты пришли за коммунистами,  
я молчал, я же не коммунист.  
Потом они пришли за социал-демократами,  
я молчал, я же не социал-демократ.  
Потом они пришли за профсоюзными деятелями,  
я молчал, я же не член профсоюза.  
Потом они пришли за евреями,  
я молчал, я же не еврей.  
А потом они пришли за мной, и уже не было никого,  
кто бы мог протестовать».

# Table of Contents

[Бен Элтон Два брата](#)  
[Барышня на тележке Берлин, 1920 г.](#)  
[Чай с печеньем Лондон, 1956 г.](#)  
[Близнецы Берлин, 1920 г.](#)  
[Еще одно дитя Мюнхен, 1920 г.](#)  
[Отмена операции Берлин, 1920 г.](#)  
[Плач и крик Берлин, 1920 г.](#)  
[Предложение Лондон, 1956 г.](#)  
[Новая модель Берлин, 1921 г.](#)  
[Рейнская дева Берлин, 1922 г.](#)  
[Дистрикт и Кольцевая линия Лондон, 1956 г.](#)  
[Бешеные деньги Берлин, 1923 г.](#)  
[Юные предприниматели Берлин, 1923 г.](#)  
[Смешные деньги Берлин, 1923 г.](#)  
[Старый знакомый Берлин, 1923 г.](#)  
[Новая работа Берлин, 1923 г.](#)  
[Сент-Джонс-Вуд Лондон, 1956 г.](#)  
[Слишком много джаза Берлин, 1923 г.](#)  
[Крикливый трехлетка Мюнхен, 1923 г.](#)  
[Современный джаз Лондон, 1956 г.](#)  
[Цирлих-манирлих Берлин, 1926 г.](#)  
[Субботный клуб Берлин, 1926–1928 гг.](#)  
[Два застолья и крах Мюнхен, Берлин, Нью-Йорк, 1929 г.](#)  
[Бой за Дагмар Берлин, 1932 г.](#)  
[Этот человек Берлин, 30 января 1933 г.](#)  
[Дошло Лондон, 1956 г.](#)  
[Последний матч Берлин, 1933 г.](#)  
[Тринадцатые дни рождения Мюнхен и Берлин, 1933 г.](#)  
[На больничном приеме Берлин, 1933 г.](#)  
[Утраченная надежда Лондон, 1956 г.](#)  
[Открытие магазина Берлин, 1 апреля 1933 г.](#)  
[Берега Красного моря Берлин, 1 апреля 1933 г.](#)  
[Тихий день в магазине Берлин, 1933 г.](#)  
[Юриспруденция Лондон, 1956 г.](#)  
[Будет бал Берлин, август 1933 г.](#)

[Фишеры задают вечер Берлин, 1933 г.](#)  
[Auf Wiedersehen Берлин, 1933 г.](#)  
[Инструктаж Лондон, 1956 г.](#)  
[Дружелюбный нацист Берлин, 1934 г.](#)  
[Недружелюбный нацист Берлин, 1934 г.](#)  
[Прерванная вечеринка Бад-Висзее, 1934 г.](#)  
[Зона, свободная от арийцев Берлин, 1935 г.](#)  
[Дельфин на берегу Берлин, 1935 г.](#)  
[Новые законы Берлин и Нюрнберг, 1935 г.](#)  
[Романтический жест Берлин, 1935 г.](#)  
[Приемный сын Берлин, 1935 г.](#)  
[Фамильные древа Берлин, 1935 г.](#)  
[Загородная поездка Саксония, сентябрь 1935 г.](#)  
[Кровная родня Саксония, 1935 г.](#)  
[Судьба решена Берлин, 1935 г.](#)  
[Спонтанная выпивка Лондон, 1956 г.](#)  
[В ссылку Берлин, 1935 г.](#)  
[Налаживаем связь Берлин, 1936 г.](#)  
[Еженедельные свидания Берлин, 1936 г.](#)  
[Расовая непригодность Лондон, 1956 г.](#)  
[Личные жертвы Берлин, 1936 г.](#)  
[На набережной Лондон, 1956 г.](#)  
[Олимпийский стадион, Грюневальд Берлин, 1 августа 1936 г.](#)  
[Отпуск в Мюнхене 1937 г.](#)  
[Другие дети Фриды Берлин, 1938 г.](#)  
[Уроки английского Берлин, 1938 г.](#)  
[Ночь битого стекла Берлин, ноябрь 1938 г.](#)  
[Дождь на пляже Озеро Ванзее, ноябрь 1938 г.](#)  
[Последний сбор Субботнего клуба Берлин, февраль 1939 г.](#)  
[Наутро Германо-голландская граница, 1939 г.](#)  
[Ранний завтрак Лондон, 1956 г.](#)  
[Из нелюди в сверхчеловеки Берлин, 1940 г.](#)  
[Разговор о женитьбе Берлин, 1940 г.](#)  
[Последний инструктаж Лондон, 1956 г.](#)  
[Смешанный брак Берлин, 1940 г.](#)  
[Старые друзья Берлин, 1956 г.](#)  
[Еще уроки английского Берлин, 1940 г.](#)  
[Узнали Кале, 1940 г.](#)  
[Народный парк Берлин, 1956 г.](#)

[Немецкий герой Берлин и Россия, декабрь 1941 и январь 1942 г.](#)

[Парковая скамья Берлин, 1956 г.](#)

[Еврейская больница Берлин, 1943 г.](#)

[Продолжение разговора в парке Берлин, 1956 г.](#)

[Охотница на евреев Берлин, 1945 г.](#)

[Меж Рапунцель и Красной Шапочкой Берлин, 1956 г.](#)

[Вдвоем Берлин, 1945 г.](#)

[В саду невинности Берлин, 1956 г.](#)

[Барышня на тротуаре Лондон и Берлин, 1989 и 2003 г.](#)

[Послесловие Биографические отблески](#)

~

[Примечания](#)

[1](#)

[2](#)

[3](#)

[4](#)

[5](#)

[6](#)

[7](#)

[8](#)

[9](#)

[10](#)

[11](#)

[12](#)

[13](#)

[14](#)

[15](#)

[16](#)

[17](#)

[18](#)

[19](#)

[20](#)

[21](#)

[22](#)

[23](#)

[24](#)

[25](#)

[26](#)

[27](#)

[28](#)  
[29](#)  
[30](#)  
[31](#)  
[32](#)  
[33](#)  
[34](#)  
[35](#)  
[36](#)  
[37](#)  
[38](#)  
[39](#)  
[40](#)  
[41](#)  
[42](#)  
[43](#)  
[44](#)  
[45](#)  
[46](#)  
[47](#)  
[48](#)  
[49](#)  
[50](#)  
[51](#)  
[52](#)  
[53](#)  
[54](#)  
[55](#)  
[56](#)  
[57](#)  
[58](#)  
[59](#)  
[60](#)  
[61](#)  
[62](#)  
[63](#)  
[64](#)  
[65](#)  
[66](#)

[67](#)  
[68](#)  
[69](#)  
[70](#)  
[71](#)  
[72](#)  
[73](#)  
[74](#)  
[75](#)  
[76](#)  
[77](#)  
[78](#)  
[79](#)